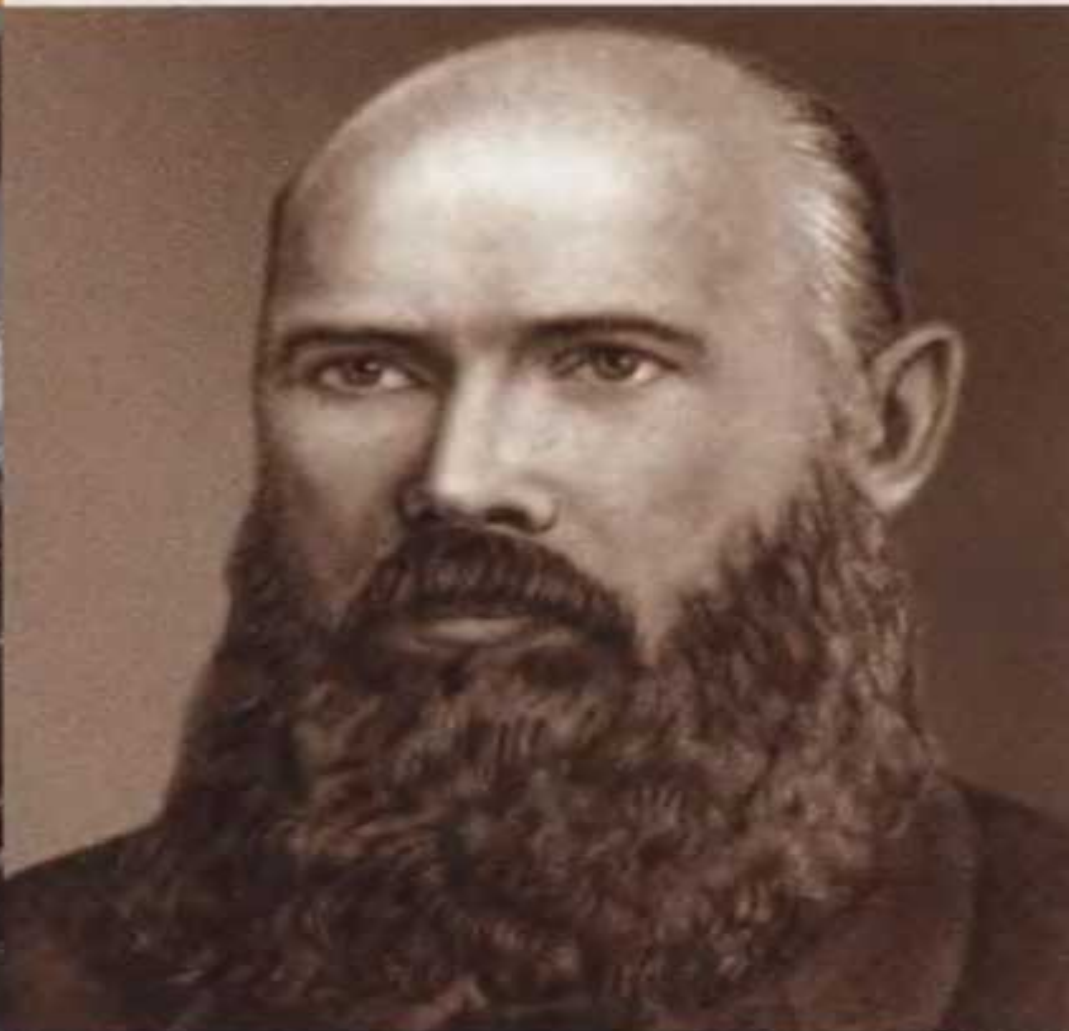


# ПАВЛЕНКОВ



Владимир  
Десятерик



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

## Annotation

Автор книги, не один десяток лет сам посвятивший издательскому делу, рассказывает об известном русском издателе, родоначальнике биографической серии «Жизнь замечательных людей» — Флорентии Федоровиче Павленкове, всю свою жизнь занимавшемся просвещением и образованием родного народа, а накопленным капиталом и львиной долей средств от распродажи изданий распорядившемся самым благородным образом — он завещал их на организацию двух тысяч народных читален и библиотек в отдаленных российских деревнях.

Жизнеописание, созданное на основе многочисленных мемуарных и эпистолярных источников, дает возможность читателю самому увидеть, сколько сил, времени и кропотливой работы требовалось затратить издателю, чтобы его книга увидела свет и пришла к читателю.

---

- [Десятерик Владимир Ильич](#)
  - 
  - [ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ](#)
  - [НАЧАЛО ПУТИ](#)
  - [ВЫБОР ДЕЛА ЖИЗНИ](#)
  - [КАК БЫЛ ВЫИГРАН ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС?](#)
  - [АРЕСТ И ЗАТОЧЕНИЕ В КРЕПОСТЬ](#)
  - [ССЫЛКА В ВЯТКУ](#)
  - [ПРИЗНАНИЕ И МЫТАРСТВА «НАГЛЯДНОЙ АЗБУКИ»](#)
  - [НОВЫЕ КНИГИ, НОВЫЕ ПРИТЕСНЕНИЯ](#)
  - [МЕСТЬ ГУБЕРНСКОМУ НАЧАЛЬСТВУ](#)
  - [И ВНОВЬ АРЕСТЫ. В ВЫШНЕМ ВОЛОЧКЕ ВМЕСТЕ С В. Г. КОРОЛЕНКО И ДРУГИМИ](#)
  - [БОРЬБА ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ СИБИРИ](#)
  - [ДРУЖБА С ГЛЕБОМ УСПЕНСКИМ](#)
  - [КЛАССИКА ДЛЯ НАРОДА](#)
  - [ДОХОДЧИВО, ДОСТУПНО, ПОПУЛЯРНО](#)
  - [СРАЖЕНИЯ С ЦЕНЗУРОЙ](#)
  - [ALTE LIEBE MORTET NICHT](#)
  - [К ИСТОРИИ «ЖЗЛ»](#)
  - [РАЗДУМЬЯ О ПЕРЕЖИТОМ](#)
  - [ЭПИЛОГ](#)

- [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ф. Ф. ПАВЛЕНКОВА](#)
  - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
  - [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
  - [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
-

**Десятерик Владимир Ильич**  
**ПАВЛЕНКОВ**



## ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

«Каждая эпоха вычитывает из Библии лишь себя самое», — заметил как-то великий немец Людвиг Фейербах. Точно так же происходит с оценкой деяний конкретной исторической личности. В разные периоды выдвигается на первый план то, что востребовано временем, данной исторической эпохой.

Сто лет назад, когда ушел из жизни Флорентий Федорович Павленков, благодарные современники на памятнике на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге, который был установлен на его могиле, поместили две главные книги из сотен, выпущенных отечественным книгоиздателем. Это были «Физика» А. Гано, с выпуска перевода которой начинал он свою издательскую деятельность, и «Энциклопедический словарь». Десятилетия работал Флорентий Федорович над составлением своего детища, и судьбой было даровано ему полистать страницы сигнального экземпляра этой солидной книги перед тем, как перестало биться его беспокойное сердце...

Сегодня Павленков вместе с нами и с задуманной им и осуществленной впервые в мировой книгоиздательской практике всеобъемлющей биографической библиотекой «Жизнь замечательных людей» входит в новое тысячелетие. Серия оказалась по душе читающей публике, она живет, развивается, постоянно пополняется вот уже не одно десятилетие. Ее родоначальник Флорентий Павленков по праву завоевывает почет и уважение читателей XXI века.

Что же это был за человек? Как и почему ему удалось заглянуть так далеко за горизонт со своего XIX столетия и гениально предугадать, что будет нужно нам, его соотечественникам, из совсем другой эпохи?

Бытует такая мудрая притча: скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Так вот в случае с Павленковым она вряд ли может прояснить ситуацию. Добросовестно готовясь на поприще служения Отечеству в кадетском корпусе и в Михайловской военной академии, он искренне посвящал верноподданнические стихи Его Императорскому Величеству. Завоевал репутацию нестигаемого борца за свободу печати при издании собрания сочинений неукротимого нигилиста Дмитрия Писарева. Вместе с писателем Владимиром Короленко коротал дни в Вышневолоцкой политической тюрьме. Оказывал помощь гонимому самодержавием Николаю Чернышевскому. Выкупил права на издание собрания сочинений

опального изгнанника из России Александра Герцена. Издал в серии «Жизнь замечательных людей» биографию Льва Толстого, когда писателя отлучили от церкви. Передавал книги Антону Чехову для отправления на остров Сахалин. Дружил с народником Николаем Михайловским. Публиковал в переводе на русский язык Фридриха Энгельса и Карла Каутского...

Павленков не примыкал ни к каким партиям и общественным течениям и в бурном водовороте острейших идеологических сражений второй половины XIX столетия. Он выработал и упорно проводил в жизнь собственную программу действий, связанную с просвещением родного народа, его образованием, подготовкой к работе на новом витке общественного развития. В ней не выдвигалось глобальных задач, не было претензии на охват своим влиянием целых классов тогдашнего общества, его интеллектуальной элиты. Павленков избрал сферой своего воздействия тех современников, кто выполнял внешне скромную, но такую нужную на том этапе истории России работу — нести знания в широкие народные массы, утверждать в повседневной жизни цивилизованные нормы бытия, вооружать современников всеми последними достижениями науки и техники. К сожалению, в реальной российской действительности тех лет усилия эти приходилось предпринимать в условиях жесточайшей борьбы с господствующей тенденцией правящих кругов, усматривавших в образовании народа, во внедрении в практику гласного обсуждения всех общественных проблем едва ли не самую опасную угрозу для самодержавной власти.

Поэтому Павленков за свою многолетнюю неутомимую работу удостоился единственных «титолов» — ссыльный и поднадзорный. Царское правительство усматривало в его лице опасного врага, революционера. И репрессивными мерами подталкивало молодого деятельного патриота родного народа на тупиковый путь террористического вандализма, хотя все устремления его были направлены к созиданию, просвещению, образованию. Десять лет ссылки, два года тюремного заключения — такой была плата за павленковский труд, его неуемную энергию действия. Причем если ты Богом данный издатель, то непременно следовало жесточайшее иезуитское наказание — без права выпускать книги!

Как это ни грустно признавать, но и при советской власти имя Павленкова, который, казалось бы, своим книжным служением способствовал низвержению прежних порядков и установлению взамен их более справедливых и свободных, было почти замалчиваемо. И тут опять

злую шутку сыграла с ним ирония судьбы. Предприимчивый издатель и к концу жизни создал солидный капитал, которым распорядился самым благородным образом. Львиную долю средств он распорядился передать на открытие в отдаленных российских деревнях двух тысяч народных библиотек, что было исполнено его душеприказчиками. К 1913 году более двух тысяч павленковских библиотек уже открыли двери для сельского читателя. Но с наступлением периода реакции царское правительство закрывает народные школы и библиотеки. В том числе, естественно, и павленковские. В. И. Ленин, резко критикуя эту антинародную меру властей, в одной из своих статей задевает и Павленкова: богатым людям-де не стоит тратить свои капиталы на открытие библиотек, все равно это бесполезное предприятие. Лучше было бы сразу передавать средства на дело революции. Так Павленков одним опрометчивым ленинским замечанием был занесен в число тех, кто якобы работал не во имя народа, а против него. Ситуация сложилась патовая: и запрета не было, но и прославлять Павленкова нельзя, если вождь революции давал ему не совсем положительную оценку.

И только благодаря Алексею Максимовичу Горькому, который в начале тридцатых годов XX столетия возрождает павленковскую биографическую серию «Жизнь замечательных людей», интерес к издателю и его имя были возрождены. К 60—70-м годам относится и появление первых биографических очерков о жизни и деятельности выдающегося русского издателя. Но что бросается в глаза: большинство публикаций о Павленкове сопровождалось созвучными эпитетами: «идейный издатель», «мятежный издатель», «идеальный издатель», «фанатичный издатель», «просвещенный издатель». Все это говорилось, в целом, в положительном плане, но все же какая-то исключительность сквозила в этих характеристиках.

Собственного жизнеописания Павленков по характеру своему создавать не мог: не придавал значения он таким понятиям, как слава и признание. Собирал материалы и начал писать биографию своего друга и учителя видный русский библиограф и поборник книги Николай Рубакин, но обстоятельства помешали ему осуществить свое намерение. Готовился составлять павленковскую биографию один из его душеприказчиков Валентин Яковенко. Однако смерть тоже прервала его работу.

Дошли до нас лишь воспоминания самого близкого друга Флорентия Федоровича еще с периода их совместной учебы в военной академии Владимира Черкасова, который тоже был одним из душеприказчиков Павленкова.

В последние десятилетия XX столетия стали появляться книги и

брошюры о жизни и деятельности Ф. Ф. Павленкова — Н. М. Рассудовской, А. В. Блюма, А. П. Толстякова, Ю. А. Горбунова и других. А в конце минувшего века три издательства России переиздали павленковскую библиотеку «Жизнь замечательных людей».

В данной книге читателю предлагается рассказ, созданный по письмам, воспоминаниям современников, публикациям, различным документам, а также по эпистолярному наследию самого Павленкова. Это рассказ об издателе, его жизни и плодотворной деятельности, поставившей его в один ряд с видными книгоиздателями XIX века — К. Т. Солдатенковым, М. О. Вольфом, А. Ф. Марксом, И. Д. Сытиным, П. П. Сойкиным, А. Ф. Девриеном, М. В. и С. В. Сабашниковыми, А. И. и И. Н. Гранат.



## НАЧАЛО ПУТИ

Родился Флорентий Федорович Павленков 8 (20) октября 1839 года в Тамбове в дворянской семье. Правда, дворянство ее было не родовым, а служивым. Отцу, Федору Яковлевичу, военному, оно было дано за безупречную службу царю и Отечеству. Дед Флорентия, его прадед и прапрадед, как это явствует из обнаруженного недавно документа, происходили из слободских украинских казаков и служили при полковой канцелярии в Острогожске. Мать Флорентия, Варвара Николаевна (в девичестве Гулевич), была третьей женой Павленкова-старшего. От прежних двух жен у него осталось восемь детей. Да и у Варвары Николаевны были двое сыновей и дочь. Прокормить такое семейство на одно жалованье мужа оказалось делом непростым. Поэтому, когда Флорентию не было и года, его и старшего брата Вадима определили в Тамбовский кадетский корпус. Правда, мать теперь редко общалась со своими первенцами. А они, по достижении десятилетнего возраста, были переведены в 1-й Санкт-Петербургский кадетский корпус на казенный счет. Целое десятилетие предстояло Флорентию провести в этом заведении. Там же, в 1854 году, он узнает о смерти отца в Московском военном госпитале. О судьбе матери ничего неизвестно, скорее всего, она ушла из жизни еще раньше. Так что есть все основания утверждать, что детство и юность Павленкова пронеслись вне семьи, без ее воздействия. Мундир, застегнутый на все пуговицы, строгий распорядок, постоянное пребывание в кругу сверстников — все это сказалось затем на характере юноши, в значительной степени повлияло на его отношение ко всему, что предстояло пережить, укрепило его готовность смело идти на преодоление любых встречавшихся затруднений, не пасовать перед ними, решительно отстаивать свою правоту.

В некрологе по поводу кончины Флорентия Федоровича Владимир Черкасов о павленковских детстве и юношеских годах свидетельствовал так: «Кажется, покойный, не любивший говорить о себе лично, ничего не поведал об этой стороне дела». Но такое утверждение оспаривала писательница Мария Егоровна Селенкина, в доме которой Флорентий Федорович был частым гостем в период своего вятского изгнания. Она утверждала, что Павленков говорил об этом, «говорил и много», в том числе и о своих братьях. «Особенно об одном, у которого и занял он свою

первую тысячу для издательства. Это был его родной брат, сколько помню, человек самый заурядный, что сильно огорчало Павленкова, который слишком живо чувствовал свое душевное одиночество».

...В счастливые дни, когда он, двадцатипятилетний, совершал прогулки с Верой Ивановной Писаревой по Невскому, когда вдвоем было так весело и безмятежно, когда строились заманчивые прожекты грядущего, так внезапно и трагически оборвавшиеся, зашел разговор о необычном имени — Флорентий. Почему родителям пришлось оно по душе?

— По-латыни Florens — значит цветущий. Родительный падеж прямо совпадает: florentis. Возможно, что и маменька Ваша, дорогой Флор, очень любила цветы? — высказала тогда предположение Вера Ивановна.

— Не знаю. Как-то еще в академии мне пришла совсем иная мысль: а не в честь ли святого Флора поименован аз грешный? На Руси ведь чаще всего батюшки нарекают младенцев по имени святых, чьи дни исполняются поблизости обряда крещения. Посмотрел: но нет. День святых Флора и Лавра выпадает на лето, середину августа. Мой же день рождения в октябре...

Из первых двадцати двух лет жизни Павленкова высветлим всего несколько эпизодов, оставивших, несомненно, свой след на формировании его личности.

Кадетский корпус, где Флорентий прошел полный курс, был элитарным военным учебным заведением. Неслучайно, что и сам император нередко навещался туда с инспекторскими проверками, и сыновья его числились кадетами. Преподаватели там были лучшие, весь устав жизни корпуса был нацелен на то, чтобы привить воспитанникам самые отличные качества. Здесь готовились преданные царю и Отечеству будущие офицеры. Обучавшийся более чем за десять лет до Павленкова в 1-м Петербургском кадетском корпусе писатель Николай Лесков в книге «Кадетский монастырь» вспоминал, как их наставники особо были озабочены тем, чтобы привить каждому из кадетов понятия чести и личного достоинства. Он описывает драматическую ситуацию, создавшуюся в корпусе сразу после выступления декабристов на Сенатской площади. «Когда по восставшим ударили из шести орудий, раненые по невшскому льду перебрались к корпусу, и кадеты перевязывали их, оказывали первую помощь, давали еду. На следующий день в корпус прибыл новый император Николай Павлович. Выслушав рапорт директора, генерал-майора М. С. Перского, государь изволил громко сказать:

— Здесь дух нехороший!

— Военный, Ваше Величество, — отвечал полным и спокойным голосом Перский.

— Отсюда Рылеев и Бестужев! — по-прежнему с недовольством сказал император.

— Отсюда Румянцев, Прозоровский, Каменский, Кульнев — все главнокомандующие, и отсюда — Толь, — с тем же неизменным спокойствием возразил, глядя открыто в лицо государя, Перский.

— Они бунтовщиков кормили! — сказал, показав на нас рукою, государь.

— Они так воспитаны, Ваше Величество, драться с неприятелем, но после победы призывать раненых как своих.

Император уехал, не скрывая своего негодования, но кадеты в тот момент получили, пожалуй, самый убедительный урок на тему о том, что такое честь и достоинство и как важно их отстаивать и сохранять в любой обстановке».

Во время пребывания в корпусе Павленкова многое, конечно, претерпело изменения, но следовать лучшим традициям русского офицерства кадетов учили непременно, используя все применявшиеся в то время педагогические приемы, в том числе и розги. Провинившегося Павленкова, как и его однокашников, подвергали несколько раз этому дикому воспитательному воздействию.

До наших дней дошли две характеристики, данные Флорентию ротными командирами в рапортах после свершения таких экзекуций: «Упрям и своенравен; способностей очень хороших; учится весьма прилежно и с большим успехом». И еще: «Своенравен и упрям, взгляд имеет недовольный, учится весьма успешно и с любовью. Способности хорошие». Конечно, было бы трудно предположить, чтобы после того, как пятнадцати-шестнадцатилетнего отрока подвергли столь унижительному наказанию, взгляд у него был бы довольным и заискивающим! А во всем остальном в характеристиках самые лестные оценки взрослому кадету. И действительно, отношением к учебе он выделялся в лучшую сторону среди своих товарищей — награждался подарками по итогам экзаменов в конце года. За прочитанное в присутствии главного начальника военно-учебных заведений генерал-адъютанта Я. Н. Ростовцева патриотическое стихотворение даже приглашался в Зимний дворец и был благодетельствован царским подарком — часами.

Руководство кадетского корпуса после успешного завершения Павленковым учебы охотно рекомендовало своего воспитанника в Михайловскую артиллерийскую академию. Он проявлял склонность к

занятиям естественными науками и наряду с этим не чужд был поэтического творчества, в совершенстве овладел иностранными языками, прежде всего французским. Его увлекали физика и химия, развитие техники. И в то же время Павленков сочинял стихи, живо интересовался историей, политическими событиями, волновавшими в те годы русское общество. Несколько замкнутый по натуре, Павленков уже выработал в себе умение сосредоточиться на чем-то одном, был привычен к самостоятельной работе. Все это позволяло надеяться, что незаурядные способности юноши смогут раскрыться сполна в ходе последующей военно-научной деятельности.

В академии перед Павленковым открывались еще куда более широкие просторы для самообразования, постижения новых идей и мыслей. Военные учебные заведения в то время пользовались репутацией рассадников всего самого нового, передового.

Сошлемся на свидетельство современника Павленкова А. М. Скабичевского, кстати сказать, в последующем одного из ближайших сподвижников издателя. В своей книге «Из воспоминаний о пережитом» он рассказывает о смелом и неожиданном начинании артиллериста В. А. Кремпина, предпринявшего выпуск журнала, целью которого было более широкое вовлечение в общественную жизнь русских девушек, все еще находившихся на обочине бурных событий века. «Развивание девиц, — писал Скабичевский, — не ограничивалось одной устной пропагандой молодых прогрессистов: ему был посвящен даже специальный орган печати — “Рассвет”, ежемесячный журнал для девиц, издававшийся с 1859 года артиллеристом Валерианом Александровичем Кремпиным. Казалось бы, как может прийти мысль наполнять ежемесячно юные головки прогрессивными идеями человеку, по своей специальности обязанному помышлять лишь о пушках и лафетах, но таково было время, что тогда и научные, и литературные сферы в обилии выполнялись питомцами различных специальных военных заведений: стоит только вспомнить такие имена, как Лавров, Шелгунов, Энгельгардт, Михайловский, М. И. Семевский, Павленков, Минаев и пр. Не удивительно, что и Кремпин, тогда еще молодой человек, недавно женившийся, преисполнился прогрессивного жара и вознамерился отдать свой досуг от служебных занятий и маленький капиталчик, которым владел, на духовный “рассвет прекрасного пола”».

В этом отрывке обратим внимание на некоторые из перечисленных фамилий — А. П. Энгельгардт действительно был генералом артиллерии, изобретателем в области артиллерийской техники, П. Л. Лавров —

профессор математики и теоретической механики в Михайловской артиллерийской академии и, наконец, Ф. Ф. Павленков как раз был одним из учеников Лаврова в годы академической учебы.

Флорентий рьяно принялся за изучение артиллерийского дела, его истории, участвовал в экспериментах и исследовательских группах. В «Артиллерийском журнале» (1860 год) опубликовано заключение об осмотре нарезательного станка Санкт-Петербургского арсенала. При этом сообщалось, что оно было одобрено императором. Есть сведения, что в этом исследовании принимал участие и Флорентий Павленков. В том же году оно было издано отдельной брошюрой под названием «О старых нарезных орудиях, хранящихся в СПб-м арсенале».

Во время пребывания в академии Павленков не подавляет в себе и страсти к поэтическому творчеству. В том же 1860 году на страницах журнала «Светоч» публикуется его стихотворение «Дума степняка». Оно обращает на себя внимание не столько литературным мастерством автора, сколько его нескрываемым пафосом неприятия крепостного права.

Нельзя исключить, что такие настроения в юной душе Флорентия Павленкова крепили под воздействием широкого распространения в обществе свободлюбивых идей. В академию попадали и герценовские зарубежные издания. Либеральные идеи передовых людей того времени находили в кругу юных воспитанников академии благодатную почву. Их ловили с жадностью, горячо обсуждали. Каждый слушатель академии мечтал о быстрейшем приложении собственных сил и энергии в их реализации. А. И. Герцен из-за границы отмечал эти отрадные перемены в обществе. «Всюду на Руси, — писал он, — закипает жизнь, везде обнаруживается деятельность, иногда нескладная, но здоровая, молодая и самобытная...» В академии Павленков сближается с преподававшим там полковником П. Л. Лавровым. Будущий виднейший идеолог революционного народничества способствовал формированию у свободлюбивого юноши убеждений, которые и привели его вскоре в лагерь откровенных борцов против деспотизма и реакции. Флорентий, Владимир Черкасов, еще несколько их единомышленников слушали его лекции о современном значении философии, которые Петр Лаврович читал в Пассаже. Уже во время этих лекций начинали понимать, какие смелые идеи им выдвигаются... Сближение Флорентия Павленкова с П. Л. Лавровым не осталось незамеченным и в Третьем отделении. Он попадает под тайный надзор полиции. В секретной справке шефа жандармов М. Н. Мезенцева отмечалось, что Павленков «был сотрудником “Энциклопедического словаря”, издававшегося под редакцией известного

полковника Лаврова, где, однако ж, занятия его не были продолжительны».

Чтение запоем, размышление над прочитанным, общение с преподавателями, друзьями открыли перед молодым Павленковым удивительный мир, поглощавший его целиком своей поистине неисчерпаемостью запасов человеческой мудрости, разнообразием устремлений великих подвижников науки и культуры, живших за многие столетия до него. Может, уже тогда, когда в руках приходилось держать холодный металл снаряда, готовя себя к военной службе, в сознании зарождались мысли, что книга — снаряд куда более сильного действия, но не разрушительного, а созидательного, творящего, облагораживающего душу и сердце.

Веяния времени накладывали свой отпечаток на поиски собственных гражданских ориентиров. В центре внимания печати все чаще оказывалось понятие гласности. Доверительно пересказывалось, что даже Ф. И. Тютчев, открыто исповедовавший консервативные убеждения, в ноябре 1857 года подавал одному из членов Государственного совета записку, в которой содержалось утверждение смелых мыслей: во-первых, что Россия — это корабль, севший на мель, который может быть сдвинут с нее только приливающей волной народной жизни; во-вторых, что Герцен, который в то время уж очень беспокоил правительство, силен не своими социальными «утопическими» учениями, а тем, что его свободная от цензуры газета «Колокол» и есть единственная в стране арена гласности. Тютчев предлагал уничтожить цензуру как таковую. Подобные мысли в тот период звучали и из других уст.

Стало известно и отношение самого Александра II к пониманию гласности. Император присутствовал при споре сторонников противоположных точек зрения в этом вопросе — главноуправляющего путями сообщения Чевкина и министра иностранных дел князя Горчакова. Дискуссия их проходила в декабре 1858 года.

— Жизнь наша — бурное море, — заявлял Чевкин. — Чтобы корабль вернее держался на волнах, нужно как можно более балласта.

— Помилуйте, — возражал князь Горчаков, — из всех кораблей при волнении выбрасывают балласт, чтобы корабль легко шел по волнам, а наш балласт, мешающий легкому ходу, — цензура, и его надо выбросить.

— Недостаточно выбросить балласт, надо уметь войти в пристань.

— Для этого нужен свет с маяка.

— Этого мало, надобно при входе в пристань не наткнуться на подводные камни.

— Какая же это пристань, когда около нее есть подводные камни?

Значит, пристань и маяк не у места. Но чтобы дотолковаться до того, где им быть, и нужно пособие гласности.

Очевидцы утверждали, что при этих словах Александр II встал и дружески пожал руку князю Горчакову, тем самым прямо высказав, на чьей стороне его симпатии.

Но вот другая запись в дневнике цензора Никитенко от 11 марта 1859 года. Там зафиксировано то, что было заявлено ему императором. «Есть стремления, — сказал он, — которые не согласны с видами правительства. Надо их останавливать. Но я не хочу никаких стеснительных мер». Итак, с одной стороны, налицо было у самодержавия желание не стеснять печатное слово, способствовать тому, чтобы горел маяк гласности, но с другой, — нескрываемое намерение поставить его в определенные, не слишком широкие рамки.

Молодой Павленков обрел в академии друга на всю жизнь в лице поручика Кексгольмского гренадерского полка Владимира Черкасова, который, как и он сам, был прикомандирован туда для продолжения курса высших наук. Их объединяло многое: и интерес к естественным наукам (теория Дарвина, прогресс электричества, химические опыты), и бурное течение общественных дискуссий, всколыхнувших тогдашнее общество.

Уже отменено крепостное право, проведены другие реформы... Но можно ли сказать, что общество живет по законам равенства и свободы? Увы, нет... Да и все ли хотят установить в обществе именно такие порядки? Далеко нет. Значит, по законам физики, любое действие будет встречать свое противодействие? Другими словами, предстоит борьба...

Вся эта полоса на стыке пятидесятих и шестидесятих годов и была тем общественным фоном, на котором происходило становление личности молодого Павленкова. В борьбе противоположных течений пробивала себе дорогу независимая мысль, будоража воображение юношества.

Так совпало, что на август 1861 года, когда Флорентий Павленков заканчивал курс в артиллерийской академии, пришлось одно весьма важное назначение. Директором департамента полиции (исполнительной) в Министерстве внутренних дел был назначен граф Д. Н. Толстой. Вот какая обстановка представилась графу в столице при вступлении в должность. «В Петербурге я нашел полное разложение общества, — писал новый страж порядка. — С одной стороны, полнейшее бездействие полиции при крайне малом ее числе... С другой — всесовершенная разнузданность нравов: вопреки закона, определяющего время открытия и закрытия трактиров, харчевен, кабаков и т. п., заведения эти не запирались по целым ночам. Известные в Петербурге шпицбалы не только не скрывали своих

отвратительных оргий, но еще поощрялись полицией. Безнравственность администрации дошла до того, что искали в этих постыдных учреждениях союзников против политических замыслов людей неблагонадежных. Ослепление было так велико, что спасение Отечества видели в его деморализации! При таких обстоятельствах я вступил в управление департаментом полиции».

...При таких обстоятельствах вступал на самостоятельную жизненную дорогу и Флорентий Павленков. Была ли ему известна вся та неприглядная картина, которую рисовал шеф департамента полиции? В полной мере вряд ли. Но о многом знал, конечно. Хотя годы, проведенные в закрытых учебных заведениях, сделали свое: жизнь, со всеми ее радостями и горестями, предстояло еще постигать.

Нужно упомянуть еще об одном факторе, оказавшем на молодого Павленкова, выражаясь по-современному, судьбоносное влияние. На страницах легально издававшегося журнала стал регулярно помещать свои статьи Д. И. Писарев. Появление молодого критика на общественном горизонте не прошло незамеченным. Своим боевым, поистине нетерпимым духом критики он не замедлил всколыхнуть молодые умы. И в том не было ничего удивительного. «Позвольте нам, юношам, — писал Д. И. Писарев в мае 1861 года, — говорить, писать и печатать; позвольте нам встряхивать самородным скептицизмом те залежавшиеся вещи, ту обветшалую рухлядь, которые вы называете общими авторитетами... <...> Вот заключительное слово нашего юного лагеря, — что можно разбить, то и нужно разбивать; что выдержит удар, то годится; что разлетится вдребезги, то хлам; во всяком случае, бей направо и налево, от этого вреда не будет и не может быть».

Эти дерзкие призывы несколько смущали. Какой же силой внутренней убежденности нужно обладать, чтобы с такой категоричностью, столь безапелляционно низвергать авторитеты, заявлять о собственной позиции! Но перечитывая вновь и вновь писаревские строки, звучавшие как своего рода манифест, вдумываясь в смысл его страстной проповеди, обращенной и к нему лично, ко всему его поколению, Флорентий начинал понимать, что трудно иначе, спокойно, без борьбы развеять тот туман духовной апатии, все еще сохраняющийся в обществе. Ведь так важно, чтобы в молодом поколении стали пробуждаться кипящие волны энергии, стремление к знанию, к свету, к деятельности во имя просвещения народа, забитого, угнетенного, лишенного самых элементарных признаков цивилизованности. Писарев покорял своей убежденностью, аргументацией. Прежде всего тем, что звал работать, действовать, не ждать манны



небесной.

И в это же самое время Павленков завершает учебу в академии. Он получает назначение на службу в Киевский военный арсенал по гвардейской конной артиллерии в чине прапорщика. Начинались для юноши испытания реальной, будничной действительностью. Главное, к чему стремился прапорщик Павленков с первых дней пребывания в Киевском арсенале, это — работать усердно, в совершенстве овладеть порученным ему делом. Но иллюзии воспитанника Михайловской артиллерийской академии быстро рассеялись. Интересы большинства сослуживцев по арсеналу замыкались лишь на картах, взятках, сплетнях. А высшие командиры — не лучше. Рвались к лентам, крестам и чинам, были не прочь погреть руки на чем угодно, не брезгуя даже казнокрадством.

Стоило Павленкову появиться в кругу офицеров, как тут же пошли разговоры о том, чтобы по случаю знакомства распить бутылку шампанского. Среди офицеров образовывались складчины. Ночи напролет проводили в картежных компаниях, окутанные облаками табачного дыма, одурманенные обилием выпитого. К чему хорошему мог привести подобный образ жизни? С воспаленными глазами, увлеченные азартом игры, многие из офицеров мало чем напоминали тех настоящих защитников Отечества, с великими помыслами о служении народу, о которых мечталось в недавнюю бытность академической учебы. Здесь же все разительно противоречило тем идеалам, которые закладывали в душах своих воспитанников П. Л. Лавров и другие наставники. Среди офицеров арсенала распространялись самые нелепые слухи. Солдат не стеснялись ругать «собаками», кое-кто гордился тем, что колотил их по зубам...

Должность заведующего водоснабжением арсенальных мастерских Павленкову дали не сразу. Прибывший чуть позднее туда же Владимир Черкасов утверждал, что Флорентий весьма скоро убедился, что значительная экономия от расходуемых на действие водопровода материалов (главным образом дров) по установившемуся исстари обычаю не записывается на приход в пользу казны, а поступает в безотчетное распоряжение командира арсенала, который часть своих доходов распределял между пособниками. «Убедившись, что такие же злоупотребления, но в более широких размерах, практикуются и во всех других арсенальных мастерских и что заведующие ими молодые офицеры (Дм. Конст. Квитко, Ант. Анар. Шевченко) точно так же возмущены укоренившимся казнокрадством и, располагая собранными ими уликами, охотно присоединяются к общему делу обвинения казнокрадов, Павленков и два его товарища подали формально о том заявлении инспектировавшему

арсенал генералу Маникину-Неустроеву».

Конфликт с непосредственным воинским начальством, покрывавшим казнокрадов, беззастенчиво попиравшим любые нравственные нормы, невозможность доказать явную несправедливость — все это оказало удручающее воздействие на впечатлительного юношу. Еще несколько лет назад в академии он писал восторженные стихи, посвященные императору, а тут вдруг выяснилось, что служить честно, верой и правдой царю и Отечеству просто невозможно.

В. Черкасов появился в арсенале, как уже говорилось, позднее. Ему тоже поручили заведовать мастерскими. Он вскоре также смог воочию убедиться, что друг его со своими товарищами не сгущает красок. Позднее Черкасов будет поддерживать Павленкова в его борьбе с казнокрадством. Но тогда были они еще очень наивными и малоопытными людьми. В. Черкасов вспоминал, что они с Павленковым, конечно, не знали, что, по существовавшему в те времена нравам и обычаям, инспектирование генералов сводилось, собственно, к получению ими ежегодной дани с инспектируемых ими учреждений. Генерал, прежде всего, потратил немало времени, уговаривая Павленкова и его товарищей взять свои заявления назад, откровенно заявляя, что ничего хорошего из этого не выйдет и только им будет плохо, и когда убедился в твердом намерении Павленкова отстаивать и доказывать правоту своих заявлений, то распорядился перевести его в Брянск, куда тот и вынужден был отправиться в середине октября 1863 года.

Справедливости ради нужно сказать, что не одними неприятностями по службе была заполнена жизнь друзей в Киеве. Часто собирались на чаепития офицеры-сослуживцы в их совместной с Черкасовым квартире, где обсуждались последние публикации в том или ином журнале. Всех их влекли новые веяния, зреющие в обществе. Они впитывали все, что появлялось тогда в литературе. Сколько дискуссий вызвали хотя бы опубликованные «Отцы и дети» И. С. Тургенева!

Как-то в очередном номере «Московских ведомостей» вслух читали статью о полувековом юбилее освобождения Москвы от войск Наполеона. Вспомнили, как еще в академии увлекались сочинением Николая Любенкова «Рассказ артиллериста о деле Бородинском» и «Походными записками артиллериста с 1812 по 1816 год артиллерии подполковника И. Раожицкого». А с каким волнующим чувством восхищения слушали тогда воспоминания наставников-педагогов о подвигах артиллеристов в сражении с французами под Бородином! И не раз тогда по вечерам в мечтательных грезах представлял себя каждый именно там, в самом пекле,

среди смелых и бесстрашных пушкарей, которыми командовал почти что их ровесник — легендарный Раевский.

Приходили к киевским офицерам-артиллеристам и тревожные вести. Крестьянские волнения по империи исчислялись после царского манифеста от 19 февраля 1861 года не десятками, а сотнями. Усилились студенческие волнения. На квартире у В. Черкасова и Ф. Павленкова читали смелые высказывания выдающихся современников. Известный хирург и педагог Н. И. Пирогов писал в начале 1862 года, что учебные заведения могут «служить правительству барометрами, указывающими большее или меньшее давление воздуха». Дошла до Киева и прокламация «Молодая Россия», появившаяся в Петербурге в 1862 году. Стало известно также, что в июле 1862 года был арестован Н. Г. Чернышевский и заключен в Алексеевский рavelин Петропавловской крепости.

Чувствовалось, что волны общественного возбуждения постепенно идут на убыль. В журнале, который попал в те дни в руки Флорентия Павленкова, он вычитал в статье одного французского общественного деятеля о том, как еще в 1858 году император Александр II, обнаружив в представленной ему записке слово, «...состоящее в противоречии с прогрессом гражданственности», против этого места написал: «Что за прогресс!!! Прошу слова этого не употреблять в официальных бумагах». Да, постепенно не только слово, но сам дух этого понятия начинает вытравляться. А как же без прогресса?

Еще до перевода в Брянск Флорентия Павленкова произвели в подпоручики. Но отношение к нему среди командиров оставалось не лучшим. Его и упрекали, и осыпали бранью, не останавливались перед угрозами. Но молодой офицер был непоколебим. Следствие по заявлению Павленкова и его товарищей вел генерал Олохов, все усилия которого были направлены лишь на то, чтобы выгородить командира. Это даже не скрывалось.

Именно в это время в поле зрения Павленкова попадает фотография. Искусство светописы, открытое в 1839 году французским художником Луи Жаком Дагером, поразило воображение, очевидно, оттого, что оно как бы сплавило воедино его любимые физику и химию. Изображение получалось ведь при помощи света, под воздействием которого изменялись свойства множества веществ. Два процесса — негативный и позитивный — лежали в основе фотографии, а какие неограниченные возможности открывало это, казалось бы, простое изобретение для человеческой цивилизации! Отныне можно передать не просто описание, но идентичное изображение того или иного предмета, прежде всего человеческой

личности.

Новое увлечение захватило Флорентия надолго. Будучи натурой деятельной, он не хотел ограничиваться лишь тем, что сам освоил это непростое искусство. Надо его пропагандировать, важно, чтобы к нему приобщались многие в обществе. Оно же несет в себе радость восприятия природы, красоты! Как еще можно сохранить поразившее мгновение, как сберечь его в своей памяти, если не запечатлеть на светочувствительной пластине? И вот уже в петербургский журнал «Фотограф» из Киева направляется Павленковым статья «Искусство и фотография», которую охотно публикуют. В 1863 году он выпускает книгу «Собрание формул для фотографии Е. Бертрана». Сам осуществил ее перевод. Сам же дебютировал и как издатель. На книге так и значилось: «Перевел и издал Ф. Павленков». Ее и можно считать началом книгоиздательской деятельности Ф. Ф. Павленкова. То было первое самостоятельно выпущенное им издание. А тридцать лет спустя, в 1893 году, издавая биографическую библиотеку «Жизнь замечательных людей», одну из двухсот книжек в ней он посвятит жизнеописанию Луи Жака Дагера и Никифора Ниэпса, их открытию в связи с историей развития фотографии. Но это будет потом...

Сейчас же радость от выхода первой книги была омрачена, как уже говорилось, неожиданной отправкой в Брянский арсенал. На новом месте Павленков оставался не у дел. Ему велели ждать решения комиссии. Так продолжалось более года.

Чем же были заняты эти месяцы у Павленкова? Не мог же он позволить себе предаваться бесславному времяпрепровождению — в картежных баталиях, которые и в Брянском арсенале, как и в Киеве, процветали в среде его коллег по службе? Сходиться близко ни с кем Флорентий на новом месте не стал. А все свободные часы посвящал напряженнейшей работе над завершением перевода огромного труда. Как-то в бытность в Киеве они с Черкасовым завели разговор о призвании, о деле, к которому можно было бы приложить с наибольшей пользой свои силы, знания, энергию. И как часто бывало, вновь авторитетный совет получили от того, кем особенно увлекались в то время — от Д. И. Писарева. «Популяризирование науки составляет самую важную всемирную задачу нашего века, — писал тот в одной из своих статей. — Хороший популяризатор, особенно у нас в России, может принести обществу гораздо больше пользы, чем даровитый исследователь. Исследований и открытий в европейской науке набралось очень много. В высших сферах умственной аристократии лежит огромная масса идей, надо теперь все эти идеи сдвинуть с места, надо разменять их на мелкую монету

и пустить их в общее обращение».

— А что если сейчас, не откладывая дело в долгий ящик, попытаться ответить на этот призыв? Для скорейшего развития страны важно возвращать силы, способные взять на себя эту нелегкую ношу — работать во имя расцвета отечественной науки и техники, без которых невозможно избавиться от вековой отсталости. Трудиться во имя блага народа, Отчизны — вот путь, который должен избрать каждый ее гражданин. Если пока не хватает трудов по естествознанию своих авторов, не беда. Надо переводить и распространять в популярном изложении книги европейских мыслителей и ученых. Главное — действовать, не ожидать, что за это возьмется кто-либо другой, не надеяться на то, что как-то все образуется само собой. Прежде всего, важно точно выбрать книгу для перевода, чтобы она была нужна и педагогам гимназий, и каждому, кто ощущает острейший дефицит подобного рода литературы.

Вскоре после того разговора с Черкасовым в библиографическом отделе одного из журналов Флорентий вычитал сообщение о выходе во Франции очередного выпуска книги А. Гано «Полный курс физики». За обедом поделился своими раздумьями с другом. Тот вначале скептически отнесся к высказанной идее. Но Флорентию возражения только придали энергии. Он уже во время ночных бдений в мечтах летал далече: ему виделось, как многие молодые люди, и не только в столицах, но и в других городах, учителя, инженеры внимательно рассматривают издание, изучают рисунки.

Теперь ему предстояло убедить своего друга-скептика, оппонента, заставить его не упорствовать в своих сомнениях, увлечь его, втянуть в общее практическое начинание. Этим искусством Флорентий владел в совершенстве. Его логика речи, его страстность производили магическое впечатление на слушателей. Так было и теперь. Черкасов вскоре не только отказался от своих сомнений, но и согласился сам участвовать в переводе.

Россия после отмены крепостного права рвалась к промышленному прогрессу, и молодые люди жаждали приложить свои силы именно к практическим делам. Но не хватало еще многого, в том числе и самой современной научно-технической литературы. Труд А. Гано, ставший по праву отправной точкой всего грандиозного павленковского издательского начинания, оценивался им провидчески точно. «При положительной бедности нашей в хороших более или менее полных и в то же время дешевых руководствах по физике, — писал он в предисловии к переводу, — мы имеем фактическое основание полагать, что издаваемый нами курс Гано, разошедшийся во Франции в количестве ста восьми тысяч

экземпляров, встретит и у нас сочувствие и поддержку занимающейся и учащейся публики. Что курс этот далеко не специальный, что он не страдает столь страшною для многих сухостью, уже прямо следует из самой цифры его расхода. Специальная, сухая книга не может найти себе такого громадного сбыта. Вот почему можно смело сказать, что книга эта одинаково годна как для учебного руководства, так и для серьезного чтения».

Флорентий Павленков в своем предисловии к труду А. Гано информирует читателя, что в нем помещены 730 иллюстраций (политипажей), 100 практических задач. К курсу также прилагаются хромолитографический рисунок пяти спектров и статья о простых машинах.

Показательно, что издатель придавал большое значение и оформлению издания. «Внешняя сторона книги видна», — отмечает он. И с гордостью добавляет: «Едва ли русское издание уступит французскому». Ф. Павленков считает нужным проинформировать читателя и о том, что было предпринято для обеспечения высокой культуры издания. «Мы выписали из Парижа для политипажей гальванопластические клише, приготовлявшиеся под непосредственным наблюдением самого г. Гано».

Издателя заботит и такой аспект. Он просит читателя не смешивать выпущенное им издание, а именно «Полный курс физики» Гано с выпущенной в Одессе другой книгой этого же автора — «Практическим курсом физики», который пригоден только для элементарных училищ и женских учебных заведений, в то время как «Полный курс» по объему содержащихся в нем сведений может быть полезен как гимназистам, так и студентам университета.

Перевод продвигался быстро. А вот средств у молодых энтузиастов не хватало. Кроме расходов на печать и бумагу нужны были деньги, чтобы выписать из Парижа клише для рисунков, да и А. Гано предстояло уплатить круглую сумму за право перевода.

Поэтому в очередной приезд в Петербург Ф. Павленков решает поискать поддержки в книжном магазине Я. Исакова. Однако не тут-то было. Не только поддержки там не встретил, но столкнулся с попыткой бесовестного надувательства, явного грабежа. Перевод Гано был настолько обесценен предприимчивым держателем магазина, что его авторы получили бы менее десяти рублей за печатный лист. Причем перевод переходил бы в полную собственность владельца магазина. Нет, этому не бывать! При типографии М. А. Куколь-Яснопольского Павленков и Черкасов заручились предварительно небольшим кредитом.

Обратился Ф. Павленков за помощью и к своему брату. Полученной от него тысячей рублей, а также кредитом издателя распорядились как нельзя более удачно. А М. А. Куколь-Яснопольский дал еще и такой дельный совет: открыть предварительную подписку на издание физики. Пусть она будет выходить отдельными выпусками. Это и дешевле, и, что особенно важно, поможет покрывать все новые расходы за уже реальные, вырученные от продажи первых выпусков деньги.

Так и поступили. Первый выпуск физики Гано вышел уже в начале 1864 года, а в мае 1866 года издание было завершено целиком. Выпущено было четыре тысячи экземпляров, которые, как и предполагал Флорентий Павленков, к лету 1867 года были полностью распроданы. Так появился реальный ресурс для всей последующей издательской деятельности.

Однако не станем опережать событий. В середине декабря 1864 года Павленкова вновь переводят из Брянска в Киев якобы для ускорения рассмотрения дела. Правда, на черепашьи темпы ведения следствия это вовсе никак не повлияло. Подпоручик Павленков оставался предоставленным самому себе, его не донимали допросами, но, с другой стороны, устранили от исполнения каких-либо служебных обязанностей. Флорентий подавал просьбу за просьбой, но безрезультатно. Лишь потом им с Черкасовым прояснился истинный смысл такой меры: нужно было устранить любую возможность для строптивного офицера обнаруживать новые факты для подкрепления сделанных ранее обвинений.

Так или иначе, а молодой человек, стремящийся к активной деятельности, оказался отстраненным от дел. Слабые в такой ситуации и выказывают слабость. Но не к их числу принадлежал Павленков.

Он настойчиво ищет пути применения своих знаний, своих способностей. Рассылает в редакции газет письма с предложением собственных переводов из зарубежных изданий. Из редакции газеты «Голос» ему пришел ответ от А. И. Бруннера: «Павленкову. Милостивый государь Флорентий Федорович! Вследствие предложения Вашего от 2 ноября сообщать в газету «Голос» краткие известия об наиболее интересных вещах, публикуемых в продаваемых иностранных журналах, Вами поименованных, редакция имеет честь уведомить, что она с благодарностью принимает Ваше предложение, просит только доставлять сведения популярные, а не специальные, так как читатели «Голоса» интересуются статьями более популярными, нежели специальными. Что же касается вознаграждения, то редакция всем своим сотрудникам и корреспондентам платит от 3 до 4 коп. за печатную строку, заключающую в себе около 34-х букв. На том основании и Вам она может предложить

только 4 коп. серебром за строчку обыкновенного и мелкого шрифта».

Пробует свои силы Флорентий Павленков и в журналистике. Уже упоминались его публикации в «Артиллерийском журнале» и в «Фотографе». Появлялись его корреспонденции, статьи по военному делу и по технологии в «Журнале мануфактур и торговли», «Светоче», «Общезанимательном вестнике», «Русском инвалиде», «Современном слове» и других изданиях.

Самый большой сюрприз, который подготовил ему ко времени возвращения из Брянска друг Вольдемар, это... женитьба. Выбор Черкасова оказался прекрасен. Более душевного и тонкого существа найти было трудно. Черкасовы настояли, чтобы Флорентий поселился вместе с ними, в той же самой квартире, где они жили до Брянска. Квартира просторная, раньше она казалась холодной и неудобной. Теперь же на чаепития к Черкасовым и Павленкову стали чаще собираться друзья-сослуживцы.

В одну из таких встреч и поделился Флорентий своим замыслом. Он намерен написать книгу. Как иначе рассказать открыто обо всей той мерзости и дикости, с которыми пришлось столкнуться лицом к лицу в арсеналах? Жалобы в высшие инстанции, как явствует из бесед с генералом Олоховым, бесполезны. Писать в журналы? Но это равносильно тому, что придется оставлять службу. А что, если попытаться написать и издать своеобразный научный трактат? Допустим, о судах офицерской чести. Прошло два года, как их ввел в строевых частях военный министр. Они, может быть, в чем-то и лучше прусских судов чести (Ehrengerichte), но в другом — еще более куцыми правами обладают. И все же... они действуют, они живут... они должны развиваться... Да-да, развиваться, а, следовательно, о чем мы говорим в нашем узком кругу, можно высказать более широкой публике под предлогом усовершенствования судов общества офицеров.

Гарантий на сто процентов, что все это удастся осуществить, нет. Но почему не попробовать? Сперва следует собрать все, что имеется из литературы по данной теме. Само «Положение», учрежденное приказом министра 6 июля 1863 года, найти будет не так трудно. Наверное, и положение о прусских судах чести отыщется.

С юных лет у Флорентия Павленкова крепло убеждение: раз для осуществления какой-либо благовидной идеи требуется приложить определенные усилия, то, не откладывая, нужно приниматься за дело. Искать, добиваться, писать. Другими словами, работать.

Вот и сейчас, спустя несколько дней, ему удалось в Киеве разыскать все постановления о печати. Читал сосредоточенно. А это вот положение,



содержащееся в новых законодательных актах о печати, даже выписал. Вдруг окажется полезным! «Не вменяется в преступление и не подвергается наказанию обсуждение, как отдельных законов и целого законодательства, так и распубликованных правительственных распоряжений, если в напечатанной статье не заключаются возбуждения к неповиновению законам, не оспаривается обязательная их сила и нет выражений, оскорбительных для установлений властей».

«Но я и не буду трогать власти, — решает Павленков. — Мне хочется взывать к совести, к разуму. Причем одних только офицеров. Да и не все законы стану обсуждать. Всего лишь один — о судах чести, как их именуют в Пруссии.

Не так давно, помнится, что-то промелькнуло в журналах об этих судах. Постой, где же это? А не в “Отечественных записках”? Большая такая публикация...»

Через некоторое время Павленков, сидя за письменным столом, уже открывал третий номер «Отечественных записок» за 1863 год. В пространной статье г-на Фалецкого «Прусские суды чести. Возможны ли они у нас?» подробно цитировались все постановления, определяющие порядок действия прусских судов чести.

Вот и представляется возможность сопоставить наши суды общества офицеров с прусскими. Можно будет прямо указать, где и что не так. Мы и не будем порицать наших порядков, а лишь порассуждаем как бы на отвлеченные темы. По ходу можно будет сказать о многом...

В брошюре «Наши офицерские суды, их несостоятельность. Примеры. Необходимость дополнений и изменений» Ф. Павленков и высказывает немало мыслей, которые, казалось бы, относятся к характеристике прусских порядков, но одновременно, обладая огромною обобщающею силой, заставляют задуматься о состоянии дел в собственной стране. «Чем обширнее власть, тем она более должна быть ограждена гарантиями в справедливом и законном ею пользовании; тем менее должно быть в ней произвола и более разборчивости», — подчеркивает автор брошюры.

Называя опасные симптомы в Пруссии, автор стремится донести их суть до сознания и соотечественников, дабы каждый из них смог поразмышлять о положении дел у себя в стране, в своей воинской части, в своем учреждении, смог соотнести всю эту мерзость с нашими общими проблемами. Неужели настанет время, когда само понятие «честь» ничего не будет значить для офицера, гражданина? Когда он легко, без малейших мучений совести сможет сказать на «белое» — «черное», давать клятву в заведомо ложном? Что же произойдет с обществом?!

Этими вопросами задавались в те годы многие честные люди России. Современник событий П. А. Кропоткин в своих «Записках» свидетельствовал: «В это время развивалось сильное движение среди русской интеллигентной молодежи. Крепостное право было отменено. Но два с половиной века существования его породило целый мир привычек и обычаев, созданных рабством. Тут было презрение к человеческой личности, деспотизм отцов, лицемерное подчинение со стороны жен, дочерей и сыновей. В начале XIX века бытовой деспотизм царил во всей Западной Европе. Массу примеров дали Теккереи и Диккенс, но нигде он не расцвел таким пышным цветом, как в России. Вся русская жизнь: в семье, в отношениях начальника к подчиненному, офицера к солдату, хозяина к работнику — была проникнута им. Создался целый мир привычек, обычаев, способов мышления, предрассудков и нравственной трусости, выросшей на почве безделья. Даже лучшие люди того времени отдали широкую дань этим нравам крепостного права. Против них закон был бессилён. Лишь сильное общественное движение, которое нанесло бы удар самому корню зла, могло бы преобразовать привычки и обычаи повседневной жизни. И в России это движение — борьба за индивидуальность — приняло гораздо более мощный характер и стало более беспощадно в своем отрицании, чем где бы то ни было. Тургенев в своей повести «Отцы и дети» назвал его «нигилизмом»».

Павленков, берясь за разоблачительную книгу нравов, царящих в армии, среди офицеров, непосредственно включался в общее движение. Оно не было никем организовано, но в том и заключалась сила его. Ибо каждый действовал, каждый стремился что-то коренным образом изменить в существующем порядке вещей. Именно такая общественная заданность и побуждала Павленкова к работе над брошюрой...

Нельзя не обратить внимания на тот факт, что это, пожалуй, единственная большая авторская работа Павленкова. Она позволяет судить и о стилевой манере повествования, и об аргументированности выводов и посылок, и о популяризаторском мастерстве. Павленков привлекает в доказательство выдвинутых положений не только материалы современной периодики о конкретных фактах злоупотреблений, пренебрежения кодексом чести образованного человека, но и примеры из художественных произведений, увидевших свет в те годы.

Настаивая на необходимости распространения положения о судах общества офицеров и на военные хозяйственные учреждения (госпитали, арсеналы), Павленков предостерегает, что в этих заведениях ситуация складывается нередко не в пользу честности и объективности. Суды здесь

могут и не дать желаемого результата, поскольку болезнь приобрела такие масштабы, разложение зашло так далеко, что суды общества служащих там офицеров, большинство которых сопричастно к злоупотреблениям, к казнокрадству, не смогли бы ни в коей мере привести к торжеству справедливости. Это Павленков пишет со знанием положения дел в своем арсенале. Но разве на этом основании можно делать вывод, что вообще борьба со злом бесполезна?

«Мы и не думаем, — продолжает развивать свои мысли Павленков, — что предлагаемая нами мера (о разрешении образования судов общества офицеров в воинских хозяйственных заведениях. — В. Д.) могла бы принести результаты сразу... Нет, она будет действовать и влиять не вдруг, польза от нее станет очевидной только по прошествии значительного времени, в силу она будет входить постепенно, туго, медленно, с большим трудом, но верно, твердой поступью, безостановочно... Неужели же из-за одного того, что лекарство должно исцелять годами, а не неделями и часами, следует отказать больному в помощи, тогда как другого более скорого средства еще не имеется? Мы полагаем, что до установления устного и гласного суда только этим путем можно возвысить нравственный уровень наших хозяйственных учреждений и внести в них свежую струю честной самодеятельности.

Теперь же борьба честных стремлений с предосудительными решительно невозможна и всегда должна оканчиваться “Обыкновенной историей” Гончарова. Протестующее лицо испытывает на себе все неудобства одиночества, все невыгоды своего “идеальничанья”. Человек прежде твердый, бодрый, непоколебимый, начинает делать уступки окружающим его господам, смотрит снисходительно на их проделки, перестает волноваться несправедливостью, меняет свой взгляд, вступает в общую колею...»

Павленков включает в свой текст фрагмент статьи из журнала «Современник», автор которой передает трагедию личности человека, неминуемо вынужденного деградировать, столкнувшись с непреодолимой стеной общественной несправедливости. «Раз попавши на этот путь, уже трудно с него своротить, если не изменится личное положение. Всякий, кто способен живо представить себе безвыходное положение чиновника, нуждающегося в службе, непременно убедится, что необходимы чрезвычайные нравственные силы, чтобы противостоять этому общему течению, и что ни один истинно честный человек, сознающий действительное положение вещей и умеющий ставить себя в воображении на место других, не поручится сознательно за самого себя в удачном

выходе из подобного испытания. В этой тайной подземной борьбе со всею окружающей средою мало того геройства, которое способно подвинуть воина на разные чудеса храбрости. В открытом сражении воин чувствует себя сильным, потому что идет с тысячами товарищей. В этом открытом всенародном риске есть много увлекательного. Он продолжается немного времени и неминуемо влечет за собой громкую славу, тогда как идти назад совершенно невозможно. На подобные действия достаёт у многих физических сил и нравственной энергии. Напротив, в темной канцелярской борьбе со всею окружающей средою, или, по крайней мере, с значительным большинством ее, боец является совершенно одиноким. Он ежечасно и ежеминутно рискует потерять последний кусок хлеба для себя и для всех близких и не может рассчитывать на победу. Народ справедливо говорит: «Один в поле не воин». Всякое должностное лицо, выступающее на такой бой, очень хорошо понимает, что одному всех победить нельзя и что энергичное исполнение им своих обязанностей, в противность заведенной рутине и выгодам большинства из его собратий, необходимо влечет его к падению самому бесславному и не приносящему с собою никакого утешения, кроме внутреннего довольства. Поэтому для подобной борьбы годятся одни только сильно развитые высокие натуры, которые попадаютя весьма редко и представляют явления, совершенно выходящие из обыкновенного порядка вещей. Но и эти исключительные, сильные натуры, при отсутствии всякого самостоятельного положения могут только бороться, но не побеждать. Само собою разумеется, что без силы ничего нельзя сделать. От этого борьба подобных личностей принимает вид крайнего безрассудства и вызывает лишь улыбку сожаления».

Нельзя не сознаться, что читать подобные строки очень грустно, замечает Павленков, но едва ли можно назвать их несправедливыми? Всякий согласится, что это чистейшая правда, но несомненно также и то, что лица, выступающие вперед единственно из сознания своего долга, заслуживают лучшей участи и что не они должны быть понижены до общества, а общество возвышено до них. А для этого необходимо дать их вполне полезным и достойным уважения стремлениям законный и верный исход.

Возвращаясь к судам общества офицеров, Павленков предлагает, чтобы положение о них было дополнено целым рядом условий, гарантирующих возможность отстаивать позицию честного человека против тех, кто стремится ее попираť любыми средствами. Все спорные вопросы, возникающие в военных хозяйственных учреждениях, следует передавать не на усмотрение ближайшего местного начальства, а избирать

в качестве арбитра постороннее звено, а именно центральные офицерские суды. Важно предоставить человеку, не поддержанному судом общества офицеров, право апеллирования в вышестоящую инстанцию, которой опять же должны стать вновь образуемые центральные офицерские суды, которые бы имели кассационное значение. Другими словами, в их правах жалобу на решение суда общества офицеров или оставить без последствий, что равнозначно вступлению приговора в силу, или уважить, то есть приговор отменить и дело передать на вторичное рассмотрение другому суду. Такие суды кассацией несправедливых решений, убежден Павленков, «постоянно бы вносили в затхлые части наших войск свежую струю разумных взглядов и были бы будильниками для тех слабых личностей», которые, попавши в общий водоворот узкого и ограниченного понимания вещей, не имеют силы бороться и принуждены бывают поневоле уступать требованиям большинства. Безапелляционность же приговоров суда общества офицеров послужила бы причиной если не понижения, то сильного застоя нравственных и умственных сил военного сословия. Между офицерами водворился бы полнейший деспотизм кружка над лицом.

Какой-то мудрый человек заметил, что всегда в памяти окружающих остается мысль, высказанная в самый последний момент. Что ж, возможно, он и прав. Во избежание недоразумений, чтобы кому-либо не показались его мысли претензией на изложение собственных манифестов, в конце брошюры Павленков вновь подчеркивает, что это всего лишь рассуждения по поводу толкования одного из действующих нормативных документов, его усовершенствования. Не более того...

«В заключение, — пишет издатель, — мы позволим себе обратиться к гг. офицерам с просьбой сообщить нам письменно о более или менее интересных фактах, возникающих из приложения офицерских судов к практике. Адрес нижеследующий: в типографию, на улицу Малой Мещанской и Столярного переулка, для передачи Флорентию Федоровичу Павленкову. Всякое сообщение будет принято нами с живейшею благодарностью».

Этот прием общения с читателем, выяснения его мнения, его запросов Павленков будет применять постоянно на протяжении всего периода издательской деятельности.

Летом 1865 года Флорентий Павленков, которого к тому времени, несмотря на следственные комиссии, произвели уже в поручики, вновь заявил претензию на инспекторском смотре с жалобой на командира арсенала, не допуская его к извлечению из дел арсенала сведений,

относящихся до производимого следствия, и устранившего его от исполнения каких-либо служебных обязанностей. Последствием этой жалобы, вспоминает В. Черкасов, было распоряжение начальства отправить Павленкова обратно в Брянск и выдержать его в течение двух недель под арестом.

## ВЫБОР ДЕЛА ЖИЗНИ

Итак, за разоблачение откровенного мошенничества мне благосклонно уготована участь проводить время на гауптвахте в Брянском арсенале... Что же дальше? Можно ли после всего пережитого связывать свою судьбу с военной службой? Скорее всего, для таких беспокойных людей, как я, военная служба противопоказана. При существующих порядках вряд ли там представится возможность реализовать себя. Это теперь ясно. Тешить себя надеждами бесполезно. Значит, предстоит порывать с артиллерийским ведомством. Порывать окончательно и без колебаний.

Что если попробовать силы на педагогической работе? Тем более, подвернулся, кажется, весьма приемлемый вариант: при 2-й С.-Петербургской военной гимназии как раз учреждаются педагогические курсы.

Попытал счастье, подал прошение, но безуспешно. Заявление якобы подано с опозданием... И тогда у Флорентия Павленкова созревает решение: издание книг — вот, очевидно, то подлинное его призвание, вот где можно на деле осуществить мечту Писарева — работать во имя пользы народной.

Возможно, причиной того, что молодого Павленкова увлекло издательское дело, послужил опыт работы над подготовкой «Собрания формул для фотографии Е. Бертрана», брошюры «Наши офицерские суды», а также выходящего именно в те дни переводного «Полного курса физики» А. Гано. Трудно сказать, что сыграло решающую роль.

В конце 1865 года Флорентий Павленков приезжает в Санкт-Петербург. Ему тут же приходится включаться в жесткий производственный процесс, ибо своевременный выход «Физики» Гано мог бы сорваться. К этому времени из трех намеченных выпусков книги читатели получили лишь половину. Важно было обеспечить бесперебойное поступление заказанных в Париже рисунков, без задержки улаживать все возникающие вопросы в типографии. Флорентий с головой окунулся во все эти хлопоты, работал энергично, с увлечением. И возникшее ранее решение об увольнении со службы укрепляется: он должен уйти в отставку. Книгоиздательство отныне становится главной целью его жизни.

Вот как оценивал позднее такого рода решения своих современников один из идейных вдохновителей шестидесятников Н. В. Шелгунов: «Мы —

современники этого перелома, стремясь к личной и общественной свободе и работая только для нее, конечно, не имели времени думать, делаем ли мы что-нибудь великое или невеликое. Мы просто стремились к простору, и каждый освобождался, где и как он мог... Хотя работа эта была, по-видимому, мелкая, так сказать, единоличная, потому что каждый действовал за свой страх и за себя, но именно от этого общественное движение оказывалось сильнее, неудержимее, стихийнее. Идея свободы, охватившая всех, проникла повсюду, и совершалось действительно что-то небывалое и невиданное. Офицеры выходили в отставку, чтобы завести лавочку или магазин белья, чтобы открыть книжную торговлю, заняться издательством или основать журнал...»

Нетрудно уловить, что в выстроенном автором воспоминаний ряду подразумевается, несомненно, и Ф. Ф. Павленков. В поступках тех, кого впоследствии причислят к шестидесятникам, этих людей особой когорты, было бы несправедливым искать хоть малейший налет жертвенности. Новое дело они избирали в соответствии с принципами, убеждениями, искренне веря, что как раз на данном месте и смогут больше всего приносить пользы народу. И Павленков приходил в книгоиздание не корысти ради, а потому, что видел здесь реальную трибуну, через посредство которой можно будет разговаривать с широчайшими слоями общества, нести в народные массы свет знаний, выполнять свою просветительскую миссию. Тем более что в тот период ощущалось повсеместно всеобщее стремление к образованию, к умственной деятельности.

Каждый капитан, готовясь отправиться в кругосветное путешествие, должен загодя все взвесить, предусмотреть, предупредить. Немало передумал и Флорентий Павленков. То, что с «Физикой» А. Гано было попадание в десятку, это бесспорно. А завтра на что стоит ориентироваться? К какому изданию публика потянется охотно в будущем году? Удастся ли выдержать конкуренцию с теми, кто имеет уже прочное дело, в кого поверил читатель? Да и капиталы у кого не заемные, а свои?

Чтобы прочно войти в издательский круг, надо решительно заявить о себе, заставить всех с тобой считаться. Вспомнилось одно заявление Д. И. Писарева о юношеской партии. Какими смелыми были его слова, до дерзости! Свое мировоззрение последовательного демократа Флорентий Павленков вырабатывал под воздействием идей Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова и особенно Писарева. Начало армейской карьеры в Киеве совпало с первыми публикациями статей этого выдающегося публициста.

Но неверно было бы представлять влюбленность Павленкова в своего



кумира таким образом, что он готов был последовать за ним, куда бы тот ни позвал. Павленков уже выработал собственные представления о многих сторонах жизни, и далеко не все, о чем писал Д. И. Писарев, совпадало с его взглядами. Прочитав в «Русском слове» за 1861 год статью молодого критика «Схоластика XIX века», где высмеивались народнические стремления тогдашней передовой литературы, выказывалось отрицательное отношение к насаждению грамотности, к изданию книжек для народа, Флорентий скептически воспринял авторскую позицию. Но это все частности. Важнее было другое. В не столь далекие времена киевской службы, на фоне повседневного грубого солдафонства, коррупции и казнокрадства, они с Черкасовым с нетерпением ожидали счастливых минут общения с Писаревым как с настоящим провозвестником нового, пока еще грядущего образа жизни... Получив новую книжку «Русского слова» и увидев там очередную статью Писарева, тут же принимались за чтение.

Наблюдая вокруг себя сплошную мерзость, гнет, подлость, грозящие, как писал один современник, поглотить человека, осадить, убить в нем все человеческое, Павленков со всем увлечением молодости, как и многие из его поколения, воспринимал всякое резкое отрицание, всякое негодование, всякое требование простора правды. Именно тем и был близок ему и его друзьям разрушительный писаревский пафос против бытовых традиций и предрассудков, против эстетики и даже искусства. Возможно, причиной тому служил математический склад ума, но Флорентию Павленкову по душе пришлось писаревская проповедь естествознания, которое представлялось лучшим тараном для разрушения всякого мистицизма, всякой метафизики.

В один из таких вечеров и зародилась идея: что, если собрать и выпустить отдельным изданием все писаревские статьи? Ведь публике, особенно той, которая живет вдалеке от столиц, очень непросто уследить за всем разбросанным по разным изданиям творческим наследием публициста.

Только окинув одним взглядом всю его деятельность, можно с достаточным основанием определить то место, которое ему придется занимать в истории нашего общественного развития. Только разобрав всю его деятельность, можно определенно сказать, что такое Писарев: просто ли это талантливый и даровитый журналист или же учитель, которому суждено научить нас смотреть на несколько шагов вперед? Просто ли он первый сотрудник «Русского слова» или могучий боец, идущий на смену Белинскому, Добролюбову и Чернышевскому?

А что если и попытаться сейчас осуществить эту свою давнишнюю мечту? Во всеуслышание сказать: намерен издавать собрание сочинений Д. И. Писарева.

Конечно, это вызовет самую противоречивую реакцию в обществе. К тому же Дмитрий Иванович вот уже почти три года сидит в крепости <sup>1</sup>. Одни увидят в таком шаге — поддержку Писарева. Другие начнут осуждать. Но главное, что не будет равнодушных. А, следовательно, и издательское дело может получить хороший старт. К нему будет привлечено внимание публики...

Правда, неизвестно, как еще к этой затее отнесется сам Писарев?

Что, скажет, за издатель такой, Павленков, объявился? Кому вообще известна эта личность? Да, меня ведь давеча один господин, когда речь зашла о нашей общей симпатии к Писареву, обещал представить его родным — матери и сестре. Не посоветоваться ли с ними?

В последние дни осени 1865 года Флорентий Павленков уже обсуждал эту проблему с Варварой Дмитриевной Писаревой и ее дочерью Верой Ивановной в их квартире в доме Зуева на Малой Дворянской улице. И мать критика и особенно его сестра с благодарностью поддержали предложения издателя, Вера Ивановна посоветовала Флорентию Федоровичу самому написать Дмитрию Ивановичу, каким видится ему издание собрания сочинений. Со своей стороны она обещала тут же передать письмо брату при ближайшем свидании с ним.

14 декабря 1865 года Флорентий Павленков писал Д. И. Писареву: «Милостивый государь Дмитрий Иванович!

Я бы желал приобрести право на издание полного собрания Ваших сочинений. Что касается до расплаты с Вами, то я могу в начале января вручить Вам шестьсот рублей. Остальные надеюсь вносить через небольшие промежутки времени таким образом, чтобы вся сумма была погашена не позднее конца апреля или (самый последний срок) середины мая. Дело в том, что я издал “Полный курс физики” Гано, который кончается не ранее начала марта; следовательно, только в это время я буду располагать такими средствами, которые могут мне позволить приняться за такое крупное дело, как издание Ваших сочинений. В пробном выпуске я бы желал поместить “Базарова”, “Нерешенные вопросы”, “Новый тип”, “Разрушение эстетики”. Впрочем, я всегда буду согласен на Ваш выбор.

За издание всех Ваших сочинений я могу предложить Вам две тысячи пятьсот рублей. Начнется оно не ранее февраля. Более или менее скорое его окончание будет зависеть от материальных средств, но, во всяком случае,

не думаю, чтобы оно заняло более года. Каждый выпуск будет стоить по одному рублю. Подписчики же платят за все издание вместо восьми рублей — шесть рублей.

Примите уверение в моем к Вам полном уважении и искренней преданности, Ф. Павленков».

Д. И. Писарев воспринял это предложение с большим воодушевлением. О его реакции на павленковское письмо можно судить по тому, что он сообщал матери: «Ну вот, мама, ты все не верила, что твой непокорный сын может сделать кое-что и хорошего... Ан, вышло, что ты ошибалась, да еще как! Где это видано, чтобы издавалось полное (заметь, маман, полное, а не “избранные” и пр.) собрание сочинений живого, а не мертвого русского критика и публициста, которому всего 26 лет и которого г. Антонович считает неумным, Катков — вредным, Николай Соловьев — антихристом и пр. Признаюсь, мне это приятно, что меня издают, да еще деньги за это платят, которые нам теперь совсем не лишние». За нотками шуточной иронии нельзя не уловить искренней радости молодого критика тому обстоятельству, что его сочинения привлекают к себе внимание общественности.

Когда Вера Ивановна рассказала Флорентию Федоровичу о том, с каким восторгом воспринял брат весть о желании издавать полное собрание своих статей, начинающий издатель вместе с ней стал обсуждать практическую сторону.

— Без Вас, уважаемая Вера Ивановна, без поддержки Вашей в нынешней ситуации, когда каждый практический шаг — а проблем будет возникать, поверьте, в процессе работы тысячи! — нужно согласовывать с Дмитрием Ивановичем или по переписке или во время коротких свиданий с ним, осуществить задуманное просто нереально. Прошу Вас — будьте моим, если хотите, компаньоном...

— О нет-нет, что Вы, уважаемый Флорентий Федорович. Митя — мой младший брат. С детства он наша общая с мамой опора и надежда. Располагайте мной, все, что нужно, я буду предпринимать...

Флорентий с благодарностью посмотрел на свою собеседницу. Вера Ивановна с первой встречи покорила своим обаянием. Она сочетала в себе красоту юности и удивительную современность. Не ту, наигранную, зачастую внешнюю, которую можно было наблюдать у многих курсисток. Чаще всего это проявлялось в модной тогда короткой прическе, в нарочитом пренебрежении к одежде. У Веры Ивановны все было по-другому. Она излучала доброту, отзывчивость, женственность в лучших ее проявлениях. И, как оказалось, она истосковалась по настоящему делу. В

содействии изданию собрания сочинений брата Вера Ивановна и увидела для себя такое дело. Благодаря ее энергии, советам Павленков успешно преодолевал трудности, встающие на пути осуществления замысла.

От намеченного вначале пробного тома решено было отказаться. Дмитрий Иванович вместе с Верой Ивановной вскоре подготовили состав всех восьми томов. Павленков не стал оспаривать их логику. Он сосредоточился на решении производственных проблем. Оформление для литературно-критических статей не требуется. С цензурой теперь наперед ничего не выяснять. По новому закону о печати от 6 апреля 1865 года, который вступил в силу с 1 сентября, в Москве и Петербурге издания освобождались от предварительной цензуры, если они заключали в себе не меньше определенного числа печатных листов (десять для оригинальных, двадцать для переводных сочинений). Казалось бы, все здорово, свобода печати налицо. Однако по существу такой порядок создавал лишь видимость бесцензурности. Ибо, как это уяснил Флорентий Федорович при тщательнейшем изучении документа, в нем не устанавливались точные границы допустимого и неразрешенного, а, следовательно, для произвола цензоров простор открывался еще больший. Они могли, по-своему толкуя то или иное положение, властвовать над издателями и редакторами журналов еще более свирепо, ибо теперь предоставлялось право задерживать готовое к выходу произведение, наказывать его выпускающего денежным штрафом, а то и возбуждать против него судебное преследование в соответствии с Уложением о наказаниях.

Павленкову на память пришла статья М. А. Антоновича, которую он совсем недавно читал в некрасовском «Современнике». Когда это было? Кажется, летом минувшего года... В августовской книжке «Современника» за 1865 год без особого труда нашел статью с выразительным заглавием: «Надежды и опасения». Перед чтением по лицу пробежала улыбка. Какой точный образ найден! «Представьте себе, читатель, что перед вами недостижимая пропасть, через которую перекинута какая-то узкая и чрезвычайно неопределенная полоска, предназначенная для вашего перехода; может быть, она и сдержит вас, а может быть, она до такой степени хрупка, что сломается от первого же шага по ней, или же она так узка и гибка, что при малейшем неосторожном шаге вы оборветесь и полетите в пропасть. Согласитесь, что в подобном положении позволительно сильное раздумье. А мы именно в настоящую минуту и находимся в приблизительно подобном положении. И перед нами лежит полоска в виде издания журнала без предварительной цензуры, и мы не можем себе определить и представить, что такое это отсутствие

предварительной цензуры. Мы затрудняемся с вопросом, — что писать и как писать, подобно тому, как птица, всю жизнь свою просидевшая в клетке, не знает, куда ей лететь в первую минуту, когда ей приотворят клетку».

Павленков оторвал глаза от журнала и задумался. Действительно, при существовавшем ранее порядке издатель хоть и зависел от произвола цензора, но в то же время был как бы под его щитом. Цензор его тоже был не безразличен к тому, что о нем будут говорить в обществе. Отсюда — приходилось и ему действовать умеренно и снисходительно. Теперь же цензуры вроде бы нет. Однако над головами издателей и редакторов в качестве дамоклова меча витает угроза двух предостережений Главного управления по делам печати, а после третьего издание уже приостанавливается. Меч этот — в руках министра. В обществе грустно шутят: министр опускает этот меч, когда ему заблагорассудится, он даже не обязан мотивировать свой поступок.

Да. А кто же помогает ему? Разве члены совета — не бывшие цензоры? Вот и Антонович пишет об этом: «...Управлять и руководить бесцензурною прессою призваны почти те же деятели, которые прежде занимались цензурою над прессою. Они, конечно, уже составили себе во время прежней своей практики твердое понятие в том, в каких границах должна двигаться пресса, что позволительно и не позволительно для нее, какой тон почтительный и какой грубый. У них есть уже готовые их прежним опытом данные мерки и нормы, которые они по-прежнему будут одинаково прилагать и к цензурным и бесцензурным изданиям».

Риск с писаревскими томами при таких условиях налицо. Конечно, статьи его проходили ранее цензуру, когда печатались в журналах. Однако отдельно опубликованная статья производит одно впечатление. Объединение в книге нескольких статей способно вызвать совсем уже иную реакцию.

Предугадать в данной ситуации развитие событий никто не в состоянии. Поэтому и Дмитрию Ивановичу о сроках издания сказал не вполне определенно. Естественно, при благоприятных условиях можно выпустить и за год. А вдруг? Конечно, в письме в крепость не напишешь о цензуре. Пришлось говорить о «материальных затруднениях», — надеюсь, поймет, о чем на самом деле идет речь.

Павленков переживал звездный час своей жизни. Его гений предприимчивого организатора был нацелен на реализацию того, в чем видел главную движущую силу общественного развития. Писаревская идея единения мысли и действия представлялась Флорентию Павленкову тем

маяком, на свет которого должны равняться все, кого искренне заботит грядущее родной земли.

У Н. А. Рубакина, кому посчастливилось часто общаться с Флорентием Федоровичем в последние годы его жизни, в одной из статей приведено весьма меткое суждение относительно того, почему Павленков стал по-настоящему убежденным «писаревцем» и как следует понимать родство этих двух незаурядных натур.

«Что такое был Павленков?» — задавался вопросом Рубакин и тут же отвечал: «Мыслящий реалист». Это определение, объясняет он, пошло в ход на Руси в шестидесятые годы XIX столетия. И в оборот оно вошло благодаря знаменитому русскому писателю, критику и публицисту Дмитрию Ивановичу Писареву. Оказавшийся под его сильнейшим влиянием Павленков и являлся последовательным, упорным мыслящим реалистом не за страх, а за совесть.

«Что же значит “мыслящий реалист”? — продолжал развивать свою мысль Рубакин. — Писарев подразумевал под этим словом всех тех людей, кто прежде всего стремится возможно полнее узнать, понять и оценить то, что есть, то есть самую что ни на есть действительность, действительную жизнь, реальность. И свою внутреннюю духовную, а также всю окружающую жизнь, — будь это жизнь природы, человека, общества, человечества, Космоса (Вселенной). То, что есть, то и есть. На это и надо опираться во всех своих размышлениях и рассуждениях, исследованиях и работах, деятельности и борьбе. И мысля всегда реально, то есть о том, что есть, а не о том, что кажется, что мечтается, представляется, хочется. Правда, хотеть никому ничего не возбраняется, но ведь чтобы дойти до цели своего хотения и осуществить их на деле, в жизни, надо прежде всего знать и понимать жизнь и уметь в ней действовать. Это и значить — быть “мыслящим реалистом”. Такому, прежде всего, нужны: труд, знание, энергия, критика и отрицание всех старых предрассудков, шаблонных понятий. “Ведь природа (жизнь) — не храм, а мастерская, а человек в ней работник”. (Слова Базарова в романе Тургенева “Отцы и дети”. Писарев был поклонник и истолкователь Базарова и его души.) В основу такого реализма, разумеется, должно лечь изучение природы, — точное, научное, безграничное, глубокое. С течением времени жизнь научила мыслящих реалистов такого типа еще кое-чему и заставила их несколько расширить область своей души. И они стали говорить так: природа, культура, жизнь, наука, искусство, — все это мастерская, в которой человек — работник; и если он работает в них хорошо, разумно и плодотворно, согласно естественному закону сбережения сил, выходит нечто, не только полезное,

умное, но и красивое. Вот таким мыслящим реалистом и был Павленков весь свой век, по заветам, по учению Писарева. Это был человек дела, а не слова, работник, а не болтун, исследователь жизни, а не “распустеха”. Это был человек крепкий и сильный духом, упорный в своих стремлениях, смелый в своих начинаниях, непобедимый в своем упорстве».

Опыт павленковской работы над выпуском первого своего большого издания — писаревского собрания сочинений — полностью подтверждает все сказанное о нем Н. А. Рубакиным. Здесь понадобилось проявить и огромнейшую энергию, и крепость духа, и смелость, и упорство.

Флорентий Федорович уже к апрелю 1866 года, как и обещал Д. И. Писареву, добился, чтобы первая часть сочинений была готова. Издавал он, напомним вновь, сочинения Д. И. Писарева без предварительной цензуры. Но как только тираж был отпечатан, то в соответствии с действующим законодательством о печати готовую книгу нужно было представить в цензурный комитет, чтобы получить разрешение на ее распространение.

Выход каждой из частей писаревских сочинений сопровождался обильной перепиской между цензурным комитетом и Главным управлением по делам печати. Цензоры писали пространные заключения и донесения. Одни — более нетерпимые, другие — не столь категоричные. Но то, что в большинстве этих цензорских обзоров легко просматривается желание любой ценой перекрыть путь каждой писаревской книге к читательской публике, — это факт.

Первая часть прошла цензурные рогатки без особых препятствий. Удовлетворения у властей она не вызвала. Однако до возбуждения судебного преследования издателя дело не дошло. Цензор так и не смог отыскать соответствующей статьи, чтобы инкриминировать автору и издателю «преступные» намерения. С первой частью сочинений Д. И. Писарева разбирался цензор Смирнов. 16 марта 1866 года он делал доклад по этой книге на заседании Санкт-Петербургского цензурного комитета. Прочитав все шесть помещенных в книге писаревских статей, Смирнов приходил к выводу, что «все рассуждения г. Писарева о супружеских обязанностях, о воспитании детей, о взаимных обязанностях родителей и детей не чужды теории социалистов и коммунистов». Однако «превратные учения их, по мнению докладчика, не высказываются так категорически, чтобы можно было формулировать закон преследования», то есть ни под какую конкретную статью ни автора, ни издателя нельзя было подвести, поэтому цензор ограничивался лишь высказыванием своих замечаний. С этим заключением согласились и в Главном управлении по делам печати. 7 апреля 1866 года на нем была начертана следующая резолюция членом

совета Главного управления Ф. М. Толстым: «Вполне разделяю воззрения г. цензора. В первой части сочинений Писарева и в особенности в статье “Стоячая вода” всецело отражаются дух и направление приостановленного журнала “Русское слово”. Отрицание родительской власти, порицание брачного и семейного союза особенно ярко выражены в следующей фразе: “Выйти замуж за человека, которого не любишь — не беда; отдаться любимому человеку — стыдно и грешно”, вот вам образчик общественной логики. Подобные фразы и многие другие ясно определяют социалистические и коммунистические тенденции автора». Но, несмотря на это, Толстой вынужден признать: «...так как мысли эти разбросаны и не сгруппированы систематически в виде коммунистического учения... то 1-ю часть сочинений Писарева нельзя еще подвергнуть судебному преследованию». В этом «еще» уже сквозит угроза на будущее: посмотрим-де, как пойдет дело дальше. Будет автор проводить подобные идеи впредь, пресечем издание!

После выхода в свет первой части собрания сочинений реакционная и либеральная критика обрушила на молодого издателя поток недружелюбных выпадов: чем, мол, обусловлена подобная честь, оказываемая Д. И. Писареву, что еще при жизни выпускается полное собрание его сочинений? А разойдется ли оно? Журнал «Книжный вестник» высказывал сомнение, а оправдает ли вообще себя эта затея, и открыто порицал издателя за пристрастие к рекламной стороне дела.

Флорентий Федорович на эти едкие критические уколы решает ответить в одном из последующих томов. Он готовит собственное предисловие к собранию сочинений Д. И. Писарева. Дальнейшее развитие событий помешало ее выходу в свет. Однако статья Павленковым была написана. Эпиграфом к ней он избирает слова, которыми И. С. Тургенев характеризовал личность Базарова: «...Его нельзя оскорбить явным пренебрежением, его нельзя обрадовать знаками уважения...»

Оппонентов возмущала сама мысль о том, что собрание сочинений Д. И. Писарева издается в семи частях. Павленков в своей статье спешит их «утешить»: вовсе не в семи, как намечалось ранее, а в восьми частях он намерен выпустить литературное наследие Писарева. Уместно напомнить, что окончательный результат превзошел и эту цифру — собрание сочинений было выпущено в десяти частях.

«Пусть беззубые порицатели скажут нам, — обращается он к своим критикам, — почему, например, Слепцов может быть издан, а Писарев не может, почему Островский, Некрасов и другие могут печататься до смерти, а Писарев в силу какой-то излишней скромности должен ждать своего



Граната или, по меньшей мере, Солдатенкова и Щепкина?» Вслед за этими вопросами Павленков объясняет, почему, по его твердому убеждению, важно дать читающей публике возможность составить цельное представление об идейном богатстве, содержащемся в творчестве современника. По поводу же заметки в «Книжном вестнике» Павленков заявлял следующее: «Автор ее пророчествует: в пору-де глухой реакции сочинениям Д. И. Писарева вообще не разойтись. Что же, скажем откровенно: нет, вовсе не чисто коммерческие цели подвигали нас на сие предприятие; для нас важнее, чтобы воззрения Д. И. Писарева становились достоянием широких слоев русского общества... В заключение вышесказанному считаем не лишним прибавить, что гаданиям кликуш “Книжного вестника”, скушает или не скушает наша матушка-публика издание сочинений Писарева, мы не придаем никакой цены, как вообще не придаем цены никаким гаданьям. Будем ли мы иметь материальную выгоду от издания “Сочинений Д. И. Писарева” или нет, во всяком случае, оно будет доведено нами до конца. Мы полагаем, что оно не только полезно для публики, но даже необходимо для нее и в настоящие минуты приторного оптимизма более чем когда-нибудь».

Ф. Ф. Павленков не только сдержал свое слово и «довел до конца» издание сочинений Д. И. Писарева, но и восемь раз переиздавал его. Как справедливо пишут историки литературного процесса, такой чести в XIX веке не удостоивался никто из беллетристов, не говоря уже о критиках.

Но все это будет потом... А после выхода первой части начинается самый трудный период в истории издания. Многие сложности возникали независимо от воли издателя.

4 апреля 1866 года происходит событие, всколыхнувшее всю общественную атмосферу в империи. Д. В. Каракозов под вечер совершает покушение на царя Александра II. Его выстрел, само собою разумеется, вызвал усиленную атаку реакционных сил на все то, что давно раздражало своим демократическим, резко обличительным пафосом, направленным против существующих порядков.

Сказалось ли это на деятельности Павленкова? Самым непосредственным образом. 15 апреля 1866 года арестовали владельца книжного магазина Евгения Печаткина. А именно через него и шло распространение павленковских изданий. Но самое главное — была совершенно оборвана связь с Д. И. Писаревым. Поддерживать переписку стало невозможным, прекратились свидания Веры Ивановны и Варвары Дмитриевны с узником Петропавловки. Это было весьма некстати. Дело в том, что Флорентий Федорович, радуясь выходу первой части сочинений,

хорошо представлял, что в обострившейся общественно-политической ситуации благополучного развития событий в цензуре в связи со второй частью ожидать не приходится. Он просил Дмитрия Ивановича для большей гарантии прохождения издания через цензуру согласиться на некоторые уступки, предлагал конкретные небольшие изменения и сокращения в текстах статей, которые включались во вторую часть. Но критик категорически возражал против какого-либо вмешательства в тексты уже публиковавшихся работ. Раз цензура пропустила их тогда, почему она будет задерживать сегодня, рассуждал он.

— Если можно было бы с ним переговорить... Дмитрий Иванович просто не в состоянии уловить существенных изменений, произошедших в общественной жизни, — говорил Флорентий Федорович Вере Ивановне, передававшей очередной отрицательный ответ брата на предложение по небольшому редактированию статей.

— Печатать так и только так, в противном случае лучше вовсе не печатать, — заявлял Писарев.

Флорентий Федорович не стал настаивать. Вызывала восхищение стойкость мужественного борца, который в крепости находил в себе силы писать лучшие, по его мнению, статьи: «Наша университетская наука», «Реалисты (Нерешенный вопрос)», «Пушкин и Белинский», «Цветы невинного юмора», «Новый тип (Мыслящий пролетариат)», «Прогресс в мире животных и растений», «Исторические идеи Огюста Конта» и другие. Поражался Павленков и поистине удивительной работоспособностью Писарева, который в продолжение своей шестилетней литературной деятельности написал и перевел более четырех тысяч страниц.

«Да, переговорить бы с Дмитрием Ивановичем», — думал Павленков.

Но обстановка складывалась так, что не только переговорить, но даже и связаться с ним стало невозможно. «Как быть? Что если изменить порядок выхода томов? Пусть вторая часть задержится, выпустим сначала третью. Статьи, входящие в нее, пожалуй, написаны не так задиристо, а, следовательно, и шансов больше на беспрепятственный выход книги».

Флорентий Павленков еще раз прочитал четыре критические статьи — «Сердитое бессилие», «Прوماхи незрелой мысли», «Роман кисейной барышни», «Пушкин и Белинский».

«Есть, конечно, небесспорные суждения, — думал он. — Но ведь это мнение автора. И оно имеет право на существование. Публика сама в состоянии разобраться, что истинно, а что нуждается в уточнении. В целом же, серьезных претензий у цензоров не должно быть. Не знаешь, правда, к кому она попадет в руки. А от этого так много зависит».

Третью часть сочинений Флорентий Федорович послал в цензурный комитет в мае 1866 года. К сожалению, опасения, возникшие у него перед отправкой с нарочным третьей части в цензуру, оправдались. Книга попала на рассмотрение человеку, ранее служившему цензором в Санкт-Петербургском цензурном комитете, а после 1866 года, после принятия нового устава по печати, ставшему членом совета нового Главного управления. Человеком этим был не кто иной, как писатель И. А. Гончаров. К «Русскому слову», в котором сотрудничал Д. И. Писарев, да и вообще к творчеству радикально настроенного критика он относился с нескрываемым неодобрением. Не изменилась эта позиция и на сей раз. Вот что писал И. А. Гончаров 17 мая 1866 года в своем отзыве на писаревскую книгу: «Эта часть представляет ряд критических этюдов о сочинениях Ключникова (роман Марево), Помяловского, графа Льва Толстого, наконец, большая статья посвящена характеристике Пушкина и Белинского. Г. Писарев, со свойственной ему заносчивостью (но не без дарования и живой выработанной речью), разрушает господствовавшие доселе начала критики и эстетический вкус и смело ставит новые законы или, по крайней мере, старается установить новую точку зрения на произведения изящной словесности. Особенно строго и разрушительно относится он к Пушкину и к его времени, беспощадно глумясь над собственными взглядами Пушкина на жизнь и общество, над понятиями того времени, особенно над чувствами и ощущениями поэта, и даже часто над формой, в которой они отражались. Он на ту эпоху смотрит как на эпоху умственного сна России, поэтому неумолимо преследует всякое, по его мнению, фальшивое проявление жизни вообще, убеждений, верований, мыслей и проч. Самого Пушкина понимает как рифмоплета, как поверхностный, слабый и мелкий ум, неспособный сознать и оценить серьезных явлений и потребностей своего времени. Г. Писарев особенно издевается над Евгением Онегиным, представляет его как ничтожную личность и называет филистерами всех поклонников этого романа и самого Пушкина тоже».

Указав далее, что все включенные в сборник статьи были помещены с дозволения цензуры в «Русском слове», что в своем роде, по части эстетики и критики художественной словесности, они отвечают общему направлению этого журнала, то есть его крайним отрицательным началам, писатель-цензор в то же время давал заключение не препятствовать выходу книги. «...Противного цензурным правилам в этой 3-й части сочинений г. Писарева нет, и она не может подлежать ни административному, ни судебному преследованию. Только на стр. 222 и 223 есть несколько строк, которые едва ли были на рассмотрении предварительной цензуры, иначе

подверглись бы исключению. Издеваясь над Пушкиным за стих “Печной горшок тебе дороже, ты пищу в нем себе варишь”, г. Писарев спрашивает поэта: не в бельведерском ли кувшине варит сам он пищу и прибавляет, что, по справке у повара поэта, оказалось бы, что сын неба, то есть поэт съедает в один день столько, что стало бы рабу с семейством на неделю, что червь земли живет впроголодь, а сын неба жиреет и т. п.

Эти места, да еще два-три слова в пользу романа “Что делать?” вот все, что могла бы исключить из книги предварительная цензура. Все остальное затем, в статьях о Ключникове, Помяловском и графе Толстом, клонится к развитию взгляда автора на поэзию, которую он находит и признает только в созданиях, имеющих утилитарное и реальное значение, или же выражающих обличение и отрицание современного зла, предрассудков и т. п. Затем, все прочее признает мечтой и праздным занятием филистеров, то есть все стихи и прозу, содержащие в себе личные чувства авторов, или описания и типы, не представляющие строгих уроков обществу.

Софизмы, парадоксы, заносчивые претензии — суть отличительные, кидаемые в глаза черты вообще сочинений Писарева, а этой книги в особенности, и потому, я полагаю, что книга не разрушит господствующих начал эстетической критики даже в глазах юношества и может быть оставлена без внимания».

Обо всех этих суждениях И. А. Гончарова Флорентий Федорович знать не мог. Но объективно следует признать, что и на этот раз верно улавливал движение мысли тех, от кого зависела судьба книги. Третью часть сочинений Д. И. Писарева публика получила без задержки.

Ситуация со второй частью оставалась по-прежнему неясной. До Писарева не добраться. Без него вносить исправления он не вправе. Значит, идти на отчаянный шаг — либо все пройдет безукоризненно, либо... Успех первой и третьей частей побуждал надеяться: а вдруг повезет?

2 июня 1866 года он получает готовые экземпляры второй части. Книга была отпечатана в количестве 2 тысяч 490 экземпляров. Тут же нужное количество экземпляров было доставлено в Петербургский цензурный комитет. И... на книгу сразу же наложили арест. Что же встревожило цензоров? В самом факте помещения в книгу двух писаревских статей «Русский Дон-Кихот» и «Бедная русская мысль» они увидели признаки преступления, предусмотренного статьями № 1001 и № 1035 Уложения о наказаниях. Павленков свою защиту аргументировал тем, что обе статьи были впервые напечатаны еще в 1862 году в журнале «Русское слово» с разрешения предварительной цензуры.

— Да, это факт, — соглашался один из влиятельных и авторитетных цензурных деятелей Еленев, кому дали на рассмотрение вторую часть писаревских сочинений. — Но, во-первых, законодательство печати за это время претерпело изменение и издатель не мог удовлетворяться прежним разрешением. Во-вторых, независимо от вредного содержания означенных двух статей необходимо принять в соображение, что упоминаемые две статьи и окончание второй из них, не вошедшее ныне во вторую часть сочинений Писарева, были напечатаны в первый раз в февральской, апрельской и майской книжках журнала «Русское слово» за 1862 год, то есть именно в тех номерах, за которые последовало по Высочайшему повелению приостановление этого журнала на восемь месяцев, и что эти две статьи были в означенных книжках наиболее вредными по направлению, вследствие чего цензоры, допустившие их в печати, подверглись в свое время изысканию.

Почувствовав неладное, издатель усиленно хлопочет в цензурном комитете и в Главном управлении по делам печати. Однако никакими средствами ему не удастся получить разрешения на выпуск этой части.

Павленков был не из тех людей, которые норовят в предчувствии беды спрятаться за чью-либо спину, хотя бы частично переложить ответственность на кого-либо. Наоборот, он спешит обезопасить товарищей. Так было и в момент задержки властями второй части сочинений Д. И. Писарева. Несмотря на то что с автором он согласовал включение в книгу всех произведений, хотя тот, как уже говорилось, не принял высказанных даже им поправок, Флорентий Федорович заявлял властям, что часть из помещенных в томе статей вошла туда без согласования с Д. И. Писаревым. И добавлял при этом: «Таким образом, вся ответственность за содержание этой книжки падает (в силу Высочайшего указа от 6 апреля 1865 года) на меня как на издателя».

Начинался один из самых громких на протяжении всего XIX столетия «Литературный процесс», вызвавший живую реакцию общественности. Самое важное, что Павленков выиграл его и добился разрешения выпуска книги, хотя и не без изъятий. Но об этом позднее...

Судьба второй части по-прежнему была покрыта тайной. Крайне медленно продвигалось дело в цензуре по этой подвергнутой аресту книге. Шел месяц за месяцем, Флорентий Федорович терял проценты с затраченного капитала, был лишен возможности пустить свои же деньги в новый оборот, начинать новые предприятия.

Но был ли издатель в растерянности? Одолевали ли его панические настроения? Вовсе нет.

— Я всегда возмущался невыдержанностью окружающих меня людей, — говорил Павленков Черкасову. — Начинать мы все большие мастера, а как доходит до развязки — так сейчас и на попятную. Раз навсегда мною положено, если начал, то и кончай, а то ни к чему было и приниматься.

Флорентий Федорович приучил себя не терять времени даром. Никаких эмоций, тем более хандры или уныния! Действовать, с удвоенной энергией продвигать остальные части сочинений Д. И. Писарева!

На очереди четвертая. Но здесь вновь проблема, которую можно решать только после общения с Дмитрием Ивановичем. Он включил туда свою резкую статью против «Современника». Но это полемика минувших дней! А «Современник» точно так же пострадал, как и «Русское слово». Зачем же ворошить старое? Зачем утверждать односторонность? Нет, с этим согласиться нельзя. Он был убежден, что тут и Дмитрий Иванович не станет противиться... Но надо ждать.

Придется в рекламных объявлениях объяснить публике, что четвертая часть будет выпущена, допустим, по техническим причинам после восьмой.

Итак, пятая часть. 21 июля 1866 года она и поступает в цензурный комитет. Туда вошли статьи по вопросам воспитания и образования — «Наша университетская наука», «Школа и жизнь», «Мысли Вирхова о воспитании женщин», «Погибшие и погибающие». У Флорентия Федоровича были опасения, что и этой части вряд ли суждено быть более счастливой по сравнению со второй. Но, как оказалось, после изучения ее цензором Загибениным цензурный комитет уже в тот же день отправил в Главное управление по делам печати отношение, в котором сообщал, что он «не нашел достаточных оснований ни к судебному преследованию книги, ни к ее арестованию». Правда, на всякий случай добавлялось, что автором статей является Д. И. Писарев, посему «комитет считает долгом ныне же представить отзыв об этой книге “на благоусмотрение” Главного управления по делам печати». При этом напоминалось, что «установленный трехдневный срок для выхода оной в свет наступает 24-го сего июля с 1/г 1-го часа пополудни». В Главном управлении согласились с доводами цензурного комитета. А это означало, что книга цензуру прошла.

Настал черед вести работу над шестой частью. С типографией А. Головачева у Павленкова установились отношения самые деловые. Поэтому четко, без задержек были набраны и сброшюрованы еще четыре писаревские статьи, посвященные естествознанию. 16 сентября Павленков представляет книгу в цензурный комитет. Там она доставила немало хлопот. Началось с того, что цензор де Роберти 19 сентября 1866 года в

своем докладе цензурному комитету твердо заявил, это «настоящее сочинение Писарева не может быть дозволено к обращению в публике». Он имел в виду помещенные в книге статьи «Процесс жизни» (по Фогту) и «Физиологические эскизы Молешотта». Что же напугало стража закона? В первую очередь материалистическое направление, которого придерживался автор, его стремление разрушить общепризнанные понятия. Комитет солидаризируется с мнением цензора и на своем заседании 21 сентября 1866 года решает подвергнуть книгу аресту, а против издателей ее — Павленкова и Куколь-Яснопольского — возбудить судебное преследование. Прокурору окружного суда направляется подробное отношение «о вручении судебного преследования против издателя книги и об уничтожении отпечатанных экземпляров оной». Прокурора ставили в известность о том, «что вследствие сношения председателя комитета с г. С.-Петербургским обер-полицмейстером от 28 сентября, вышеупомянутая книга, в числе 3000 экземпляров, арестована полицией».

Все, казалось, цензурными службами предусмотрено, оставалось дело за малым — юридически санкционировать репрессивные меры. Но не тут-то было! Служащим Министерства юстиции не показались убедительными цензорские пассажи. И на целые месяцы затянулась волокита.

До наших дней дошел документ, который 27 июля 1867 года направляли управляющий Министерством юстиции статс-секретарь князь Урусов и заведующий департаментом сенатор С. Врангель П. А. Валуеву. Цитируем из него то, что проливает свет на реакцию сотрудников Министерства юстиции относительно предлагаемых цензурным комитетом санкций против шестой части сочинений Д. И. Писарева. «Что же касается до шестой части, в коей цензурный комитет признал подлежащими судебному преследованию статьи “Процесс жизни” (по Фогту) и “Физиологические эскизы Молешотта”, — читаем в донесении, — то, по рассмотрении последовавшего по сему предмету сообщения цензурного комитета от 30 сентября 1866 года за № 1038, прокурор судебной палаты встречает сомнение относительно возможности предъявить суду какое бы то ни было против Павленкова обвинение, на основании принятых комитетом о тех двух статьях заключений, по следующим причинам:

1) ни в той, ни в другой из означенных статей не заключается ни богохуления, ни порицания христианской Веры или церкви православной. В первой из названных статей излагается, по “Физиологическим письмам” Фогта, описание процессов кровообращения, дыхания и пищеварения. Этому описанию автор предпосылает от себя общее рассуждение о том, как он понимает изучение природы. Подобным же общим рассуждением он и

оканчивает свое изложение. Но в них не только не содержится ничего, что прямо относилось бы до оспаривания истин христианской Веры и Учения православной церкви, но даже и не упоминается о христианстве и о церкви. Самое заключение цензурного комитета, что автор с пренебрежением относится к христианскому миросозерцанию, основано, как выражено в сообщении комитета, на том только, что об этом миросозерцании автор умалчивает и нападает “на неуклюжие признаки Ормузда и Аримана”. По мнению действительного статского советника Тизенгаузена, на подобных гадательных выводах основанное обвинение не может быть поддерживаемо на суде;

2) хотя материалистическое, в некотором отношении, направление разбираемых статей и не может быть отрицаемо, но одно это обстоятельство, коль скоро в статьях тех не заключается ничего явно противного нравственности и благопристойности, или клонящегося к развращению нравов (статья 1001 Уложения о наказаниях), — также не может служить основанием к обвинению перед судом;

3) в сообщении цензурного комитета не указан, как того требует 6-я статья Высочайше утвержденного 12-го декабря 1866 года мнения Государственного Совета, закон, в коем был бы предусмотрен проступок, которому соответствуют обвинения и ложные в том сообщения. Рассмотрев настоящее дело, я и со своей стороны нахожу, что выводы из учений Фогта и Молешотта, заключающиеся в вышеозначенных статьях 6-й книги сочинений Писарева, не могут быть подведены под точный смысл какой-либо статьи ныне действующих уголовных законов, а посему и при не указании цензурным комитетом закона, на коем бы могло быть основано судебное преследование означенной книги, встречаю затруднение в возбуждении сего дела и полагал бы не давать дальнейшего хода сообщению цензурного комитета по этому делу; но предварительно дальнейших распоряжений имею честь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство почтить меня отзывом Вашим по сему предмету».

П. А. Валуев вынужден был считаться с этим мнением. Он согласился с тем, что судебное преследование против Ф. Ф. Павленкова должно быть прекращено. Правда, в ответном письме министру юстиции звучала озабоченность тем, чтобы «при предполагаемом исходе настоящего дела», то есть прекращении его, не допустить удовлетворения домогательства вознаграждения, «если бы оно возникло со стороны издателя 6-й части сочинений Писарева за арестование означенной книги». Павленков предъявлять претензий не стал.



Книгоиздательство захватывает Флорентия Федоровича все больше и больше. Он выходит в отставку не ради одной конкретной акции. В его душе крепнет убеждение в том, что просветительским целям он должен посвятить себя целиком через издание все большего и большего числа книг для народа.

Налаживая свою издательскую деятельность, Павленков был полон решимости вести борьбу с господствовавшим все еще повсеместно читательским невежеством и косностью. Важно было внедрять в сознание просвещенных людей, на ком лежала обязанность вести работу по образованию народа, чтобы для каждого из них становилось правилом следить за новинками литературы, чтобы они целенаправленно формировали свои библиотеки, овладевали системой знаний. Поэтому наряду с выпуском сочинений Д. И. Писарева Флорентий Федорович работает над подготовкой к изданию книг по естествознанию, в частности Г. Льюиса «Сердце и мозг» и Г. Омбони «Дарвинизм, или Теория появления и развития животных и растительных видов».

Интересно обратить внимание на такой факт. На обороте титульного листа первой части сочинений Д. И. Писарева, изданной Ф. Ф. Павленковым в 1866 году, приводится реклама «Полного курса физики» А. Гано и сообщается, что книгу можно приобрести в книжном магазине П. А. Гайдебурова по адресу: Невский проспект, дом № 36. Весной этот магазин принадлежал еще Гайдебурову, а к концу года он уже переходит к новому владельцу — Павленкову. Таким образом, покупка магазина стала для Флорентия Федоровича как бы еще одним дополнительным шагом для утверждения себя в выбранном книгоиздательском деле.

Флорентий Павленков быстро понял, что успешное развитие издательского процесса требует, безусловно, налаживания собственного надежного канала для распространения книг. Только поэтому он и приобретает книжный магазин у Гайдебурова. Он не выставляет на нем собственного имени, так как понимает, что оно еще не так много говорит что-либо читающей публике. Павленковский «Книжный магазин для иногородних» быстро стал пользоваться положительной репутацией у тех, кто проявлял интерес к литературе. По словам Рубакина, сделали свое дело прежде всего точность, корректность, исполнительность, аккуратность, энергия и щепетильная честность, на которых строилась работа магазина.

О приобретении магазина Флорентий так сообщит в письме другу — В. Д. Черкасову: «Кто знает, может быть, я и оборвусь... Пусть... Но зато никто не скажет, что я стоял на одном месте и успокаивался на первых добытых результатах».

До начала нового, 1867 года Флорентий Федорович успеваеt издать и седьмую часть сочинений Д. И. Писарева. В цензуре, к счастью, осложнений больших на сей раз не возникло. Доклад цензора Скуратова по поводу этой части сочинений Д. И. Писарева был обстоятельным. Конечно, без придинок не обошлось. На пятнадцати страницах были изложены цензорские замечания. Однако цензурный комитет, приняв их к сведению, никаких санкций к издателю по данному поводу предъявлять не посчитал целесообразным.

Приобретение собственного магазина открыло перед Ф. Павленковым возможность установить как бы обратную связь с публикой. Это было так важно для человека, начинающего свое дело.

— Изданием сочинений Д. И. Писарева мне удалось уловить биение общественного пульса времени. Тут спора нет. Не только ведь я со своими друзьями зачитывались писаревскими статьями, увлекались идеалами добра и справедливости, которые отстаивал революционный демократ. Вот и в письме, адресованном мне неким прапорщиком Циркуновым, об этом же говорится: «Лет пять тому назад, — сообщает он, — среди провинциальной спячки и пошлости, встретился я впервые со статьей Писарева... Какая-то сила приковала меня к ней; кругом шум, карточная игра, споры, все для меня закрылось туманом, и вдруг я почувствовал свое родство с духом статьи... Вот почему я думаю, что попадись кому книга Писарева и конец: он направлен на новый, верный путь». Вот как воздействовала и, верю, продолжает воздействовать пламенная писаревская публицистика на лучших представителей нашего молодого поколения!

Письма, подобные циркуновскому, крепили уверенность в верности избранного жизненного курса. Вспомнился также рассказ Веры Ивановны об одном из тюремщиков, который состоял в охране Д. И. Писарева в крепости. Как же его фамилия?.. Да. Молодой офицер... Кажется, Борисов. Точно, Борисов. Так вот этому Борисову доводилось читать статьи заключенного в Петропавловскую крепость критика перед тем, как отправить их по начальству. Сила публицистического влияния писаревского слова оказалась настолько мощной, что Борисов вскоре пришел к убеждению изменить свои прежние взгляды. Как человек честный он не мог оставаться на службе... И уволился...

Писаревские книги должны прийти к народу. Поэтому как издателю Павленкову надо работать и работать.

Некоторая задержка с выпуском восьмой части объяснялась тем, что ранее объявленный объем не вмещал всего писаревского наследия. Разрешить эту проблему Флорентий Федорович посчитал возможным так:

надо увеличить ранее намеченное количество частей еще на две и выпустить девятую и десятую. Казалось бы, теперь, после выхода Дмитрия Ивановича из заточения, работать над подготовкой к изданию очередных томов сочинений будет куда проще. Однако все обернулось по-другому.

У Дмитрия Ивановича возникли серьезные трения со своей семьей — с матерью и Верой Ивановной. Писарев увлекся писательницей М. А. Маркович (Марко Вовчок), которая была намного старше критика и к тому же доводилась ему родственницей. Не нравилась она родственницам Писарева. Это была женщина выше среднего роста, полная, не особенно красивая, но, как про нее говорили, лучше всякой красавицы, с чрезвычайно густыми, широкими черными бровями, с несколько расплывшимися, но весьма подвижными чертами лица, с умными, темно-синими пронизательными глазами. Одетая она была всегда необыкновенно изящно, по моде, но небрежно — так писала о Марии Александровне в воспоминаниях одна из ее современниц.

Сблизившись в 1867 году с Марко Вовчок, Дмитрий Иванович и поселяется вместе с нею в доме Лопатина на Невском проспекте. Этот шаг привел к резкому охлаждению в отношениях между Писаревым, с одной стороны, и его сестрой Верой Ивановной, с другой. Павленков же, не скрывавший в то время своих чувств к Вере Ивановне, независимо от собственных симпатий и антипатий к Дмитрию Ивановичу, оказался в противостоящем стане к нему. Однако это не влияло на его усилия по выпуску писаревских сочинений.

По восьмой части вопросов у цензуры не появилось, и 15 ноября 1867 года она поступила к читателю. Настала очередь четвертой части. Павленков посчитал целесообразным открыть книгу предисловием «От издателя». Нужно было объяснить читателю, что причины задержки ее не в одной технической стороне дела, и откровенно сказать и о других мотивах, которыми руководствовался издатель. «В своих публикациях, — сообщал Флорентий Федорович, — мы постоянно объявляли, что 4-я часть “Сочинений Д. И. Писарева” выйдет после 8-й. Это происходило потому, что мы не считали возможным принять на себя нравственную ответственность за возрождение похороненной полемики “Современника” с “Русским словом”. Нам казалось, что после всем известных дней, когда та и другая партия вдруг оказались рассеянными, кидать в какую-либо из них камнем значило бы работать в пользу тех, с кем мы не можем быть солидарными, в пользу тех, кто основывает свою силу на окружающем бессилии. Вот почему мы от всей души желали исключения из нашего издания статьи “Посмотрим!”. Но понятно, что для такого исключения нам

было все-таки необходимо согласие самого Д. И. Писарева, который, к сожалению, в то время находился в крепости. В полной надежде на получение его согласия в будущем мы и откладывали печатание той части (4-й), в которой было предложено автором поместить вышеупомянутую полемическую статью. По выходе 8-й части ожидаемое согласие было, наконец, нами получено, и мы считаем долгом предупредить своих подписчиков, что взамен выбывшей статьи они найдут в 4-й части три следующие: “Генрих Гейне”, “Наши усыпители” и “Подвиги европейских авторитетов”. Две первые из них появляются в печати в первый раз».

Сама же работа над четвертой частью шла не столь гладко. Хлопоты по второй части в цензурном комитете позволили Павленкову получить информацию, что по целому ряду писаревских статей, помещаемых в четвертую часть, были в свое время предъявлены претензии «Русскому слову» со стороны властных органов. Ему удалось снять копию из предостережения журналу по этому поводу. Флорентий Федорович переписывает ее на бланке «Книжного магазина для иногородних». «Принимая во внимание, — говорилось там, — что в журнале “Русское слово” № 10, в статье “Новый тип”... <...> отвергается понятие о браке и проводятся теории социализма и коммунизма, статья же... <...> враждебно сопоставляет класс собственников с неимущими и рабочими классами, а в повестях “Три семьи”... <...> и “Год жизни”... <...> высказываются проникнутые крайним цинизмом отзывы об основных понятиях о чести и о нравственности вообще, министр внутренних дел на основании ст. 29, 31, 33 Высочайше утвержденного 6 апреля сего года мнения Государственного Совета и согласно заключению совета Главного управления по делам печати определил объявить первое предостережение журналу “Русское слово” в лице издателя кандидата прав Гр. Евг. Благовосветова...»

Зачем понадобилось снимать копию? Конечно же для Дмитрия Ивановича. Да вот беда. Если раньше с ним нельзя было переговорить из-за разделявших крепостных стен Петропавловки, то теперь... по другой причине. Что ж, надо писать ему. И Флорентий Федорович отправляет деловое послание.

«Оставляю Вам текст предостережения. Копия совершенно верна оригиналу, так как текст этого материала может понадобиться, то я попрошу Вас, по миновании надобности, возвратить его мне вместе с изменениями. Статью “Новый тип” не мог достать. Отдельно книжек 65-го года не продают, а за год спрашивают 8 р. Так как оттиск ее у Вас есть, то уж Вы, сделайте одолжение, пожертвуйте им для набора, а я Вам возвращу свой, который где-то заложен. Искать теперь некогда, а время дорого.

Будьте так добры, сделайте изменения поскорее. Типография обещает кончить 4-ю часть в 20 дней; но только лишь в том случае, если оригинал будет доставлен не позже воскресенья, иначе шрифт пойдет на какое-то другое издание».

Письмо, как нетрудно заметить, исключительно деловое. Никаких выражений уважения, почтения и других принятых форм заявления своего доброго отношения к адресату в павленковском письме не встретишь. Он полностью теперь на стороне сестры Дмитрия Ивановича. И письмо подписывает сухо — Ф. Павленков. В постскриптуме добавляет: «Еще одна просьба. Если Вы занесете исправленную статью в магазин, то заключите ее в конверт».

Ответ последовал незамедлительно. Он, чувствуется, был выдержан в таком же формальном духе. Дмитрий Иванович не желал делать никаких уступок. Это все явствует из нового обращения Флорентия Федоровича к Д. И. Писареву. 9 ноября 1867 года он писал: «Дмитрий Иванович, передавая мне оттиск “Нового типа”, Вы в приводимой к нему записке говорите, что не находите “ни нужным, ни удобным, ни возможным переделывать в статье что бы то ни было”, и затем оканчиваете так: “печатайте, как есть или совсем не печатайте”. Каждое из этих мест в отдельности (не говоря уже об их совокупности) показывает, что Вы смотрите на мои последние к Вам обращения как на просьбу. Но это с Вашей стороны большая ошибка. Не я желал перемен, а Вы когда-то настаивали на них. Инициатива принадлежала Вам. Вы забываете, что самая фальсификация заглавия исходила не от меня. Поэтому оборот, приданный Вами настоящему делу, для меня более чем непонятен».

Флорентий Федорович не скрывает своего раздражения. Писарев совершенно теряет интерес к изданию сочинений. Остается уже меньшая часть усилий, но ведь и от них так много зависит! Издатель все больше убеждается в том, что ему придется брать всю тяжесть ноши исключительно на собственные плечи. Даже возвратить копию предостережения Писарев не считает нужным. Поэтому Флорентий Федорович сухо добавляет в постскриптуме: «Я пришлю к Вам за копией с предостережения. На случай, если бы мой посланный не застал Вас дома, передайте листик квартирной хозяйке с тем, чтобы она отдала его тому, кто придет “от Павленкова”».

Вечером в доме у Писаревых Флорентий Федорович не удержался и высказал свою обиду Вере Ивановне. Потом и сам сожалел об этом. Ибо в ответ разразился такой град проклятий по адресу той, которая сбила с пути истинного Митюшу, что с трудом удалось отвлечь хозяйку от этой больной

темы...

— Вера Ивановна, милая, а не приходила ли Вам на ум такая мысль, что Николай Гаврилович свою героиню назвал именно в Вашу честь?..

Писарева удивленно замахала руками.

— Что Вы?.. Правда, не скрою, когда первый раз читала «Что делать?», мне все время хотелось многое в характере и в поступках Веры Павловны отнести к себе... Понимала, что это негоже, нескромно, а поди ж ты, такое возомнила...

— К Писаревым Николай Гаврилович, убежден, был равнодушен. Конечно, прежде к Дмитрию Ивановичу... Вы уж не обессудьте меня за это, сударыня Вера Ивановна... Николай Гаврилович, как мне кажется, понимал таившиеся в Дмитрие Ивановиче задатки и предугадывал его значение и влияние. Лучше всего оно проявилось в том, что на вопрос Писарева «Что делать?», которым он закончил свою статью «Базаров», Чернышевский отвечал не полемическими красотами, а целым романом. Нужно питать к человеку слишком большое уважение, чтобы облекать свои ответы в такую форму.

— Странно, что до сих пор я на это не обращала внимание...

— А вы возьмите «Базарова».

Вера Ивановна открыла первую часть сочинений.

— Да, вот именно здесь...

«Изучив характер Базарова, вдумавшись в его элементы и в условия развития, Тургенев видит, что для него нет ни деятельности, ни счастья... Весь интерес, весь смысл романа заключается в смерти Базарова... Базаровым все-таки плохо жить на свете, хоть они припевают и посвистывают. Нет деятельности, нет любви, стало быть, нет и наслаждения. Страдать они не умеют, ныть не станут, а подчас чувствуют только, что пусто, скучно, бесцветно и бессмысленно. А что же делать?.. Ведь не заражать же себя умышленно, чтобы иметь удовольствие умирать красиво и спокойно? Нет! Что делать? Жить, пока живется, есть сухой хлеб, когда нет ростбифу, быть с женщинами, когда нельзя любить женщину,

и вообще не мечтать об апельсиновых деревьях и пальмах, когда под ногами снеговые сугробы и холодные тундры».

— Вы говорили, дорогая Вера Ивановна, что к себе адресовали призывы героев Николая Гавриловича. Но и он же, перечитывая писаревские вопросы «что делать?», обращал их к себе... Так и возник его роман, как послание молодым, идущим на смену Писаревым и иже с ним...

— Очень интересно, дорогой Флорентий Федорович. Зря Вы не пишете. У Вас такие живые наблюдения, ассоциации... А багаж знаний!..

Вы ходячая энциклопедия...

— Полноте Вам... Все это благодаря Вам. Я ведь так был увлечен в юные годы Писаревым, что читал все, что печаталось под такой фамилией. Еще удивлялся: вот ведь какая работоспособность у критика. Он и переводами занимается. Где-то, чуть ли не в «Рассвете», прочитал об алмазах... Возмущался еще: В подписи две ошибки, вместо Дмитрия стояла буква: «В.», а вместо «Писарев» — «Писарева»! А, оказывается, это Вы, голубушка, меня просвещали и образовывали...

— Шутник Вы, Флорентий Федорович! А вот к Мите будьте все же благосклонны. Я не могу простить ему бегства к этой безнравственной женщине. Правда, он с детства у нас мало управляемый. Очень уж самостоятельный и нетерпимый. Он никогда не шел на компромисс со своими убеждениями, с рано выработанными, собственными представлениями о совести. Я расскажу Вам впечатляющий эпизод из гимназических лет Митюши. Однажды матушка, шутя, обронила при нем по-французски, что после завершения учебы в университете такие-то и такие-то лица позаботятся об устройстве его будущности и будут ему протезировать. «Je te protégé moi-tete!» — вскричал сердито мальчик. С этой-то категорической неуступчивостью в принципах брата приходится сталкиваться и Вам, дорогой Флорентий Федорович.

— Не беда, издание собрания сочинений уже подходит к завершению. Обошлось бы только все с четвертой частью, — ответил Павленков.

Работа над другими частями сочинений продолжалась. Перечитывая статьи очередных выпусков, Павленков, как он сам впоследствии рассказывал Н. А. Рубакину, чувал, что из-за некоторых слов и фраз не может не возникнуть цензурных неприятностей для всего издания. Поэтому издатель помечает в тексте эти места и просит Дмитрия Ивановича внести поправки. Но критик не желал ничего исправлять в своих работах ради цензурных соображений.

25 ноября 1867 года он писал Павленкову: «Я решительно ничего не мог поправить в тех местах, которые вы отметили красным карандашом. Во-первых, обе фразы: на стр. 28 и на стр. 45, принадлежат не мне, а Чернышевскому. Во-вторых, я не вижу в них ничего нескладного. Мне сегодня некогда было ехать в типографию и потому я доставляю листы в магазин, как это было условлено». А так как Флорентий Федорович служил своего рода связующей нитью между семьей Писаревых и Дмитрием Ивановичем, — роль не из приятных! — то Дмитрий Иванович в своей деловой записке просил его и о личной услуге: «Если Вы увидите мою сестру, пожалуйста, передайте ей прилагаемую записку».

Конечно, такая разобщенность мешала делу, но Флорентий Павленков старался преодолеть накапливавшееся возмущение. Недоразумение недоразумением, а начатое дело продолжать нужно. И хотя опасения издателя не покидали ни на минуту, однако работа не приостанавливалась. И уже 14 декабря 1867 года Флорентий Федорович сообщал Д. И. Писареву, что «4-я часть брошюруется для цензурного комитета и через три дня, то есть в понедельник, должна поступить или в сообщество ко 2-й части или же в обращение». Автор ставился в известность о том, что завтра ему будет оставлен в «Книжном магазине для иногородних» экземпляр книжки. И добавлял: «Это самая живая часть. Как ни велика вероятность ее заарестования, но я не верю, чтобы публика могла ее лишиться. Нужно хлопотать, нужно сильно хлопотать. И я буду».

В этой же записке Флорентий Федорович посчитал необходимым обратить внимание на тот факт, что 15 декабря исполнится ровно месяц с той поры, как была выпущена восьмая часть писаревских сочинений. «Будьте так добры, — писал он Писареву, — зайдите завтра в магазин (если это Вам будет по дороге) за получением должной мною Вам ежемесячной уплаты. Вообще по 15-м числам каждого месяца касса магазина будет ждать Вашего прихода».

Предпринятые Павленковым меры по поводу судьбы четвертой части увенчались успехом. Радость издателя в связи с этим обстоятельством трудно передать. Он поделился ею прежде всего с Верой Ивановной, а затем, не выдержав, написал и Д. И. Писареву. Написал без ставшей уже обычной сухой деловитости, как человеку, с которым связан лишь определенными обязательствами. Давал отчет тому, кого считал своим идейным вдохновителем, рапортовал о реализации собственных, намеченных давно планов. Эти планы и зарождались не без писаревского воздействия...

«Казавшаяся многим невероятность, — писал Флорентий Павленков Писареву 19 декабря 1867 года, — сделалась вероятною: публика не лишена 4-й части даже на время. Срок прошел, и книжка свободна. Таким образом, 1/6 задуманного мною на 10 лет дела закончена. Дней, подобных сегодняшнему, у меня будет немного... В 8 лет — пять дней... Но эти пять дней сознания выполненных надежд, надежд, разравнивающих дорогу к новым, более отдаленным, органически с ними связанным, — эти 5 дней выкупают 3000 остальных, между которыми они лежат так осиротело».

Столько открытости, столько сокровенных дум и чаяний Павленков вряд ли еще когда-либо вложит в убористые строчки какого-нибудь другого из бесчисленных своих писем! Он посчитал необходимым сказать это



Писареву! Не так много счастливых минут выпадает на долю людей, посвящающих себя целиком служению гражданскому долгу. Тем более дорогими становятся они их сердцу.

Спустя три дня Писарев писал Павленкову: «От души поздравляю Вас, Флорентий Федорович, и радуюсь вместе с Вами».

## КАК БЫЛ ВЫИГРАН ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС?

Для торжества у Павленкова не было особых оснований, так как оставалась неизвестной судьба второй части писаревских сочинений. Хождения по сему поводу в цензурный комитет, беседы с цензорами, в Главном управлении по делам печати мало оставляли надежд на благополучное завершение дела. И все же.

С Верой Ивановной Флорентий Федорович обсуждает все возможные шаги, которые можно было бы предпринять, чтобы спасти том.

— Мне стало доподлинно известно, что по второй части против меня как издателя будет возбуждено судебное преследование. Значит, будет суд. Если суд, то у меня сохраняется право защищать свои интересы...

— Многое, очень многое будет зависеть от того, кто выступит на процессе в роли защитника.

— Согласен с Вами, дорогая Вера Ивановна. Есть тут у меня одна дерзкая затея... Не знаю, как Вы расцените ее?

— Что Вы еще намереваетесь предпринять, Флорентий Федорович?

Павленков помедлил с ответом, а затем спросил:

— Как бы Вы отнеслись к тому, если бы защиту на суде я взял на себя? Кто, кроме меня, лучше всего знает всю сию печальную историю?

— А не преуменьшаете ли Вы реальной опасности? Перед Вами будут находиться профессиональные юристы. И они не преминут использовать против Вас любую запятую в статьях закона...

— Все это верно. Но ведь меня познакомили с обвинительным актом. Все предъявляемые мне обвинения подведены под соответствующие статьи... Разве мы не в состоянии изучить их? Я Вам вручал свой собственный труд «Наши офицерские суды». В Киеве я несколько месяцев изучал юридические справочники.

— Одно дело изучить и толковать законы... Совсем другое суметь в ходе судебного разбирательства быстро и точно ориентироваться, находить сильные и слабые стороны у обвинения... Ваша задача убедить суд в своей невиновности.

— А почему не попытаться? Но, знаете, мой друг, самое важное, что подталкивает меня к такому шагу, заключается в другом. Прокурор будет

изобличать Дмитрия Ивановича во всех грехах. Он вынужден будет цитировать писаревские статьи. Допустим худшее. Статьи не пропустят к печати. Но в своем ответном слове, полемизируя с прокурором, я смогу привести все другие места из тех же статей... Улавливаете? Они и прозвучат целиком на процессе.

— Это, конечно, заманчиво. Но я все же очень сильно сомневаюсь, насколько оправдано подвергать себя такому риску.

— Риск, говорят в народе, благородное дело. Но суть-то не в этом. Меня не страшит вся атмосфера борьбы. Напротив, она увлекает. Знаете, я подумал, что на процесс приглашу стенографиста, пусть он все запишет.

— А это зачем?

— Нет, не подумайте, что-де о славе пекусь. Берем худший вариант, статьи будут не пропущены, процесс нами проигран. Тогда я опубликую стенограмму процесса. Это ведь не возбраняется. А следовательно, писаревские мысли и таким путем дойдут до большего числа публики!..

— С Вами, Флор, не соскучишься.

Провожая Веру Ивановну к дому, Павленков сообщил ей, что собирается по делам на несколько дней в Москву. Если все сложится удачно, он потом подробно расскажет ей о задуманном предприятии.

Возвратившись к себе, Флорентий Федорович еще раз перечитал полученный в середине апреля обвинительный акт. Он не стал расстраивать Веру Ивановну. С ней он посоветуется позднее. Сейчас очень было бы полезно пообщаться с Дмитрием Ивановичем. Но тот не желает слышать о встрече. Полностью изолировался в своем лопатинском гнездышке... Ну и женщины. Вот какую силу могут иметь они над человеком. Да каким человеком? Силе духа Писарева можно позавидовать. А гляди-ка, полностью во власти Марии, как там бишь ее по батюшке, Александровны. Придется вновь прибегать к надежному эпистолярному жанру.

«Я уезжаю в Москву, — начал Флорентий Федорович письмо. — Пока же, до приезда оттуда, отдаю Вам обвинительный акт: он мне пока не нужен — я его прочел, а в Москве придется более ездить, чем сидеть. Да, наконец, я оттуда вернусь очень скоро. Просмотрите, пожалуйста, в это время акт со вниманием, подобающим делу, и изложите (лучше на бумаге) те основания, доводы и факты, которые, с Вашей точки зрения, было бы полезно привести в опровержение Тизенгаузена. Желательно, чтобы Вы особенно налегли на его “Русского Дон-Кихота”. Исполнением моей настоящей к Вам просьбы Вы крайне меня обяжете. Обратиться к Вам в настоящем случае я считаю своим долгом, своей обязанностью: до тех пор, пока Вы не считаете себя совершенно чуждым этому делу, я не имею права

говорить только от себя, я должен чувствовать, что я так же говорю и отвечаю. Для того же, чтобы чувствовать, надо осязать. Голое полномочие есть не более как иллюзия. Разве можно уполномочить другого на что-нибудь близкое для себя, не сообщивши своему доверенному ровно ничего, кроме своей удостоверительной подписи и казенной печати нотариуса? Поэтому мне кажется, что Вы сами желаете снабдить меня некоторыми инструкциями, но только удерживаетесь от этого в силу каких-нибудь ложных недоразумений. Верьте же, что после сказанного мною на предыдущей странице я иначе не могу относиться к Вашим указаниям и советам, как к элементу, выводящему меня из уединенности и придающему мне, следовательно, большую уверенность в законности моих доводов.

Если у Вас и у Вашей мамы нет 2-й части, тогда придется вместо нее достать те книжки “Русского слова”, в которых были помещены преследуемые статьи. Вы просто обратитесь в книжную лавку Шагина (по Б. Садовой, против Гостиного Двора), у него продаются №№ — 62 г. После с Вами сочтемся. — По приезде из Москвы я тотчас же дам Вам знать о результате моего путешествия. Вы, вероятно, не откажетесь зайти для переговоров ко мне. Мой адрес: В Зи-мином переулке (на углу Б. Мещанской), д. № 2, д. Бруста, кв. № 12. Примите уверение Ф. Павленков».

Флорентий Федорович перечитал написанное и вновь склонился над листом. «Я принял все меры, чтобы затянуть процесс настолько, — дописал он, — чтобы я успел сделать свое дело в Москве, что Вы можете видеть из моего первого прошения в Судебную Палату. Оно в подлиннике находится у Гирса, которому я поручил его подать в пятницу утром».

Вложив в конверт письмо и обвинительный акт, надписав адрес, Флорентий Федорович еще какое-то время сидел, полностью погруженный в предстоящие заботы. Отрадно, что «Физика» Л. Гано выручает. Расходятся книги блестяще. Касса в книжном магазине не пустует. Иначе задержка вот уже на год с выпуском второй части разорила бы окончательно. Хорошо, что появились товарищи, которые понимают тебя, с которыми можно открыто поделиться своими планами, сомнениями. Вот и Черкасов, и Надеин, и Гире поддержали: защиту надо вести самому! В меру сил оказывают помощь, используя своих влиятельных друзей в обществе. Эх, удалось бы в Москве мое «дельце»?.. Тогда бы мы еще посмотрели, господин Тизенгаузен! Да еще и Дмитрий Иванович после поездки в Москву все-таки заглянет ко мне, вручит свои соображения... Мы должны победить! Иначе просто нельзя...

Что-то я замечтался... Уже за полночь, а завтра в путь...

Москвой Флорентий Павленков любовался во время бесчисленных

разъездов на извозчиках. Обрадовало письмо от той, что была ему всех дороже. Вера Ивановна писала Флорентию в Москву: «Горячо и крепко целую Ваши хорошие, умные глаза, которые теперь часто должны иметь то живое, несколько озабоченное выражение, которое я особенно люблю в них. Часто, часто они мне видятся теперь, и почему-то когда я о Вас думаю, мне кажется, что они должны хорошо, тепло и дружески смотреть на меня теперь». Она хотела поддержать любимого человека, занятого хлопотами по подготовке к серьезному судебному разбирательству. Рекомендации друзей выручали. Как будто бы его замысел должен был осуществиться... Времени, правда, в обрез.

Когда подали письмо от Дмитрия Ивановича, с нетерпением набросился на него. Что же советует Писарев? Может быть, еще какое-нибудь предложение родилось у него? Письмо от 20 апреля. Значит, сразу по получении его послания Дмитрий Иванович тут же и отвечает: «Я не могу исполнить Вашу просьбу, не могу дать Вам никаких соображений и доводов для борьбы с прокурором...» Первые строки больно резанули... Не верилось, что Дмитрий Иванович пребывает в столь тягостном состоянии. К борьбе, чувствуется, он не готов... Однако надо же ознакомиться со всеми его суждениями...

«Читая обвинительный акт, я убедился в том, что в нем нет клеветы и что цензурный комитет и прокурор действительно увидели в моих статьях только то, что я хотел в них выразить. Признаваться в этом публично, конечно, нет надобности; но читать и перечитывать свои старые статьи с тем, чтобы как-нибудь поискуснее извратить их основную мысль, — это труд настолько утомительный и неблагоприятный, что я не решаюсь за него взяться. Я не адвокат, мой ум совершенно не приноровлен к той работе, которая тут требуется, и поэтому я совершенно уверен, что, убив на чтение и перечитывание двух старых статей несколько дней, оторвавшись на это время от тех работ, которые теперь имеют для меня живой интерес, я не принесу Вам никакой существенной пользы, то есть не дам Вам в руки ни одного нового и убедительного аргумента. Поэтому я отказываюсь тратить время на бесплодные письменные упражнения.

Я уверен, во-первых, в том, что Вы достаточно ясно понимаете смысл тех статей, которые Вам придется защищать, во-вторых, в том, что Вы не сделаете никаких неуместных уступок. Я уверен, что судьба этих двух статей интересует Вас гораздо сильнее, чем меня. Поэтому я полагаю, что всего лучше будет предоставить Вам в деле защиты самое безграничное полномочие. Защищайте, как хотите, а я заранее все одобряю. Готовый к услугам Вашим Д. Писарев».

— Что ж, и на том спасибо. Я-то не сделаю неуместных уступок... А Вы, Дмитрий Иванович? Что же Вы прячетесь в кусты? Да еще и ехидничаете: «...Судьба этих двух статей интересует Вас гораздо сильнее, чем меня...» Как так можно? Значит, подозреваете, что я действую во имя выгоды? Нет, нельзя оставлять такой поступок без ответа.

И Павленков тут же высказывает Писареву все, что он думает по поводу такого поведения своего идейного учителя.

26 августа 1868 года он пишет: «Мне переслали Ваше письмо в Москву. Признаться, оно меня крайне удивило. Читая его, можно подумать, что к Вам обратились по делу, совершенно для Вас новому. О результате Вашего ответа я ничего не говорю. Прочитавши его, я даже пришел к тому мнению, что Вы сделали лучшее из того, что могли. При том нравственном состоянии, в котором Вы теперь находитесь и которое сказывается в каждой строке Вашего письма, Ваша помощь, пожалуй, скорее могла бы принести вред, чем какую-либо пользу. Но вспомните, Дмитрий Иванович, как Вы относились к предстоящему процессу в крепостной, долопатинский период. Вы буквально настаивали тогда на общем обсуждении плана и ведения судебной защиты. Это-то и побудило меня отнестись к Вам письмом по получении обвинительного акта. Я бы никогда не сделал этого при теперешних обстоятельствах, если бы не сознавал, что на мне лежит в некотором роде нравственная обязанность исполнить Ваше настойчивое и в высшей степени законное желание. Теперь я вижу, что причинил Вам одно лишь беспокойство. Но мне казалось, что если бы я поступил иначе, то это было бы с моей стороны не совсем хорошо. С другой стороны, согласитесь, что я не могу никаким образом знать, что Вы переменили мнение о своем уме. Кажется, Вы иначе относились к нему, читая, по выходе из крепости, обвинительную бумагу цензурного комитета. Куда же девалась Ваша излюбленная теория иезуитизма? Но я забываю, что то был долопатинский период. Готовый к услугам Ф. Павленков».

Ох и огорчила же Флорентия Федоровича перемена в настроении Писарева. Этот отказ принять участие в подготовке к судебному процессу по второй части сочинений вызвал, как видно, однозначную реакцию — обиду.

Чуть-чуть отойдя от охватившего чувства негодования, перечитав «сердитое» письмо Д. И. Писареву, Флорентий Федорович засомневался: отправлять его или не отправлять? Получи Дмитрий Иванович такое послание, это будет равнозначно разрыву отношений. С другой стороны, как больно сознавать, что талантливый человек бывает подвержен слабостям людским, что он может стать жестоким и немилосердным,

равнодушным как к судьбе его же собственных произведений, так и людей, искренне и преданно работающих во имя одного, чтобы свободолюбивый писаревский голос слышало как можно больше граждан великой нашей Руси...

Как всегда в трудную минуту, в миг колебаний и раздумий, когда требуется обязательно сделать безошибочный выбор, человек тянется к другу, близкой душе, способной понять и дать совет. Тем более что Вера Ивановна Писарева не может остаться безучастной к этой истории.

«От Писарева я такого пассажа не ожидал, — пишет Флорентий Федорович Вере Ивановне. — Посылаю ему ответ. Я нарочно посылаю его через Вас. Писавши его, я торопился. Может быть, чего-нибудь недосказано. Я Вам предоставляю право остановить его, если найдете почему-либо нужным». Далее же Флорентий Федорович продолжал так: «Об одном пункте я умолчал намеренно, а именно о том, что Писарев забывает, каким образом я сделался ответчиком по его делу. Но напоминать об этом я счел недостойным. Я считаю и всегда считал это дело настолько же своим, насколько и его. Он сам должен понять свою неловкость. Не знаю, однако, поймет ли? Теперь он что-то не очень стал понятлив. Новая крепость, дом Лопатина, кроме слога, ничего в нем не оставила...»

Позднее Флорентий будет благодарить Веру Ивановну за то, что она не поддавалась этому же чувству и не познакомила брата с его гневным письмом, отправленным из Москвы... Действительно, не в натуре такого гордого своими принципами молодого талантливого человека, каким был Дмитрий Иванович, юлить, искать какие-то пути, сглаживать углы, идти на попятную или скрывать свои убеждения! А на что же мы — его сотоварищи, единомышленники? Поэтому

Флорентий Федорович решает не только не усугублять возникших недоразумений с Д. И. Писаревым, но, наоборот, он по возвращении из Москвы добивается личного свидания с критиком. Об этом он позднее рассказал сам в письменном ответе на вопросы комиссии, которая допрашивала его, требовала объяснений по изъятым у издателя во время ареста письмам и документам. Павленков ничего не скрывает. «Можно ли было мне не удивиться, когда я получил письменный документ его (Писарева. — В. Д.) отступничества от своих идей? — признается Флорентий Федорович и добавляет: — Это было, без сомнения, невозможно. Письмо мое есть лишь одна буква моего удивления и упреков. Самое же удивление было мною выражено Писареву на словах, когда я вернулся из Москвы».

«Я попросил у него объяснения. Я просил его дать мне возможность

понять то превращение, которое в нем совершилось за последнее время. В самом деле, в крепости и по выходе из нее он называл мнение цензурного комитета (которое целиком перешло в обвинительный акт прокурора) клеветой, а теперь вдруг говорит, что он хотел сказать именно то, в чем его обвиняет цензурный комитет. Своими ответами Писарев меня не удивил. Он признался мне, что в последнее время он чувствовал в каждом своем шаге, в каждой строке своих статей падение и увядание, он снова повторил мне о той тяжести и неизбежности влияния любимой им женщины, которое всех вооружило против него. Он раскаивался в том, что оставил общество и замкнулся в тесном кругу этой женщины; невозможность быть с ним знакомым при таких печальных обстоятельствах он принимал за холодность, равнодушие и даже начинающееся пренебрежение. Далее он мне сознался, что считал меня за человека, смотрящего на него сверху вниз, и что желание отделаться от меня заставило его прибегнуть к такому, как он выразился, “salto mortale”. Он объяснил мне, что не ожидал, чтобы я после такого ответа пришел к нему за объяснениями, что, по его расчетам, должен был махнуть на него рукой, между тем как теперь мы расстаемся с ним друзьями. В числе причин, заставивших его ответить мне так неизъяснимо странно, он приводил еще одну — совет какого-то туз-литератора — не вмешиваться в это дело и разом каким-нибудь крупным оборотом покончить с ним. Тогда-то он под действием двойных побуждений — личных и посторонних — решился на свое “salto mortale”».

Прогуливаясь по вечернему Невскому, Флорентий Федорович и Вера Ивановна обсуждали предстоящую защитительную речь на суде. Прохожие оглядывались, словно хотели запомнить эту бросающуюся в глаза пару — молодого человека с офицерской выправкой и его юную спутницу, о чем-то оживленно споривших...

— Флор, вновь хочу возвратиться к одной все время волнующей меня проблеме. Не пригласить ли все-таки адвоката? Не преувеличиваете ли Вы своих способностей? Там будут сидеть не дилетанты, а поднаторевшие в юриспруденции, в судебной практике опытные люди.

— После удачи с московской «операцией» не сомневаюсь, дорогая Вера Ивановна, в успехе своей защиты. Я даже представляю вытянувшиеся физиономии, когда в конце своей речи скажу нечто... Допустим так...

Флорентий Федорович поднялся на возвышенность Аничкова моста через Фонтанку у одной из фигур отлитых Клодтом коней и негромко, словно продолжая звучавший ранее монолог, произнес: «Господа судьи! Будучи вполне уверен, что в статьях “Бедная русская мысль” и “Русский Дон-Кихот” преследуются не идеи, а вывеска над ними имени Писарева, я,



по получении обвинительного акта, отправился в Москву по известному палате делу, а главное, с целью, переименовав заглавие статей и имя автора, отпечатать их там вторично не только без всяких изменений, но даже с прибавлением второй половины “Бедной русской мысли”»...

Вера Ивановна с грустной улыбкой слушала его речь. Она жестом попросила его остановиться...

— Здесь, Флор, Вы увлекаетесь и начинаете уже входить в азарт. Не нужно этого. Спокойно, по-деловому. Вы лишь только информируете. Никакой издевки — ни на лице, ни в речи. Продолжайте, вся палата с застывшим вниманием слушает.

— Я знал, что у нас относятся с недоверием к общедоступности, и потому положил себе выставить на обложке крупную цену; я знал, что у нас обращается внимание на число печатаемых экземпляров, и потому положил себе оговориться в предуведомлении, что книжка эта печатается в незначительном количестве. Приняв все эти чисто внешние предосторожности, я мог рассчитывать на полный успех. Ожидания мои оправдались как нельзя лучше. Книжка прошла. Я ее сюда принес. Вот четыре экземпляра. Таким образом, Палата может видеть, как последовательно наше цензурное ведомство. Одну и ту же книгу, на основании одного и того же указа, оно считает возможным и справедливым беспрепятственно допускать к обращению и преследовать с предварительной конфискацией, то есть мирить две такие противоположности, как полнейшая безвредность и выходящая из ряда преступность.

Вы видите также, господа судьи, в какое странное положение поставили бы Вы свое решение, если бы обвинили меня, согласно мнению прокурора. Те же самые статьи после их осуждения, после приговора об уничтожении могли бы свободно обращаться в публике через посредство московских книжных магазинов. Ваши решения не всеобщие. Палата не кассационный департамент Сената, ее приговоры не действительны для московского судебного округа, где статьи эти допущены своей местной цензурой. Вот какая из всего этого процесса является цепь несообразностей...

— Bravo, Флор. Вы умница. Сегодня же, сейчас, мы поспешим домой и я запишу все, что Вы произнесли. Здорово. Мне трудно придраться. Хотя, Вы знаете, я всегда в этом преуспеваю. Да, чуть не забыла, с последними словами Вы неспешной походкой идете к столу судей и передаете им книги. Но никаких поклонов, никакого артистизма! Вы — работник. Вы передаете результаты своего труда. Вас не интересуется никакая побочная мишура,

улыбки, аплодисменты. Вы делаете дело! Вы защищаете честь. И Вы вот так, смотрите, возвращаетесь на свое место.

Вера Ивановна изобразила шаг поручика, словно это происходило бы на полковом смотре. Оба засмеялись. И, прижавшись друг к другу, зашагали к дому Веры Ивановны.

По дороге продолжали разговор о процессе. Нет, убаюкивать себя легкой победой не стоит. Чтобы доказать свою невиновность и высвободить заарестованную часть писаревских сочинений, еще нужно было основательно поработать. Вера Ивановна предложила собраться втроем, вместе с Черкасовым все обсудить, обдумать сам характер защитительной речи. Флорентий Федорович согласился.

Позже, когда встретились за чаем у Писаревых, спорили долго и горячо. Черкасов сразу же предложил проштудировать основательно обвинительное заключение.

— Надо сделать выписки. Вокруг каждого пункта стоит порассуждать.

— Верно. Я уже обнаружил в нем противоречия с прежней практикой прокурорского надзора. В частности, помните решение Судебной палаты от 20 декабря 1866 года по делу Суворина, судившегося за напечатание сочинения «Всякие». Если прокурор не отойдет от текста обвинения, то мне представляется, что прямо с констатации этого противоречия и следует начать. Я набросал уже кое-какие мысли. «Если не ошибаюсь, прокурорская власть имеет целью наблюдение за охранением закона, то есть за правильным и, следовательно, более или менее однообразным его применением. Но мой настоящий процесс является показателем именно противоречивости прокурорской практики. Как ни странно и ни голословно с первого взгляда высказываемое мною положение, но голословность его перейдет в полное доказательство, если припомнить наш первый литературный процесс. На этом процессе, происходившем по поводу книги «Всякие», состоявшей из очерков, наполовину цензурованных, а наполовину напечатанных без цензуры, прокурорский надзор окружного суда, начиная свою обвинительную речь, прямо и категорически заявил, что он рассекает доставленную ему комитетом книгу на две части, из которых первая, как цензурованная, не может подлежать преследованию, что эта часть освящена предварительным разрешением и потому не должна быть предметом ответственности для автора. Итак, перед окружным судом говорится одно, перед Судебной палатой — совершенно другое. И удивительно, что оба говорящие лица — юристы, оба — прокуроры и оба ссылаются в своих диаметрально противоположных взглядах на один и тот же указ 6 апреля».

Закончив чтение, Флор посмотрел на слушавших его друзей.

— Отменно, дружище. Неплохо. Мне думается, надо речь насытить в большей степени образностью — сравнениями, аналогиями. Судьи — люди. Восприятие эмоционального, взволнованного выступления куда доходчивее, чем когда выслушиваешь сухие логические упражнения.

— Согласна с Вами, Вольдемар. И вообще — не грешно вводить литературные параллели. Это хорошо, что дается сравнение с суворинским процессом. Сразу возникает впечатление убедительности.

— А как считаете, речь моя должна быть лаконичной или вообще заботиться об этом не стоит? Главное, сказать все, что считаю нужным.

— Несомненно. Но стройность изложения из виду упускать нельзя. Слушатели должны уяснить все узловые моменты выступления, все составные части его.

— Убеждена, об этом говорить пока рановато. Сейчас лучше бы наметить темы этих узловых пунктов, вокруг которых Флору стоит строить логику своих доказательств. Ясно, что о содержании обеих статей Писарева придется говорить.

— Верное замечание, дорогая Вера Ивановна. В связи с тем, что в обвинительном акте очень упрощенно изложена критика Писаревым славянофилов, в частности, Киреевского, мне представляется целесообразным не только изложить подробно и точно то, что написано в статье «Русский Дон-Кихот», но и кое-что привести из мыслей самого Киреевского. Тогда яснее будет, почему Дмитрий Иванович выступает против крайностей.

В последующие дни и ночи Флорентий Федорович усиленно трудился над текстом выступления. Обе статьи, которые подвержены обвинению, ранее уже побывали в цензуре. Судьям надо внятно объяснить, что это значит.

«...Всякую статью, прошедшую через цензуру, — начал он писать, — можно сравнить с более или менее богатою золотой россыпью, побывавшей в руках жадных промышленников и купцов. Из их рук уже не выскользнет ни одна крупинка благородного металла — в том порука их алчность, вооруженная всевозможными средствами для своего удовлетворения. Поэтому было бы или высшей степенью непонимания дела, или крайней наивностью стремиться к открытию золота в обработанных ими песках. Но не то же ли самое представляет собою настоящий процесс?..»

Флорентий положил ручку, закрыл чернильницу и вслух прочитал написанное. После короткого размышления взял вновь ручку, обмакнул

перо и дописал: «Стараться выжать сок из лимона, побывавшего под гидравлическим прессом, — по меньшей мере бесполезно, это просто значит не жалеть своих рук».

Надо бы найти переход к разговору о статьях. Лучше всего так: «...О невозможности преследовать книги, прошедшие цензуру до издания законов 1865 года, я буду говорить подробнее в конце. Сейчас важно было лишь подчеркнуть обнаруженное противоречие в логике обвинения».

А что, если вслед за этим сказать, что цензурный комитет не прочь вернуться к старым временам? И этот процесс для него — прекрасная возможность для осуществления своих намерений. «Я имею полное основание принимать свой процесс за первый цензурный камень, направленный в дорогу для всех печать начала настоящего царствования. Если позволительны на суде образные представления, то, мне кажется, можно без натяжек сказать, что дерево этой печати, несмотря на то, что оно выросло на корне самых строгих — даже, пожалуй, драконовских — законов, тем не менее, обладает множеством таких плодов, от которых никто не захочет отказываться, — отказаться от которых можно только заставить или грубою силой или утонченным принуждением, что, по моему, все равно. Но первый успех есть залог дальнейших побед. Вот почему допустить, чтобы настоящий процесс стал благоприятным для цензурного комитета прецедентом, значило бы то же самое, что помогать маляру в его первой попытке загрунтовать серой краской картинную галерею».

При новой встрече с друзьями Флорентий зачитывал уже написанные фрагменты речи. Они, в свою очередь, делились возникшими у каждого соображениями.

Готовился к процессу Павленков без растерянности и излишней суеты. Он писал записки и прошения в Главное управление по делам печати, требовал, доказывал, заявлял о своем намерении бороться за то, чтобы отстоять собственные интересы. «Если цензурный комитет будет действовать по-прежнему, — писал он в одной из записок, — то я должен буду принять против него свои меры».

Конечно, это была не наигранная смелость. Молодой издатель готовился самым серьезнейшим образом к процессу. Нужно было предусмотреть любые опасности, с какой бы стороны они ни возникли.

Поручику Павленкову угрожало в первую очередь то, что его, как артиллерийского офицера, могли привлечь к военному суду. Такое развитие событий могло быть чревато самыми нежелательными последствиями. Выручило опять же знание законов Российской империи. Нет, вовсе не зря

в Киеве он углубился в изучение юридической премудрости.

Сначала увлекся поиском возможных, с точки зрения закона, путей борьбы с казнокрадством, потом писал брошюру «Наши офицерские суды»; а затем стал изучать другие статьи и положения. И вот теперь вспомнилось, что в действовавшем уголовном кодексе имелась одна весьма важная зацепка. Статья определяла, что те дела, где два ответчика — лицо военное и гражданское, — передаются не в военный, а в гражданский суд.

А это уже что-то! Но найдется ли такой человек, кто изъявит желание добровольно стать рядом, когда речь идет о суде? И все же попытка — не пытка. Соиздателем молодого офицера согласился признать себя владелец типографии, где печатались павленковские книги, М. А. Куколь-Яснопольский. На тот случай, когда в суде возникнет вопрос: почему не выставлены две фамилии на обложке издания, ответ тоже нашелся: не хотели сбивать с толку провинциальных подписчиков, которые бы не знали, к кому из них следует обращаться. Казалось бы, все логично. Но при дознании полицейские чины отвергли версию об участии М. А. Куколь-Яснопольского в издании второго тома сочинений Д. И. Писарева. Более того, отфиксировали и тот факт, что Павленков и перед судом везде появлялся в офицерской форме. Даже к прокурору он являлся при погонах!

Нужно было искать другое решение. Он стал хлопотать об увольнении со службы «по домашним обстоятельствам».

И такой приказ получить удалось. После этого угроза военного суда отпала сама собой.

Пока Флорентий Федорович искал всевозможные пути к спасению второй части писаревских сочинений да одновременно к защите своей свободы, не тратила времени зря противоположная сторона. Прокурор Тизенгаузен готовил свою обвинительную речь. В Главном управлении по делам печати тоже изучали существо этого неординарного процесса.

Заслуживает внимания один документ, автор которого предостерегал власти не торопиться в своем желании во что бы то ни стало расправиться с начинающим издателем. 4 июня 1868 года член совета Главного управления по печати Варадинов писал в своем отзыве: «Вторая часть сочинений г. Писарева, заключающая в себе четыре статьи: (1. “Русский Дон-Кихот”, 2. “Бедная русская мысль”, 3. “Кукольная трагедия с букетом гражданской скорости” и 4. “Реалисты”), есть книга положительно вредная, так как в ней разлит тонкий угар атеизма (стр. 3 и 4), проявляющегося, впрочем, в одном месте довольно ощутительно, отвергаются с глумлением все науки, за исключением естественных, извращаются научные понятия, открыто проповедуется реализм (в статье “Реалисты”), выражается глубокое

уважение к “Современнику”, осужденному Высочайшею властью, но который, по мнению Писарева, “лучший журнал, когда-либо существовавший в России” (стр. 228), и выказывается задушевное сочувствие к нигилисту Базарову из романа Тургенева “Отцы и дети”, Базарову, от которого даже нигилисты отвернулись с ужасом и негодованием. Кроме того, на стр. 92 находится следующее примечание: “хотя настоящая статья (‘Реалисты’), написанная Д. И. Писаревым в конце 1864 г., носила название ‘Реалисты’, но почему-то ей дали название ‘Неразрешенный вопрос’, под которым она испытала на себе, по словам Писарева, нечто вроде геологического переворота; наиболее вопиющие изменения восстановлены”. Наконец, во всей книге извращение здравых понятий и решительное отсутствие логики. Поэтому я думаю, что книга эта должна быть конфискована, но так как конфискация влечет за собою неудобное предание суду, между тем объясненные тенденции Писарева не предвидены действующими законами о печати, то я не решаюсь принять на свою ответственность конфискацию этого сочинения и покорнейше просил бы, приостановив выход его в свет теперь же, подвергнуть рассмотрению совета Главного управления».

Хотя и туманно, но все же весьма определенно автор отзыва предостерегает, что выиграть данный процесс будет не так просто. Он согласен с тем, что книгу не нужно было бы допускать до публики, однако согласно действующему законодательству добиться этого невозможно. Услышан ли был этот голос? Нет.

5 июня 1868 года Флорентий Федорович Павленков предстал перед судом в Санкт-Петербургской палате. Дмитрий Иванович по-прежнему демонстрировал полнейшее равнодушие к предстоящему процессу. Весь поглощенный мыслями о будущей защите, Флорентий Федорович уже без всяких волнений пробежал полученную 5 июня писаревскую записку. В ней — одни лишь личные интересы критика. «Милостивый государь Флорентий Федорович! Я на днях уезжаю из Петербурга на все лето. Поэтому я прошу Вас, по мере наступления сроков, доставлять мои деньги Николаю Алексеевичу Некрасову, на углу Литейной и Бассейной в доме Краевского. Застать его дома можно по понедельникам, от 1–3 пополудни. Готовый к услугам Вашим Д. Писарев».

Это мы выполним, Дмитрий Иванович. Будьте покойны! Поборемся и за Ваши сочинения... Своих убеждений не меняем! Почему-то вспомнилась встреча с Дмитрием Ивановичем сразу после выхода его из крепости... Сколько радости принесла она обоим! Вера Ивановна, присутствовавшая при этом, ликовала от счастья.

Я, помнится, говорил Писареву о том огромном идейном воздействии, которое он оказал своим творчеством на формирование мировоззрения, на выработку жизненной позиции.

— Влияние и известность, какими Вы пользовались в шестьдесят втором — шестьдесят пятом годах, то есть во времена относительно счастливых годов журналистики, было громадно. Только тот, кто жил в это время в провинции, может составить себе о ней хотя бы приблизительное понятие. Можно без преувеличения сказать, что еще никто из русских писателей не имел таких горячих повсеместных поклонников, какие выпадали тогда на Вашу долю, Дмитрий Иванович.

Это я говорю Вам о себе, о своем друге Вольдемаре Черкасове и о других своих товарищах. Вы были близки нам по духу еще и потому, что являли собой представителя нашего же поколения, в прямом смысле этого слова — ровесника. Вам удалось столь гениально выразить наши думы и надежды, чаяния всей честно мыслящей части общества, что Вы по праву стали нашим «идейным коноводом», как высказался один из наших современников. В Киеве мы не пропускали ни одного номера журнала «Рассвет», где с 1859 года появлялись в библиографическом отделе Ваши публикации. Поражало все. Даже производительность Вашего творческого труда.

Дмитрий Иванович в этом месте заметил:

— Да, работалось тогда прямо-таки в удовольствие. Даже как-то подсчитал на досуге, что ежемесячно предоставлял редакции до тридцати пяти страниц большого формата.

Сообщая Дмитрию Ивановичу, что именно со страниц «Рассвета» познакомился с первыми его литературными опытами — рецензиями «Обломова» И. Гончарова, «Дворянского гнезда» И. Тургенева, «Трех смертей» Л. Толстого и другими, я добавлял:

— Хотите знать, что особенно привлекало меня и моих друзей в Ваших статьях? Прежде всего — оригинальность, которая сделалась впоследствии отличительной чертой всех Ваших произведений, лежала в основе Вашего характера и в складе всей Вашей личности.

С интересом, помню, слушал тогда Дмитрий Иванович мои признания. Я тогда и такой темы коснулся. Сказал, что все мы, молодые офицеры, сходились в том, что Писареву присущ культ умственной деятельности. Исходной точкой всех Ваших воззрений на окружающие явления, говорил я, была неограниченная, фаталистическая вера в разум. Мы все были убеждены, что разум был у Вас своего рода религией. Перед мыслью Вы благоговеете, только за ней одной и признаете силу, прочность и

будущность. В Вашем лице для нас представал своего рода язычник, который с анатомическим хладнокровием срывает с рассматриваемых предметов самые красивые оболочки. И если при вскрытии внутри их не обнаруживает пропорциональной частицы его божества, то безжалостно бросает рассеченный предмет в мусор. Только таким приемом и объясняются Ваши статьи о некоторых неприкосновенных будто бы представителях нашей литературы. Если в них и есть преувеличения, то эти преувеличения чрезвычайно последовательно вытекали из высокого начала — из Вашего требования, чтобы все, что рассчитывает на прочность и влияние, прежде всего было разумно, сознательно, продуманно, а потом уже справедливо, человечно и т. д.

Интересно, что закончил я тогда свой затянувшийся монолог о нашем восприятии писаревских идей такой довольно-таки выпендренной фразой: «Ум прежде всего! В этих трех словах... — весь Писарев со всеми его достоинствами и недостатками».

Создалась в те часы нашей прогулки по набережным Невы такая атмосфера искренности, что все это звучало без фальши, не воспринималось с какой бы то ни было примесью ложных эмоций.

Дмитрий Иванович в ответ на комплиментарные слова почему-то обратился к своей студенческой поре.

— Когда я пришел в Петербургский университет, жизнь там шумела. Конечно, для науки нужен больше не шум, а тишина и спокойствие. Но разве это тогда было понятным? Первое, что услышал в стенах университета, что захватило меня целиком, было не лекцией одного из умудренных профессоров, а речью студента старшего курса. «Отрицание, самое беспощадное отрицание необходимо нам для обновления старой жизни. Прежние принципы нравственности и гражданственности не могут удовлетворить нас, молодежь. Мы смело и торжественно отвергаем их...»

И я отрицал. Отрицал многое — страстно и убежденно...

Флорентий Федорович прервал свои воспоминания, отложил писаревскую записку и вновь углубился в изучение обвинительного акта...

В день процесса на скамью подсудимых Павленков пришел во всеоружии юридических знаний. Как отмечал впоследствии Н. А. Рубакин, несмотря на свои двадцать восемь лет, Павленков проявил в своих речах и ум, и знания, и ловкость самого опытного адвоката. Он логически подводил судей к пониманию ответственности самих цензоров за создание возникшей ситуации с публикацией писаревских статей.

С убежденностью и страстностью высказывается издатель против прокурорского толкования указа 6 апреля.



«...Статья, предусматривающая преступление, возводимое на меня г. прокурором, существовала и в уложении 1857 г. с той лишь разницей, что там она стоит под № 1356. Но где же тогда неопределенность постановлений, действовавших до указа 6-го апреля, или, может быть, номер 1001 определеннее 1356-го?.. Но тогда пусть г. прокурор объяснит мне эту кабалистику. Вот к каким несообразностям может привести преследование цензурованных книг. Но понятно, что если обвинение в нарушении той или другой статьи закона приводит к несообразности, то значит, что его не существует...»

После сказанного можно признать, что если и допущено какое-либо правонарушение, то речь может идти исключительно о статье 1712 Уложения о наказаниях, в которой говорится о секретных указаниях цензорам. Значит, при конфискации второй части сочинений Д. И. Писарева все определялось не правонарушением, а какими-то другими мотивами. «Надо здесь намекнуть на выстрел Каракозова», — вспомнилось напутствие Черкасова. И Павленков говорил дальше.

«...После всех известных событий цензурный комитет так засуетился, что стал впопыхах обращать свои преследования не столько на идеи, сколько на знамена этих идей, на известные имена. Но понятно, что с именем Писарева соединено много воспоминаний. Поэтому возобновление его статей могло показаться комитету отступлением от рескрипта. Что в то время преследовалось имя Писарева, это доказывается, между прочим, запрещением публикаций о его сочинениях. Цензура просто хотела заставить меня прекратить начатое мной издание, как заставила Звонарева сжечь до суда изданные этим книгопродавцем сочинения М. Л. Михайлова. Со мной это ей не удалось: все части “Сочинений Д. И. Писарева” отпечатаны в том виде, в каком предполагалось... Повторяю, на самом деле во второй части “Сочинений Писарева” нет ничего предосудительного. Если б она вышла раньше, то и ее бы не конфисковали; а если бы преследуемые теперь статьи были подписаны не Писаревым, то они прошли бы даже и в 1866 году. Я знаю, мне могут возразить, что это не идет к делу, что все это — одни мои ни на чем не основанные предположения, которых нельзя подтвердить доказательствами и которые, следовательно, будут оставлены судом без внимания. Но в том-то и дело, что за моими словами стоит неопровержимый факт...»

Флорентий Федорович прервал свою речь. Встретился взглядом с Верой Ивановной. Уловил ее ободряющий жест и... стал слово в слово повторять все то, что произносил перед Верой Ивановной на Невском. В конце речи он вручил председателю четыре экземпляра изданного в Москве

сборника с подвергающимися в данный момент судебному преследованию писаревскими статьями, напомнил еще раз суду о цепи несообразностей, вытекающих из процесса, и закончил свое выступление словами: «Найти тот или другой выход из этой цепи несообразностей, конечно, зависит от суда. По моему же мнению, выход этот может быть только один — это оправдать меня».

Возвращаясь на свое место, Флорентий Федорович на лицах друзей увидел ободряющие улыбки.

Судья раздал книги сидящим рядом с ним и сам стал внимательно ее изучать. Автором книги указан некий «Н. Р.». Позднее судья узнает, что эти две буквы имеют прямое отношение к Д. И. Писареву. Николай Рагодин — таким был псевдоним юного критика. В книге действительно помещены обе статьи, которые стали предметом судебного разбирательства. Правда, озаглавил их издатель здесь совсем иначе: «Взгляд на славянофильское любомудрие, направленное против западничества Петра, как на психологический фактор», а другую — «Оправдание Петра Великого с точки зрения исторической необходимости».

А что же говорилось в предисловии? «Статьи, предлагаемые читателю в этой книжке, были когда-то помещены в одном из наших периодических изданий. В самый момент своего появления они мало были замечены публикой, и теперь об них едва ли кто помнит. Вот почему, печатая их вторично, издатель полагает, что они для многих будут новыми. К вторичному изданию этих статей, кроме сознания с нашей стороны их не бесполезности — не говорим о полнейшей их благонамеренности — нас побуждают еще просьбы о том некоторых наших знакомых. Исполняя их желание, мы однако же должны оговориться, что считаем лишним печатать настоящую книжку в большом количестве экземпляров. Вот чем объясняется сравнительно весьма дорогая ее цена».

Все это так, но факт остается фактом, что одни и те же статьи в Москве цензура разрешила к распространению, а здесь они — предмет судебного разбирательства?!

## АРЕСТ И ЗАТОЧЕНИЕ В КРЕПОСТЬ

Уже на второй день после завершения процесса Флорентий Федорович посылал на Рижское взморье Дмитрию Ивановичу приговор судебной палаты. Настроение у него было приподнятое. Он с удовольствием переписал текст приговора. Писать же какие-либо слова Дмитрию Ивановичу Вера Ивановна не велела. Было бы неприятно, если бы их радость по поводу этой общей победы разделяла и та, которая столь пагубно повлияла на друга и брата...

«Приговор судебной палаты.

1868 года, июня 5-го дня по указу Его Императорского Величества, С.-Петербургская судебная палата, по уголовному департаменту, в публичном судебном заседании, под председательством старшего председателя, сенатора Я. Я. Чемадунова, в составе членов: А. Н. Маркевича и Н. Н. Медведева, при секретаре Д. С. Орестове, в присутствии прокурора судебной палаты П. О. Тизенгаузена, слушала дело об отставном поручике Флорентии Федоровиче Павленкове, обвиняемом в нарушении постановлений о печати. В июне месяце 1866 года, в С.-Петербургский цензурный комитет представлена была отпечатанная без предварительной цензуры вторая часть сочинений Д. И. Писарева, издания Флорентия Павленкова. По рассмотрении этой книги цензурный комитет нашел, что в первых двух статьях оной: “Русский Дон-Кихот” и “Бедная русская мысль” заключаются мысли, вредные по их направлению и цели, а потому, сделав распоряжение об арестовании отпечатанных в числе 3000 экземпляров означенной книги, отнесся к прокурору С.-Петербургского окружного суда о предании издателя книги Павленкова суду, обвиняя его в напечатании таких двух статей, из коих первая — “Русский Дон-Кихот”, заключающая в себе осмеяние нравственно-религиозных верований и отрицание необходимости религиозных основ в просвещении и нравственности, составляет правонарушение, предусмотренное в 1001 ст. Улож., и вторая — “Бедная русская мысль”, в коей есть выражение, оправдывающее свободные отношения двух полов, заключающая в себе, сверх того, иносказательное порицание существующей у нас формы правления, делая враждебное сопоставление монархической власти с народом и стараясь представить первую началом бесполезным и даже вредным в народной жизни, составляет правонарушение, предвиденное в статье 1035 уложения.

Вследствие сего, прокурор судебной палаты, составив о Павленкове обвинительный акт, в коем прописал изложенные выше выводы цензурного комитета, предложил оный на рассмотрение палаты.

В публичном заседании судебной палаты по сему делу прокурор палаты в обвинительной своей речи, не указывая более нарушения Павленковым правил, предусмотренных 1035 ст. Улож., объяснил, что, по мнению его, поименованные статьи в книге, изданной Павленковым, заключают в себе: первая — оскорбительное для чувства верующего осмеяние православно-христианского образа мыслей и православно-славянского направления одного из отечественных писателей, а вторая — суждения, путем коих умаляется значение гнусного политического преступления, и презрительный тон, каким говорится о деяниях Великого Петра; что обе эти статьи слишком несерьезны для того, чтобы искать в них материал для обвинения в преступлении; что преступление, предполагающее всегда существование злого умысла, не может крыться в сочинениях столь легкого содержания; что в подобных сочинениях видны не преступные умыслы, но странная торопливость высказать поскорее в печати все, что думает автор о разных предметах, торопливость, под влиянием которой автор рассматриваемых сочинений забыл то приличие, какое требуется от публичного слова; что таким образом напечатание этих сочинений, содержащих в себе неприличные суждения, оскорбляющие религиозное чувство верующего и нравственное чувство гражданина, составляет явное нарушение общественной благопристойности, воспрещенное 1001 ст. Уложения, под действия коей подводится и указанное цензурным комитетом место в статье “Бедная русская мысль”, в котором автор оправдывает свободные отношения двух полов. При этом, как и в обвинительном акте, прокурор указал те места и выражения статей Писарева, на коих основаны вышеизложенные обвинения.

Оставляя без рассмотрения первоначально возведенные на Павленкова обвинения, как неподдерживаемые в судебном заседании обвинительной властью, и приступая к обсуждению сего дела по отношению к указанной в обвинении 1001 ст. Улож., судебная палата усматривает, что означенная статья подвергает взысканию того, кто тайно от цензуры будет печатать или иным образом издавать в каком бы то ни было виде, или же распространять подлежащие цензуре сочинения, явно противные благопристойности.

Таким образом, для признания какого-либо издателя книги виновным в нарушении постановлений, указанных в 1001 ст. Улож., нужно, во-первых, чтобы издаваемая им книга содержала в себе что-либо явно противное благопристойности, и, во-вторых, чтобы книга эта была тайно от цензуры

отпечатана и распространяема. Из этого видно, что 1001 ст. может относиться к такого рода сочинениям, которые, подлежа предварительной цензуре, не будут в оную представлены, а, напротив, тайно от нее напечатаны и распространены. Обращаясь затем к рассмотрению действий Павленкова при издании им рассматриваемой ныне книги, оказывается, что книга эта, по объему своему, могла быть и была напечатана без предварительной цензуры, что затем, по отпечатании, она представлена была в узаконенном порядке в цензурный комитет и тайно от цензуры распространяема Павленковым не была.

Признавая посему, что в действиях Павленкова не было одного из существенных признаков проступка, предусмотренного 1001 ст. Улож., а именно тайного от цензуры распространения сочинения, что посему за одно не тайное от цензуры напечатание без распространения книги, если бы в ней и заключалось что-либо явно противное благопристойности, Павленков не мог бы подвергнуться лично указанному в 1001 ст. взысканию, и, переходя к рассмотрению самого содержания тех двух статей книги, которые послужили поводом к преследованию издателя оной перед судом, так как при существовании в них чего-либо воспрещенного 1001 ст. уложения, они, на основании этой ставки закона, должны быть уничтожены, палата находит: 1) что статья “Русский Дон-Кихот” составляет критический обзор сочинений И. В. Киреевского и рассуждения о личности этого писателя. Не соглашаясь с воззрениями Киреевского и с его направлением, Писарев называет Киреевского “мрачным и вредным обскурантом”, называет “допотопными” выработавшиеся с детства у Киреевского идеи, его направление “православно-славянским”, а убеждения — “московскими”, которые “разделяли с ним все старушки белокаменной”, которые “были втолкованы ему с детства маменькой да нянюшкой”. Эти выражения, вызванные у Писарева чтением сочинений Киреевского, не составляют, по мнению палаты, ничего противозаконного. Они касаются единственно Киреевского и его личного направления; нельзя придавать выражениям этим смысла более обширного, чем придавал им сам автор, и потому затронуть, а тем более оскорбить чувства всякого православно верующего они не могут; наконец, и по форме своей эти выражения не переходят границ благопристойности. В статье “Бедная русская мысль” Писарев, выражая свой взгляд на значение личной воли правителей и политических деятелей в историческом развитии народов, находит, между прочим, что деятельность Петра Великого не была вовсе так плодотворна историческими последствиями, как это кажется его восторженным поклонникам и ожесточенным врагам, что она представляет

собой только “остроумные затеи Петра Алексеевича” и что если бы “Шакловитому удалось убить молодого Петра”, то “жизнь русского народа вовсе не изменилась бы в своих отправлениях”. Это последнее выражение, употребленное Писаревым в подкрепление мнения своего, как о деятельности Петра I и о влиянии его на историческое развитие России, так и о влиянии вообще единоличных политических деятелей, не заключает ничего воспрещенного законом. Делать же из этого вывод, что Писарев старается этим умалить гнусность политического преступления Шакловитого, палата не считает себя вправе, ибо вывод такой не оправдывается общим смыслом статьи Писарева, в которой он о действии Шакловитого вовсе и не рассуждает. Эта статья, имеющая предметом рассуждения о деятелях, имена которых принадлежат истории и о деятельности коих не воспрещено писать, не заключает в себе, ни по содержанию, ни по способу выражений, ничего такого, что могло бы оскорбить чувство гражданина и быть признаваемо неблагопристойным.

Вообще при чтении этих двух статей Писарева, составляющих не что иное, как коротенькие журнальные статейки, нельзя не согласиться с мнением прокурора, что они лишены всякого серьезного значения и искать в них какого-либо преступного умысла не следует.

Что касается, наконец, обвинения в оправдании Писаревым в последней из рассматриваемых статей его теории свободных отношений двух полов, то об этом предмете сказано им на странице 32 вскользь только несколько слов, в коих он сам отчасти опровергает основательность этой, как он называет, “безукоризненно гуманной философии”.

Вследствие всего изложенного, судебная палата приходит к заключению: 1) что в статьях Писарева “Русский Дон-Кихот” и “Бедная русская мысль” нет ничего противозаконного и как по содержанию своему, так и по способу изложения, они не заключают в себе ничего противного благопристойности и воспрещенного 1001 ст. Улож. Этот вывод палаты подкрепляется и тем: а) что 1001 ст. Улож. изд. 1866 г. существовала и в Уложении 1857 г. (см. 1356), что, при существовании этой статьи закона, сочинения, явно неблагопристойные, не могли бы быть допущены к распространению в публике печатно, а между тем обе означенные статьи Писарева были пропущены в начале 1862 г. цензурой, напечатаны в журнале “Русское слово” и находятся донныне в обращении в публике, и б) что хотя в том же 1862 г. и было прекращено на некоторое время издание журнала “Русское слово”, но из произведенного по настоящему делу предварительного следствия не видно, что основанием к такой мере послужили именно означенные две статьи Писарева; 2) что при печатании

Павленковым 2-й части сочинений Писарева не было нарушено правило, предусмотренное 1001 ст. уложения. Посему, и, принимая во внимание, что Высочайшее повеление о прекращении вовсе издания журнала “Русское слово”, состоявшееся в 1866 г., не относится к статьям, напечатанным в этом журнале еще в 1862 г., судебная палата определяет:

отставного поручика Флорентия Федорова Павленкова, 28 лет, на основании I п. 771 ст. Уст. угол, суд., признать оправданным, а арест, наложенный С.-Петербургским цензурным комитетом на напечатанную Павленковым 2-ю часть сочинений Д. И. Писарева, снять».

Отправив приговор в Дуббельн, Флорентий Федорович, воодушевленный победой на процессе, готовился к осуществлению новых издательских планов. Правда, огорчало, что решение судебной палаты не входило в силу, ибо прокурор Тизенгаузен подал в уголовный кассационный департамент Сената апелляционный протест. Он не только ревизовал каждое положение приговора палаты, но стремился создать впечатление у высоких особ, что в лице подсудимого они имеют дело с весьма опасным и коварным противником монархии. Тизенгаузен находил «приговор палаты несогласным с существом дела, с точным смыслом 1001 ст. Уложения о наказаниях и с законом 6-го апреля», он полагал, «что Павленков должен быть признан подлежащим одному из взысканий, определенных приведенной статьей Уложения, а именно — денежному взысканию 300 руб., и, кроме того, должна быть уничтожена статья на основании 1045 ст. Уложения о наказаниях».

Отчеты о процессе, опубликованные в «Судебном вестнике» и в «Санкт-Петербургских ведомостях», вызвали живую реакцию общественности. Историк-академик М. П. Погодин, отталкиваясь от материалов процесса, написал несколько резких статей против нигилистов. Друзья же поздравляли Павленкова, незнакомые единомышленники праздновали торжество своих взглядов.

Павленков позднее говорил, что на суде стремился защищаться так, словно это сам Д. И. Писарев отстаивает собственные идеи. Оттого защитительная речь Павленкова по яркости, насыщенности иронией и сарказмом столь созвучна лучшим статьям критика и по праву являет собой блестящий пример демократической публицистики конца 60-х годов.

Смелый голос издателя, прозвучавший бесстрашно и вызывающе, одержанная им победа на суде склонили к нему симпатии многих прогрессивно настроенных современников. И это неудивительно. Вряд ли можно вспомнить другой какой-либо процесс в царской России, где издателя оправдали бы и признали его правоту. «Еще вчера это имя было

мало кому известно, — читаем в свободном зарубежном издании. — А теперь за ходом процесса с напряжением следили не только в Петербурге, но и за границей.

То тут, то там не без грусти спрашивали друг друга:

— Чем закончится дикое издевательство над несчастным Павленковым? Неужели не победят свежие люди, рассыпанные по нашей длиннейшей и широчайшей России?»

Правда, нельзя забывать, что в обществе господствовали совсем другие силы. В департаментах и комитетах результаты судебного рассмотрения по делу Павленкова встретили далеко не восторженные отзывы. Скорее, наоборот.

Министр внутренних дел Тимашев выражал нескрываемое негодование по поводу того, что Павленкову не только удалось добиться оправдания, но и «превратить судебное заседание в резкую литературную рекламу по поводу Писарева, писателя, замешанного и осужденного по политическим делам».

Особое беспокойство такое развитие событий вызвало в цензурном комитете. Это же может создать нежелательный прецедент! Комитет до сих пор всегда был прав! А что получается сейчас? И вся «канцелярия» комитета сосредоточилась на защите собственного мундира... Если мнение цензурного комитета не получило поддержки, то в этом повинны: прокурор (он недостаточно был активен!), сама палата (она превысила собственные полномочия!) и конечно же Павленков (чего стоит хотя бы его выходка с изданием в Москве двух этих писаревских статей!). Надо все проанализировать и пустить «по начальству», чтобы в Сенате хотя бы не произошло подобной промашки. И заскрипели перья в цензурном комитете. Медлить здесь нельзя ни минуты...

Уже 12 июня 1868 года, то есть спустя неделю после суда, совет Главного управления по делам печати заслушивал дело об «изданной г. Павленковым книге под заглавием “Две статьи” и отзыв члена совета Фукса по сему предмету». Фукс сосредоточил обвинение прежде всего на дерзком поступке подсудимого. «Павленков издал в Москве особою книгою две статьи, помещенные во II части сочинений Писарева “Бедная русская мысль” и “Русский Дон-Кихот”, подвергнутых С.-П. цензурным комитетом судебному преследованию, — писал член совета. — В этом издании означенные статьи напечатаны под измененными заглавиями и замаскированы произвольно взятыми начальными буквами авторского имени». Аргументируя свой вывод, Фукс так излагал ход событий. На суде 5 июня «Павленков, представив эту книгу, объяснил, что он умышленно



предпринял это издание в сказанной форме, чтобы доказать несостоятельность судебного преследования, которому подвергнута 2-я часть сочинений Писарева, что, по мнению Павленкова, и доказывается вполне допущением выпуска в свет ныне изданной им книги Московским цензурным комитетом».

По мнению члена совета Фукса, едва ли подлежит сомнению, что перепечатка Павленковым в Москве под новым заглавием заарестованных Санкт-Петербургским комитетом двух статей Писарева не может быть оставлена без судебного преследования. «Если даже неблагоприятный для администрации исход последнего судебного преследования в здешней судебной палате не может изменить прежнего взгляда цензурного ведомства на вредный характер сказанных статей, то перепечатка их составляет повторение, и повторение заведомое прежнего проступка в форме более резкой и непозволительной. Кроме вредного содержания перепечатанных статей, сам факт перепечатки заключает в себе и глумление над администрацией, и противодействие власти. Павленков мог бы свободно перепечатать эти статьи после оправдательного приговора, но не до его воспоследования<sup>2</sup>. С другой стороны, при всей очевидности злого умысла издателя, случай этот, по своей неожиданности и своему единичному характеру, не предвиден в законе и не может посему составить предмета самостоятельного преследования; он может лишь усугубить меру ответственности издателя в случае признания в высшей инстанции, то есть в Правительствующем сенате по кассационному департаменту, что оправдательный приговор судебной палаты был неправилен и что подвергнувшиеся преследованию две статьи Писарева действительно составляют нарушение постановлений о печати. В противном случае факт судебного оправдания двух статей Писарева в первом их издании едва ли не будет иметь непременно последствием и оправдание их московской перепечатки. Посему, по мнению члена совета, не возбуждая ныне же преследования по московской перепечатке двух статей Писарева, следовало бы озаботиться прежде всего, чтобы дело Павленкова было по протесту прокурора перенесено, согласно с. 3 закона 12 декабря 1866 года, в Правительствующий сенат. Но чтобы в этой высшей инстанции оно было решено правильнее, необходимо разъяснить те причины, по которым оно получило в судебной палате столь неожиданный исход, судя по отчетам об этом в “Судебном вестнике” (№ 122) и “С.-Петербургских ведомостях”».

Коснувшись причин, по которым процесс был проигран в судебной палате, Фукс выливает свое недовольство и на прокурора. «С.-

Петербургский цензурный комитет находил в статьях “Русский Дон-Кихот” нарушения статьи 1001, а в статье “Бедная русская мысль” — нарушение ст. 1035 Уложения о наказаниях. Между тем прокурор судебной палаты, по личному своему усмотрению, следовательно, вопреки закону 12 декабря 1866 года (ст. 6 и 7) ограничил и изменил это обвинение, подведя обе статьи Писарева под ст. 1001 и таким образом найдя в статье “Бедная русская мысль” лишь нарушение благопристойности. Понятно, что палате трудно было усмотреть в отрицании разумности и законности самодержавия, в уменьшении значения попытки покушения Шакловитого на жизнь Петра Великого — только неблагопристойность. Очевидно, что прокурору и по существу дела, и по букве закона 12 декабря 1866 года, следовало по этой второй литературной статье держаться ст. 1035, по силе которой подлежат наказанию напечатанные оскорбительные и направленные к колебанию общественного доверия отзывы о действующих в империи законах, так как самодержавие составляет государственный закон. Ослабив по сему силу обвинения, прокурор не мог уже с надлежащею настойчивостью требовать и применения ст. 1045 и конфискации книги, а в этом должна была заключаться вся суть взыскания, причем сам издатель лично мог бы тогда подвергнуться минимуму тюремного заключения или денежного штрафа. Затем, доказывая, что прежнее цензурное дозволение не изъе­млет издателя от ответственности при перепечатке издания после отмены цензуры, прокурор, уклонившись в самые отвлеченные толкования, не привел самого простого, но в то же время самого убедительного довода, что по ст. 65 Уст. ценз., данное для напечатания книги цензурное дозволение имеет силу не более трех лет. Наконец, — и это всего важнее — на все неуместные тирады Павленкова прокурор не возражал ни слова, вследствие чего палата не могла не признать не опровергнутые доводы подсудимого до некоторой степени неоспоримыми. Даже указание Павленкова на несуществующую ст. 1712 Улож. о наказаниях прошло незамеченным. С другой стороны, нельзя не заметить, что после первых перерывов речи Павленкова председателем палаты, он продолжал свои крайне неприличные, к делу не относящиеся отзывы, без всякого препятствия, и, злоупотребляя правом судебной защиты, далеко вышел за пределы оной...»

Предполагая, что дело Павленкова будет перенесено в Правительствующий сенат, статский советник Фукс намеревался, в видах содействия более правильному разрешению этого процесса в кассационном департаменте, сообщить конфиденциально через министра юстиции вышеизложенное для соображения обер-прокурору; преследование же

московской перепечатки статей Писарева возбудить лишь по надлежащем исходе настоящего дела в Сенате. Кон-фи-ден-ци-аль-но — это, по мнению Фукса, нажать те кнопки, которые бы позволили закрыть рот всем, кто не согласен с существующим положением дел!

Совет, признавая сомнительность возможного в настоящее время исхода судебного преследования Павленкова за изданную им в Москве перепечатку арестованных статей, так как отсутствовала статья закона, на которой оно могло бы быть основано, соглашался с мнением члена совета Фукса.

Одобренное советом заключение и было направлено уже как рекомендация министру внутренних дел Тимашеву. Тот, в свою очередь, выходит с этим ходатайством к министру юстиции. Без особой деликатности органам юстиции дают понять, что только успешным разрешением дела Павленкова в Правительствующем сенате можно будет отменить приговор судебной палаты! О своем давлении на судебные органы министр внутренних дел говорит довольно откровенно. Он не стесняется давать юристам «указание», как нужно поступить с московской перепечаткой. То, что в заключении Главного управления по делам печати формулировалось как вопрос, министр излагает как однозначное решение. «Преследование же московской перепечатки статей Писарева возбудить лишь по надлежащем исходе настоящего дела в Сенате», — категорически советует Тимашев. Прислушайся к нему Сенат, на деле это означало бы не что иное, как предъявление сразу после осуждения Павленкова за издание статей Д. И. Писарева в Петербурге ему нового обвинения — за выпуск их в Москве. К счастью, этого не случилось. Московский цензор Федоров, дававший разрешение на выпуск этого мистифицированного писаревского издания, приглашался для объяснения в судебные инстанции и подтвердил, что издатель ввел его в заблуждение тем, что цену за столь малообъемную брошюру установил чрезвычайно высокую — один рубль. Он не особенно тщательно вникал в содержание предлагаемых к публикации статей. Своего недовольства молодым издателем, втянувшим его в столь щекотливую ситуацию, Федоров не скрывал. Однако ему пришлось выгораживать Павленкова, убеждая, что в данных статьях трудно отыскать что-либо предосудительное.

Вся эта закулисная игра, конечно, до Флорентия Федоровича не доходила. Он был поглощен обычными издательскими заботами, работал над выпуском популярных переводных брошюр по естествознанию. Волновал его и такой вопрос: как быть с собственной статьей о творчестве Д. И. Писарева — помещать или не помещать ее во второй части, если

окажется, что она будет разрешена и Сенатом? Конечно, там о многом сказано. Но за два года, прошедших после ее написания, кое-какие положения статьи устарели. Взять хотя бы такой факт. На ее страницах критиковался Н. А. Некрасов за то, что читал стихи в честь графа М. Н. Муравьева на обеде в Английском клубе: «Первоклассные поэты превращаются в клубных бардов». Тогда нужно было выступить против «приторного оптимизма» со стороны восторженных либералов в связи с готовящимися судебной и другими реформами. Теперь же, возможно, стоит отложить статью. Тем более если удастся опубликовать стенограмму процесса по поводу писаревских статей...

Из Дуббельна поступило трагическое известие. Во время морского купания на берегу Рижского залива в Дуббельне утонул Дмитрий Иванович Писарев.

М. А. Маркович, сыгравшая столь роковую роль в отчуждении Писарева от семьи, от матери и сестры, даже не сообщила о трагедии родным Дмитрия Ивановича... О горе Вера Ивановна узнала из сообщения дубббельнского полицмейстера. Состояние сестры после получения этого известия отразилось в полной мере в ее письме к матери. Все это ощутил и Флорентий Федорович, пытаясь безуспешно хоть как-то утешить дорогого ему человека... «Милые мои, дорогие друзья мои, как я скажу вам, как вы примете ту страшную вещь, которую я до сих пор не решалась высказать вам, — писала Вера Ивановна родным 12 июля 1868 года. — Наш Митя, наш золотой, хотя и потерянный для нас в последнее время друг, умер. Он уехал в Дуббельн на морские купания и там 4 июля утром с ним сделался в воде нервный удар. Я еще не знаю никаких подробностей, но телеграмма дубббельнского полицмейстера сообщила мне, что три врача не могли спасти его. Все кончено, нет ни надежд, ни ожиданий. Я до сих пор не могу еще вполне понять, вполне усвоить себе эту страшную мысль; никогда, никогда мы больше не увидим его... Она (М. А. Маркович. — В. Д.) подала прошение министру внутренних дел о перевозе тела в свинцовом гробу в Петербург. Милая моя, золотая моя мама, я знаю, что ни заменить тебе Митю, ни утешить тебя в твоём горе никто в мире не может, но я дам тебе все, что только может дать самая горячая и преданная любовь, я даю тебе это обещание на свежей могиле нашего дорогого Мити. Я сделаю для тебя все, что только в человеческих силах, чтобы смягчить твоё горе... Не могу больше писать. Думаю, что вы захотите приехать на похороны Мити. Это, вероятно, будет нескоро — пока еще министр разрешит. Теперь он стоит в часовне на рижском кладбище. Она не почтила меня уведомлением; впрочем, свинья не может поступать по-человечески, тем более змея...»

Трудно было удержаться Вере Ивановне от этих обвинений в адрес М. А. Маркович, которую она считала прямой виновницей смерти брата. В конце письма содержалась приписка, сделанная, несомненно, по подсказке Флорентия Федоровича. «Бога ради привезите или пришлите все Митины письма, — читаем в письме, — для биографии это необходимо. Раиса, не возьмешь ли ты на себя труд записать все, что ты о нем помнишь? Это весьма важно. Мама, привези все, все его черновые тетради...его дневники, книжку в сафьяновом переплете с переводными стихами из Гейне, словом, все, все: всякая мелочь важна и дорога».

Флорентий Федорович постоянно находился рядом с Верой Ивановной и старался облегчить ее страдания. Смерть любимого брата полностью вывела ее из душевного равновесия. Павленков обращается к их общим друзьям, чтобы они тоже поддержали Веру Ивановну. Посылает письмо писателю А. К. Шелер-Михайлову: «Уважаемый Александр Константинович! Вера Ивановна просила меня узнать от Вас, не случилось ли с Вами чего-нибудь необыкновенного. Она удивляется тому, что Вы ее совсем забыли и даже не отвечали на ее записку, посланную Вам на прошлой неделе. Весть о смерти брата так ее поразила и расстроила, что она положительно не в силах писать. Утешение такого доброго и дорогого друга, как Вы, много помогло бы ей. Она так тепло к Вам относится, что Ваше присутствие много бы поддержало ее. В такие минуты, Вы сами знаете, как ценится всякое теплое задушевное слово».

Вера Ивановна попросила именно Флорентия Федоровича как ближайшего друга семьи помочь в организации похорон, в частности перевезти гроб с телом Писарева из Дуббельна в столицу, а также устроить все необходимое, чтобы брату были отданы последние почести.

16 июля в Ригу прибыл по поручению Н. А. Некрасова писатель В. А. Слепцов, он привез деньги и разрешение министра на перевозку тела в столицу. Павленкову в это время пришлось решать все необходимые вопросы, связанные с захоронением Д. И. Писарева на Волковом кладбище. Неделя с небольшим потребовалась, чтобы отлить на заводе свинцовый гроб.

26 июля на пароходе «Ревель» Павленков через охваченный штормом Финский залив направился в Санкт-Петербург. Но прежде, на месте трагедии, ему важно было выяснить подлинную причину гибели Дмитрия Ивановича. Это непременно нужно было сделать, ибо в газетах уже появились самые противоречивые версии. Одни писали, что смерть произошла от удара; кое-кто намекал даже на душевно расстроенное состояние критика, другими словами, на самоубийство... Вся эта

журналистская погоня за чем-то «загадочным» больно ранила сердца близких Дмитрия Ивановича. Они хотели знать правду.

Флорентий Федорович встретился с доктором Каппеляром, осматривавшим труп утонувшего. Причина трагического случая была предельно простой и нелепой: Писарев погиб от судорог в ногах.

В церкви Мариинской больницы при большом стечении людей состоялись литургия и панихида. Проститься с Писаревым пришли тысячи его искренних почитателей, хотя полиция и не разрешила рассылать никаких приглашений, давать объявления. Павленкова также строго предупредили, чтобы у могилы не устраивалось никаких речей.

Из донесения агента Третьего отделения известно, что проводить тело Д. И. Писарева в последний путь пришли литераторы, студенты университета и медико-хирургической академии. «Из литераторов, — доносил агент, — были Некрасов, Благосветов, Елисеев, Глеб Успенский, Минаев, Афанасьев-Чужбинский, Суворин, Буренин (псевдоним В. Монументов), Шишкин, Соколовский, Шульгин, доктор Конради, жена его Евгения Конради, Кроль-Золотницкий, Гире, Гайдебуров, Стопановский, из женщин-нигилистов, кроме Писаревой, замечены еще две сестры Плисовы, Иностранцева... и Линева».

Процессия направлялась на кладбище к тому месту, где были погребены В. Г. Белинский и Н. А. Добролюбов. Напротив их захоронений была приготовлена и могила Д. И. Писарева. «За гробом его шествовал весь нигилистический синклит, — можно сказать, что гроб изменил даже свою форму и походил скорее на пирамиду, усеянную цветами», — констатировал агент охранного отделения.

После того как погребение было завершено и вся могила скрылась под обилием цветов, публика не расходилась. Молчание затягивалось. Все рассчитывали, что должен сказать слово распорядитель похорон Павленков. Однако молчал и он. Не всем была, естественно, известна подлинная причина такого его поведения.

Чтобы разрядить обстановку, Павленков с соседней высокой могилы произнес краткое слово. По свидетельству агента охранки, он сказал, что всякие надгробные речи излишни и лучшим почтением памяти покойного служит то, что на могиле собрались люди самых разнообразных убеждений. Именно это свидетельствует о честной и благородной деятельности Писарева. Павленков сказал, что ему известно, что двое литераторов сочинили стихотворения на смерть Писарева, он не сомневается в том, что оба стихотворения будут напечатаны, а чтение же их на свежей могиле он считал неуместным. В конце Павленков приглашал

присутствующих разойтись.

Однако такое слово Павленкова не удовлетворило собравшихся. Первым недовольство выразил П. А. Гайдебуров, у которого Флорентий Федорович приобрел в свое время книжный магазин. Как видно из воспоминаний присутствовавшего на похоронах В. П. Буренина, которые были опубликованы спустя почти что тридцать лет после описываемых событий, он вообще воспринял выступление Гайдебурова как какой-то мелочный выпад против Павленкова. Откликнувшись на его воспоминания жена к тому времени уже умершего Гайдебурова и друг Павленкова В. Д. Черкасов заставили автора воспоминаний признать допущенные им ошибки. Приведенные Бурениным фрагменты из письма Черкасова позволяют более точно представить реальную картину развернувшихся событий у писаревской могилы, сыгравших роковую роль в судьбе Флорентия Федоровича...

«По поводу моего прошлого фельетона, — писал В. П. Буренин в феврале 1897 года, — я получил письмо, в котором исправляются некоторые неточности в моих воспоминаниях о случае на похоронах Писарева. Автор письма В. Д. Черкасов, один из лиц, близких Павленкову. Я сообщил в своих воспоминаниях, что Павленков и покойный П. А. Гайдебуров одновременно содержали книжные магазины в 1868 году. По замечанию Черкасова, это неверно: покойный Гайдебуров продал свой магазин Павленкову еще в 1865 году. Сознаю свою ошибку, но полагаю, что она простительна: подобные мелочи легко забыть более чем через тридцать лет».

Черкасов в своем письме отмечает: «Вы неверно передаете, а еще более неверно освещаете инцидент, случившийся с П. А. Гайдебуровым на кладбище при похоронах Д. И. Писарева, причем ответственность за то исключительно принадлежала одному П. А. Гайдебурову, как то единогласно и признано было тогдашнею печатью, а Павленков тут был решительно ни при чем.

В то время, летом 1868 года, Павленков уже приступил к полному изданию сочинений Д. И. Писарева и, по некоторым отношениям к его семье, ему выпала печальная доля озаботиться перевезти покойного из Дуббельна в Петербург к месту последнего его упокоения на Волковом кладбище.

Вы помните, какое тогда было время, и потому не удивитесь тому, что Павленков, как распорядитель похорон, должен был, безусловно, подчиниться строгому распоряжению, чтобы никаких речей на могиле покойного допущено не было. Объявить это во всеулышание, конечно,

нельзя было. Но многие это знали и, конечно, сдерживая чувства, переживали минуты тягостного молчания, не смея говорить перед свежей могилой. Другие не знали и недоумевали перед неожиданным для них явлением или, как Благосветов, не могли сдержать волновавших их чувств и с горячностью, которую нельзя было ни предупредить, ни остановить, начали, было, говорить. Две дамы бросились со слезами на могилу и стали целовать ее. Благосветов сам зарыдал и не мог продолжать, и, когда успокоились, то заметили, что П. А. Гайдебуров что-то говорит и не удержался, чтобы не бросить мимоходом несколько полемических копий по адресу Павленкова как издателя сочинений покойного, после чего Павленков и другие, не отвечая по существу, вмешались в дело лишь для того, чтобы прекратить нарушение установленного запрещения».

Нужно сказать, что и В. Д. Черкасов не совсем точно передает заключительную часть событий, разыгравшихся на похоронах Д. И. Писарева. И это понятно: ему в данном случае требовалось внести ясность в существо якобы разразившегося спора там между Павленковым и Гайдебуровым.

Сохранилось письмо В. И. Писаревой Ф. Ф. Павленкову (оно без даты, но по содержанию ясно, что относится именно к этой истории). Вера Ивановна отвечала на просьбу Флорентия Федоровича публично опровергнуть домыслы о якобы имевшей место словесной перепалке на могиле Писарева между ним и Гайдебуровым. «...Ответ мой не удовлетворил бы Вас, — писала В. И. Писарева. — Дело в том, что с несчастного дня похорон Мити прошло 20 лет и, разумеется, в таком промежутке времени все подробности события были бы забыты. Что ж касается лично меня, то Вы, вероятно, знаете, да и просто психологически можете понять, в каком положении я была тогда. У меня все было как в тумане. Я только испытывала невосполнимую боль от потери и едва сознавала, что вокруг меня происходило. Сказать наверно, что говорили там, я не могу, но психологически не допускаю, чтобы Вы полемизировали с г. Гайдебуровым. Вот все, что я могла бы написать в редакцию “Новостей” — но Вы не удовлетворились бы этим. Вы хотели от меня категорического свидетельства, что “этого не было”, а такого я дать не могу по совести при всем желании защитить Вас. Самое лучшее свидетельство может дать на этот счет сам г. Гайдебуров. Не скрою также от Вас и того, что, стоя столько времени в затишье, в стороне от всякой политики, я не желала бы вмешиваться в нее, тем более, что в данном случае мое вмешательство не могло даже принести Вам никакой пользы. Повторяю, я могла бы только высказать свое нравственное убеждение, что Вы не могли



полемизировать с г. Гайдебуровым на могиле, но это, быть может, не только не принесло бы Вам пользу, а скорее даже повредило бы».

И здесь придется снова возвратиться к свидетельству присутствовавшего на похоронах агента. Он утверждал, что после П. А. Гайдебурова выступил Д. К. Гире. Он возражал предыдущим ораторам и заявлял, что именно у свежей могилы приличнее всего почтить память усопшего, а затем прочел оба стихотворения. Гире же предложил составить подписку на учреждение стипендии в память Д. И. Писарева. Тут же на кладбище было собрано 300 рублей. Одновременно было высказано предложение организовать подписку и на сооружение памятника. Деньги предложено было передать Павленкову...

Это начинание как раз и повлекло за собой целую цепь событий, оставивших столь роковой след в судьбе молодого издателя...

Н. А. Некрасов послал стихи, навеянные смертью Д. И. Писарева, его гражданской жене М. А. Маркович (Марко Вовчок). Убитая горем, та даже не пришла на похороны.

Не рыдай так безумно над ним!  
Хорошо умереть молодым...  
Русский гений издавна венчает  
Тех, которые мало живут,  
О которых народ замечает:  
У счастливого недруги мрут,  
У несчастного друг умирает...

Как только известие о смерти Д. И. Писарева стало доходить до отдаленных районов России, по свидетельству писателя Гирса, «издатель сочинений покойного и редакции многих либеральных газет были решительно засыпаны из провинции с вопросами и просьбами подтверждения печальных вестей, появившихся в газетах о смерти Писарева».

После того как и в печати промелькнула идея о сборе средств на учреждение писаревской стипендии и сооружение памятника ему, в «Книжный магазин для иногородних» стали поступать пожертвования и многочисленные письменные запросы и предложения. Отвечать на каждое из обращений у Павленкова не было возможности: к тому же каждый раз ему нужно было повторять одно и то же.

Поэтому Флорентий Федорович решает отлитографировать в

значительном количестве (естественно, не спрашивая на то разрешения) два вида воззваний о сборе денег на увековечивание памяти Д. И. Писарева. Одно обращение адресовалось преподавателям истории литературы в гимназиях, а другое — библиотекарям. Содержание их почти что совпадало. Поскольку этот документ написан самим Флорентием Федоровичем, приведем его полный текст.

«Петербург, сентябрь 1868 г.

Милостивый государь!

Вам, вероятно, известно, что на похоронах Писарева была выражена мысль о сборе пожертвований на памятник покойному и на учреждение стипендии его имени для одного студента. Такая подписка может достигнуть успешных результатов лишь тогда, когда она, перейдя из столицы внутрь России, охватит собою все города, не только губернские, но и уездные. Но для удачного распространения ее нужно иметь исключительные средства, обладание которыми едва ли возможно для кого-нибудь из частных лиц. В самом деле, подписка в память Писарева есть дело, окрашенное в определенный цвет. Только люди известных убеждений могут вести ее энергично и успешно. Но где их разузнать? Кто мне скажет, например, что в каком-нибудь Сапожке есть такой-то Иванов, сторонник автора “Нерешенного вопроса”, “Нового типа”, “Нашей университетской науки”, “Исторических идей Огюста Конта” и пр.? Этих честных, дорогих Ивановых узнать нет никакой возможности. С другой стороны, нельзя также навязываться с просьбами набум к людям, неизвестным ни лично, ни по слухам. Таким образом, остается одно: обращаться к лицам, об умственном и нравственном складе которых можно судить по родовым их признакам. Таковыми могут служить: возраст, образование и профессия. На этом я и остановился.

Д. И. Писарев составил себе известность на литературном поприще — он был, с одной стороны, критиком реальной школы, а с другой, — блестящим адвокатом естествознания и образцовым популяризатором. Его восторженное слово глубоко западало в сознание развивающейся молодежи, и он мог положительно считаться ее выразителем. Вот почему я не могу при распространении писаревской подписки оставить в стороне гимназических преподавателей словесности, и притом наиболее молодых, к которым ближе лежит мое сердце. Я несколько времени колебался в выборе между словесниками и естественниками, но, признавши, что господствующий род деятельности покойного был литературно-исторический, невозможно не склониться на сторону первых.

Легко может статься, что в частных случаях я ошибусь и что некоторые учителя словесности не захотят содействовать этой подписке; в таком случае я прошу их передать полученный бланк одному из преподавателей-естественников, сочувственно относящихся к литературной деятельности и пропаганде Д. И. Писарева, причем передающие, вероятно, будут так добры, что уведомят меня о фамилии того лица, которое примет на себя сбор. Я, впрочем, думаю, что таких передач будет очень немного, потому что за именем Д. И. Писарева стоит слишком почтенная деятельность. Это молодое дарование разбросало свои семена на таком обширном пространстве, которое мало кого не захватило из честно мыслящих, свежих людей. Да, наконец, возможно ли не считать делом полезным упрочение памяти человека, вся жизнь которого была отдана на борьбу с окружающим злом, на защиту угнетаемого против угнетателей, на ниспровержение царства мрака, — одним словом на служение обществу?

Позвольте же надеяться, что Вы не откажетесь принять на себя сбор пожертвований по присланному Вам бланку. Исполнением этой моей просьбы Вы крайне обяжете всех почитателей и друзей покойного.

Если у Вас, милостивый государь, есть и в других городах такие знакомые, которые по своим убеждениям могли бы охотно содействовать распространению и успеху писаревской подписки, то не откажите сообщить их адреса, — я немедленно вышлю печатные бланки.

Примите уверение в моем к Вам почтении. Ф. Павленков.

P.S. Я был бы Вам крайне благодарен, если бы Вы уведомили меня о получении моего настоящего письма, мой адрес обозначен на бланке».

3 сентября 1868 года при выходе из литографии Штремера с размноженными в нескольких десятках текстах этих писем Павленкова арестовали и отправили сначала в Спасскую часть, а потом, 26 сентября, он оказывается в Петропавловской крепости. Формальным основанием для ареста Павленкова послужило то, что он, не получив надлежащего разрешения, открыл подписку на памятник Д. И. Писареву и на учреждение стипендии его имени. При аресте в доме и в книжном магазине Павленкова были произведены обыски. Власти изъяли написанный им и не опубликованный по цензурным обстоятельствам некролог, предисловие к «Сочинениям Д. И. Писарева», переписку с Д. И. Писаревым.

Среди бумаг, изъятых у Павленкова 3 сентября 1868 года, была также копия речи Д. К. Гирса, произнесенной на могиле Д. И. Писарева. 18 сентября 1868 года, когда разбиравшая его дело комиссия потребовала от Павленкова объяснений, что собой представлял данный документ, он

собственноручно написал на нем следующее: «Речь эту, по моей просьбе, воспроизвел (написал) Д. К. Гирс, который говорил ее без приготовления, устно, а потому, быть может, здесь некоторые места не совершенно сходны с его словами. Несмотря на мягкость ее, очень может быть, что на могиле она вышла еще мягче. Считаю долгом это заявить по требованию комиссии. Ф. Павленков».

Ввиду обнаруженного в речи Д. К. Гирса отрицания «бессмертия души и догматов православного вероисповедания» он был привлечен к ответственности. В результате Д. К. Гире был отправлен в ссылку в Вологду.

Если Дмитрию Константиновичу Гирсу могло быть поставлено в вину несколько прочувствованных слов, сказанных на могиле Д. И. Писарева, то выселение 5 октября 1868 года из Петербурга в деревню к родителям Веры Ивановны Писаревой трудно было чем-либо объяснить, кроме того, что она была его сестрой.

Для Флорентия Федоровича это было полной неожиданностью и вместе с тем серьезным ударом. То, что он сам подвергся бесконечным допросам комиссии, было в порядке вещей. Но в чем крылась причина высылки Веры Ивановны?

Мучил Флорентия Федоровича и еще один вопрос. В их взаимоотношениях с Верой Ивановной все шло к тому, что они должны были соединить свои судьбы узами брака. Но на нее угнетающе подействовала смерть Дмитрия Ивановича. А после похорон все попытки Флорентия Федоровича пробиться к ее сердцу завершались крахом. Оно словно застыло.

— Я обязана посвятить себя маменьке. Без Мити и меня мама не переживет, — был непременно ее ответ. — Оставим это, милый Флор. Знать, не судьба быть нам вместе.

Флорентий Федорович ее не понимал.

А комиссия работала. Уже по характеру задаваемых вопросов он был уверен, что об издательской работе в Петербурге не может быть и речи. Задержка с его высылкой происходит оттого, что власти ждут повторного слушания дела по второй части «Сочинений Д. И. Писарева» в Правительствующем сенате. Если Сенат его осудит, то ссылка будет законной, а место и срок — об этом уже позаботятся те, кому следует...

А пока приходилось давать показания... Иногда — весьма странные. Странность эта, правда, рассеивается, если глубже вдуматься, попытаться представить ход мысли у ищущих крамолу. Вот в одном из отобранных при обыске писем промелькнуло слово «иезуитизм». Что за этим стоит? Не

организация ли? И 24 сентября 1868 года Флорентий Федорович вынужден был писать целый трактат на эту тему, который проливает свет и на эрудицию его создателя, и на мастерство популярного изложения весьма сложной проблемы.

«На обиходном разговорном языке есть много слов, понимаемых или слишком превратно или крайне односторонне. К числу таких следует отнести эгоизм, иезуитизм и др. Большинство считает эгоизм только одним узким себялюбием, тогда как это лишь темная сторона, одна только его сторона. Все уголовные теории Бентама построены на принципе эгоизма; но разве тот эгоизм, который составляет краеугольный камень его философского мировоззрения, разве этот эгоизм есть узкое себялюбие, улиткой своей раковины? Совсем нет!!! Это — тот эгоизм, который может заставить нас бросаться в реку спасать утопающего; это — тот эгоизм, который заставил Конрада Валленрода пожертвовать своей жизнью; одним словом, это — чувство, сродное всем благородным возвышенным душам. Таким (может быть, по мысли комиссии, неуместным) отступлением я лишь желал показать, как различно понимаются иногда различными лицами одни и те же слова и выражения. Эгоизм на языке Ивана и автора “Мыслящего пролетариата” (Д. И. Писарева. — В. Д.) — два противоположные полюса. Что я сказал об эгоизме, то должен повторить и относительно иезуитизма. В понимании его еще более сбивчивости и односторонности, чем в понимании эгоизма. Многие просто считают слово синонимом подлости, предательства, лицемерия и обмана. Но такое понимание может только свидетельствовать о близорукости лица, высказывающего его. Иезуиты когда-то владели всем образованным миром. Тогда в Европе не происходило, можно сказать, ни одного собрания, в котором они — тайно или явно — не принимали бы самого деятельного участия. Владычество их над умами было баснословное. Но можно ли себе представить, можно ли хотя на одну минуту допустить, чтоб орудием подлости и лицемерства, обмана и предательства можно было бы покорять народы? Никогда! Против этого возмущается вся их общественная совесть. Мир всегда был в своей массе слишком честен, чтоб его можно было обворожить такими презренными качествами, как лицемерие. Но в каких же качествах иезуитизма следует искать объяснение их обаяния, силы и могущества? Без сомнения, в тех, которые возведены ими в теории, без которых даже нельзя себе представить иезуита. Эти качества следующие. Иезуит считал необходимым для себя прочное образование, он работал над своим характером, закалял свою волю, он любил до безумия свою идею, боготворил ее, убеждения свои он отстаивал твердо, не отказывался от них

никогда, он работал день и ночь, больной и здоровый, на свободе и в неволе, среди шума многолюдных городов и в тишине монастырской кельи, он никогда не был праздным и считал праздность матерью пороков и заблуждений и потому подчинял свое сердце контролю разума и не останавливался на препятствиях: если одно средство ему не удавалось, он обращался к другому, к третьему, и к двадцатому... одним словом, он был рабом идеи. И только тогда погиб, когда из раба превратился в фанатика. Пока они держались доктрины — “цель оправдывает средства”<sup>3</sup>. До тех пор дело шло успешно, но когда они сказали, что “цель оправдывают всякие средства”, — тогда они погибли. Но господство этой последней доктрины было только концом их господства, а не всей их историей, тогда как многие этот последний момент принимали за все выражение иезуитизма. Печальное заблуждение.

Писарев всегда отличался качествами, поставившими иезуитов на высокий пьедестал мирового значения: он был умен, имел характер, любил до безумия свои идеи, не отказывался от своих убеждений, он работал постоянно и неутомимо, он везде и всегда помнил и думал о своих нравственных обязанностях к обществу, — вот в каком смысле я заговорил с ним о теории иезуитизма, то есть о качествах, возведенных иезуитами в теорию. Я не без намерения сказал ваша, то есть его, теория; всякий понимает вещи по-своему, и он в отношении к иезуитизму восхищался не их последними гадостями, а теми их первоначальными качествами, которые, строго говоря, необходимы для всякого общественного деятеля, рассчитывающего на какое-нибудь прочное влияние.

Иезуитом в том смысле, в каком понимает это слово делопроизводитель г. Городков (как это он заявил 20 сентября<sup>4</sup>), Писарев никогда не был и не мог быть. В семье Писарева обыкновенно называли стеклянной коробочкой, через которую всякий может его видеть в какое угодно время. Смею спросить, насколько идет такое прозвание к иезуиту в том смысле, в каком его понимает г. Городков? Можно ли было обращаться к “стеклянной коробочке” с теорией иезуитизма в обыкновенном, ходячем, одностороннем смысле этого слова? Это было бы не только смешно. Это было бы просто бессмысленно. И между тем я написал. Значит, я очень хорошо знал, что он поймет меня, что на нашем языке слово иезуитизм значит не то, что на языке толпы, массы».

После этого рассуждения Павленков передает содержание своей беседы с Писаревым после возвращения из Москвы, которая уже приводилась выше. Именно тогда выяснились причины перемен в

настроении критика, о которых он откровенно поведал другу. И после изложения содержания той беседы Павленков добавляет: «Писарев последнее время был болен психически, и на него находили частые затмения. Он лечился, но лечение мало шло впрок. Доктор Полотебнов предсказал ему близкую смерть. Он говорил, что теперь для этого умственного организма должен начаться ряд пертурбаций. Так и вышло.

Куда же девался тот грязный и недостойный иезуитизм, спрашивают в конце этого пункта? Я защищался перед судом так, как защищался бы сам Писарев после его свидания со мной. Все недоразумение здесь произошло оттого, что конфисковать бумаги и письма возможно, но конфисковать разговоры еще не изобретено средство, и я в настоящем случае могу только об этом жалеть».

Павленков, находясь в тюрьме, отстаивал свою честь всеми средствами, которые имелись в его распоряжении. Во время коротких посещений друзей в крепости он обсуждал с ними, какой должна быть судьба его издательства и книжного магазина.

Сохранились записи дежурных офицеров Петропавловской крепости о свидании Ф. Ф. Павленкова с М. П. Надеиным. «1 декабря 1868 г. Дано свидание арестованному Павленкову с Надеиным. Дежурный по крепости капитан (подпись)». «Сего числа дано свидание Павленкову с Надеиным. Дежурный (подпись). 29 декабря 1868 г.».

О том же, как развивались обстоятельства слушания его дела в Сенате, Флорентию Федоровичу было неизвестно. А там скрипели перья вовсю! 28 октября 1868 года Министерство юстиции отвечало на письмо министра внутренних дел. В ответе нетрудно уловить полемику с утверждением министра внутренних дел, будто приговор судебной палаты по делу Павленкова — это следствие пассивной роли, которую играл на процессе прокурор. Да, согласились в Министерстве юстиции, он не поддержал в своей заключительной речи одного пункта обвинительного акта, но ведь решение зависело не от него, а от усмотрения судебной палаты! Министерство юстиции соглашалось и с тем, что вопрос о привлечении Павленкова к ответственности за издание писаревских статей в Москве будет зависеть от содержания обвинительного приговора Сената. И, наконец, в письме давалось разъяснение, что поскольку Сенат рассматривает протест прокурора судебной палаты, то обер-прокурор «ходатайствует о разрешении ему не поддерживать обвинения Павленкова по статье “Русский Дон-Кихот”, предоставив продолжать обвинение в Правительствующем Сенате лишь относительно нарушения подсудимым ст. 1001 Уложения о наказаниях в статье “Бедная русская мысль”».

Итак, Сенату предстояло обсуждать нарушение Павленковым действующего законодательства лишь по одной статье.

Когда министр внутренних дел Тимашев прочитал ответ министра юстиции, он свое отношение к изложенному содержанию в нем выразил на полях документа: «Из этого длинного отношения я вижу лишь одно: невозможность судебного преследования по делам печати».

19 ноября 1868 года совет Главного управления по делам печати на своем заседании заслушивал вопросы: «1) отношение г. министра юстиции к г. министру внутренних дел по перенесению дела о Павленкове в кассационный департамент Правительствующего Сената; 2) отзыв члена совета Фукса по этому предмету».

Обнаружилось, что обер-прокурор также «встречает препятствия» к тому, чтобы прислушаться к мнению Фукса. На основании того, что прокурор судебной палаты не выдвигал тех обвинений против статей, на которых настаивал Фукс, то и в кассационном рассмотрении эти обвинения, по мнению обер-прокурора, не должны затрагиваться.

Это возмутило Фукса. В протоколе его гнев нашел такое выражение: «Этот недостаток энергии и внимания со стороны прокурорского надзора обусловил неудовлетворительность исхода большей части судебных преследований по делам печати». Член совета полагал бы необходимым представить вышеизложенное на благоусмотрение министра внутренних дел, на тот конец, не признает ли удобным его высокопревосходительство, независимо от изъявления согласия на оставление без дальнейшего преследования статьи «Русский

Дон-Кихот», сообщить министру юстиции и некоторые из упомянутых общих соображений. «Совет полагал исполнить согласно отзыву члена совета Фукса».

Роль, которую Павленков сыграл в организации похорон и увековечении памяти Д. И. Писарева, не давала покоя охранительным органам. Они рассчитывали, что Сенат вынесет суровый приговор издателю, а уж тогда они позаботятся о том, чтобы наказание вольнодумный друг Писарева получил самое что ни на есть тяжелое. Однако надежды на «юридически обоснованную» расправу не сбылись. 14 марта 1869 года Сенат заслушал обстоятельства дела в своем заседании и в принятом постановлении признал необходимым Павленкова от наказания освободить. Правда, этим постановлением на многие десятилетия печально решалась судьба писаревской статьи «Бедная русская мысль». Ее предложено было изъять из второго тома собрания сочинений Д. И. Писарева и уничтожить. Лишь после революции 1905 года душеприказчики



Ф. Ф. Павленкова смогли восстановить справедливость. Они напечатали в 1907 году дополнительный выпуск к собранию сочинений Д. И. Писарева, где опубликовали и эту статью и материалы самого литературного процесса.

Поскольку Сенат вынес не столь суровую кару Павленкову, властям пришлось прибегать к испытанным приемам расправы над неугодными им деятелями. Они готовили этот запасной вариант заблаговременно. Еще в октябре 1868 года министр внутренних дел Тимашев направил представление Александру II, и тот «соблаговолил» выслать строптивного издателя административным порядком в Вятку, охарактеризовав его как личность с зловредным направлением. В решении властей особо оговаривалось, что Павленкову воспрещалось заниматься издательской деятельностью. Въезд в столицу перед ним был также закрыт.

10 июля 1869 года Ф. Ф. Павленкова выпустили из Петропавловской крепости, а уже на следующий день он был отправлен к месту ссылки.

В общественном мнении это выдворение воспринималось однозначно как расправа над несговорчивым, непокорным молодым человеком, дерзнувшим посягнуть на святая святых. В дневнике А. В. Никитенко за 19 мая 1869 года находим запись, в которой своеобразно высказывается отношение этого, далеко не радикально настроенного служителя самодержавной монархии к факту административной высылки Павленкова в Вятку. Интересен сам ход рассуждений современника той эпохи. В понедельник, 19 мая, он заносит в дневник такие мысли: «Над людьми должны господствовать закон и страх, охраняющий закон. Все должны, хоть немного, чего-нибудь бояться: правители — революций, вельможи — немилостей, чиновник — своего начальства, богатый — воров, бедные — богатых, злоумышленники — судов и проч. Многие еще боятся черта и, наконец, всякий человек боится Бога и смерти. Только под влиянием и прикрытием страха спасается небольшое количество человеческих добродетелей, и люди не погружаются совсем с головою в омут безнравственности.

Сердце мое преисполнено любви к людям, но мой рассудок внушает мне к ним частое презрение, а всегда сожаление.

А отечество? Я люблю его, и как горячо люблю, хотя рассудок мой изобличает в нем, с одной стороны, глубокое варварство, а с другой, пожалуй, цивилизацию, но какую шаткую, фальшивую, чисто показную!

На днях суд оправдал какого-то Павленкова по делам печати и, говорят, совершенно с законами; его выслали из С.-Петербурга административным порядком...»

Такова была реальность времени.

Оказаться в оппозиции Павленкова вынудили сами власти. Честный, всесторонне одаренный, обладающий обширными познаниями молодой человек вступал в самостоятельную жизнь полнѣй решимости принести посильную пользу Отечеству, своему народу. Попраание этих идеалов в Киеве и Брянске, когда он убедился в том, что в реальной действительности правят бал те, кто вообще погряз в коррупции, себялюбивом эгоизме, что наказать порок не представляется возможным, — все это и побудило молодого офицера к поиску такой области деятельности, где бы он смог с пользой приложить свои силы и талант. Судьба П. Л. Лаврова — блестящего педагога, наставника в академии, послужила ему примером. Он решил преподавать в военных гимназиях, чтобы, как это делал Петр Лаврович, нести в юные сердца свет знаний, самые передовые идеи времени. Но и здесь молодого человека поджидало разочарование. Несомненно, что причина отказа Павленкову занять место в военной гимназии была не в формальном опоздании с подачей заявления. Беспокойного радикально настроенного офицера не хотели допускать до занятий с молодежью. И наконец, в окончательном переходе Павленкова на путь борьбы с существующими самодержавными порядками решающую роль сыграл литературный процесс по делу второй части «Сочинений Д. И. Писарева». «Судебный процесс и другие столкновения с властями, — писал Н. А. Рубакин, — можно сказать, на всю жизнь зарядили Павленкова самыми враждебными эмоциями к существующим принципам самодержавного строя. Будучи добрейшим человеком по натуре, относясь ко всем людям с поразительным добродушием, доброжелательностью и даже с любовью, Флорентий Федорович через всю свою жизнь пронес в душе злобу и негодование к режиму, который не давал простора для проявления творческих возможностей каждой личности».

## ССЫЛКА В ВЯТКУ

16 июля 1869 года поручик Флорентий Федорович Павленков по Высочайшему повелению доставляется в Вятку. Это повеление запечатлено в решении «Высочайше учрежденной следственной комиссии».

«Государь император, — писал председатель комиссии Ланской, — по всеподданнейшему моему докладу обстоятельств дела, произведенного состоящею под моим председательством следственною комиссиею, Высочайше соизволил повелеть: здешнего книгопродавца-издателя Флорентия Павленкова выслать административным порядком, по соглашению шефа жандармов с министром внутренних дел, в одну из отдаленных губерний с учреждением за ним строгого полицейского надзора и воспрещением ему на будущее время заниматься издательской деятельностью и въезда в столицу».

Что означало — «воспрещение на будущее время» заниматься издательской деятельностью? Навсегда? Или — на срок ссылки? Кстати сказать, срок тоже не оговаривался. А, следовательно, при желании его можно было толковать и как пожизненный...

Так или иначе тридцатилетнему Павленкову предстояло самому решать свою судьбу. Выбор путей был для него крайне ограниченным. Побег? Нелегальный отъезд за границу? Флорентий Федорович не исключал и такой путь. Как свидетельствуют многочисленные друзья Павленкова той поры, он обсуждал с ними возможность побега из Вятки с чужим паспортом. «Пойду к реке, оставлю на берегу всю свою одежду, а сам — марш на волю», — говорил он с огромным воодушевлением и приводил мельчайшие подробности хорошо обдуманного способа освобождения.

В. Д. Черкасов также писал, что в первые дни ссылки, когда воображение невольно рисовало безотрадную картину будущего, Павленков не только подумывал о нелегальном освобождении, но даже в порядке подготовки совершал самовольную пробную поездку в Казань.

Почему же Павленков не воспользовался такой возможностью, как побег из ссылки? Несмотря на то, что железные дороги в Вятском крае в то время отсутствовали, выбраться из этих мест тайно можно было. За период с 1860 по 1870 год, как видно из списков канцелярии губернатора, семь ссыльных успешно осуществили побег. Из воспоминаний В. Г. Короленко,

который ссылается на рассказ самого Флорентия Федоровича, известно, что и Павленков нелегально выбирался из Вятки в Петербург. Однако покинуть Родину насовсем, отправиться в эмиграцию — для Павленкова было неприемлемым, противоречило его внутренним убеждениям. Он хотел работать и жить вместе со своим народом, нести ему знания, культуру.

«Павленков все более и более приходил к сознанию, — писал В. Д. Черкасов, — что жизнь за границей (а ведь только туда ему и можно было переселиться) далеко не удовлетворит его, что там у него не будет и не может быть дела, которому он себя посвятил в России и которое для него представляется возможным только на Родине... Это соображение удерживало его на месте ссылки... Для него не представлялось возможности изменить своему делу, и более, чем когда-либо, он чувствовал себя связанным с Родиной». Это же подтверждает и Н. А. Рубакин, рассказавший о своих беседах с Флорентием Федоровичем. Несмотря на все гнусности, какие над издателем проделывали разные власти, он не пожелал бежать за границу и стать эмигрантом, а предпочитал «поражать врага изнутри».

Был отвергнут Флорентием Павленковым, за его нереальностью и наивностью, и другой план освобождения. Через кого-то предполагалось условиться с какой-нибудь красавицей из третьестепенных актрис, убедить ее за более или менее внушительный куш явиться не то к министру внутренних дел, не то к шефу жандармов, броситься перед ним на колени, умолять его, рыдая, об освобождении из ссылки ее жениха Павленкова...

Флорентий Федорович избрал третий путь — путь борьбы за собственное освобождение. Просьбами, слезами не проймешь тех, кто стоит у власти. Только работой, продолжением начатого дела, многократной демонстрацией того, что ты не сломлен, а по-прежнему полон энергии, действуешь и еще раз действуешь, можно заставить своего противника отменить столь жесткие, бесчеловечные меры подавления личности...

А меры против Павленкова с первых дней прибытия в Вятку были применены самые что ни на есть драконовские.

Семинарист Н. М. Кувшинский, который снимал комнату у той же хозяйки, куда поселили и ссыльного издателя, взволнованно передавал своим друзьям, что солдат ни на минуту не отходит от Павленкова.

— Как это ни на минуту, — даже в комнатах? — изумлялись слушавшие его.

— И в комнатах, — подтвердил Кувшинский. — Павленков и ест, и пьет, и спит при солдате. И на минуту в сени не может выйти один.

— Это ужасно! — возмущались собеседники. — Так можно совершенно извести человека. Как он выносит?

— Иногда слышу, как он страдальческим голосом просит солдата идти на кухню, — от хозяйки я знаю, что у него жесточайшие головные боли, — но тот отвечает, что оставить его одного ему не приказано, и остается.

Первые прогулки по Вятке Флорентий Федорович совершал тоже в сопровождении конвоирующего его солдата. Скорее всего, это был тщательно продуманный ритуал попраения человеческого достоинства. Павленков был обязан регулярно являться в канцелярию губернатора. «Трудным временем была для Флорентия Федоровича ссылка, — свидетельствовал В. Д. Черкасов. — Недавно еще, почти накануне свершившейся катастрофы, жизнь его кипела деятельностью, голова работала над проектами смелыми, все его существо стремилось к осуществлению заветной мечты и вдруг — один росчерк пера опрокидывает все его существование, связывает его волю, заставляя подчиниться прихоти сатрапа отдаленной провинции, на которого нет ни суда, ни расправы».

Когда стало проходить первое оцепенение перед мраком общего провинциального захолустья, Флорентий Федорович стал постепенно включаться в жизнь губернского города, куда забросила его судьба.

Здесь были две гимназии — мужская и женская, два уездных училища и два приходских, публичная библиотека. Дважды в неделю выходят «Губернские ведомости» и два раза в месяц — «Епархиальные ведомости». В городе действуют несколько духовных учебных заведений. Оказалось, что в городе обитают не только жандармы, канцеляристы и делопроизводители. Есть тут и учителя, и журналисты, и местная интеллигенция. У них, несомненно, собраны свои библиотеки. Еще в крепости кто-то рассказывал, будто в Вятке насчитывается ссыльных-поселенцев свыше ста человек. Эти края, из-за их отдаленности от центров, издавна были избраны местом, куда отправляли всех неблагонадежных. Именно здесь «горе мыкал» перед эмиграцией сам Александр Иванович Герцен. Сюда ссылали М. Е. Салтыкова-Щедрина. Выдержали же они испытание этим захолустьем, не сломились. «А почему я должен проявлять слабость? — думал Флорентий Федорович. — Возможно, что мне суждено встретить здесь еще отзывчивую душу друга, товарища, гражданина, с которым, не таясь, можно будет делиться сокровенными думами, разделить радость единомыслия, помогать коротать нелегкую судьбину?»

Постепенно созревало твердое решение: все, что не о деле, все, что навеивает тоску, следует безжалостно отгонять от себя. Еще в первые дни

осознал: от панической хандры недалеко и до беды. Вот на клочке бумаги запись, в которой отразился весь сумбур раздумий той поры: «...Не всегда можно принимать за легкое верие и наивность веру в догмат: “Настойчиво и неуклонно делать — значит мочь”. А я делаю сильно, непоколебимо и бесповоротно, я делаю сильнее, чем Герард, пролезавший для спасения своего клиента через форточку в виду публики, суда и присяжных. Он достиг, чего хотел, отчего не достигну и я? Конечно, за меня никто не полезет не только в форточку, но даже, пожалуй, и в дверь, и потому лезть мне приходится самому, что не так убедительно, но... я надеюсь».

В первые дни своего пребывания в Вятке «Павленков, — как вспоминал Н. А. Чарушин, — вел довольно уединенный образ жизни, и мы, молодежь, знали о нем очень мало». Замкнутый, малообщительный, расположенный к усидчивой работе, он и в бытность в Петербурге не очень стремился бывать в свете, обзаводиться знакомствами, здесь же, подавленный гнетущей неопределенностью своего униженного положения, в которое был поставлен, вообще не был склонен ни с кем общаться.

Справедливо мнение: время — лучший врачеватель. Прошел небольшой срок, и на смену одиночеству и унынию пришла жажда деятельности. Порой конвоирующий на первых порах солдат едва поспевал за быстро шагающим ссыльным, склонившим голову и о чем-то мучительно размышлявшим.

А думы Флорентия Федоровича были о ней, о Вере Ивановне. Он получил из Вологды письмо от Д. К. Гирса. Тот сообщал радостную весть: счастье улыбнулось ему, в ссылке встретилась женщина, которую любил. Павленков радовался за товарища и все же не мог скрыть собственной горечи. В ответном письме он откровенно признавался в своих чувствах: «Мог ли я знать, что из всех, кого я знал, я буду самым несчастливym?.. Каждый из вас за последнее время среди различных невзгод испытывал и много радостей; у каждого из вас есть под рукой живые люди, которые любят вас, любимы вами... У меня — никого... Чувство отдаленной дружбы меня удовлетворить не может; мне нужно осязать свою привязанность, видеть ее, чувствовать ее присутствие...»

Давно уже собирался Флорентий Федорович предпринять какой-либо шаг, да все не мог сообразить, что можно сделать. Судьба Веры Писаревой тревожила. Можно было понять: Д. К. Гирсу и ему власти поставили в вину то, что они, как об этом написано было в «Отечественных записках», сказали несколько слов на Волковом кладбище, у свежей могилы Д. И. Писарева. А вот при чем тут Вера Ивановна, которую тоже выдворили из

столицы? За что?

Флорентий Федорович вспоминал эту обаятельную девушку, которая пробуждала в нем самые нежные чувства. Она сотрудничала в петербургских газетах и журналах. Помнится, как вместе с Черкасовым они втроем обсуждали защитную речь на процессе по второму тому сочинений Д. И. Писарева... Трудно определить то состояние блаженства, которое охватывало Флорентия Федоровича даже при мысли об этом дорогом ему существе. Одно лишь угнетало: Веру Ивановну выслали после его ареста. Не могло зародиться у нее каких-либо недобрых предположений? Убежден, что нет. И все же...

Что же предпринять? Этот вопрос все чаще задавал себе Флорентий Федорович. И вот в газете прочитал, что 17 апреля 1870 года будет отмечаться день рождения Александра II. И подумал он тогда — а не написать ли прошение императору об освобождении Веры Ивановны? Гляди, по случаю дня рождения смогут и облегчить участь близкой души! Вера Ивановна вернется в Петербург, продолжит занятие любимым делом. И вот принялся он за сочинение письма. Обдумывал каждое слово не один день. Нельзя было допустить ни одного неточного выражения. Переписывал дважды. Старательно, каллиграфически выводил каждую букву.

«Ваше Императорское Высочество! В июле 1868 года русское общество лишилось в лице утонувшего Д. И. Писарева одного из известнейших и талантливейших своих писателей. Что бы ни говорили о незрелости и поспешности некоторых взглядов, мыслей и выводов этого критика (напр., по вопросу об искусстве, по оценке значения таких деятелей, как Грановский, и др.), но его частные недостатки вполне искупаются той всепоглощающей мировой любовью к человеку, которую он постоянно носил в своем честном молодом сердце и которая брызжет из каждой строки его многочисленных статей.

Будучи издателем сочинений Д. И. Писарева, я не мог не знать его более или менее близко, а зная таких людей, невозможно не любить их, и я действительно горячо был привязан к этому писателю, хотя совершенно по-своему. При таких обстоятельствах с моей стороны было совершенно естественным желанием отдать ему последний долг, то есть открыть подписку на сооружение ему могильного памятника в форме бронзовой статуи. Я полагал, что администрация не может иметь ничего против такого способа чествования памяти покойного, во-первых, потому, что все статьи Д. И. Писарева были разрешены и одобрены цензурою и, во-вторых, потому, что в нашем Своде законов нет постановлений, запрещающих

подписки, а по известным юридическим основаниям — “что не запрещено — то дозволено” (Guod lege non prohibetur — licet). Однако действительность не оправдала моих предположений: вслед за рассылкой мною 200 пригласительных писем, не заключавших в себе ничего особенного, я был арестован и после 10-ти месячного заключения в Петропавловской крепости отправлен в Вятку.

Из этой-то непроглядной дали я и осмеливаюсь беспокоить Ваше Императорское Высочество просьбой, но просьбой не о себе, а о лице, разделяющем одну со мною участь, именно о сестре покойного В. И. Писаревой, высланной в Новгород по подозрению в том, что открытая мною в 68-м году подписка производилась будто бы с ее ведома и согласия. Таким образом, я оказываюсь в глазах других, а может быть, и в ее собственных, как бы некоторым виновником тяготеющей над нею кары, что, без сомнения, не может не тревожить меня. Каждому известно, что в подобных случаях родственники покойных устраняются безусловно — этого требует самое элементарное житейское приличие — и я не знаю, как свидетельствовать перед Вашим Императорским Высочеством, что сестра Писарева не принимала никакого участия в приглашениях к подписке на памятник ее брату. Признаюсь, мне было бы несравненно легче жить на острове Сахалине, чем знать, что ее удалили из-за меня хотя на один месяц из Петербурга, где она имела постоянные переводные работы в редакции “Петербургских ведомостей” и, следовательно, могла жить своим собственным личным трудом. Теперь ее жизнь повернута вверх дном, она лишена возможности работать, а есть люди (и она из их числа), для которых разумная осмысленная работа так же необходима, как воздух и пища. Вот уже полтора года, как она стоически и покорно выносит свою печальную участь, но надолго ли хватит ее слабых женских сил?..

Благородное отзывчивое и энергически-жизненное сердце Вашего Высочества может представить себе и без траурных описаний всю тяжесть положения молодой образованной девушки, обреченной на житье в провинциальной глуши, на умственное голодание и экономическую зависимость от родственников, которые сами не имеют никаких средств. Оно живо и ярко представит себе, насколько должна увеличиваться эта тяжесть от сознания бедной девушки своей невиновности, от свежих еще воспоминаний о внезапно прерванной, быть может, только начинавшейся полной жизни, от положительной неизвестности будущего — и потому ему будет доступна моя горячая коленопреклоненная просьба о возвращении В. И. Писаревой к свету, труду, здоровой умственной атмосфере, о даровании ей возможности жить прежней, тихой, разумной жизнью...



Из самого места, назначенного для жительства сестры Д. И. Писарева, Ваше Императорское Высочество, уже можете видеть, что граф Шувалов (шеф жандармов и главный начальник Третьего отделения. — В. Д.) не признает ее сколько-нибудь серьезно виноватой, иначе она была бы выслана гораздо дальше. Если же ее вина считается незначительной, то для возвращения ее в Петербург, после полуторагодового изгнания, достаточно одного только... не слова, а мановения Вашего Высочества, и я умоляю Вас не отказывать в нем уже достаточно потерпевшей изгнаннице. Не без сомнения я осмелился обратиться с моей горячей просьбой к Вашему Императорскому Высочеству не потому только, что исполнение ее должно быть для Вас слишком легко, а, главное, потому что, как мне кажется, Ваше Высочество, движимое просвещенным великодушием, способны были бы, в случае необходимости, на всепобеждающую настойчивость Гренвиля, Шарпа и львиное заступничество Ремсдена, то есть сумели бы найти в своей груди соединенные силы тех двух гражданских героев гуманизма и справедливости.

Считаю за величайшую для себя честь свидетельствовать мое чувство глубочайшего безграничного уважения и беспредельной преданности к особе Вашего Императорского и Человеческого Высочества».

Прочитал еще раз текст письма — и тон прошения, и приведенные в нем аргументы представлялись уместными и убедительными.

С надежной оказией переслал Павленков прошение В. Д. Черкасову.

Флорентий Федорович был убежден, что если письмо попадет в руки адресата к годовщине императора, то неужели поднимется рука отказать в такой просьбе? Сейчас все будет зависеть от Черкасова. «Я ведь в сопроводительной записке просил его постараться доставить это письмо по назначению до 17 апреля» и добавлял: «...Это возможно только в таком случае, если Вы не будете терять ни одной минуты. Дорожите же временем, дорожите особенно благоприятным моментом. Поймите, что в виде его свежест в впечатления может сделать вдвое-втрое больше, чем при обыкновенных обстоятельствах. Поймите же, заглушите на минуту Ваши чувства к В. И. и... действуйте».

Зная нерешительность и интеллигентскую слабохарактерность своего друга, Флорентий Федорович засомневался вскоре в том, попадет ли письмо вообще «по назначению». Кажется, предусмотрено все до мелочей. «Конверт надпишите сами, — рекомендовал В. Д. Черкасову, — по возможности сходно с моей рукой. Это для Вас не будет трудно: когда я пишу старательно, то мой почерк теряет свою характерность и делается до известной степени аморфным, а аморфному чистописанию подражать

может почти каждый...»

К сожалению, и эта павленковская попытка не увенчалась успехом. Вера Ивановна решила посвятить себя матери, она обещала после смерти брата поступить именно так, и слово свое сдержала. А Павленкову суждено было в одиночестве коротать свои жизненные дороги.

Один из бывших членов павленковского молодежного кружка в Вятке Н. А. Чарушин впоследствии так объяснял причины павленковского затворничества и одиночества. «Проведя лучшие молодые годы в затворничестве, ссылке и в неустанной борьбе за возможность деятельности, — писал он, — Флорентий Федорович так и не успел устроить себе своей личной жизни, а когда деятельность наладилась, было уже поздно. Вероятно, была здесь подлинная душевная драма, пережитая благополучно лишь под спасительной сенью все того же чувства нравственного долга, призывающего к ответственной службе».

В положении ссыльного Павленкова наступило первое послабление — конвоир больше не сопровождал Флорентия Федоровича. Полицмейстер соизволил разрешить ему общаться с соседями. Итак, можно наносить визиты. Но кому? Не обернется ли его посещение нежелательными последствиями для добрых людей? Осмотрись, не торопись, дружище... Поспешность — не всегда лучший помощник в деле. Все больше убеждаюсь в том, что верно поступил, не отправив написанного под минутным настроением письма Александру Константиновичу Шеллер-Михайлову. Как же меня обидел Надеин! Тогда, во время свидания в крепости, обещал ведь, что и писать будет регулярно, и снабжать средствами... Однако слова не держит. А я возьми и ни с того, ни с сего и вылей целый ушат собственных огорчений, неурядиц на ни в чем неповинного писателя, человека очень мне дорогого. К тому же — он ко мне с добром, написал письмо, а в ответ...

Вот оно это неотправленное послание:

«Вятка. 20 октября 1869 года. Я получил Ваше письмо недели две тому назад, и если не отвечал на него тотчас же, то только потому, что ждал “Пролетариата”, о котором Вы писали, что он выйдет через два-три дня. Мне казалось, что если книга выйдет через 3 дня, то дней через пять она уже будет лежать на моем столе. Но как видно, мне следует меньше верить в аккуратность магазина чем кому-либо другому, потому что относительно других он действует несколько или даже значительно лучше, чем в отношении ко мне. Так, 2-я часть сочинений Писарева вышла 8—9-го сентября, а я ее еще не получал. Как Вам это нравится! Между тем, уезжая, я просил послать ее мне в тот же день, как она выглянет на свет Божий из

3-летнего заточения. Я жил этой книгой, я два с лишним года бился с ней в один пульс, я утешал себя в последние скверные месяцы приближением минуты, когда я получу возможность видеть, чувствовать, осязать дорогой для меня совершившийся факт — и вдруг такая коммерческая глухота... Отправь я от имени какого-нибудь Сидорова 1 р. с просьбой выслать книгу немедленно с обещанием при исправной доставке выписать из магазина постоянно на будущее время — я уверен, что 2-я часть уже давно была бы в моих руках. К сожалению, в последнее время я не мог выслать и рубля, потому что его у меня не было, потому что последние деньги посланы мне были 20 августа (50 р.) и только по моему резкому вызову. На новом месте, где приходится в первое время делать много различных единовременных расходов, прожить за 25 р. в месяц невозможно. Все это меня не может радовать: я уже слышался различных красивых, теплых, лестных и возвышенных фраз, излиятий, сочувствий и мне все это, наконец, сделалось тошным и противным, потому что факты-то противоречат всем этим словесным перлам, а они одни только и дают цену различным теплоизвержениям. Вам, может быть, покажется странным такой общий вывод из предшествующего ему частного случая. Но он кажется одиноким скорее потому, что сорвался у меня с языка, а не потому что, чтобы не находить себе опоры в достаточном избытии фактических доказательств. Мне самому досадно, что я заставил Вас читать эти строки, — их не следовало бы писать: мы не так коротки с Вами, чтобы я имел право вызывать Вас хотя бы даже на минутные размышления о моем личном положении и отношении ко мне тех или иных лиц. Я понимаю это весьма отчетливо, как понимаю также и то, что Вы не будете ко мне строги — ведь с моей стороны не будет лестию, если я скажу, что считаю Вас за очень-очень хорошего человека... Да, это так было и так есть. Потому-то мне так и дорого было прочесть в Вашем письме “до свидания”, хотя я и до сих пор задаю себе вопрос: как понимать его? Было ли это сказано в рассеянности подобно размену всяческих пожеланий, иногда как-то машинально сбегаящих с нашего языка при встрече или прощанье, или же Вы действительно приглашаете меня хоть изредка обмениваться с Вами письмами? В моем положении думать о последнем было бы особенно приятно; причем, однако, прошу Вас не принимать этих последних строк за мое желание ловить Вас на слове. Совсем нет. При той усидчивой работе, которая не может не участвовать в Вашей плодовитости (хоть один из составных элементов), Вам весьма часто должно быть некогда заниматься эпистолярными упражнениями. Вот почему, даже оставляя в стороне другие не менее уважительные причины, я прошу Вас не стесняться: есть

время — пишите, нет — я пойму так, как сказал, не толкуя его ни вкривь ни вкось...»

Помнится, на этом месте бросил перо, нутром почувствовав, что негоже так разговаривать с близким тебе человеком, ни в чем не провинившимся перед тобой, а, наоборот, старавшимся ободрить, подать руку...

Да у меня скопилось уже несколько неотправленных, незаконченных писем! К новым условиям переписки нужно приноровиться. В канцелярию губернатора письма сдаешь незапечатанные: на просмотр. Это неременное условие положения политического ссыльного. А если так, что напишешь в таком письме? Нет, нужно налаживать переписку в обход от этой цензуры, находить тех, кто бы мог взять на себя смелость получать письма и передавать ему, Павленкову... С другой стороны, кто бы мог переправлять в столицу павленковские письма?

Если продолжать заниматься издательским делом, то не будешь же посвящать в сие предприятие губернатора! Он только и ждет, чтобы поймать ссыльного на прегрешении... А без руководства, хотя бы письменного, чувствуется, что дело застопорится. И Черкасов, и Надеин заверили, что все будет идти по заведенному распорядку... Но не тут-то было... С Надеиным во время встреч в Петропавловской крепости даже оформил фиктивную продажу книжного магазина. Он теперь владелец и должен бы регулярно меня снабжать положенной суммой. Я же живу месяцами без денег... Появись они у меня, смог бы ссудить приезжающих на каникулы студентов, а взамен они оказали бы услугу — передали письмецо...

Как-то уже давно настроил целую программу издательской деятельности, потом прочитал: а как это отправить? Не в канцелярию же передавать?

Вот оно, то не отправленное письмо одному из друзей...

«Еще в бытность свою в крепости, я говорил Надеину об издании перевода книги Розена “Aus den Memoiren eines russischen Dekabristen”. Он пропустил это мимо ушей. Поэтому я обращаюсь на этот раз к Вам. Не возьметесь ли редактировать этот перевод? Цена за лист та же, что и в “Деве”, то есть 15 р. Нормой берется лист сочинений Писарева — он на 1/16 больше листа “Девы”. Вы скажете, что эта книга уже переводится — знаю; к сожалению, наши издатели далеко отстали от Уойненса, который сумел перевести Своды наших законов в 1½ месяца. Они тянут дело до чрезвычайности, и я мог бы представить список по крайней мере 30 книг, объявленных к изданию с 66 года и до сих пор совсем не думающих

выходить. Кто двадцать раз решается и 40 сомневается, тот не скоро что-нибудь сделает да и сделает ли еще когда-нибудь. Очень часто на объявление о переводе нужно смотреть, как на желание издателя застраховать себя от возможной конкуренции, если бы ему когда-нибудь вздумалось печатать объявленную книгу. Наконец, если бы даже “Записки декабриста” и переводились действительно, то и тогда ни к чему заговаривать о конкуренции: если “Подчиненность женщины” может рассчитывать на несколько одновременных изданий, то “Записки декабриста” также могут льстить себя этой надеждою. Итак, если согласны, то действуйте немедленно, — книга не запрещена, она несколько раз публиковалась от магазина Штыцдорфа, и выдержки из нее Вы, вероятно, уже читали в “Вестнике Европы”, если только не имеете оригинала. Понятно, что раздача перевода и назначение корректора (по 1 р. 50 к. за две корректуры) будет зависеть от Вас. На оборотах будет выставлена Ваша редакция. Я думаю, что человек, переведивший, может в день перевести ½ листа, — говорю на основании личного опыта. Если работа будет в руках примерно 3 лиц, то перевод займет дней 20, печатание 2 месяца или на круг вместе 3 месяца. Мое письмо Вы получите 1-го ноября. Таким образом, в первых письмах февраля книга должна уже получиться в Вятке.

Я имею в виду ряд изданий, но об них только тогда буду считать себя вправе говорить с Вами, когда увижу, что это может быть более полезно для дела, чем стеснять вас. А стеснение здесь, понятно, в том, что Вы будете вызываться на ответы по предметам, от которых Вы, может быть, желаете отстраняться... конечно, только по недостатку времени, так как нам не пришлось бы ни в каком случае вести речь о нецензурных предметах, ибо таковых мною не имеется в виду...» А в конце обрушивал на адресата буквально град вопросов: «Не слышали ли чего-нибудь о Ткачеве? Как это его привлекут к суду за примечание к Бехеру? Неужели вызовут? А если не вызовут, то неужели Черкасов допустит звонаревское аутодафе? Скоро ли будет процесс по Современной Испании Гарриб и будет ли? А поляковские издания? Вольтер, Гоббс и др.? Куда делся мученик Скабичевский? Мне кажется, ему хочется быть погребенным вместе с Писаревым. Что ж! Желание его, быть может, и исполнится: если не около Писарева, то есть не вместе с Писаревым, то вместе со статьей о Писареве он может рассчитывать на погребение...»

Все интересовало Флорентия Федоровича в столице, однако информация оттуда поступала чаще всего с большой задержкой. Оттого нервная возбужденность, раздражительность становились чуть ли не обычным состоянием. Когда успокаивал себя, начинал трезво

анализировать ситуацию, понимал, что следует привыкнуть, деловые вопросы предстоит отныне вести с учетом больших потерь во времени. И хоть не хватало общества, простого общения, но сдерживал себя: понимал, что даже ничего не значащий разговор с ним может пагубно сказаться на судьбе проявившего к нему чуткость человека.

У своего соседа по квартире — семинариста Никандра Михайловича Кувшинского — Флорентий Федорович поинтересовался, есть ли в Вятке люди, с кем можно откровенно говорить, кого можно попросить об одолжении. Никандр Михайлович, не колеблясь, назвал семью Селенкиных.

Правда, когда он сообщил самим Селенкиным, что политический ссыльный Павленков просит позволения лично представиться им, они отозвались с явным неудовольствием.

— Кто Вас просил говорить о нас!.. — заявила Мария Егоровна. — Какое возможно между нами знакомство? Эго такая нелепость.

— Уж и нелепость, — возражал Кувшинский. — Что это вы? Человек тут ни души не знает, перед этим столько в одиночке сидел, надо же ему хоть кого-нибудь видеть.

— Ох вы, простофиля! Ну что мы ему за компания? Только усугублять положение.

— Значит, сказать, чтобы не приходил?

— С коей стати. Пускай приходит, но пусть знает, что мы тут родились и выросли, и ничего особенного из себя не представляем, — вмешался муж Марии Егоровны Александр Николаевич.

— Правда, у него еще и просьба есть. Дела неоконченные в Петербурге остались — по продаже магазина и по изданию книг. Вести их теперь от своего имени он не имеет права. Все поэтому должно вестись от другого лица, предстоит переписка, а так как переписка его под контролем, то нужно иметь кого-нибудь...

— Ну, это не того, знаете, — заметил Александр Николаевич выразительно.

— Переписка исключительно деловая будет, — горячо заявил Кувшинский.

— Как вы за это поручитесь? — скептически махнул рукой Александр Николаевич.

— Вам же говорят: «исключительно деловая».

Несмотря на все эти опасения и настороженность, Селенкины не только радушно приняли Флорентия Федоровича в ближайшее воскресенье после состоявшегося разговора с Кувшинским, но и стали на многие годы

ссылки самыми близкими для него людьми, к кому он шел с большими и малыми своими хлопотами. С ними можно было поговорить о новинках литературы, откровенно обсудить актуальные политические новости, получить добрый совет.

Почти ежедневно Флорентий Федорович заносил Селенкиным поступавшие ему новые газеты, книжки «Отечественных записок», «Русского слова». Особенно активной собеседницей Павленкова была Мария Егоровна. Натура впечатлительная, остро воспринимающая все в жизни (впоследствии она стала писательницей), она чаще других выступала оппонентом Флорентия Федоровича.

Когда бы ни приходил он в дом Селенкиных, неизменно заставлял Марию Егоровну за чтением книги или какого-либо журнала. В кругу семьи завязывались разговоры на самые разные темы.

Павленков рассказывал о детстве, проведенном в кадетском корпусе, об учебе в академии. О Киеве. О своих друзьях — семье Черкасовых, Писаревых. О неудавшейся любви.

В свою очередь Мария Егоровна поведала о своем жизненном пути. Флорентий Федорович слушал ее рассказ с большим интересом.

— Я родилась в конце пятидесятых годов и до двадцати лет жила в уездном городе, где не было ни одной библиотеки и ни одной женской школы. Журналы, по крайней мере, среди знакомых нашей семьи, никем не выписывались. Они были редки и дороги, и все, что можно было иметь нам для чтения в то время, заключалось в случайном подборе изданий, покупавшихся купцами в Нижегородской ярмарке на вес.

— Как на вес?

— Вам кажется это невероятным, но уверяю вас, что это именно так было до шестидесятых годов. Когда мы переехали на житье сюда, я жадно стала пользоваться всяким случаем приобрести знания. По сравнению с только что покинутым нами захолустьем возможности для этого в губернском городе были большие. Я чуть не ежедневно стала посещать публичную библиотеку и читала там не одни романы, а и серьезные книги, статьи в журналах. Эти последние руководили мною, формировали мои понятия и характер.

По вечерам, оставаясь один, Флорентий Федорович как бы вновь восстанавливал нить исповеди Марии Егоровны. Она говорила, что всему, что есть в ней хорошего, обязана чтению. Вот если бы каждый человек обладал такой волей, был способен к последовательному самообразованию. Для меня же чтение— это еще и спасение от тоски и одиночества... Хорошо, что кое-что мне присылают Черкасов и Надеин. Редко, конечно,

приходят от них известия. Но все же — это единственная связующая нить с живым общественным процессом. Вот кстати сказать, присланная Черкасовым подборка опубликованных в «Неделе» «Исторических писем». Автор — некто П. Л. Миртов.

Когда прочитал первые письма, хоть они и были написаны просто, без какого-либо стремления поразить читателя красотами стиля или убийственной силой аргументов, что-то сильно взволновало меня. Мысли автора побуждали к соразмышлению, как бы звали думать, вместе рассуждать не только о судьбах народа в целом, но и о собственной судьбе.

Вскоре у Флорентия Федоровича возникло и постепенно все больше стало укрепляться мнение, что в статьях встречаются очень уж знакомые ему нотки. Ощущение такое, будто ранее читал или слышал нечто близкое... Слышал?.. Да-да, ведь такие мысли перед нами развивал в академии Петр Лаврович Лавров. Возможно П. Л. — это и есть Петр Лаврович?

Во время массовых арестов и обысков в Петербурге, вызванных покушением на жизнь Александра II, стало известно, что 26 апреля 1866 года арестовали и полковника П. Л. Лаврова якобы по обвинению в сочинении противоправительственного стихотворения и в «сочувствии и близости к людям, известным правительству своим преступным направлением», и сослали в Вологодскую губернию.

Теперь вот Флорентий Федорович читал его «Исторические письма». Признавая огромную важность естествознания, которое передовые элементы общества 60-х годов выдвигали на первый план, Лавров считает в то же время, что оно не более чем грамотность мысли, а куда более важным является изучение общественной жизни и истории. Прогресс, достигнутый у нас, пока еще незначителен, да и заплачено за него страшно дорогой ценой: «Мириадами жизней, океанами крови, несчастными страданиями и неисходным трудом поколений».

Вечером следующего дня у Александра Николаевича и Марии Егоровны Селенкиных читали пятое письмо Миртова. «...Как ни мал прогресс человечества, но и то, что есть, лежит исключительно на критически мыслящих личностях: без них он безусловно невозможен; без их стремления распространить его, он крайне не прочен... Если вашего таланта и знания хватило на то, чтобы критически отнестись к существующему, сознать потребность прогресса, то вашего таланта и знания достаточно, чтобы эту критику, это сознание воплотить в жизнь. Только не упускайте ни одного случая, где жизнь представляет действительно для этого возможность. Положим, ваша деятельность



мелочна; но из неизмеримо малых частиц состоят все вещества; из бесконечно малых толчков составляются самые громадные силы. Количество пользы, полученной от вашей деятельности, ни вы и никто другой оценить не в состоянии; оно зависит от тысячи различных обстоятельств, от многочисленных совпадений, предвидеть которые невозможно. Прекраснейшие намерения приводили к отвратительным результатам, как маловажное, с первого взгляда, действие разрасталось в неисчислимы последствия. Но мы можем, с некоторою вероятностью, ожидать, что, придавая целому ряду действий одно и то же направление, мы получим лишь немногие результаты, прямо противоположные данному направлению, а хотя некоторые действия совпадут с удобными условиями для того, чтобы оказались заметные результаты в этом самом направлении. Может быть, мы не увидим этих результатов, но они непременно будут, если мы сделаем все от нас зависящее. Земледелец, выработавший почву и посеявший семена, знает, что многие семена погибнут, что он никогда не оградит нивы от потравы, от неурожая, от ночного хищника, но и после неурожая он несет на поле снова горсть семян, ожидая будущей жатвы. Если каждый человек, критически мыслящий, будет постоянно активно стремиться к лучшему, то, как бы ни был ничтожен круг его деятельности, как бы ни была мела сфера его жизни, он будет влиятельным двигателем прогресса и оплатит свою долю той страшной цены, которую стоило его развитие».

Павленков с радостью констатировал, что и в Вятке он находил все больше возможностей для проявления своей инициативной деятельности и встречал людей, отличающихся просвещенным сочувствием к новым общественным явлениям. И в этом виделось ему реальное воплощение тех идеалов, за которые призывали бороться идейные наставники его юности.

Свою активность Павленков начинает проявлять в самых разных сферах. Успешное участие в судебном процессе по писаревским сочинениям, опыт работы над брошюрой «Наши офицерские суды» побудили выступить его в годы ссылки защитником на ряде судебных разбирательств, где попирались права людей бедных и униженных. В Вятке, рассказывал В. Д. Черкасов, в первые годы заточения Павленкова произвело большой шум уголовное дело, где на скамье подсудимых фигурировала одна молодая девушка, оболыщенная негодяем-чиновником губернаторской канцелярии. Преступление девушки было настолько серьезно, что ей угрожала каторга. Когда до Павленкова дошли слухи о готовящемся процессе, он предложил выступить на суде адвокатом несчастной и после необыкновенно удачной, горячей, глубоко трогательной

защиты добился ее оправдания.

В кругах передовых людей Вятки Павленков завоевывает все большее уважение. Известно еще об одном нашумевшем процессе, который был выигран тоже благодаря участию в нем Флорентия Федоровича. Вот что писала об этом М. Е. Селенкина: «Выступал Павленков в качестве обвинителя от имени первой аптекарской ученицы в г. Вятке, юной, совершенно безупречной и без тени кокетства девушки, против которой провизор-немец сразу же повел войну. Вначале он ограничился лишь тем, что в ее присутствии позволял себе скабрзные разговоры с своим помощником и с некоторыми знакомыми из публики, но видя, что этим способом нежелательную соотрудницу не выкуришь, решился на крайнее средство: предложил ей через сиделку вступить с ним в связь. С самого начала провизор восставал против допущения женского персонала в аптеку; спорил по этому поводу и с составом губернской управы и с врачами, но никто его не слушал, и вот он затеял одиночную борьбу с нежелательным для него присутствием женщины в аптеке. Павленков сказал блестящую речь, и провизора присудили к аресту».

К Флорентию Федоровичу начинают обращаться те, кому нужен юридический совет, устанавливаются у него связи с земцами, с местной интеллигенцией.

В марте 1871 года Вятка была взбудоражена следующим инцидентом. На вечере в благородном собрании, где присутствовало все вятское «высшее общество», действительный статский советник П. А. Зубов провозгласил тост за победу и процветание Французской коммуны. Он был, конечно, уволен со службы. Но его поступок бурно обсуждался в вятских кругах. Не прошел без внимания он и в доме Селенкиных. Тем более что перед обществом, собиравшимся там, Павленков не скрывал своего сочувствия к свободолобивой борьбе французского народа. С началом прусско-французской войны, свидетельствовала М. Е. Селенкина, Флорентий Федорович часто читал вслух газетную информацию об этом, принимал самое живое участие во всех удачах и неудачах французов, на стороне которых были все его симпатии. Участники этих бесед высказывали и собственные предположения о дальнейших перипетиях войны. Победа пруссаков, по мнению Павленкова, была бы губительной не только для Франции, но и для всего цивилизованного мира, так как это была бы победа «бурбонов», победа насилия и казармы.

В годы ссылки, вспоминала позднее М. Е. Селенкина, чтобы не опуститься и не сойти с ума, Павленков ни одной минуты не оставался без дела, и приходится невольно удивляться проявлению его деятельности в

различных областях.

...Вот и новая бойня. Газеты полны сведений с фронтов Русско-турецкой войны. Сухие сводки об убитых и раненых с обеих сторон. Но то ведь живые люди, у них где-то остались матери, жены или дети. Сколько горя, страданий прибавляется с каждой такой единицей на земле! А что может сделать любой гражданин, чтобы пресечь эти бесконечные человеческие мясорубки, которыми переполнена история цивилизации? Ничего! То воля самодержцев: они судят единолично, что сие предпринимается во благо народа. «Моего народа», — без тени сомнения в правомочности этого изрекают сильные мира сего.

Чем же все-таки может облегчить участь страждущих, терпящих невообразимые мучения, их соотечественник отставной поручик Павленков? Не порви он несколько лет назад с армейской казармой, сейчас находился бы в самом пекле этого безумия! А теперь вот, хотя и ссыльный, бесправный, но защищенный от глупой пули, от картечи, в одно мгновение способной прервать жизнь, лишит возможности осуществить задуманное человеком, никогда уже более неповторимой личностью на земле. И он решает через Красный Крест пожертвовать для раненых и больных солдат, участвовавших в Русско-турецкой войне, книги.

В 1872 году Флорентий Федорович дарит две свои книги Вятской публичной библиотеке. Это — «Физика» А. Гано и книга В. Мюллера «Политическая история новейшего времени», издания при участии В. Д. Черкасова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщали «Вятские губернские новости». Но такие проявления доброй воли у Павленкова не проходили без придинок.

Как только стало известно о намерении Ф. Ф. Павленкова подарить в тюремные библиотеки десять книг (причем в десятках экземпляров!), из канцелярии министра внутренних дел последовало указание цензурному комитету самым пристальным образом рассмотреть каждое из изданий, исходя из той цели, для которой оно предназначалось. Две книги Н. Н. Блинова по обучению начальной грамоте, китайская головоломка, книга о сердце и сердечной деятельности не вызвали никаких возражений. А все остальные были запрещены. Кстати сказать, сохранилось «Дело» Санкт-Петербургского цензурного комитета «О книгах, пожертвованных Павленковым для чтения арестантов» (начато 23 января 1870 года, окончено 23 февраля 1870 года).

Неуемная энергия Флорентия Федоровича ищет себе новые проявления. Так как по прибытии в Вятку у него взяли подписку в том, что он не будет заниматься издательской деятельностью, Павленков через

Министерство внутренних дел получает разрешение готовить переводы книг зарубежных авторов. Он начал переводить новую книгу А. Гано — его популярную физику — в Петропавловской крепости. Теперь, в Вятке, он с еще большей энергией занимается этой работой. Флорентий Федорович мечтает, чтобы текст этого пособия был как можно более доступным самому неподготовленному читателю. «Он читал, или вернее демонстрировал перед нами свой перевод физики Гано, — вспоминала М. Е. Селенкина, — желая проверить на нас, малосведущих в физике, достаточно ли ясно и удобопонятно его изложение». Книга была издана в Вятке в типографии А. А. Красовского.

Вынужденный дать обещание не заниматься издательскими делами, Флорентий Федорович не считал себя обязанным придерживаться этого слова. Над его волей было совершено насилие, и он вправе решать самостоятельно, как ему быть с подпиской. Павленков тайно продолжает свою деятельность, усиливает меры предосторожности, доводит их до строжайшей конспирации. Книжный магазин берет под свое попечительство М. П. Надеин. Издательство находится под опекой безотказного друга Вольдемара Черкасова. И действительно, он в течение восьми лет павленковской ссылки делал все от него зависящее, чтобы издательский огонек не погас, чтобы детище Флорентия Федоровича жило и продолжало плодоносить.

Помогала Павленкову вятская свободомыслящая молодежь — Н. М. Кувшинский, Н. А. Чарушин и другие. Они нелегально доставляли в столицу павленковские рукописи, оказывали услуги в ведении деловой переписки.

Одним из первых — и действительно дерзких! — начинаний Павленкова в период вятской ссылки было обращение к повторному изданию собрания сочинений Д. И. Писарева. Как только Флорентий Федорович получил вторую часть, завершившую первое издание, тут же рождается эта смелая идея.

Успех «Сочинений Д. И. Писарева» в публике был поистине беспрецедентный. К семье Писарева обращались с просьбами помочь приобрести один экземпляр, предлагая за это суммы, во много раз превышающие его номинальную стоимость. На продаже отдельных томов наживались букинисты, продавая их по 25 рублей. И Павленков через М. П. Надеина возбуждает в соответствующих ведомствах вопрос о разрешении выпуска второго издания сочинений Д. И. Писарева. Как это неудивительно, но возражений не последовало. Скорее всего, кем-то была допущена оплошность, ибо вскоре цензура начинает сводить на нет это

разрешение. Когда 1 сентября 1872 года четвертая часть сочинений была представлена в Санкт-Петербургский цензурный комитет, цензор А. А. де Роберти в статье «Генрих Гейне» увидел, что в ней «автор оправдывает необходимость революций», а в статье «Мыслящий пролетариат» обнаружил «восторженный» отзыв о романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?». Этих оснований оказалось достаточно для того, чтобы уже на пятый день поступления книги в цензурный комитет на нее был наложен арест. А затем постановлением Комитета министров книга была запрещена. Аналогичное решение было принято и по седьмой части. Из десяти частей второго издания цензурный комитет посчитал возможным не препятствовать выпуску лишь половины, так что второе издание собрания сочинений Д. И. Писарева Флорентий Федорович смог выпустить лишь спустя двадцать лет, в 1894 году.

Уезжая в Вятку, Павленков, как уже говорилось, книжный магазин передал М. П. Надеину, который взял на себя обязательство производить денежные расчеты по неоконченным изданиям. Делами издательства занимался В. Д. Черкасов. И постепенно издательская деятельность Павленкова после вынужденного перерыва первых месяцев ссылки начинает восстанавливаться. Уже в 1872 году в Петербурге была отпечатана как издание В. Черкасова, под редакцией Э. Ватсона переведенная с немецкого языка книга В. Мюллера «Политическая история новейшего времени. 1816–1868». Павленков верен своим убеждениям: каждая честная книга должна способствовать росту политического сознания родного народа. Переводное издание не должно служить исключением. К сожалению, и эта книга, как и многие другие павленковские издания, подверглась тогда запрету. Правда, вторая часть ее была разрешена.

Среди представителей вятской публики Флорентий Федорович вскоре, как приехал в город, особо выделил Александра Александровича Красовского. Тот располагал типографией. Точнее сказать, типография принадлежала проживавшему в Петербурге его брату В. А. Красовскому, но эта фиктивная уловка потребовалась для того, чтобы обойти запрет министра внутренних дел, который в 1865 году на запрос вятского губернатора о разрешении открыть в Вятке типографию А. А. Красовскому свой отказ мотивировал причастностью последнего к антиправительственному заговору, раскрытому в Казани в 1863 году.

В конце 1868 года А. А. Красовский купил на имя брата типографию К. Блинова и развил активную издательскую деятельность. Отношения установились быстро. Единомыслие, близость целей, сходство судеб — все это привлекало друг к другу. Павленкову, выброшенному, как рыба на берег,

в эту северную даль, лишенному возможности применить свой талант, свою энергию к любимому детищу, нужна была рука друга. И Красовский протягивает ее. Издавать Павленкову самому запрещено. Поэтому книгу он переведет, а Александр Александрович издаст. Лучше пусть это будут какие-либо научно-популярные работы, в которых так нуждается нарождающаяся русская интеллигенция.

И действительно, в типографии А. А. Красовского в 1873 году появляются три сочинения иностранных авторов. Все работы посвящены естественно-научным проблемам, но все их объединяет богатство философского содержания: «Единство физических сил. Опыт естественнонаучной философии» А. Секки; «Роль воображения в развитии естественных наук» Дж. Тиндаля и «Соотношение жизненных и физических сил» А. Баркера.

## ПРИЗНАНИЕ И МЫТАРСТВА «НАГЛЯДНОЙ АЗБУКИ»

Как-то в руки Флорентия Федоровича попала добротной изданная книжица, по которой дети хозяйки, где он жил, обучались грамоте. Перелистав ее, заметил, что истосковался по любимому детищу — и рисунки рассмотрел с пристрастием, и бумагу... Не мог, конечно же, упустить из виду — и чему учат? И огорчился оттого, что приторно слащавой представала вся жизнь со страниц учебной книги. А ведь это первое, над чем, возможно, вообще задумается ребенок... И те, кто подталкивает его к такой безоблачной благодати, оказывают медвежью услугу юной душе, которой придется горько разочаровываться в своей детской наивной вере. А чем ранее западут в душу верные мысли и понятия, тем прочнее будет их воздействие. Как это ранее не задумывался над такой простой на первый взгляд вещью, как первая книга, которую берет в руки человек, потянувшийся к знанию. Разве не здесь родничок, откуда берется исток к широкой реке просветительства и просвещения? Значит, нужна особая книга грамоты. Может быть, азбука? Доступная самому забитому, самому темному... И призвана она нести истинное знание, а не то, что эти нарочито псевдонародные книги, которыми пичкают крестьянство «официальные» издатели.

У Селенкиных же произошло знакомство и со священником Николаем Николаевичем Блиновым. Сан служителя церкви тот успешно сочетал с деятельностью на ниве народного просвещения. Уже после первой встречи между ними установились по-настоящему дружеские отношения, а между Вяткой и Нолинском, где в церкви служил священником Блинов, наладилась регулярная переписка.

Уже через несколько дней после их первой встречи Флорентий Федорович держал в руках две книги Н. Н. Блинова — «Азбуку для вотских (удмуртских) детей» («Лыдзон») и «Грамоту» для русских школ. Обе были изданы здесь же, в Вятке. Первая в 1867 году, а вторая — спустя год после нее.

Этой книгой Вятское губернское земство открывало свою издательскую деятельность.

Не все в блиновских книгах устраивало Павленкова. Но главное — это

ведь для народа, это ему адресует свои знания ищущий, может быть и ошибающийся, но работающий человек.

Сколько совместных чаепитий будет впереди у этих созвучных сердец! Каким бальзамом, лечащим израненные души, станут они друг для друга! Ибо выяснится уже при первом общении: у них близкий подход ко многим проблемам, оба они цель своего существования на бренной земле усматривали в том, чтобы работать ради просвещения своих соотечественников. Неизвестно, когда точно, но не исключено, что уже после первого чаепития Флорентий Федорович, человек деловой, как сказали бы в наши дни, твердо укрепился во мнении: идеи Николая Николаевича должна знать вся Россия, их нельзя запереть тесными рамками Вятской губернии. И вот уже в Петербург попадает письмо-просьба Павленкова к одному из своих друзей: надо издать книгу Н. Н. Блинова. Восторженный отзыв о вятском педагоге-просветителе. Сомнений в том, сможет ли написать, нет никаких. Две книги выпущены в Вятке, искренняя увлеченность идеями подлинно народной педагогики убедительно подтверждает это. Николай Николаевич уже заряжен на работу.

Организаторская сметка Павленкова, его энергические усилия сделали свое дело. Уже в 1870 году в Санкт-Петербурге, в типографии А. М. Котомина, где печаталось большинство павленковских изданий, выходит в свет книга Н. Н. Блинова «О способах обучения в семье и школе...». Эта книга первая среди изданий Павленкова периода его вятской ссылки.

В народе говорят: нет худа без добра. Ссылка в Вятку, знакомство с реальной жизнью провинциального уголка России, общение с местной интеллигентской публикой, постижение подлинных масштабов неграмотности народа заставляли начинающего издателя всерьез задуматься о направлении избранного им дела, нацеленности его на главные ориентиры. Не растекаться же мыслию по древу. Вряд ли достигнешь желанной цели, если по пути к ней начнешь разбрасываться, хвататься то за одно, то за другое.

Времени на то, чтобы обдумать до деталей свою будущую издательскую программу, было вдоволь. Первое, к чему склонялся, — не увлекаться умозрительными проектами, идти от жизни, от того, что нужно ныне народу. Но большая часть его безграмотна. Значит, первостатейная задача — элементарное просвещение сограждан. В школах не хватает учителей. До сельских жителей книга доходит через офеней, чаще всего в виде лубочных картинок да каких-то побасенок. А совсем недавно ее вообще продавали на ярмарках на вес. Нести свет знаний надо, начиная в



буквальном смысле с азов, то есть с азбуки. И не вдавливать, не втискивать насильно в память букву как таковую. Она же призвана передавать звук. Важно уловить ее звучание в речи, вычленить из общего строя. И еще одно. Запомнить легче, если наглядно можешь представить и звук и букву. Этот метод как раз доступнее всего человеку необразованному, он облегчает ему нелегкий путь к образованности. Идея создания первой народной книги грамоты увлекла Флорентия Федоровича. Какой же ей быть?

Вспомнилось, что в периодике не раз встречался с полемическими статьями на эту тему. Тогда не вникал в суть споров, но кое-что в памяти осталось. Копья ломали о классическом или реальном образовании... Сторонники первой точки зрения утверждали, что действительное развитие уму юношества способны дать лишь классические языки. Оппонировал, помнится, педагог К. Д. Ушинский. Взял даже на заметку его аргументацию, так как она шла в русле писаревских идей. Естественные науки, утверждал Ушинский, настойчиво стучатся в дверь школы, однако официальные круги строят всевозможные преграды на этом пути, опасаясь их распространения. А ведь потребность времени в чем? «В настоящее время нам нужны больше всего не эллинисты и латинисты, а земские и государственные деятели, заводчики, машинисты, фабриканты, сельские хозяева и другие реальные люди, — заявлял Ушинский, — люди живого дела и энергичного труда».

Решил Флорентий Федорович повнимательнее почитать труды ученого-педагога. Недавно вышедшая книга К. Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии» была издана в типографии Ф. С. Сущинского. Книга получилась очень красивая: с фиолетовым отливом переплет, по нему — замысловатая вязь вьющейся виноградной лозы, листьев и гроздей винограда. Черный корешок, на котором золотом написаны фамилия автора и название книги.

Открыл наугад страницу и прочитал: «В Спарте показывали детям пьяного илиота, чтобы укоренить в них навсегда отвращение к пьянству; то есть: представление пьяного илиота комбинировали с чувством отвращения, и эта комбинация представления с чувством оставляла глубокий след в душе детей». И дальше: «Если то, что заучивается детьми, не пробуждает в них никакого чувства, желания, стремления, то тогда заученное не может иметь никакого непосредственного влияния на их нравственность; но если чтение или учение, как говорится, затрагивают сердце, то и в памяти останутся следы комбинаций, представлений с чувствами, желаниями и стремлениями, пробужденными чтением или

учением, и такой сложный образ, след, возбуждаясь к сознанию, пробудит в нем не только представление, но и желание, стремление, чувство». Как же все это верно и убедительно сказано!

Посмотрев книжки К. Д. Ушинского — «Родное слово для детей младшего возраста. Год первый», «Азбука и первая после азбуки книга для чтения с прописями, образцами для первоначальной рисовки и картинками в тексте», Павленков обнаружил в них и другие поучительные выводы. Именно в наглядности «лучшее и, может быть, единственное средство» для того, чтобы «достигнуть самостоятельности в упражнениях дара слова», а также, что «наглядность есть необходимое условие самостоятельного понимания ребенком той или другой мысли».

Задумался Флорентий Федорович. Маленький человек сталкивается с чем-то для него необычным, пугающим своей таинственностью. Как снять, преодолеть быстрее эту боязнь, сломать барьер отчуждения? А что, если всю азбуку выстроить из картинок, где будут изображены близкие ребенку вещи, предметы, люди? От них может подтянуться мысль и к более отвлеченным категориям, какими являются буква и цифра. Пусть связующей ниточкой двух картинок будет та или другая буква, тогда ее можно будет проще запомнить.

Азбука, из картинок состоящая. Наглядная азбука. Собственно, об этом говорит и Ушинский.

Убедившись в преимуществе наглядно-звукового способа постижения азбуки перед буквослагательным, Флорентий Федорович принимается за работу. Это должен быть своего рода самоучитель грамоте. Кажется, что за дело? Всего тридцать с лишним букв в русском алфавите. Но попробуй поищи для каждой из них по несколько слов, понятных, близких восприятию самого простого человека, увяжи их внутренней логикой, хотя бы небольшой интригой, чтобы хотелось включиться в игру, уловить звучащую повторяющуюся букву, почувствовать ее как бы на слух и на вид, связав представление о ней с конкретными зрительными образами — предметами домашнего обихода, чиновными людьми, с которыми приходится сталкиваться человеку в повседневности.

При таком подходе постижение азбуки возможно и самостоятельно, без учителя. Формулируя затем в специальном руководстве эти принципы, он писал: «Процесс самообучения по нашей азбуке основан на том простом законе, в силу которого, зная сумму двух чисел и одно из слагаемых, мы легко отыскиваем другое. Роль такой суммы в нашем способе играет рисунок знакомого ученику предмета вместе с полным названием последнего, а роль данного слагаемого — та часть этого названия, которая

выражается уже пройденными им звуками».

Достаточно с учителем усвоить гласные буквы и около четырех согласных, как уже затем обучающийся в состоянии без чьей-либо помощи продолжать по предлагаемым рисункам постигать весь последующий остаток букв алфавита. Впервые за все время пребывания в ссылке Павленков ощутил, что в его руки попало настоящее дело.

Н. Н. Блинов в своих воспоминаниях утверждает, что Флорентий Федорович присылал ему рукопись «Наглядной азбуки» для просмотра. В ней «место для рисунков отмечалось клетками». По приезде священника в Вятку они сообща обсуждали все, что касалось окончательной редакции «Наглядной азбуки». Как человек, истосковавшийся по работе, Павленков рьяно бросился осуществлять задуманное. Ему хотелось продумать все до деталей. Так, хорошо бы в качестве эпиграфа вынести мысль какого-нибудь авторитетного человека. Причем на первом плане должно быть самое главное. Пожалуй, постулат ученика знаменитого Песталоцци — немецкого педагога Фридриха Фребеля подойдет: «Сколь возможно раннее приучение детей к размышлению я считаю за самое первое и самое важное в детском воспитании». Вот именно — приучение к размышлению, самостоятельному обдумыванию — в этом вся суть! А называться книга будет «Наглядная азбука для обучения и самообучения».

Теперь необходимо было сделать рисунки. Одних описаний картинок для гравера Флорентию Федоровичу пришлось сделать не менее шестисот. Рисунки получились на славу. Они устраивали Павленкова и по содержанию и по художественному исполнению.

Правда, авторство свое Флорентий Федорович указывать на книге не мог. Поэтому создателем азбуки выступил Н. Н. Блинов. На титульном листе книги написано: «Посвящается памяти К. Д. Ушинского». Цензура не усмотрела в этом издании никакой крамолы и разрешила его. В 1873 году книга увидела свет в Петербурге, как издание В. Д. Черкасова.

Пока Павленков работал над подготовкой рукописи «Наглядной азбуки», Николай Николаевич Блинов создал два приложения к ней — книги для чтения в классе и дома: «Ученье — свет» и «Пчелка». В первой рассказ велся от лица сельского мальчика обо всем, что окружало его в жизни, что волновало, чем он был озабочен. Во второй были представлены стихи Никитина и Кольцова, Пушкина и Некрасова, Жуковского и Крылова, а также пословицы и загадки. Обе книжки, иллюстрированные вятским художником Василием Порфирьевым, как нельзя кстати оказались лучшим приложением к «Наглядной азбуке».

Павленков организовал их тиражирование в Московской типографии

А. И. Мамонтова. Там же была выпущена еще одна его брошюра «Замечание для учителей о классных занятиях применительно к книге “Ученье — свет”». Более того, все три книги Н. Н. Блинов представил в Москве на Политехнической выставке, куда его вятское земство послало на курсы для учителей народных школ. Способ самообучения с помощью «Наглядной азбуки» был представлен на этих курсах. А издатель журнала «Семья и школа» Ю. И. Симашко, ознакомленный Блиновым с «Наглядной азбукой»<sup>5</sup>, решил опубликовать ее в качестве приложения к январскому и февральскому номерам 1873 года.

Сразу после выхода петербургского издания азбуки по распоряжению Ф. Ф. Павленкова две тысячи экземпляров были бесплатно отправлены учителям народных школ по адресам, привезенным Блиновым из Москвы. Книги сопровождалась просьбами проверить данный метод обучения на практике, высылать отзывы об учебнике, его достоинствах и обнаруженных недостатках.

Прогрессивно настроенные педагоги встретили «Наглядную азбуку» весьма сочувственно. Опубликованы сведения о том, как настойчиво утверждал на практике павленковский метод самообучения в украинском селе Даниловка будущий русский философ Владимир Дмитриевич Лесевич. Он с женой в открытой ими народной школе обучал грамоте, пользуясь «Наглядной азбукой», содействовал переводу учебника на украинский, польский и чешский языки.

Крупный русский педагог Н. Ф. Бунаков в своих лекциях называл павленковский труд «оригинальным, талантливым и полезным». В отзыве видного русского педагога Д. Д. Семенова хотя и отмечались некоторые недостатки «Наглядной азбуки», но подчеркивались и несомненные заслуги Павленкова в развитии и популяризации принципа наглядности в обучении русской грамоте. Видная деятельница народного образования того времени Х. Д. Алчевская с восторгом рассказывала Л. Н. Толстому о том, как быстро и легко учащиеся выучивались читать и писать с помощью «Азбуки» Павленкова. Видный деятель отечественного народного просвещения того времени барон Н. А. Корф познакомил с павленковской «Наглядной азбукой» международную педагогическую общественность. И в 1873 году в Вене на педагогическом конгрессе в рамках Всемирной выставки он сделал специальное сообщение по этому вопросу и выявил, что метод обучения, предложенный Ф. Ф. Павленковым, использующий принцип наглядности, рассчитанный на то, чтобы постижение грамоты сделать доступным, массовым, приятным для обучающихся, к тому

времени не имел аналогов в педагогической практике ни в Западной Европе, ни в Америке. Азбука Ф. Ф. Павленкова была удостоена почетного отзыва на Венской всемирной выставке: «Русская “Наглядная азбука” лучше всех до сих пор напечатанных и известных конференции руководств возбуждает самостоятельность учащих, чем и может оказать неоценимые услуги школе». Участники конгресса были единодушны: наглядно-звуковой метод обучения грамоте заслуживает того, чтобы его внедрили и в других странах.

Павленков же был занят тем, как продвигать свою азбуку в широкие учительские массы. Уже говорилось о том, что экземпляры «Наглядной азбуки» были разосланы в земские школы. Но наряду с этим Флорентий Федорович выдвигает новую идею. Поскольку в деревнях учителей не хватает, то с помощью «Наглядной азбуки» можно организовать обучение грамоте в нескольких населенных пунктах. На первых порах учитель налаживал бы процесс обучения, а продолжали бы его уже сами обучающиеся при поддержке со стороны грамотных крестьян. Чтобы убедиться в том, что идея таких своеобразных «подвижных» школ — не утопия, важно было провести проверку его в реальной обстановке.

С помощью энтузиастов-земцев Флорентию Федоровичу удалось провести эксперимент в одном из уездов Вятской губернии. Результаты превзошли ожидания. Не только крестьянские дети, но и взрослые крестьяне быстро постигали грамоту, благодаря предложенному Павленковым способу самообучения.

Опыт проводился одним сосланным в Вятскую губернию учителем. Вот как описывает его, несомненно, со слов самого Флорентия Федоровича, В. Д. Черкасов. «Учитель организовал школу из десяти учениц разного возраста. Среди них находилась семилетняя девочка и ее сорокадвухлетняя бабушка. Занятия проходили в течение двух недель. Учитель довел своих учениц до буквы “Р”, а затем предоставил им возможность самостоятельно заканчивать изучение азбуки. Все усердно занимались без учителя три недели и не только усвоили все оставшиеся буквы, но начали даже читать статьи из приложенной к азбуке хрестоматии».

Опираясь на эти результаты, представители вятского земства готовились вместе с Павленковым на ближайшем земском собрании предложить устроить уже в нескольких уездах губернии школы с переезжающими наставниками. Правда, к сожалению, развития это движение не получило.

Позднее сосланный в Яранск Павленков войдет в контакт с местными

земцами, представителями той части учительства, которые симпатизировали его начинаниям, новаторским поискам в деле народного просвещения, прежде всего по организации школ с переездными учителями. Для Яранского уезда, где ощущалась острая нехватка учительских кадров, такой метод представлялся, несомненно, наиболее подходящим. Но возникало и немало вопросов. Действительно ли опыт подтверждает возможность столь быстрого обучения грамоте? С чего целесообразнее всего начинать занятия? Чтобы удовлетворить этот интерес, дать методические советы практическим работникам, Павленков готовит специальную брошюру, которая выпускается в 1877 году в вятской типографии Куклина сторонниками наглядно-звукового метода обучения грамоте под названием — «Подвижные школы перед судом Яранского земства». Авторы решительно не соглашались с запретными мерами властей против «Наглядной азбуки». Они ратуют за то, чтобы азбука эта работала, помогая просвещению народа.

Как только губернатору стало известно, что брошюра печатается в типографии, он распоряжается ее задержать, а сам немедленно запрашивает Санкт-Петербург: как быть? Дело в том, что брошюра была, как и положено, представлена в Московский цензурный комитет, и цензор Голицын, не найдя в ней ничего противоправного, разрешил ее к изданию. Ситуация складывалась весьма щекотливая. В соответствии с действующим цензурным уставом губернатор имел право конфисковать и уничтожить тираж брошюры. Но при этом конфискующий должен был возмещать издателю все его материальные издержки из собственных средств. Губернатор на это не пошел. Брошюра была выпущена, правда, местные власти все сделали, чтобы не допустить ее в библиотеки губернии.

Несколько гласных вятского земства активно поддерживали павленковскую идею об организации в губернии сети начальных школ с переездными наставниками. Флорентий Федорович принимается за дело. Он обращается к уездным предводителям дворянства с просьбой изыскать возможность, в порядке опыта, открыть у себя по одному или по два школьных участка, работающих по новому методу. Усилия Павленкова дают свои результаты. В декабре 1873 года губернское земское собрание просило разрешения у Министерства народного просвещения на открытие передвижных школ и проведение занятий в них по «Наглядной азбуке» священника Н. Н. Блинова. Вятское земство еще до решения министерства рекомендовало управам закупить пятьсот экземпляров «Наглядной азбуки» и сто методических пояснений к ним.

Но тут губернатор Чарыков, а скорее всего, его окружение,

обнаруживает в книге священника Блинова крамолу. Тотчас же и светские и духовные правители Вятской губернии набрасываются на «Наглядную азбуку». «Подобная азбука вреднее сочинений Лассаля». «Она может только развратить юношество, так как некоторые картины в ней могут привить взгляды Дарвина о происхождении человека». Так высказывался в донесении вятский губернатор Чарыков попечителю Казанского учебного округа. По его мнению, азбуку следовало конфисковать, изъять из употребления, а виновных, в том числе и цензора, наказать. Духовные власти губернии не расходились во мнении с Чарыковым: они тут же изымают «Наглядную азбуку» из своих школ и библиотек. И принимаются за ее автора.

А поскольку создателем азбуки значился их местный священник Н. Н. Блинов, то вся сила удара была направлена именно против него. Несколько сельских батюшек пустили в ход испытанное средство расправы над неудобным им коллегой — донос.

Смотритель Нолинского духовного училища адресовал отцу Николаю несколько нелицеприятных вопросов. Отвечал тот на них без подобающего его сану смирения. Из сохранившихся воспоминаний Н. Н. Блинова видно, что одолевали его сомнения в то время. «Момент был решительный для меня. Я мог решительно заявить, что не я автор “Азбуки”. И вообще — не ответственен в допущенных промахах в некоторых рисунках и фразах...» — говорится в воспоминаниях. Однако понятие чести, верности данному ранее слову взяло верх. И отец Николай не стал подводить Флорентия Федоровича, осознавая, какое тяжелое наказание тот мог бы понести за нарушение запрета на издательскую деятельность.

Блинова решают перевести в приход одного из самых отдаленных сел губернии. А так как он не согласился с подобным назначением, то его, не задумываясь, отрешают от службы. Н. Н. Блинов и его семья попадают в тяжелейшее положение. Флорентий Федорович принимает все усилия, чтобы помочь товарищу, оказавшему ему столь много добрых услуг во время вятской ссылки. Он организует переезд Николая Николаевича в Петербург, устраивает его на работу в собственном издательстве. Правда, как свидетельствовала М. Е. Селенкина в своих воспоминаниях, она неоднократно упрекала Павленкова за то, что тот выплачивал Блинову слишком незначительную сумму и оттого семье последнего пришлось испытывать материальные затруднения. «Мне до последней степени грустно было сознание необеспеченности некоторых его сотрудников, в том числе и Николая Блинова, который именно за сотрудничество с Павленковым потерял место и вынужден был по делам Флорентия

Федоровича жить в Петербурге с большой семьей, получая очень незначительное вознаграждение, — писала Мария Егоровна. — А он находил, что единичная нужда не так важна, чтобы на нее стоило обращать особенное внимание и тратиться, когда в виду есть цель более широкая и более плодотворная. Это был вечный наш спор о любви к “ближнему” и любви к “дальнему”, в котором мы никогда не могли прийти к соглашению и который между нами не раз кончался резкими замечаниями чисто личного характера, чем особенно часто грешила я».

Об объективности или необъективности данного свидетельства можно и поспорить. Характер Флорентия Федоровича был таким, что он вряд ли смог бы бросить близкого ему по духу человека на произвол судьбы. Известно из павленковских писем, что он направлял Н. Н. Блинова в командировки по делам своего издательства. В 1878 году в Санкт-Петербурге еще одним изданием выходит блиновская «Пчелка. Иллюстрированная хрестоматия. Стихотворения, пословицы, загадки». Сам Николай Николаевич вспоминал, что Павленков оказывал ему материальную поддержку, когда он отправлялся на лечение. Во время возвращения священника из столицы в родную губернию также содействовал ему Флорентий Федорович. «Средства для обеспечения всех детей одеждой и расходов на дорогу, а также на содержание жены, остающейся в Петрограде, найдены, — писал Н. Н. Блинов. — Ф. Ф. Павленков взял у меня второе издание “Пчелки”, уплатив, кажется, 200 р.\*.

А дело «Наглядной азбуки» было перенесено теперь в Министерство народного просвещения. Когда тамошние чиновники, получив соответствующие донесения, открыли страницы «Наглядной азбуки», то пришли в ужас: эта книга порочит религию?! Член созданного в 1869 году особого отдела ученого комитета Министерства народного просвещения Кочетов констатировал: «Нельзя признать уместным помещение в азбуке наряду с другими рисунками изображений священных предметов, таинств и лиц, как-то — налож, кадило, крест, диакон, распятие, священник, причащение и т. п.». Оказывается, создатель книги — то ли случайно, то ли умышленно так состыковал картинки, что духовные и светские власти стали требовать вообще уничтожения издания за «непозволительные сопоставления» и «недопустимые выражения».

Что напугало блюстителей нравственности и правопорядка? К примеру, буква «Х». В азбуке надо было поставить два понятия, предмета или существа, названия которых заканчивались бы этой буквой. Расчет на успешное самостоятельное усвоение новой буквы обучающимися строился на том, что оба понятия должны быть им хорошо знакомы. Павленков



помещает изображения петуха и монаха. Казалось бы, в чем тут крамола, «злой умысел»? Но при тщательном рассмотрении рисунка обнаруживалось, что петух своим великолепным хвостом и гребнем намекает-де на что-то петушиное в облике монаха, обряженного в богатую мантию с длинным хвостом и клобуком, с которой спускается пышный креп. Это ли не умышленные козни автора, его желание выставить в глазах ребенка служителя церкви в «смешном виде»? Сам Флорентий Федорович, рассказывая об этой придирке друзьям, не без ядовитости, смеялся. «Трудно было сказать, на что направляется его ядовитость... — комментировал этот эпизод собеседник Павленкова и добавлял: — Думаю все же, что эти фигуры попали в книжку рядом неслучайно».

И такой вывод представляется не лишенным основания. Можно, конечно, отнестись к этому как всего лишь к игольным уколам, но Павленков не брезговал тогда ничем. Он был убежден, что капля камень точит, и, где только мог, вызывал в народе негативное отношение к существующим порядкам, к служителям этих порядков, и даже не обходил стороной и самого самодержца. Ревнителю существующего строя в той же «Наглядной азбуке» среди других с возмущением отметили и такое сопоставление. Павленков, чтобы помочь детям усвоить букву «Ц», решает привести одно слово, которое начиналось бы с нее, а другое — где она помещается в середине. И вот две картинки. На первой — портрет Александра II и подпись — «царь», а на второй красуется виселица! «Какие мысли может породить у обучающихся подобная параллель?» — ужасались доносчики. Флорентий Федорович невозмутимо удивлялся: мол, в чем дело, откуда такие придирки? А своему единомышленнику заявлял при этом:

— Не нравится, а ведь что может быть ближе: царь — отец виселицы, но никто более не заслуживает ее, как тот же царь!

Переполох вызвали также поставленные рядом, по созвучию, рисунки: налой и стойло; кокошник и царская корона.

Дальше — больше. Рецензентам ученого комитета удалось обнаружить на страницах «Наглядной азбуки» даже... пропаганду идей Дарвина. «Сопоставление на с. 25 скелетов человека и обезьяны неудобно в том отношении, что может подать повод неблагонамеренному учителю развить детям теорию, распространение которой в народных школах не может быть допущено», — делалось заключение в донесении.

Когда в более высоких инстанциях были рассмотрены эти и другие примеры, там расценили их не иначе как поругание священных и царских принадлежностей, как намерение автора «Азбуки» вызвать у детей

неблагопристойные чувства и мысли. Конфисковать весь тираж! — таков был приговор. Само название «Наглядная азбука» стало опасным жупелом для чиновников Министерства народного просвещения, деятелей церкви и цензурного ведомства. Когда хлопотавший в Петербурге за судьбу павленковской азбуки

В. Д. Черкасов обратился к секретарю цензурного комитета Пантелееву, тот прямо заявил, что если под обложкой «Наглядной азбуки» будет поставлен перечень евангельских текстов, то и тогда она не будет разрешена к печати.

Но на этом история «Наглядной азбуки» еще не завершается. Ибо борьба за восстановление ее в правах стала, по выражению самого Флорентия Федоровича, «половиной его собственной жизни и смерти».

До конца 1873 года Павленков анонимно издает в Петербурге «Записку об учреждении временных школ с переездными наставниками». На ее страницах содержалась критика ученого комитета Министерства народного просвещения, ставшего на пути «Наглядной азбуки» к массам жаждущего грамоты населения России. Ведь когда в следующем, 1874 году Павленков с помощью В. Д. Черкасова подготовил к выпуску третье издание «Полного курса физики» А. Гано, то его выход был задержан, ибо на обложке содержалась реклама «Наглядной азбуки».

Сохранилось в перлюстрации письмо В. Д. Черкасова, который сообщал Павленкову об этом решении ученого комитета. Вятский губернатор отправил в Петербург выдержки из него с собственными комментариями. Автор письма с едким сарказмом отзывается о причинах, которые были избраны запретителями в данном случае: «Само по себе это решение не отзывается крайнею неодобрительностью, а только показывает, до каких геркулесовых столбов нелепости можно иногда дойти, зарвавшись раз на пути ложных предубеждений. Выходит так, что если книга в переплете — одобряю, в обложке — изгоняю из школы. Почему бы не принимать уже в соображение цвет обложки, арабскими или римскими цифрами обозначили номера страниц книги. По-видимому, анекдот об изгнании “вольного духа” из поваренной книги имеет место и в наши дни. Однако к делу, которое в том, как лучше и удобнее воспользоваться одобрением комитета, которое, конечно, я имел в виду получить не для того, чтобы хранить его в портфеле». Следующее за тем предложение Черкасова было, безусловно, дерзким: он предлагал напечатать на тонкой бумаге в количестве тысячи экземпляров этот отзыв ученого комитета и теми строчками, где говорится о запрете рекламы «Наглядной азбуки» на обложке книги А. Гано, заклеить объявление. Видимо, даже Павленков

воздержался против такого шага, понимая, что дразнить гусей без нужды не следует. В дошедших до наших дней экземплярах «Полного курса физики», хранящихся в библиотеках, объявление о выходе «Наглядной азбуки» имеется.

Из воспоминаний В. Д. Черкасова известно, что Флорентий Федорович не ограничился разработкой наглядно-звукового метода обучения азбуке, а готовил также материал для издания детских задач в картинках. «Наглядные несообразности» — так назвал издатель свою новую работу. «Павленковым впервые была взята за основание беседа наставника с детьми, — пишет Черкасов, — отрицательный элемент вместо исключительно господствующего до того времени положительного». Флорентием Федоровичем было задумано около 450 тем рисунков, «изображающих разные предметы, действия и явления в явном (наглядном) несоответствии с действительностью относительно числа, величины, формы, места, свойства и т. д. — несоответствии, служащем толчком к вопросам — “почему?” и “отчего?”». В 1874 году в качестве приложения к журналу «Детское чтение» эта павленковская работа публиковалась в серии рисунков и объяснительного текста, причем помимо русского еще на трех иностранных языках. До конца журнал по ряду причин «Наглядные несообразности» не опубликовал. По возвращении из ссылки Павленков завершил задуманное начинание.

В 1880 году в бывшей типографии А. М. Котомина было издано «Объяснение к “Наглядным несообразностям”. Детские задачи в картинках. (Для родителей и воспитателей)». Однако это новшество не получило ожидаемого успеха.

Интересен и другой метод наглядности, который собирался применить Павленков. Вспомнив юношеские увлечения фотографией и физикой, он попытался разработать проект устройства оптического прибора, который обеспечил бы получение на экране с помощью освещения совмещенных стереоскопических изображений с присущей последним рельефностью. Только по той причине, что в Вятке отсутствовали необходимые технические средства и приспособления, Флорентий Федорович не завершил свою работу.

По-прежнему Павленков продолжает настойчиво пропагандировать свою «Наглядную азбуку». Принятое решение высоких инстанций о конфискации тиража, о запрещении комплектовать ею библиотеки вовсе не означало, считал Павленков, что нужно прекратить борьбу. Наоборот, следует усилить свою активность.

Энергии и пробивной силы Ф. Ф. Павленкову было не занимать. Он

добивается, что его «Наглядная азбука» выходит в 1875 году в столице в папке на тридцати двух листах. В следующем году ему удается опубликовать ее дважды: в Санкт-Петербурге под заглавием «Чтение и письмо по картинкам. Азбука для обучения и самообучения по наглядно-звуковому способу» в типографии В. Д. Демакова, в Киеве — «Ключ к чтению и письму по картинкам». Кроме того, в столице в этом же году выходит его «Родная азбука» и «Азбука-копейка».

Раз официальные власти запрещают его книгу, надо найти иные обходные пути, чтобы можно было ее издать. Прежде всего нужно изменить название. Раз оно набило оскомину, воспринимается чуть ли не как синоним «крамолы», нужно другое. Теперь о предисловии. Требуется слово к читателю, где бы самыми гневными словами была бы раскритикована «Наглядная азбука»: и то в ней не так, и это! Читающий должен понять: от «Наглядной азбуки» остались только одни рожки да ножки! Теперь-то уж к ней никто и не прикоснется, а не то чтобы учить по ней. Сразу после предисловия можно помешать полный текст самой «Наглядной азбуки». Чтобы не рисковать зря, стоит снять несколько примеров, к которым были особо рьяные придирки, заменив их другими.

Павленков был убежден, что после такой операции цензор поставит свою подпись и разрешит издание. Конечно, Петербург следует исключить, чтобы не попала книга опять в руки тому же цензору, кто выискивал в ней всевозможные «страхи». А еще лучше будет разослать рукопись цензорам нескольких городов, допустим, в Москву, Ригу, Казань, Киев. Кто-нибудь из стражей да поймается, а если все одобряют, еще лучше!

Что касается предисловия, то, если текст будет заверен, у издателя имеется право рукопись сократить. Дописывать ничего нельзя! Это серьезное нарушение. А вот изымать, пожалуйста. «Я просто-напросто выброшу предисловие, — решил Павленков, — а азбуку, наглядную азбуку, отпечатаю еще большим тиражом».

План созрел. Его надо претворять в жизнь. Все было обдуманно во время томления в вятских тюремных застенках в 1874–1875 годах. Выйдя на свободу, Павленков внес незначительные изменения в расположение рисунков. Вместо прежнего заглавия поставил на рукописи новое: «Чтение и письмо по картинкам. Азбука для обучения и самообучения грамоте по наглядно-звуковому способу». И послал по адресам, как и задумал. Расчет оказался безошибочным. В каждой из цензур не нашлось препятствий к изданию. Книга была дозволена к печати. Выбросив предисловие, издатель тут же отправляет рукопись в типографию В. Д. Демакова. К началу 1876 года тридцатитысячный тираж той же самой павленковской азбуки был

готов и стал распространяться книжными магазинами.

Работа над «Наглядной азбукой» сильнее, чем он предполагал сам, привязала Павленкова к этой, одной из острейших проблем педагогических поисков той поры. Найти оптимальные пути для быстрейшего распространения грамоты в народе — здесь виделся ему тот волшебный ключик, который способен открыть широкую дверь для подлинно народного образования на безбрежных родных просторах. Возможно, поэтому неслучайно одну из переделок своей «Наглядной азбуки» Павленков так и называл — «Ключ к чтению и письму по картинкам» (Киев, 1876). Флорентий Федорович создает также такие учебные книги, выдержавшие по несколько изданий, как «Родная азбука» и «Азбука-копейка». Выпускал Павленков наглядно-звуковые прописи к «Родному Слову» К. Д. Ушинского (400 рисунков), к «Азбуке» Бунакова (460 рисунков), к «Первой учебной книжке» Паульсона (430 рисунков), к «Русской азбуке» Водовозова (470 рисунков), общие наглядно-звуковые прописи к другим азбукам. Несмотря на обилие рисунков, издатель выпускал эти пособия по весьма доступной цене — 8 копеек за книжку. Интересно, что в восьмом издании «Азбуки-копейки» в 1886 году Павленков в выходных данных помещал такое предостережение: «Провинциальные книгопродавцы должны продавать эту азбуку по 1 коп., а не дороже, потому что склад им делает уступку 25 процентов с рубля, так как берет с них 75 коп. за 100 книжек».

Рассылая бесплатно первые экземпляры учителям народных школ, Павленков, как уже говорилось, просил присылать отзывы на свой учебник. И они не заставили себя ждать. В 1880 году в типографии товарищества «Общественная польза» Флорентий Федорович издает их отдельной брошюрой под названием «Отзывы народных учителей о “Наглядно-звуковых прописях”». В том же году «Наглядная азбука» демонстрировалась и обсуждалась на Всероссийском учительском съезде. Его делегаты, работавшие с ней, положительно отзывались о новом способе обучения, подчеркивали несомненную результативность.

В последующие годы Флорентий Федорович продолжал совершенствовать свое детище и регулярно переиздавал его: до 1889 года без своего имени, а на десятом издании фамилия Павленкова уже появляется на титульном листе книги. Изменяется отношение к «Наглядной азбуке» и у чиновников Министерства народного просвещения. Они помещают ее в каталог книг, одобренных для начальных училищ. До 1900 года, до последнего своего жизненного часа, Флорентий Федорович издавал «Наглядную азбуку» почти ежегодно, а в 1909 году его

душеприказчики выпустили двадцать второе издание.

## НОВЫЕ КНИГИ, НОВЫЕ ПРИТЕСНЕНИЯ

Если перефразировать характеристику, данную полицмейстером Козиным времяпрепровождению Павленкова в Вятке, то можно сказать, что работал он поистине запоем. Одно дело чередовалось с другим, а Флорентию Федоровичу казалось, что загружен он пока не сполна. Выговорив право заниматься переводами, издатель тщательно отбирает книги зарубежных авторов. Он стремится, чтобы переведенное им издание служило пропаганде естественных наук, утверждало материалистическое миропонимание.

А. А. Красовский со своей типографией оказывал содействие Флорентию Федоровичу в выпуске переводных изданий. Благодаря этому были изданы отдельной брошюрой лекции А. А. Баркера «Соотношение жизненных и физических сил». Они были переведены из французского журнала «Monde», потому что там давалась материалистическая трактовка закона сохранения энергии, приоритет открытия которого принадлежит М. В. Ломоносову. Точно так же была выпущена брошюра с речью Д. Тиндаля, произнесенной в Лондонском королевском обществе — «Роль воображения в развитии естественных наук». Ее Павленков перевел из «Revue Scientifique» и «Monde».

Когда в руки Флорентия Федоровича попал труд крупнейшего итальянского астронома XIX века аббата Анджелло Секки «Единство физических сил», он понял, что книга может принести большую пользу в пропаганде естественнонаучных знаний. Она рассчитана на людей, занимающихся самообразованием, и представляла собой последнее слово естественнонаучной мысли. Если оставить все то, что пишет автор о развитии астрономии, освободив текст от его сугубо религиозных рассуждений, от философских взглядов, основанных на идеалистических представлениях, то может получиться очень полезная книга.

Павленков переводит книгу Секки, убирает из нее все то, что противоречило его атеистическим взглядам, — были выброшены все теологические упражнения аббата (характерно, что все места в тексте книги А. Секки, где тот обращался к Богу, в павленковском переводе помечены многоточием, а читатель в комментарии уведомлялся, чем

вызваны пропуски). Решает, что ее можно дополнить публичными лекциями А. Баркера и Д. Тиндаля, которые даются в приложении. Пишет свое предисловие к книге. В статье «От переводчика» Павленков не скрывает того факта, что издателя книги он нашел в лице содержателя местной типографии, книгопродавца господина Красовского, так как сам выпускать книги не может.

Во второй книжке журнала «Русский мир» за 1873 год помещалась такая информация: «Вятка. В “Петербургской газете” пишут из Вятки, что находящийся в этом городе под надзором полиции г. Павленков, издатель сочинений Писарева и переводчик физики Гано, окончил нынешним летом обширный ученый труд, который постепенно высылает в Петербург через губернское правление к друзьям г. Павленкова, предполагающим издать его работу».

Несомненно, что в данном случае Павленков специально пересылает эту работу по официальным каналам, чтобы властям было ясно, чем занимается их политический ссыльный: переводами сугубо ученых трудов! Не исключено, что публикация в печати об этом была организованной. Автор заметки в журнале ошибался только в цели пересылки рукописи перевода в Петербург. С помощью своих друзей Павленков хотел лишь получить на нее цензурное разрешение. И на цензуру перевод был отправлен в Казань, тоже, видимо, неслучайно. Вряд ли местным цензорам была известна книга в подлиннике. Получив разрешение, Павленков выпускает это солидное издание (504 страницы) в Вятке, в типографии А. А. Красовского. Книга была отпечатана тиражом 1550 экземпляров, который быстро разошелся.

Но против издателей единым фронтом выступили вскоре и церковники, и губернатор, и конкуренты. Имеются факты, что владелец другой вятской типографии И. Пасыков (возможно, что и не без подстрекательской роли полиции?) якобы из-за боязни конкуренции состряпал донос властям, требуя «обследовать действия Александра Красовского и воспрепятствовать ему содержание типографии и книжного магазина». Ибо как это так? Ведь лицам, состоящим под судом за политические преступления, согласно циркуляру министра внутренних дел от 5 октября 1865 года, воспрещалось открывать книжные магазины, типографии и библиотеки.

А брат Василий — это, мол, всего лишь шит для А. Красовского, чтобы, прикрываясь им, действовать вопреки распоряжениям правительства.

Губернатору только это и нужно было. Перед цензурой он ставит



вопрос: «Могут ли политические ссыльные быть допускаемы к занятиям в типографии?» Дело доходит до Сената, но оказалось, что простого «доноса» было явно недостаточно.

Однако павленковский перевод книги аббата Секки читает профессор Московской духовной академии Д. Ф. Голубинский. Он был знаком с данным трудом в оригинале. И что же обнаруживает ученый муж? Оказывается, переводчик допустил значительные пропуски в тексте. Да еще какие! Все высказывания Секки против учения Дарвина опущены. Переводчиком явно тенденциозно устранены из текста слова: «Бог», «Творец мира», «Создатель», «Божество» и т. п. Разве это не свидетельство того, что книгу, в которой единство физических сил трактуется автором в «полном согласии с признанием бытия Бога», переводчик стремится использовать для распространения вредных атеистических идей?

Нет, профессор духовной академии не намерен оставлять такой проступок безнаказанным! Свое возмущение он адресует в Вятку — епископу, архиереям, ректорам семинарии и, естественно, в полицию. Кроме того, в журнале «Православное обозрение» публикует статью «Книги Секки “Единство физических сил” и тенденция вятского издания ее на русском языке», которая полна нападок на издателя и переводчика книжки. Архиерей не замедлил согласиться с рецензентом и поставил вопрос перед Главным управлением по делам печати об изъятии данного перевода из обращения среди читающей публики. Однако там не смогли инкриминировать книге ничего предосудительного, поэтому не посчитали возможным удовлетворять просьбу о ее уничтожении.

История эта, само собой разумеется, стала достоянием общественности. Уже позднее В. Г. Короленко с пристрастием выпрашивал у Ф. Ф. Павленкова: осознанно ли им была осуществлена такая операция с книгой аббата? На что тот, усмехнувшись, дал, по свидетельству Короленко, недвусмысленный ответ.

«...Я помню, — рассказывал Владимир Галактионович, — одну лекцию в Историческом музее в Москве, где лектор, излагая учение известного астрофизика аббата Секки, привел параллельно места из его книги “Единство физических сил” и русского перевода этой книги, изданного Павленковым. В переводе оказались исключенными все места, где автор, замечательный ученый, но вместе иезуитский аббат, допускал непосредственное влияние Божества на основные свойства материи, как тяготение. Когда я передал об этой лекции Павленкову, он усмехнулся и сказал:

— Еще бы! Стану я распространять иезуитскую софистику».

А Н. А. Рубакин, коснувшись этого эпизода павленковской биографии, замечал не без иронии, что в данном случае издатель, которому довелось отдать немало сил в борьбе с цензорскими придирками, сам увлекся и выступил в роли... цензора.

Жизнь Павленкова в Вятке вошла в обычное для него русло. Весной 1873 года Флорентий Федорович живо следил за разыгравшейся тяжбой вокруг Вятской публичной библиотеки. Чиновничий попечительный комитет привел библиотеку в полный упадок, по всему ощущалась совершеннейшая его некомпетентность в книжном деле. Комитет хотел сдать библиотеку губернскому земству, но при условии сохранения своей власти над ней. Одновременно с этим шумные пересуды в Вятке вызвали хлопоты земства об освобождении от приглашенного самим же им чиновника по народному просвещению Рачинского, кому доверили быть первым директором основываемого земством сельскохозяйственного училища. Он зарекомендовал себя всем, чем угодно, только не пониманием дела, к которому был призван. Однако затруднения чинились властями земства в этом вопросе изрядные.

Нередко ловил себя на мысли Флорентий Федорович, что Вятская земля ему теперь вовсе не чужая, заботы ее обитателей волнуют его больше прежнего. В «Отечественных записках», других журналах теперь в первую очередь перечитывал все то, что публиковалось из Вятки. Так, в майском номере «Отечественных записок» за 1875 год он познакомился с потрясшими его данными об истреблении в Вятской губернии хищными зверями крупного и мелкого скота. Только это наносило огромный ущерб населению. Так, в 1873 году от волков и медведей погибло в губернии

7 тысяч 600 голов крупного и 34 тысячи мелкого скота, что по отношению к общему количеству скота составит 0,4 процента для крупного и 1,7 процента для мелкого. В другой раз с большим интересом прочитал в петербургском журнале заметку «Наши общественные дела», где рассказывалось об эпизоде осуждения петербургским судом бывшего вятского губернатора Компанейщикова (в 1867–1868 годах) за оскорбление мирового судьи и банковского чиновника. Его приговорили к тюремному заключению на два месяца с недель. Подумалось: по нынешнему губернатору тоже давно уже плачет веревка!

Но ведь не один губернатор и полицмейстер олицетворяют этот далекий край. Сколько здесь светлых, чистых, самобытных талантов! Когда на ярмарке разглядывал изделия мастеровых людей, восхищался тонкостью работы, чутьем красок, игрой воображения, пришло тогда на память, что более десяти лет назад, в бытность службы своей в Киеве, вычитал чуть ли

не в тех же «Отечественных записках» о замечательном самоучке-изобретателе, крестьянине Вятской губернии Андрее Хитрине, который в 1852 году изобрел сенокосную, жатвенную, землепахотную машины и сеялку. Его это так поразило, что в один из своих приездов в Санкт-Петербург специально отправился посмотреть эти модели на проходившей там сельскохозяйственной выставке.

Продолжению издательской деятельности Павленкова в Санкт-Петербурге способствовало то, что друг и сподвижник В. Д. Черкасов после службы в Черниговской губернии (куда он был вынужден отправиться по воле властей за участие в писаревских похоронах) возвратился в Петербург и вопреки всем преградам вел все павленковские дела. Важно было поддерживать связь с владельцами типографий, другими издателями, заботиться об аккуратной уплате по договорам, о рекламе.

Владимир Дмитриевич по роду своей службы должен был постоянно разъезжать по стране. Он не мог все время находиться в Санкт-Петербурге, что осложняло работу. Однако свои обязанности перед Павленковым Черкасов старался выполнять четко и, по возможности, своевременно. Сохранилось его письмо из Орла издателю «Русского календаря» А. С. Суворину. 3 октября 1874 года он обращался к коллеге-издателю по павленковским делам: «Не откажите в моей покорнейшей просьбе поместить прилагаемое при этом объявление в издаваемом Вами календаре впереди текста на одной странице. При этом я бы просил поместить заглавия “Новый курс физики” А. Гано и “Наглядная азбука” отдельно, как это сделано в Вашем календаре за 1874 год на 6-м месте от начала. Деньги за объявления и за 1 экз. календаря на 1875, который прошу Вас выслать мне в Орел, — не потрудитесь получить из книжного магазина Базунова по прилагаемой на обороте записке».

В воспоминаниях В. Г. Короленко рассказывается о том, как Павленков, несмотря на строжайший режим контроля за каждым его шагом в Вятке, все же сумел выбраться в столицу. Что потребовало столь рискованного предприятия?

Возможно, желание помочь Вере Ивановне? Или какие-то издательские работы? Это неизвестно. Но само по себе свидетельство В. Г. Короленко очень ценно для нас.

Павленков получил из столицы известие, которое призывало его в Петербург недели на две. Добиться отпуска из ссылки не было никакой надежды. Приходилось опять пускаться на хитрость.

В то время в Вятке существовал уже особый порядок надзора: ссыльные обязаны были являться ежедневно и расписываться в

полицейском управлении. С Павленковым все-таки поцеремонились: он сказался больным, и к нему послали полицейского на квартиру. Флорентий Федорович сумел добиться и еще одной уступки: полицейский не являлся к нему лично, а справлялся о нем у хозяйки. Павленков облегчил ему этот надзор: его квартира была во втором этаже, и окна ее выходили на улицу. Каждый вечер в определенные часы Павленков прогуливался по своей комнате и его тень размеренно мелькала на освещенных лампою шторах. С некоторых пор хозяйка, — кстати сказать, очень преданная своему неблагонадежному жильцу, — сообщала полицейскому, что Павленков нездоров, очень раздражителен и даже ей не позволяет без крайней надобности входить в его комнаты. Но все-таки в определенные часы силуэт поднадзорного появлялся на освещенных шторах к полному удовлетворению полицейского.

Так прошла неделя. Павленков был в Петербурге, а на шторах появлялся силуэт сына хозяйки, обвязанного, «ввиду болезни», шарфами. У полицейского появились все-таки подозрения. Он стал беспокоиться приставать к хозяйке и, наконец, потребовал, чтобы она допустила его к жильцу. Та отговаривалась под разными предлогами, а сама в это время послала в Петербург условную телеграмму. Полицейский еще дня три довольствовался созерцанием силуэта на окне, но его подозрение и беспокойство росли и принимали все более осязаемые формы. Он стал настоятельно требовать свидания. Положение обострилось. Наконец полицейский потерял терпение и, устранив после некоторого шума хозяйку, бросился наверх по лестнице, громко требуя, чтобы Павленков ему показался. Он был уже на верхних ступеньках, когда дверь вдруг открылась и на пороге показался... Павленков.

— Что вы тут дебоширите! Вон! Я пожалуюсь губернатору!

Ошеломленный полицейский чуть не кубарем скатился с лестницы. Только за полчаса перед тем в сумерки Павленков вернулся и незаметно пробрался в квартиру. Этот эпизод Павленков охотно рассказывал, и при этом воспоминании его живые глаза сверкали удовольствием...

Флорентий Федорович давно уже взял себе за правило: самым пристальным образом изучать все, даже малейшие изменения, в законодательстве о печати и цензуре. Не изменял этому Павленков и в Вятке. Из книжного магазина ему регулярно доставляли все материалы, связанные с изменением тех или других законодательных и нормативных актов.

Нельзя было не обратить внимания на ожесточение репрессивных мер против издателей. Так как по действующему закону о печати изымать из

обращения сочинения власти могли только по приговору суда, да и то при условии, если автором или издателем были нарушены те или иные законоположения, то случаи, подобные результату судебного разбирательства павленковского дела по второй части «Сочинений Д. И. Писарева» стали повторяться. Цензура возбуждала дела против «вредных» изданий, а суды выносили им оправдательные приговоры. Это не могло не беспокоить власти. И тогда 7 июня 1872 года появляется новый закон. У судебных палат такого рода дела изымались и передавались на рассмотрение Комитета министров. 16 июня 1873 года, например, впоследствии Высочайшее соизволение на испрошение Комитета министров внести соответствующий законопроект в Государственный совет отдельно от общего устава о цензуре и печати. Еще одно положение появилось 19 апреля 1874 года. Оно существенно ущемляло права и интересы издателей. Отныне освобожденные от предварительной цензуры книги издатель должен был печатать полным тиражом, после этого разбирался набор, а лишь затем книга посылалась в цензурный комитет. Таким путем министр внутренних дел сгубил не одну негодную книгу, даже без ведома Комитета министров.

С каждым годом пребывания Павленкова в Вятке его политическая, общественная и подпольная издательская активность росла. Несмотря на то что власти, почувствовав в его лице опасного для себя антагониста, принимали меры, направленные на подавление его воли, пресечение любой деятельности, у него появилась хоть и небольшая, но все же возможность общаться с некоторыми из местных радикально настроенных вятских обитателей. В первую очередь — это Селенкины и Красовский. А также студенты, приезжавшие на каникулы из столицы: Кувшинский, Трощинский, Аполлинарий Васнецов и другие. Они и помощь оказывали, и письма могли передавать, да и с новинками в литературном мире знакомили. Удалось наладить регулярную пересылку книг и журналов в Вятку от парижского книгопродавца Мелье. А недавно М. П. Надеин передал уникальное издание — рукопись «Процесс Павленкова». Сообщает, что ходит в списках по петербургским кружкам...

Набросился на нее, как жаждущий припадает к источнику. Прошло не так много лет с той поры, а какой далекой кажется она...

Братя, пусть любовь вас тесно  
Сдвинет в дружный, ратный строй,  
Пусть ведет вас злоба в честный  
И открытый бой...

Мы стоим, не слыша зова  
И, ликуя, зверски зол,  
Тризну мысли, тризну слова  
Правит произвол.

Уже эпитафия настраивает на характер последующего повествования. А вот оценка самого процесса...

«...Многие напряженно следили за процессом Павленкова, с нетерпением ожидали выхода второй части Писарева, задержанной этим процессом; наконец она появилась с напечатанным в ней удивительнейшим процессом; до выхода многие грустно спрашивали: “Чем кончится дикое издевательство над несчастным Павленковым? Неужели не победят свежие люди, рассыпанные по нашей длинной и широчайшей России?”»

Да, спасибо, неизвестный мне автор рукописи. Не скрою, приятно читать, что и ты, грешный, хоть кем-то причислен к лицу «свежих людей России». А вот о победе говорить, думается, рановато. Вот безымянный автор высказывается и о моей речи, дает ей оценку... Приятные слова, ничего не скажешь: «защитительная речь Павленкова растирает прокурора Тизенгаузена в грязи; речь жива, согрета душевным жаром, силою убеждения; она сверкает, как молниями, сарказмом, но, несмотря на всю горечь, соль, она нежна, как ответ г. прокурору». Автор обвиняет меня за слишком мягкие удары, а сам, пользуясь своим неподцензурным положением, принимается за полемику с прокурором...

Но час уже поздний. Завтра у Селенкиных стоит и почитать эту защитительно-обвинительную речь, если общество соберется приемлемое. Многие ведь так интересовались процессом... Мне же о себе говорить было бы не совсем с руки.

После того как детей укладывали спать, в доме Селенкиных все усаживались вокруг стола — Мария Егоровна, Александр Николаевич и немногочисленные гости. Пили чай, обменивались мнениями о прочитанном, о новостях в городе.

В этот вечер Флорентий Федорович сообщил, что намерен познакомить собравшихся с одной рукописью, изданной за границей, которая ходит по Петербургу... Правда, он не хотел бы ставить в неудобное положение присутствующих, так как в тексте статьи немало мест, режущих слух. Если это будет смущать кого-либо, он готов и не читать. Просто это совсем иной взгляд на то событие, прямым участником которого ему довелось быть еще совсем недавно.

— Прошу прощения, но это сугубо личное. Рукопись сия посвящена литературному процессу по второй части сочинений Д. И. Писарева. Автор упрекает меня за слишком нежное отношение к прокурору и предлагает во второй части своей статьи как бы свой вариант защитительной речи. Правда, неподцензурность этого безымянного автора позволяет ему высказываться так, как я, естественно, не мог говорить. Мою речь вы, друзья, уже читали.

Когда поздним вечером возвращались домой, А. А. Красовский сообщил о приезде в город на земскую службу врачом-ординатором в губернскую больницу В. О. Португалова. Радикальные взгляды этого известного земского деятеля в Самаре оказались, безусловно, той «неблагопристойностью», выражаясь языком прокурора Тизенгаузена на писаревском процессе, которая и обусловила его появление в губернском городке, давно уже пользующимся репутацией ссыльного места.

— Меня уже познакомили с Венямином Осиповичем. Если Вы не возражаете, то завтра как раз удобный случай представить Вас друг другу. Португалов наслышан, естественно, о Вас и с нетерпением ждет встречи, — сказал Красовский.

Вскоре знакомство состоялось. Они оказались на редкость родственными натурами. В лице приезжего Павленков встретил человека, так же, как и он, поставившего целью всей своей жизни словом и делом служить страждущему человечеству. В Самарской губернии В. О. Португалов немало сделал для организации земского больничного дела. Жизнь его текла там в окружении десятка горячих и честных голов — губернских гласных, точно так же, как и он, отдававших свои знания и силы освещению темных сторон самарского общественного бытия. Однако В. О. Португалов без особых колебаний оставил Самару и откликнулся на приглашение председателя вятской губернской земской управы Колотова приехать в ссыльный город Вятку. Почему? Да просто потому, что Колотое, энергичный и образованный земский деятель, предложил ему создать в Вятской губернии сеть больниц, приемных покоев и тем самым оздоровить в санитарном отношении вятское крестьянство. В таких глухих уголках население больше всего погибало в трупобах от заразных болезней без какой-либо медицинской помощи. Особенно в тяжелых условиях находились многочисленные инородцы, которых немало было на Вятской земле.

Уже в первую свою встречу и Португалов, и Павленков ощутили взаимную симпатию друг к другу. Оба они принадлежали к той немногочисленной когорте на Руси, которая готова не столько говорить о

деле, сколько действовать, не откладывая на завтра те проекты, в реализации которых убеждены. По совету Ф. Ф. Павленкова и Н. Н. Блинова Португалов предпринимает целый ряд поездок по обширной Вятской губернии, насчитывающей тринадцать уездов, осматривает земские больницы, школы, казенные и частные железоделательные заводы. По итогам этих поездок устраивает совещание в земской управе с врачами почти всех уездов, составляет доклады, читает их, хлопочет об осуществлении на деле своих предложений...

Среди радикальной общественности в Вятке плодотворная деятельность Португалова встречала сочувственный отклик, широко задуманная им просветительная работа побуждала к действию и других.

В 1872 году из Екатеринбурга был сослан в Вятку учитель гимназии Василий Иванович Обреимов, с которым также установились добрые отношения у Павленкова, ибо спустя годы он выпустит не одну книгу в издательстве Флорентия Федоровича.

Вокруг Павленкова, Португалова и других политических ссыльных в Вятке постепенно спланивается кружок из числа радикально настроенной молодежи. Было замечено, что к этому времени у Флорентия Федоровича происходит сближение с домом Фармаковских, ставшего местом сбора демократического студенчества. «Политические ссыльные зачумляют молодых людей своими вредными идеями, — доносил в 1874 году губернатор Чарыков министру внутренних дел, — делают их учителями и проповедниками своего зловредного учения между их товарищами и подругами».

Среди воспитанников духовных семинарий, гимназий, а особенно среди приезжающих на каникулы студентов, было немало таких, кто начинал серьезно размышлять обо всем, что окружало их в реальной действительности того времени. Не могла не привлечь их внимания к себе и эта особая категория жителей города — политические ссыльные. С ними встречались на улицах, в библиотеке. На лицах их не уловишь малейшего налета мученичества. ореол страдания — не для них. Они уважительны к людям, отзывчивы на горе и страдание других. И хоть общаться с ними и не рекомендуется, но... Разве можно все предусмотреть надсмотрщикам?

...Вот по берегу реки Вятки прогуливаются чета Селенкиных и с ними ссыльный поручик Павленков.

Невдалеке на нескольких лодках группа молодых людей. Они издали приветствуют Селенкиных и Павленкова. А из одной лодки неожиданно раздаётся:

— Мария Егоровна, Александр Николаевич, Флорентий Федорович, не



пожелаете ли вместе с нами совершить водную прогулку?

Это кузен Селенкиной, студент Н. М. Кувшинский, который и познакомил Павленкова уже в первые, самые трудные дни пребывания в Вятке с этой семьей, так много сделавшей для излечения его от тоски и одиночества.

Приглашение было с благодарностью принято, и вот уже три лодки дружно устремляются на середину реки.

Мария Егоровна читает свои стихи. Плеск волн, поскрипывание весел создавали особый аккомпанемент ее молодому приятному голосу.

Чуть лишь вечер,  
Уж катер качается  
На поверхности зыбкой воды;  
К нему шумной толпой приближаемся  
Молодые, веселые мы.  
Много нас: все здоровые, сильные —  
В сердце каждого вера горит,  
Что ни гнет, ни труды непосильные,  
Ни беда нашу мощь не сразит.  
Шумно, с оханьем, смехом, остротами  
Размещаемся в катере мы  
И отнюдь никакими заботами  
Не смущаются наши умы.  
Быстро вверх по реке поднимаемся,  
Громко песни свободы поем.  
Наша песня звучит, разливается,  
Хорошо нам, мы горя не ждем...

И когда Вениамин Осипович Португалов пригласил Флорентия Федоровича побеседовать с молодежью, рассказать юношам и девушкам о литературном процессе, тот согласился без особых колебаний. Ему тут же вспомнилась речная прогулка, горящие глаза жадных ко всему новому юных спутников...

— О себе говорить как-то не совсем ловко, — заметил он Вениамину Осиповичу. — Вот разве что прочитаю им выпущенную за рубежом рукопись «Процесс Павленкова»?

Португалов, ознакомившись с рукописью, не только одобрил намерение Флорентия Федоровича, но предложил поступить несколько

иначе.

— Зачем Вам читать о себе? Вроде хотите вызвать лестный отзыв в свой адрес... А что, если мы вдвоем поговорим об этом процессе с юными друзьями. Я прочитаю им рукопись, а Вы затем ответите на вопросы молодых друзей.

Так и решили. Флорентий Федорович вначале чувствовал себя несколько стесненно на этом собрании. Молодые люди жадно ловили каждое слово, которое читал В. О. Португалов...

Когда в 1874 году правитель вятской губернской канцелярии в донесении для прокурора отмечал, что «у Павленкова часто собираются молодые люди, на которых он имеет большое влияние», то это было в значительной степени правдой. Также достоверной информацией было в донесении и то, что среди близких Павленкову лиц преимущественное место занимают ссыльные и подвергшиеся судебным преследованиям по различным делам политического свойства; что через Павленкова выписываются в Вятскую губернию книги, имеющие противоположительственное направление.

Лучшая, политически самая зрелая часть учащейся молодежи Вятки начинает тянуться к Павленкову и его кружку. И неудивительно, ибо там они получали прилив свежей мысли, подлинного знания, в кружке обсуждались проблемы, волновавшие умы юношества. В Вятке в то время действовало уже пять учебных заведений — мужская гимназия, духовная семинария, сельскохозяйственное училище, женская гимназия и епархиальное училище. Обучавшийся в вятской гимназии в 70-х годах Чемоданов (впоследствии врач) неоднократно рассказывал, что он вместе со своими товарищами посещал беседы у Павленкова.

Краеведы Вятской земли высказывали предположение, что и братья Циолковские в свои гимназические годы общались с В. О. Португаловым и Ф. Ф. Павленковым. Интересно, что в автобиографии юный Циолковский восторженно отзывался о том влиянии, которое оказывали на него тогда писаревские идеи: «Известный публицист Писарев заставляет меня дрожать от радости и счастья. В нем я видел тогда второе “я”... Это один из самых уважаемых мною учителей». Несомненно, что именно от Флорентия Федоровича смог будущий ученый получить томики собрания писаревских сочинений.

Власти не только констатировали факт сближения политических ссыльных с молодежью, но и стремились предпринять меры противодействующего характера. Поскольку политическим ссыльным воспрещались какие-либо занятия в присутственных местах, вятский

губернатор Чарыков 11 ноября 1874 года по этому поводу направил в Министерство внутренних дел особое донесение, в котором указывал, что данная мера обрекает ссыльных на праздный образ жизни, создает им условия для продолжения занятий революционной пропагандой. «Не будучи обязаны на месте ссылки никаким трудом, который бы занимал их постоянно и давал им средства к жизни, а, напротив, еще получая от казны содержание, — доносил губернатор, — они (политические ссыльные) живут в совершенной праздности на свободе на своих квартирах и нередко продолжают прежние свои вредные занятия...» И добавлял: «Один лишь ссыльный при полной свободе и праздности может сделать многих молодых людей несчастными и через то внести в их семейства огорчения и страдания».

Губернатору и жандармским властям давно уже не по вкусу приходилась энергия нового врача-ординатора Португалова, Павленкова, Колотова и др.

Местная администрация усиливает поиск следов «преступной пропаганды». Вятская жандармерия и товарищ прокурора окружного суда решают провести серию обысков. В числе тех, кто первым «удостоился» такой чести, само собой разумеется, был и Ф. Ф. Павленков. У него, председателя Вятской губернской земской управы Колотова и В. О. Португалова обыски состоялись одновременно. Во время обысков было перерыто буквально все — и на письменных столах, и в библиотеках. Однако каких-либо материалов, которые их компрометировали бы, изъять не удалось. И все же и Колотое, и Португалов были отправлены в Казань и там заключены в тюрьму. Поводом для пресечения общественной деятельности В. О. Португалова, в частности, послужило то, что появилась возможность придраться к какому-то письму на его имя от одного знакомого.

Недолго оставался на свободе и Ф. Ф. Павленков. Скорее всего, обозленные отсутствием результатов после первого обыска местные власти усилили наблюдение, а спустя некоторое время нагрянули с повторным обыском. Произошло это 19 сентября 1874 года. На этот раз было изъято около семидесяти писем, что для ареста оказалось достаточно. Павленкова тут же отправили в местную тюрьму, где и продержали около года.

Как выяснилось позднее, обыск в доме, где жил Ф. Ф. Павленков, его арест были произведены в связи с так называемым «Процессом 193-х». Вятским жандармам и прокурору очень хотелось, чтобы этот несговорчивый ссыльный попал под новый политический процесс. Но достаточных улик против ссыльного издателя они собрать так и не смогли.

Из вятской тюрьмы Флорентий Федорович сообщал мужу М. Е. Селенкиной: «Здесь строже, чем в Петропавловской крепости. Мелюзга играет в политику».

В период своего тюремного заключения Павленков не давал покоя чинам жандармерии. Вот почему вятский прокурор писал прокурору Казанской судебной палаты письмо следующего содержания: «Павленков необыкновенно желчный человек, и все показания его испещрены бранью и злой иронией в отношении лиц, производящих у него перед арестованием обыск и допрашивающих его».

М. Е. Селенкина, которую также арестовали в то же самое время по обвинению якобы в причастности к московскому процессу Долгушина (хотя до того времени она не имела о нем ни малейшего понятия) и поместили в тюремную одиночку, подтверждала эту информацию вятского прокурора. «В тюрьме, — писала она, — Флорентий Федорович сидел беспокойно. Он постоянно огорчал и тревожил всех, начиная с прокурора и смотрителя и кончая последним надзирателем. То и дело шли от него жалобы или просьбы».

Конечно, было от чего огорчаться Флорентию Федоровичу. Уже который раз ни за что ни про что он изолируется от общества. Ни суда, ни следствия, ни доказательств вины — ничего этого не требуется властным башибузукам. Человек для них ничто! А если он еще пытается заявлять о своих правах, такого лучше сразу подвести под графу — политически неблагонадежный. Вот тогда — делай с ним, что хочешь. Он ведь всегда виноват! Поэтому, когда Павленкову показали написанные в одиночной камере тюрьмы стихи Марии Егоровны, он только усмехнулся, читая их. Ох уж эти женские восторги, патетика!

Одинокая жизнь самых лучших людей  
Подавляет тоской, притупляет;  
А я песни пою в каземате... Меня  
Философская жилка спасает.  
Да юмор, да живучесть натуры моей.  
Да выносливый нрав, и я знаю,  
Что потом я свое, как уйду из тюрьмы,  
У судьбы в десять раз наверстаю.

Нет, все не так звонят колокола.  
Как нужно мне, как жду уже давно я.  
И в храме Божиим служителем алтаря  
Опять не манифест прочтет у аналая.

Когда же, наконец?.. Да уж раздастся ль он, Торжественный, глухой, заупокойный звон?

Нет, не о песнях и не заупокойном звоне размышлял в вятской тюрьме Флорентий Федорович.

За время ссылки он освоился с местными нравами и обычаями, уяснил, что губернское административное чиновничество в сплошных пороках, и, как он сам рассказывал друзьям, опять почувствовал в себе дух обличения. Так он пришел к своей «Вятской незабудке». Но прежде нужно рассказать о новых испытаниях, которые выпали на его долю...

Пребывание в тюрьме в течение целого года не только расшатало еще больше нервную систему Павленкова, но и пагубно сказалось на зрении. Он даже вынужден был обращаться к губернатору с просьбой разрешить отправиться в Казань, чтобы проконсультироваться с врачом-окулистом. Но ему в этом было отказано: боялись, чтобы эта поездка не была использована для «нежелательных» целей.

Губернатор и его приближенные хотя и не могли уличить Павленкова в конкретных нарушениях ссылочного режима, однако догадывались о его активной нелегальной работе. В донесении министру внутренних дел, составленном на основе материалов, которые были получены в результате «негласного наблюдения», вятский губернатор такими словами характеризовал итоги пятилетнего пребывания в губернии петербургского издателя: «Павленков, несмотря на пятилетнюю ссылку, не только не изменился к лучшему, но еще более озлобился против правительства, так что уже не старается скрывать своих убеждений и высказывает их явно в присылаемых начальнику на просмотр незапечатанных письмах к своим знакомым, в которых весьма нередко порицает действия правительства и глумится над ними. Между тем в течение пятилетнего пребывания своего в Вятке он исподволь, незаметным образом успел подчинить своему влиянию

некоторых земских деятелей...» Считая такое влияние Павленкова «пагубным», «разлагающим», губернатор предлагал меру, с которой не согласились даже в Петербурге: через каждые две недели ссыльного переводить из одного уезда в другой, чтобы он не успевал нигде сблизиться с местной радикально настроенной общественностью. Поскольку такое предложение было отвергнуто, вятский вице-губернатор Домелунксен специально хлопочет у министра внутренних дел Тимашева разрешения на высылку Павленкова из Вятки в глухой, захолустный уездный город Яранск.

Жаль было расставаться Павленкову с Вяткой, нарушать установившийся образ жизни и работы. Однако и в Яранске Флорентий Федорович не только не прекращает своих занятий, но, наоборот, удваивает свою энергию и активность.

Утешением в Яранске была все та же работа. Он завершал подготовку «Практического курса итальянского языка» по методу Оллендорфа. К сожалению, по утверждению В. Д. Черкасова, этот труд Павленкова был утрачен. Флорентий Федорович передал его В. Д. Черкасову, а тот в свою очередь сдал на хранение в книжный магазин Покровского, где тот исчез.

Началом еще одного знаменитого павленковского издания, заниматься которым он будет на протяжении нескольких десятилетий, а сигнальный экземпляр которого увидит незадолго до своей кончины, так же был период его тягостного томления в яранской ссылке. Речь идет об «Энциклопедическом словаре», который задумал Павленков. В то время он именовался иллюстрированным словоупотребителем. Словари иностранных слов, которые тогда выпускались, в частности словари Михельсона, Бурдона, Гейзе, по мнению Павленкова, не удовлетворяли запросы публики. Во-первых, они были чрезмерно перегружены специальными терминами, которые нужны исключительно узким специалистам. Во-вторых, существенным недостатком таких словарей являлось то, что на их страницах игнорировалась необходимость для читателя зрительного восприятия предметов или явлений. Поэтому Павленков считал, что если у читателя не сложилось представления о предмете, он ему неизвестен, то лучше всего дать возможность наглядно увидеть его на рисунке или фотографическом изображении. Также он особо заботился о невысокой цене книги, чтобы она была доступна максимально большему числу читающей публики. Из-за отсутствия средств Павленков не смог сразу реализовать эту идею. Представим только, что ему нужно было изготовить для книги свыше двух тысяч клише, что, естественно, выливалось в копеечку. К тому же и сам состав словаря нуждался не только в подготовке,

но и в квалифицированном рецензировании, консультировании: всего этого обеспечить из Яранска Павленков, конечно, при всем желании не смог бы. Но работа велась им поистине титаническая. Достаточно сказать, что за время, которое он находился в Яранске, им было подготовлено около десяти печатных листов своего словотолкователя.

Нет, не терял Флорентий Федорович времени даром в Яранске! С местными земскими деятелями и учителями он вновь начинает организовывать школы с переездными учителями по «Наглядной азбуке». Это не останется незамеченным властями, и губернатор в ноябре 1876 года возвращает его вновь в Вятку, где, по его словам, было больше возможностей для усиления контроля за нелегальной деятельностью ссыльного издателя.

Справедливости ради надо сказать, что, находясь в Яранске, Флорентий Федорович не упускал из виду своих издательских интересов и в Петербурге. Как свидетельствует М. Е. Селенкина, ее муж и по телеграфу и путем частной переписки выполнил немало конкретных поручений Павленкова. «Александр Николаевич, — писала Селенкина, — постоянно должен был сноситься за него то с Надеиным, то с типографией, иной раз по телеграфу, о чем Павленков каким-то образом всегда находил возможность ему сообщить».

Поскольку жизнь Павленкова в Яранске находилась под непрерывным полицейским надзором, то утаить свои связи, свою деятельность ему полностью, конечно, не удавалось. «Проживая в Яранске, — доносил губернатор министру внутренних дел, — Павленков сблизился с членами местной земской управы и начал принимать деятельное участие в осуществлении мысли об издании земского сборника, а также по введению в Яранском уезде подвижных школ, несмотря на запрещение таковых постановлением Комитета Министров. Находя вообще участие Павленкова в делах земства крайне вредным, я вынужден был перевести его в ноябре минувшего (1876) года в Вятку, где под моим личным наблюдением надзор за ним мог бы быть более бдительным».

Не тут-то было, господин губернатор! Павленкову удалось утаить от стражей порядка подготовку «Вятской незабудки».

## МЕСТЬ ГУБЕРНСКОМУ НАЧАЛЬСТВУ

Полночь. Тюрьма затихла. А заключенный Флорентий Федорович никак не может уснуть. Исполнилось пять лет, как был заброшен он в эту вятскую даль. Оторванный от друзей, от желанного дела. Конечно, и здесь встречаются деятельные натуры. Вот хотя бы Красовский. Не говоря уже о подвижнике Николае Николаевиче Блинове. Приехал Португалов. Да, жаль, что тут же власти прервали его подвижнический труд. Многое можно было бы сделать полезного. С каким задором встретил он, в частности, его рискованную затею! Что, если выпустить в обход губернского начальства сборник статей — резких, обличительного характера, которые нет-нет да и появляются в столичной печати и хоть изредка, но рассказывают правду о вятских делах, о язвах, раздирающих общественный организм этого удивительного края? В отдельности каждая такая статья не может показать общей картины. А вот если их собрать воедино, в одной книге, то можно показать жизнь во всех ее проявлениях.

Целая губерния не имеет своей свободной газеты. «Вятские губернские ведомости» — не в счет. Сия газета печатает то, что ласкает слух губернатора. «Вятские епархиальные ведомости» — орган епископа Аполлоса.

Павленков, пользуясь влиянием у вятских земцев, настойчиво подвигал их к налаживанию собственной издательской деятельности. Так возникла идея выпуска «Вестника Вятского земства», составленного из материалов, в которых обличались бы злоупотребления местных властей. Когда подготовленный сборник представили на утверждение губернатору, тот обратился к министру внутренних дел с просьбой оценить его в петербургской или московской цензуре, ибо в губернии нет «лица, настолько развитого, как Павленков». Московские цензоры и запретили «Вестник». Неудача не остановила Павленкова. А что, если попробовать регулярно выпускать сборник таких статей по Вятке и губернии? Вначале — один в год, затем — несколько, а там, гляди, и ежемесячно можно будет наладить издание. Назвать бы книжицу сию позаковыристее, так, чтобы и не очень тенденциозность ее выпирала и чтобы в памяти засела. Издавали, кажется, «Незабудки». Вот именно — это то, что и требуется: «Незабудка Вятского края» или лучше: «Вятская незабудка».

Возможно, что на выбор названия повлияло и другое. Незабудка, по



Владимиру Далю, это — подарочек на память. А что касается памятной книжки, то нетрудно уловить в павленковском замысле и едкую сатиру на губернаторскую блажь — требовать от местных чиновников заводить подобные книжки и заносить туда всевозможные сплетни и слухи из жизни вятской светской знати.

Так или иначе, но как только 25 августа 1875 года перед Флорентием Федоровичем отворились тюремные засовы, он тут же, не задумываясь о последствиях, принялся за реализацию своего замысла. Это стало своего рода душевной потребностью. Нет, то не было простой жаждой мести губернаторским властям за доставленные ему лично многолетние человеческие страдания. Павленкова увлекала идея общественная. «Незабудка» может всколыхнуть многих в крае, пробудить к деятельной работе, показать им, что они не одиноки, что мириться со злом нельзя, надо бороться.

Неожиданно встретил поддержку своей идее на страницах журнала «Дело». Там в девятой и десятой книжках за 1875 год его внимание привлекла к себе статья писателя Мордовцева «Провинциальная печать». Полемическая направленность статьи пришлась по духу Павленкову. Он сам уже задумывался не раз над тем тягостным и унылым состоянием, в котором находились местная печать и корреспондентское движение в Вятской губернии. На «Вятские губернские ведомости» губернатор наложил собственную цензуру, там могло печататься лишь то, что ему заблагорассудится. В столичных газетах из целых уездов годами не появлялось ни единой заметки, ни маленькой информации. Почему? Разве нет интеллигентных, деятельных людей в отдаленных уголках этого северного края? Они, безусловно, есть, но они практически не сотрудничают с газетами. Из губернии, где установлен жесточайший режим контроля за каждым письменным посланием в столицу, не так-то легко было выбраться письму, если в нем, не дай бог, прозвучит хоть что-то критическое. Письма просто бесследно исчезали, «терялись». Конечно, было бы здорово наладить выпуск доступной и дешевой газеты, в которой бы писалось о всех горестях и радостях, волнующих вятичей. Можно ее назвать, например, «Копейка». Но об этом и мечтать не приходится. А вот попробовать выпустить сборник статей и корреспонденций, поступивших в петербургские, московские, казанские газеты из Вятской губернии, все же надо.

Пока все эти заметки и статьи разбросаны по газетным и журнальным номерам. И Павленков решает, что уже сейчас можно начинать подборку этих материалов. Для этого надо переговорить со студентами,

приезжающими на каникулы, а кое-что можно было бы и заказать специально.

До губернатора и полицейских стражей доходили, конечно, сведения о закулисной работе, которая велась Павленковым. Однако поймать с поличным его не удалось. Еще в 1875 году вятский губернатор доносил в Министерство внутренних дел о том, что Павленков не подчиняется правилам о предоставлении корреспонденции для просмотра и пересылает письма через частных лиц.

Было бы странным, если бы все обстояло наоборот. Тогда нельзя было бы объяснить, как удалось политическому ссыльному собрать все то критическое, что публиковалось на страницах газет из Вятского края. Ведь все это тоже чаще всего писалось политическими ссыльными и, конечно, в обход правил надзора за их перепиской пересылалось, передавалось. Иначе — оно вообще не увидело бы свет. И, естественно, не появилось бы ни одного издания «Вятской незабудки», ибо губернские власти не допустили бы такого гласного обсуждения собственных пороков. Да и с самим Павленковым они нашли бы возможность расправиться, узнай о таком его начинании.

Издавать сборник нужно было только в Санкт-Петербурге — это во многом обезопасит его от местного надзора.

И уже к концу 1876 года первый сборник был сформирован. В него вошли 52 статьи и корреспонденции. В марте следующего года в Петербурге, в типографии Этингера (он же считался и официальным издателем), были отпечатаны все 800 экземпляров. Книга вышла солидной — 384 страницы. А заглавие у нее такое даже веселое: «Вятская незабудка — памятная книжка Вятской губернии на 1877 г., неофициальное издание».

В «Вятской незабудке» были собраны корреспонденции, написанные в разное время и разными людьми. «Каждая из этих корреспонденций, взятая отдельно, — вспоминал современник тех событий, — сама по себе ничего, конечно, ужасного не представляла, но, собранные вместе, они уже давали красочную картину темных сторон местного управления». Он же свидетельствовал, что это издание очень широко распространялось среди местного населения и вызвало немало волнений в административных кругах. Все восемьсот экземпляров в течение двух месяцев негласно были распространены, хотя стоимость каждой книги составляла один рубль.

В одном из писем Г. И. Успенского писателю А. И. Эртелю «Вятская незабудка» рекомендовалась как блестящий пример для подражания, как образец, которому нужно следовать. «Если Вы помните маленькую книжечку “Вятская незабудка”, — то есть хроника местной жизни и ее

успех, — так вот что... нужно делать».

Запрет Александра II на издание книг, понятно, побуждал политического ссыльного быть предельно осторожным. Флорентий Федорович продумал все до мелочей. Только самые близкие друзья принимали участие в распространении «Незабудки». Тайком от полиции, через частных лиц, сочувствующих этому предприятию, велась продажа всего тиража. И нужно сказать, что долго никто и не знал издателей «Незабудки», а властям не удавалось конфисковать даже малой части имеющихся экземпляров.

Но, к сожалению, привлеченный к этой операции Н. Н. Блиновым секретарь Нолинского съезда мировых судей Николай Соломин допустил непростительную ошибку.

7 апреля 1877 года он в письме на имя кого-то из своих малмыжских друзей, очевидно, секретаря земской управы, сообщал, что вскоре тот получит несколько экземпляров «Вятской незабудки», которая распространяется по цене 75 копеек. Соломин просил полученные деньги, а также нереализованные экземпляры вернуть ему. И затем добавлял совершенно излишние сведения: «Издатели этой книжки пожелали остаться неизвестными, опасаясь, конечно, преследований за свое издание. Настоящее положение их и без того очень плохо, так что Вы, вероятно, не выдадите Павленкова и Блинова, если Вас спросят об издателях. Один из них, Блинов, просил указать в Малмыже чей-нибудь адрес, по которому надежно было бы высылать “Вятскую незабудку” для распространения. Книги эти отпечатаны всего в 600 (в письме ошибка: в 800. — В. Д.) экземплярах и, вероятно, скоро будут редкостью. Вы видите, что цель издания вовсе не спекулянтская. По своему характеру это вопль наболевшей груди».

Малмыжский исправник Есипов, в руки которого попали эти неосторожные откровения Соломина, согласно инструкции снял копию с письма, заверил ее и тотчас же отправил губернатору в Вятку. Так тайное стало явным.

В губернии вокруг «Вятской незабудки» развернулось бурное общественное движение: прогрессивно настроенные деятели города и губернии прилагали все усилия, чтобы получить экземпляр этого издания, живо обсуждали впервые с такой нескрываемой правдивостью описанные мерзостные картины реальной действительности, а «герои» сборника, кому досталось в нем поделом, искали пути к расправе над создателями этой «крамольной», как они считали, книги.

Ее же настоящий вдохновитель и творец не только не дрогнул перед

грозящей опасностью, но с удвоенной энергией продолжал трудиться над тем, чтобы закрепить успех. Так как тираж первого издания быстро разошелся, то уже к июлю 1877 года он обеспечивает выход второго издания «Вятской незабудки» куда большим тиражом — 1050 экземпляров. Часть статей, опубликованных в первом издании, была опущена, зато появилось немало новых. И сила сатирического разоблачения губернских чиновников, а также земских деятелей в этом издании намного мощнее.

Но тут не на шутку заволновались те, кого задела критика. На издателя грозились подать в суд. Начальник вятских жандармов намеревался возбудить судебное преследование против Павленкова, который-де нарушил «Высочайшее повеление», запрещавшее ему издательскую деятельность. А председатель суда Стельмахович осуществил эту угрозу и действительно подавал заявление в суд. Губернатор, со своей стороны, в качестве мести Павленкову, намеревался осуществить свое прежнее намерение и пересылать его из одного города в другой на срок две недели, не более. И уже готовил его высылку в Нолинск, да вот незадача — в декабре 1877 года, благодаря настойчивым хлопотам друзей, Флорентий Федорович получил освобождение и переселился вместо уездного места назначения... в Петербург.

Еще оставаясь в Вятке, Флорентий Федорович обдумывал пути, каким образом можно способствовать тому, чтобы подобные начинания развивались и в других провинциальных центрах. В условиях, когда отсутствует свободная печать даже в губернских городах, выпуск «незабудок» мог бы, по его убеждению, сослужить добрую службу прогрессу, мог бы пробуждать к активной общественной деятельности тех, кто нынче тайком возмущается произволом и несправедливостью, но бездействует, не видит реальных каналов для приложения своих сил и таланта.

В составлении «Вятской незабудки» наряду с политическими ссыльными принимали участие и многие представители радикально настроенной местной общественности. Они свидетельствуют, что Флорентий Федорович был настроен решительно, стремился к тому, чтобы вятский опыт распространялся и в других губерниях — в Нижнем Новгороде, Самаре, Перми. Им вынашивалась мечта «охватить» «незабудками» восемь — десять губерний. И работа по претворению такого плана в реальность велась тогда и им самим, и его помощниками. Сохранилось, в частности, письмо ближайшего сподвижника Ф. Ф. Павленкова Митрофана Петровича Надеина в Пермь к Р. Н. Руме от 23 мая 1877 года: «Сообщите, что “Пермская незабудка”? Орудуйте. Теперь я здесь

помогу быстро двинуть дело». Правда, из-за цензурных гонений это готовившееся издание не увидело свет.

Павленков отправлял письма в Нижний Новгород публицисту А. С. Гацисскому, с которым наладилась переписка. Не терпящий никаких проволочек при организации дела, которым увлекался, Ф. Ф. Павленков не ограничивался одним письменным обращением к нижегородскому адресату. Он просит Н. Н. Блинова отправиться с ответственной миссией в Нижний Новгород. Предстояло убедить А. С. Гацисского заняться подготовкой местных «незабудок» и других изданий нелегальной литературы в провинциальных центрах. «Я просил Н. Н. Блинова переговорить с Вами при проезде через Нижний о “Вятской незабудке” и наглядно-звуковых азбуках... — пишет Флорентий Федорович Гацисскому. — Моя просьба заключалась не в определении мнений передовых людей провинции о вятском опыте, а в возбуждении их воли. От того, как посмотрят на “Незабудку” в той или другой губернии, в том или другом интеллигентном кружке, положение дела несколько не изменится; но от того, что они сделают при этом, будет зависеть весьма и весьма многое».

Он обращается к Гацисскому как к «заслуженному представителю провинциализма», старается увлечь его своей идеей, которой придает большое значение. «Весьма многие имели достаточные основания считать “Вятскую незабудку” явлением случайным, — читаем в другом павленковском письме. — Мы сами склонны были допускать, что беспрепятственный выход этой книжки обязан оплошности цензора, так как нами были приняты меры к тому, чтобы, с одной стороны, ввести его в заблуждение (несомненно, Павленков в данном случае подразумевает изменение подлинного лица издателя. — В. Д.), а с другой — заставить его вместо настоящего чтения ограничиться самым беглым и поверхностным просмотром. При таком шатком и неопределенном положении дела нельзя было рассчитывать на сколько-нибудь дружную поддержку со стороны других губерний, по крайней мере, на поддержку немедленную, безотлагательную. Где можно опасаться, — там немислимы точные арифметические расчеты».

«Но в настоящую минуту положение дел значительно изменилось: на днях, как нам известно, появилось второе издание “Незабудки”, — пишет он далее, — и также беспрепятственно, как и первое, несмотря на вавилонское столпотворение, произведенное этой маленькой книжкой в среде вятского общества и местных властей. Мне положительно известно, что Троицкий (вятский губернатор. — В. Д.) по поводу первого издания “Незабудки” входил в переписку с министром внутренних дел и лез из

кожи, доказывая, что, мол, подобные книжки подрывают авторитет местных властей, что в данном случае инициатива исходит от политических ссыльных, отрицающих основы современного порядка и т. д., и т. д. Несмотря на всю эту массу охранительной лжи, Петербург не тронул пальцем второго издания и пустил его свободно гулять по белому свету. Отсюда прямо следует, что центральная администрация в принципе признает пользу таких сборников или, по крайней мере, ничего сама против них не имеет. А коль скоро это так, то половина дела сделана, провинции без всяких опасений могут приступать к изданию своих обличительных ежегодников или выметанию сора из своих заваленных сором изб».

«Вы пишете о многом, но всего более о газете, — говорит Флорентий Федорович в одном из последующих писем в ответ на соображение о газете, замышлявшейся тогда Гацисским и его друзьями в Поволжье. — Ах, и у нас стали думать о том же, но конечно, соответственно господствующему духу наций местной “интеллигенции”... Да, горько даже передавать, что газета задумывалась для борьбы с “Вятской незабудкой”, этой дерзкой нарушительницей мирного сна под небесами всевозможных властей, в том числе и земской — самоуправной».

И Флорентий Федорович настойчиво добивается от Гацисского сведений о том, что им сделано для пропаганды мысли о повсеместном налаживании выпуска «Незабудок», дает практические советы, как параллельно с организацией областной газеты можно было бы выпускать подобные обличительные сборники.

В своей борьбе за право заниматься любимым издательским делом Павленков использовал любые возможности. Одним из каналов, позволяющим обойти цензуру в тот период, как выяснилось, был тот, что такое право не являлось исключительно прерогативой одного цензурного комитета.

Церковь также располагала своей, духовной цензурой. Почему бы не использовать и такую возможность? И в последний год своей вятской ссылки Флорентий Федорович готовит книгу под несколько, казалось бы, выпадающим из общего ряда его изданий заглавием: «Страдания Великого Учителя Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа». Книга предназначалась для семейного чтения. В качестве составителя значится Боример Николаевич. Книга отпечатана в Санкт-Петербурге довольно-таки большим тиражом — восемь тысяч экземпляров. Она невелика по объему — всего тридцать две страницы, да и стоит «по-божески» — двадцать копеек. 28 марта 1878 года на ее издание было дано дозволение духовной цензуры.

Однако по-другому прочитала «Страдания Великого Учителя...» светская цензура! Ибо уже 28 апреля 1878 года министр внутренних дел А. Е. Тимашев в конфиденциальном отношении к обер-прокурору Синода графу Д. А. Толстому делился своими впечатлениями. Он указывал, в частности, на то, что автор излагает учение христианства «с крайней односторонностью, направленной к оправданию преступных действий известной категории личностей, пропагандирующих изменение существующего общественного строя». Граф принимается за чтение и уже через пару дней, 1 мая, пишет ответ: «Рассмотрев названную брошюру, я... нашел, что она, будучи проникнута духом рационализма, вместе с тем направлена к пропаганде социалистического учения; это направление, едва уловимое в большей части содержания брошюры, с особенною ясностью и резкостью высказывается в нескольких местах ее (таковы места на стр. 9, 10, 29, 30, 31–32)». Руководитель Синода согласен: «Распространение ее в обществе нельзя не признать вредным».

Другими словами, церковь кается в том, что ее стражи то ли по неведению, то ли по нерадению допустили промах. Нетрудно представить и те суровые кары, которые пришлось понести конкретным виновникам из духовной цензуры за содеянное «прегрешение». Но больше заинтересуемся другим. В ответе обер-прокурора Синода отмечается высочайшее мастерство автора (добавим: издателя Павленкова!), которому удалось передать свои прогрессивные взгляды с такой степенью искусности, что они были едва уловимы в большей части брошюры, хотя рассыпаны по ней, как видно, были весьма обильно.

Далее война с этим изданием велась уже единым фронтом. 13 мая 1878 года Главным управлением по делам печати был подготовлен циркуляр для начальников губерний. В нем сообщалось, что «министр внутренних дел по согласованию с обер-прокурором святого Синода и главным начальником III отделения собственной его Императорского Величества канцелярии признал необходимым на основании 178 ст. устава цензуры запретить обращение напечатанной с разрешения духовной цензуры брошюры «Страдания Великого Учителя...». Синод разродился секретным указом духовно-цензурному комитету, предписав ему ни в коем случае не допускать второго издания этой брошюры, которая оценивалась как вредная по содержанию. Имеются сведения и о том, как была уничтожена часть тиража этой опальной павленковской книжечки: 27 мая 1878 года в Москве 171 экземпляр был сожжен, в Петербурге 25 мая 1878 года со 143 экземплярами расправились на картонной фабрике Крылова «посредством обращения в массу». Правда, улов был не такой и большой, если учесть,

что восьмитысячный тираж ее уже разошелся.

«Готовлю к Рождеству, кроме второго тома “Незабудки”, — сообщал Павленков в Нижний Новгород писателю А. С. Гацисскому, — еще местный карикатурный альбом “На елку!”\*».

Письмо это отправлялось в те дни, когда Флорентию Федоровичу еще ничего не было известно о его скором освобождении из ссылки. Гроза, готовая разразиться над его головой в связи с «Вятской незабудкой», казалось, вовсе его не пугала. Он принимается за реализацию еще более серьезной, еще более тенденциозной идеи. Уславливается с владельцем московского книжного магазина «Русская грамота» о подготовке серии рисунков, которые должны были представить целую коллекцию современных общественных деятелей. По его эскизам, по собранным фотографиям московские художники исполнили сатирические рисунки. Однако судьба альбома «На елку!» оказалась трагичной. Издание не было разрешено цензурой. По этой причине Павленков понес значительные финансовые потери.

Свои последние дни пребывания в ссылке Флорентий Федорович в значительной степени посвящал работе над выпуском «Вятской незабудки» на 1878 год. Или он уже чувствовал близость свободы, или столкновение с общественными пороками и язвами переполнило чашу терпения, но Павленков не стеснялся в выражениях и бичевал со всей силой и страстью тех, кто попирает закон, у кого вошло в привычку воровать, брать взятки, мошенничать.

Однако на этот раз его надеждам не дано было осуществиться. Как только в Санкт-Петербургский цензурный комитет были представлены на рассмотрение экземпляры третьего выпуска «Вятской незабудки», отпечатанного в феврале 1878 года в количестве 2100 экземпляров, тут же последовало постановление: издание задержать. Главное управление по делам печати это постановление утвердило и подготовило соответствующее представление министру внутренних дел Тимашеву. В свою очередь министр 22 апреля 1878 года отправил в Комитет министров представление о воспрещении выпуска в свет «Вятской незабудки». Документ этот настолько красноречив, он так обстоятельно раскрывает суть творческого замысла Павленкова, что его стоит привести в полном объеме.

«Изложение дела. В феврале месяце с. г. С.-Петербургским цензурным комитетом была остановлена напечатанная без предварительной цензуры в числе 2100 экз. книга под заглавием: “‘Вятская незабудка’. Памятная книжка Вятской губернии на 1878 г. (неофициальное издание)” без имени издателя и автора ценою 75 к. за экземпляр. Поводом к такому



распоряжению послужило то, что “Вятская незабудка”, не заключая в себе никаких сведений, свойственных памятным вообще книжкам, составляет сборник исключительно обличительных статей и пасквильных рассказов о правительственных и общественных учреждениях Вятской губернии и местных должностных лицах, начиная с волостных и тюремных сторожей до губернатора и архиерея. Все эти лица обозначены полными именами не только в самом тексте книги, но и в специальном алфавите, помещенном во главе издания, на стр. V–VI.

Общий характер книги весьма категорически обозначен ее безымянным автором в открытом его письме (вместо предисловия) к друзьям провинциальной печати.

Приравнивая свою книгу к последнему сочинению Виктора Гюго “История одного преступления”, автор объясняет, что его книга “есть тоже история, но не одного, а многих преступлений — явных и тайных, осязательных и неуловимых, уголовных и нравственных, преступлений против общества и отдельных лиц” (стр. VII). Еще более заслуживает внимания цель этого издания, столь же откровенно выраженная безымянным автором на последних страницах того же открытого письма.

Имея в виду, что некоторые из полученных из Вятской губернии корреспонденций не были приняты редакциями столичных газет, или хотя и приняты, но напечатаны затем в менее резкой форме, безымянный автор желает изданием своей “Незабудки” обойти эти препятствия, то есть открыть означенным корреспонденциям беспрепятственный доступ к печати (стр. XXII–XXVI). Для этого он обращается с разными наставлениями к тем лицам, которые могли бы и желали бы сообщить необходимые для “Незабудки” сведения, причем советует им во избежание прошлых неудобств не адресовать ему писем из Вятской губернии, но пересылать ему свои незабудочные сообщения через знакомых, живущих в других губерниях, с тем чтобы те уже непосредственно адресовали в Петербург свои заказные письма, в редакцию “Вятской незабудки”, адрес которой известен почтамту (стр. XXVI).

Наконец, в примечании к открытому письму безымянного автора к друзьям провинциальной печати сказано: “Желающим издавать губернские незабудки просят покорнейше обращаться по сообщенному нами выше адресу. Мы можем им дать не только полезное практическое указание, но даже, в случае надобности, в той или другой форме оказать прямое содействие” (стр. XXV).

Отсюда видно, что “Вятская незабудка” на 1878 г. не есть отдельное литературное произведение, в себе самом законченное сочинение, но

собственно орган той своеобразной редакции, которая, организовавшись в форме постоянного агентства, имеет целью собирать и слагать историю Вятской Губернии, как скоро более осторожные столичные газеты отказываются быть безусловным отголоском провинциальных корреспондентов». Затем в представлении делался вывод: «Такой обстановке этого издания вполне соответствует и его содержание, весьма объемистое...»

Больше всего настораживало министра то обстоятельство, что, «возбуждая поголовное обвинение против местного служебного персонала, на основании сведений и фактов, ничем не подтвержденных», «Вятская незабудка» представляет, по его словам, небывалый в русской печати пример диффамации. Авторы статей, помещенных в «Незабудке», скрывая свои собственные имена, позволяют себе не только обвинять публично других, не только обозначать подозреваемых ими лиц полными именами, «не только глумиться над этими лицами, но и употреблять относительно их даже чисто бранные выражения». Так, например, к вятскому губернатору, Н. А. Тройницкому, относятся почти прямо эпитеты «глупец», «Колюшка-простачок», о нем говорится, что его можно на все подбить, что он покровительствует самым выдающимся развратникам и казнокрадам (стр. 103, 250–257, 337, 349, 361 и 436). Вице-губернатор, Ф. Н. Домелунксен, председатель окружного суда Ренненкампф, прокурор суда Синявин, директор реального училища Поздняков, председатель губернской земской управы Дернов, полицмейстер Михайлов, смотритель тюремного замка Трофимов, лесничий и другие изображены бессовестными, а иногда и названы глупцами, взяточниками, ворами, мошенниками и т. п. (101, 171, 256, 309, 310, 348, 351, 360, 376, 396, 448, 487).

Отметив то обстоятельство, что все это адресуется к Вятской губернии, куда ссылаются многие из «политических преступников», автор представления считает нужным подчеркнуть, что «самое содержание корреспонденций, из которых составлена “Вятская незабудка”, носит в сильной степени отпечаток столь распространенной в этом кругу политической тенденциозности». И, раскрывая этот тезис, пишет: «Возбуждение сильнейшего недоверия к правительству, избирающему будто бы своими агентами самих возмутительных администраторов, судей, наставников юношества и охранителей государственных имуществ, составляет неизбежное, для неразвитых читателей, впечатление после чтения этой книги. Но это впечатление идет далее, так как на стр. 308, 314, 362, 363, 364, 369 и 370 этой книги проводятся чисто революционные идеи».

В представлении министра указаны страницы «Вятской незабудки», на которых, по его утверждению, ведется проповедь революционных идей. Откроем хотя бы две отмеченные страницы: 369–370. Там в качестве самой действенной меры борьбы с таким позорнейшим злом, как казнокрадство, указывается сознательная воля всего народа, ибо только он вправе быть самым строгим счетчиком всего, что создано его трудом. «А что рано или поздно найдется такой счетчик, счетчик страшный по своей неумолимой справедливости, нельзя и сомневаться, — пишет автор “Незабудки”. — Это будет, конечно, не человек крови и железа, а человек желчи и нервов... Он взвесит все. Он подведет всему итог. Он ничего не оставит под сомнением и из всей этой страшной мозаики безобразий составит один общий цельный обвинительный акт. Человек этот уже поднимается. Он встал, он идет. Но что с вами, самоуправцы? Вы пятитесь назад, вы посылаете за полицией! Глупцы! Ведь это не такой человек, которого можно взять и отправить к испытанному веками Макару. Это коллективный человек — мир».

Министр приводит выдержку из «Высочайше утвержденного» 7 июня 1872 года мнения Государственного совета о дополнении и изменении некоторых из действующих узаконений о печати и, присовокупляя к уже отмеченным прегрешениям издателя «Незабудки», указывает также то, что отдельные из помещенных в ней корреспонденций подвергались преследованию при публикации в периодических изданиях. «Некоторые статьи “Вятской незабудки на 1878 г.”, напечатанные в газете “Русское обозрение” (№ 19 за 1877 г., № 3–4 за 1878 г.), послужили поводом к принятию административных карательных мер: а именно: за статью “Молодое старится, старое растет”, озаглавленную ныне “Из мрака к свету”, объявлено 30 ноября 1877 г. первое предостережение; за статью “Новое вино в старых мехах”, вошедшее ныне в сборник под заглавием “По способу Александра Македонского”, объявлено 25 августа 1878 г. второе предостережение. Статьи, напечатанные в газете “Вечерняя почта” № 69, 70 за 1877 г. под заглавием “Провинциальные каламбуры” и “Не бывать бы счастьем, да несчастье помогло”, за которые был продолжен срок приостановки розничной продажи номеров газеты, перепечатаны в “Незабудке” с изменением заглавий на “Вятские охранители” и “Пришел, увидел, победил”, причем под первую статью оставлена подпись “Сырнев-Залесский”, составленная из фамилий старшего помощника правителя канцелярии вятского губернатора и редактора “Губернские ведомости”, а под вторую — “Шубин”, фамилия правителя канцелярии. Остальные статьи, печатавшиеся в повременных изданиях, не возбуждали против себя

преследований, как потому что редакции помещали их в значительно смягченной форме, так и потому, что появившись в виде отдельных корреспонденций, а не в форме особого сборника, они не производили того впечатления, которое имел в виду издатель “Незабудки на 1878 г.”».

К какому же заключению приходил, изложив все это, Тимашев? «Принимая во внимание указанный выше вредный характер “Вятской незабудки на 1878 г.”, министр внутренних дел находит, что книга эта относится к числу указанных в 1 пункте закона 7 июня 1872 г. и подлежит посему запрещению, о чем и имеет честь представить на благоусмотрение Комитета господ министров».

Возвратившись к тому времени в столицу из ссылки, Павленков через влиятельных в административных сферах Санкт-Петербурга лиц, а также личными хлопотами перед учреждениями, как свидетельствуют его биографы, пытался спасти «Незабудку» от погрома. Цензурному комитету он давал объяснение, будто книга ошибочно была представлена на рассмотрение в таком виде. Это произошло по недоразумению. Печатавшая-де ее типография не исполнила воли издателя (некоего Курочкина), хотя и заверяла, что выполнит. Он же намеревался, мол, перед посылкой в цензурный комитет пересмотреть сборник, отдельные материалы сократить, другие вообще исключить. Павленков добивался на этом основании снятия с книги ареста и заверял, что издатель в новом ее издании «по возможности» примет во внимание и указания цензурного комитета.

Два письма Флорентия Федоровича к писательнице М. А. Маркович, изъявившей согласие похлопотать в высоких инстанциях против запрещения «Вятской незабудки», дают представление как о подлинном замысле издания, так и об аргументах, выдвигаемых издателем в его защиту.

«У меня, — пишет Павленков 26 февраля 1878 года, — всего только 2 экз. задержанного тома “Вятской незабудки” — один у того лица, которое должно говорить с Беселаго, и другой в Царскосельском уезде, откуда его привезут к завтрашнему дню. Но время не терпит, поэтому, не имея возможности прислать Вам, что следует, посылаю 1-й том, который может дать некоторое понятие и о следующем. Я говорю “некоторое”, потому что 2-й том составлялся не экспромтом, а в течение целых 8 месяцев, следовательно, по необходимости должен быть основательнее. Вы уже знаете, что весь сыр-бор загорелся из-за предисловия. К счастью, у меня сохранилась одна из его корректур. Присоединяю ее к 1-му тому.

Основы для защиты “перед бесчувственной толпой”, мне кажется,

должны быть следующие:

1) Цензура не может и не должна являться охранительницей частных интересов тех или других отдельных лиц. Будучи правоспособными и совершеннолетними, они могут и должны сами защищать себя от нареканий, прибегая для этого или к помощи печати или к суду.

2) Нерасчетливо для самой высшей администрации преследовать сборники, подобные “Вятской незабудке”, в местностях, значительно удаленных от центра и не имеющих своей местной независимой печати. Это значило бы вгонять язву вовнутрь, а, следовательно, вконец расстраивать провинциальный организм. Особенно нерасчетливо это в настоящую минуту, когда сам Тимашев готовит проект преобразования местной официальной печати.

3) Смешно поднимать историю и затевать скандал из-за таких вещей, которые уже читаны и перечитаны и которые могут свободно обращаться в публике в форме №№ “Русского образования” — только эти перепечатанные корреспонденции и представляют собой крупинки соли. Все остальное — “хлеб наш насущный даждь нам днесь”.

4) Нелепо и возмутительно из-за 1/10 уничтожать 9/10 книжки. Всякая статья должна ответить сама за себя.

5) Год, прошедший со времени выхода 1-го тома “Незабудки”, наглядно показал, что авторы ее далеко не так опрометчивы, как это может показаться с первого взгляда. Из 212 лиц, о которых упоминается в 1-м томе, жаловался в суд лишь один г. Стельмахович. Да и тот проиграл процесс (дело будет слушаться на 1-й или 2-й неделе поста в Петербургской судебной палате). Можно и еще бы привести несколько “основ”, но довольно и этих, а то чересчур уж Вас утомил\*.

Флорентий Федорович не выдержал и уже на исходе того же самого дня еще раз посылает пространное письмо М. А. Маркович. Начинает он его с совета писательнице: «Знаете, Мария Александровна, если бы Вы обращались не к брату Лазаревского, а к нему самому, то это был бы с Вашей стороны подвиг, который заставил бы его уважать Вас вдвойне. Дерзайте. Если бы Юлий Цезарь успел сказать Бруту: “И ты!..” прежде, чем в его грудь вонзился первый кинжал, быть может, он остался бы жив. Так же точно может остаться жива и “Незабудка”».

Узнав, что 2-й том не удастся получить в ближайшее время, Флорентий Федорович решает, что следует вооружить М. А. Маркович дополнительными аргументами. «Книжки не привезли и до вторника ее нельзя будет достать ни под каким видом. Приходится, таким образом, аргументировать без фактов, идти на состязание, как греки на олимпийских

играх, с голыми руками, измазавши их оливковым листом общих оснований. Скользкое орудие... Но оно в то же самое время единственное, единоспасаемое в данном случае».

Далее в письме намечаются несколько опорных пунктов в дополнение к указанным в утреннем письме. Павленков, как всегда, привлекает в союзники силу логики: «Говорят, что цель “Незабудки” и проектируемых по ее образцу и подобию провинциальных сборников — систематическое шельмование местной администрации... Бессмысленный набор фраз в стиле Сахар-Сахаревич (жупел, металл звенящий и пр.). Ряд устрашающих слов и пустых звуков!.. Если бы такова именно была цель “Вятской незабудки” — большинство ее статей было бы посвящено разбору действий уездных и губернских держиморд или, по крайней мере, она для контраста налагала бы на эти действия более густые и темные краски, чем все остальные. Между тем на деле выходит совсем не то. Для “Незабудки” как будто бы не существует объектов действия, а только одни его субъекты. Она относится с одинаковым беспристрастием как к местным чиновникам, так и к земцам, к становым и народным учителям, к пастухам и овцам, если эти чиновники, земцы, становые, учителя, пастухи и овцы оказываются одинаковыми свиньями. Везде стоит знак равенства, и никто не может сказать, чтобы облегчение его возведено было в систему.

...Говорят, что “Незабудка” колеблет авторитет губернаторской власти. Да, колеблет, настолько, насколько свисток машины, пробегающей через лесную просеку, колеблет стоящие на ее опушке вековые сосны. Не “Незабудкам” поколебать то, что поддерживается “из рода в род, из века в век” тою всеильною будкой, которая выше библейской вавилонской башни. Губернаторы вооружены с ног до головы, они облечены прерогативами почти верховной власти, и их-то вдруг может повалить навзничь какая-нибудь “Незабудка”. Далила может лишить силы лишь тех Самсонов, вся мощь которых не в голове, а в волосах. Неужели же они согласны идти на такое красноречивое признание?

...Говорят, “Незабудка” задевает губернатора и вице-губернатора. Но, во-первых, она стоит на фактической почве, во-вторых, законы о печати нигде не говорят о неприкосновенности лиц выше 5-го класса и, наконец, в-третьих, — во всей “Незабудке” об этих “особах” говорится сравнительно весьма немного, не более 1/10 части, что можно было бы сказать.

...Говорят, что высшая власть не может относиться равнодушно к порицанию ее низших органов. Неискусный софизм! Высшая власть не может и не должна терпеть, чтобы ее низшие органы злоупотребляли ее доверием, чтобы они попирали закон именем своей доверительницы, чтобы

они обмеривали и обвешивали своих обязательных покупателей за счет своего хозяина. Запрещая “Незабудку”, высшая власть как бы расписывается в своей полной солидарности со всеми местными безобразиями провинциальных башибузуков и тем сама себя жестоко компрометирует. Таким образом, к цензурному комитету в данном случае применяется известная крыловская поговорка: “Услужливый дурак опаснее врага”.

...Выметание сора из провинциальной избы — только зародыш свободной печати. Это — minimum ее прав... Кто душит обличение в самой утробе матери, тот создает подпольную печать.

...О том, насколько основательно выдавать предисловие за воззвание, уже говорилось.

...Не лишнее обратить внимание на то, что все статьи “Незабудки” написаны языком, понятным лишь для образованных людей, то есть для меньшинства.

...Всего более будут рады запрещению “Незабудки” подонки общества, социальные воры, мазурики и разбойники...»

Повлиять на Министерство внутренних дел в нужном направлении не удалось. Как уже известно из предыдущего повествования, Тимашев высказал в Комитете министров свою точку зрения весьма однозначно, а тот 9 мая 1878 года после обсуждения его доклада на своем заседании постановил запретить выход в свет «Вятской незабудки». Санкт-петербургский градоначальник 17 мая 1878 года предписал полицмейстеру отправить на картонную фабрику Крылова 2080 экземпляров «Вятской незабудки». Это было принято к неуклонному исполнению. Как видно из дел Санкт-Петербургского цензурного комитета 1877 года и Главного управления по делам печати 1878 года № 36, судьба отпечатанного тиража «Вятской незабудки» оказалась следующей: 2075 экземпляров были брошены в бумажную массу, пять экземпляров были препровождены в Главное управление по делам печати, из которых два попали в Санкт-Петербургскую публичную библиотеку для хранения в секретном отделении.

Уничтожение тиража «Вятской незабудки на 1878 г.» отразилось на первом и втором изданиях «Незабудки на 1877 г.». На основании пункта 3 к статье 175 устава о цензуре и печати, как явствует из списка, составленного Главным управлением по делам печати, они были воспрещены к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях.

Новый период своей петербургской жизни после столь многолетней изоляции от общества в крепости и ссылке Павленкову приходилось

начинать практически с нуля. Издательство находилось в состоянии краха. Кроме трехтысячного тиража «Физики» А. Гано да еще около шестнадцати небольших изданий, на общую сумму 16–18 тысяч рублей, ничего не было. Второе издание «Сочинений Д. И. Писарева» было запрещено. Альбом «На елку!», два выпуска «Вятской незабудки» и «Страдания Великого Учителя, Господа нашего Иисуса Христа» разгромлены цензурой.

«Дела мои за 10-тилетний вятский период, — писал Павленков А. С. Гацисскому осенью 1878 года, — расстроились... Надо стараться зашить прорехи, во что бы то ни стало поправиться, и затем — осуществить свою давнишнюю мечту — пробить дорогу газетному листу в такие места, где он никогда не бывал, или иначе — издавать ежедневную копеечную газету. Это совсем нетрудно: нужно только смотреть на дело, как на общественную службу во имя нравственного долга, и забыть о какой бы то ни было прибыли — иначе выбросить “коммерцию” за окно по первому же абцугу. Я издал “Азбуку-копейку”; будущая “Копейка” должна быть также азбукой — азбукой социальных наук, но не теоретической, а практической. Люди найдутся и деньги будут — за то и другое можно ручаться. Но кто поручится за время, за наше все более и более “новое время”? Воображение отказывается идти далее, но действительность, но неумолимая действительность гигантскими фантастическими шагами перескакивает через все барьеры и, наконец, самое воображение запрягивает в кутузку. Теперь, говорят, можете издавать “Копейку”!\*

Дешевая газета для народа так и осталась неосуществленной мечтой Флорентия Федоровича. Но поражает его оптимизм. Все дело находится на краю пропасти, а Павленков не только не унывает: он полон новых планов и проектов, цель которых — служить народному просвещению.

Десятилетие, проведенное в Вятке и Яранске, для Павленкова оказалось суровой жизненной школой, испытанием на верность идеалам юности, проверкой самих этих идеалов реалиями тогдашней действительности. Получивший блестящее образование в кадетском корпусе и академии, молодой человек уже в Киевском арсенале столкнулся с таким противоречием между своими радужными надеждами отдавать знания, энергию и талант на алтарь служения народу и Отечеству и практически не востребованностью их в насквозь прогнивших, пропитанных коррупцией и цинизмом общественных отношениях того времени. Первый удар не сломил воли молодого офицера.

Под влиянием широко распространявшихся в шестидесятые годы идей об активном участии мыслящей личности в противодействии всему тому, что тормозило прогресс развития страны, Павленков избирает издательское



дело в качестве арены для приложения своих сил. Победа на литературном процессе по второй части издаваемого им собрания сочинений Д. И. Писарева, казалось, открывала перед ним простор для новых издательских начинаний. Но все это резко оборвалось уже в самом начале пути. В Вятке Павленков получил возможность своими глазами увидеть жизнь всех слоев общества, самостоятельно оценить происходящие в нем процессы, продолжил поиск собственного места в тех усилиях, которые предпринимались тогда различными партиями и группами по ускорению преобразовательных процессов в России.

Сплоченно выступала на общественной арене группа славянофилов, революционные шаги предпринимали народовольцы. Вокруг Некрасова и «Современника» объединялось немало единомышленников. Наряду с ними в разных общественных сферах подвижнически, по собственному разумению вели работу по обустройству жизни народа на более справедливых началах сотни одиночек, мыслящих личностей, родственных по духу Павленкову.

Но издавать книги ему запрещено. И власти делают все, чтобы подавить волю молодого человека. Вятский полицмейстер почти с радостью встречал донесение о том, что поднадзорный не выходит из дома и, очевидно, пьет запоем. Но полицейские осведомители желаемое выдавали за действительное. Павленков был волевым человеком, хотя на первых порах в Вятке в минуты отчаяния зарождались мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью.

Именно в период ссылки он создает наглядно-звуковую азбуку, придумывает школы с переходящими педагогами, организует эксперименты, чтобы проверить их действенность на практике. Продолжает заниматься также переводческой деятельностью, вовлекает в нее местных интеллигентов...

Даже изобретает какой-то механический двигатель, чертежи которого пересылает в русское техническое общество, просит ходатайствовать об освобождении из ссылки, чтобы изготовить и испытать его в действии. Как утверждают биографы, член императорской фамилии герцог Лейхтенбергский, возглавлявший общество, действительно обращался в соответствующие инстанции с такой просьбой, но... безрезультатно.

Именно во время ссылки Павленков выпускает свою «Вятскую незабудку», где помещает критические статьи из Вятской губернии о мошенничестве и самодурстве представителей местной администрации.

Начинает работу и над подготовкой «Энциклопедического словотолкователя», которую будет продолжать еще в течение двух

десятилетий, пока, перед самой кончиной, не получит сигнальный экземпляр словаря, прочно вошедшего в культурную сокровищницу народа, как «Энциклопедический словарь» Флорентия Павленкова...

Период ссылки сформировал его как антагониста к существующим порядкам, действующего нередко с нескрываемой ненавистью к режиму, бросающего ему вызов за вызовом, часто даже пренебрегая опасностями для собственной судьбы.

И все же главным итогом десятилетнего вятского затворничества стало другое: Павленков твердо уверовал в то, что только на издательской ниве, только через книгу, адресованную народу, он сможет реализовать себя, принести ощутимую пользу Отечеству, сделать что-то полезное, нужное, чего так настоятельно требовали наступающие новые времена в общественном и социальном движении России.

## **И ВНОВЬ АРЕСТЫ. В ВЫШНЕМ ВОЛОЧКЕ ВМЕСТЕ С В. Г. КОРОЛЕНКО И ДРУГИМИ**

Как только удалось вырваться из вятской ссылки, Флорентий Федорович сразу же приступает к любимой работе. По прибытии в Петербург он принимается за возрождение едва не заглохнувшего за время ссылки издательства. Материальная база его была сильно подрезана конфискацией ряда подготовленных изданий. К довершению неприятностей потерпели крах банкир Ф. П. Баймаков, в конторе которого было около тысячи рублей павленковских денег, а также владелец книжного склада А. Ф. Базунов, где помешалась значительная часть изданий Павленкова. Все это практически сводило на нет с таким трудом начатое дело. Однако опускать руки было не в его характере.

Возвратившись из ссылки, издатель разворачивает бурную по темпам деятельность: каждый месяц что-нибудь да выходит в его издательстве.

Так как цензура воспрепятствовала повторению выпуска собраний сочинений Д. И. Писарева, пришлось переиздавать «Наглядную азбуку» и учебное пособие к ней. Кроме того, в 1879 году Флорентий Федорович выпускает руководство для земских гласных и учителей народных школ Н. А. Корфа «Русская начальная школа», а в 1880 году книги Г. Тиссандье «Мученики науки» и Т. Дю-Мюнселя «Телефон, микрофон и фонограф» (в переводе В. Д. Черкасова).

Еще в период борьбы за спасение второй части «Сочинений Д. И. Писарева» в газетах того времени то и дело появлялись статьи о народных школах, о роли земства в их организации. Подпись автора под ними привлекла внимание Павленкова: барон Н. А. Корф.

Каково же было его удивление, когда однажды он получил письмо от этого барона. Н. А. Корф интересовался: не намерен ли он, Павленков, в своем издательстве выпускать книги для народных школ? В жизни такие школы нарождаются, но ни руководств, ни пособий для подвижников-учителей в стране нет.

Павленков ответил, что идея заманчивая, просил уточнить, что конкретно мог бы предложить барон или кого порекомендует в качестве авторов. А также поинтересовался: почему увлекают его проблемы

народного образования?

Ответ не заставил себя ждать. Оказалось, что родился барон в Харькове. Отец его из остзейских дворян, но совершенно обрусевший, женившийся на малороссиянке. Матери лишился рано. Отец женился повторно. Мальчишке же с двух до двенадцати лет пришлось вести скитальческий образ жизни — то у родственников, то у совершенно чужих людей. После смерти отца тринадцатилетний Николай попадает на попечение своего дяди — известного барона, впоследствии графа Модеста Андреевича Корфа. Того самого, который проходил курс обучения в Царскосельском лицее одновременно с А. С. Пушкиным. Дядя определяет своего племянника тоже в лицей, где тот и получает отличное образование. Немецким языком барон владеет как русским, в совершенстве знает английский и французский.

Вопреки настойчивым уговорам и советам богатых и влиятельных родственников, Николай Корф после завершения учебы уезжает в свое имение «Нескучное» и в двадцать два года там женится. Началась, как он сам утверждал, замечательно разумная и производительная жизнь интеллигентного человека в сельской местности. Он занимается продолжением своего образования, выписывает массу книг и периодических изданий на русском и иностранных языках. Будучи землевладельцем, членом дворянской корпорации, барон Корф активно участвует в дворянских собраниях, а затем в деятельности земства. Особенно увлекает его педагогическая работа. На родине Песталоцци он изучает школьное дело и его идеи. Появление собственных детей еще больше побуждает к занятиям педагогией. Работе во имя развития народного образования барон Корф и решает посвятить себя. В своем уезде создает народные школы, обменивается собственным опытом с сотнями корреспондентов, таких же поборников народного образования, разбросанных по всей России.

Постепенно, благодаря огромным усилиям по организации народных школ в своем уезде и чрезвычайно бурной публицистической деятельности, направленной на их пропаганду, к титулу барона само собой прибавляется еще одно звание — известный педагог. Его предложение Ф. Ф. Павленкову было весьма конкретно — он хотел попробовать составить хрестоматию для народных школ. По этому поводу и завязалась их переписка, которая так много значила и для

Флорентия Федоровича, особенно в первые, самые трудные месяцы вятской ссылки, и для Николая Александровича. Это именно он, несомненно, и подвигнул Павленкова на занятие «Наглядной азбукой». Его

мысли перекликались со взглядами К. Д. Ушинского, трудами которого зачитывался тогда вятский изгнанник. Когда же у Павленкова родилась идея создать своего рода самоучитель по грамоте, используя наглядно-звуковой метод, он советовался и с Н. А. Корфом. Тот горячо поддержал сам замысел, дал немало дельных рекомендаций по практической его реализации. И кто, как не Николай Александрович стал неумолимо продвигать «Наглядную азбуку» в жизнь, развивая и дополняя павленковский метод собственными соображениями. Н. А. Корф выпустил, в частности, «Руководство к обучению грамоте по звуковому способу, или Как обучать грамоте ребят и взрослых». Уже говорилось о том, как на международной конференции в Вене Николай Александрович пропагандировал павленковскую азбуку (в одном из писем он сам не без гордости вспоминал о том времени, «когда в Вене ораторствовал о Вашей наглядной азбуке»). Более того, Н. А. Корф предпринимал попытку создать немецкий эквивалент самоучителя по грамоте по методу Павленкова. «Думал ли я о том, — писал он Флорентию Федоровичу 10 октября 1879 года, — что мне самому когда-нибудь придется писать немецкие вариации на созданную Вами тему?»

Павленков посылал на суд Николая Александровича все свои педагогические опыты. 11 января 1880 года Н. А. Корф писал Флорентию Федоровичу по поводу детских задач в картинках «Наглядные несообразности»: «Ваше объяснение к “несообразностям” написано очень талантливо и ясно».

Дружба и взаимное уважение между Павленковым и Корфом год от года укреплялись. «Все наше весьма давнее, хотя и не личное, а только по переписке, педагогическое знакомство давно сблизило меня с Вами и убедило меня в том, — писал Николай Александрович Флорентию Федоровичу 12 июля 1879 года, — что Вы не из тех людей, у которых свой личный интерес на первом плане».

С 1878 года между издателем и педагогом начинается регулярный обмен мнениями по поводу готовящейся Н. А. Корфом хрестоматии для земских школ «Наш друг». Прочитав присланную рукопись, Флорентий Федорович наряду с одобрительным отзывом по поводу собранных в книге рассказов о животных и растениях посчитал необходимым высказать и ряд суждений критического характера. Они затрагивали весьма деликатные вопросы. Автор, имеющий до этого опыт общения с цензурой, не один раз упрекаемый за якобы антирелигиозный характер его писаний, на сей раз решил упредить возможные замечания и самостоятельно внес в текст соответствующую терминологию.

«Хотя я, как видите, и не признаю правильности высказанного Вами о моих отступлениях, — отвечал на претензии и критические замечания Н. А. Корф, — но не подумайте того, чтобы я на этот раз вынес тяжелое впечатление от Вашего письма. Совершенно — напротив: оно произвело даже приятное впечатление, как искреннее письмо, и на будущее время Вы всегда держитесь со мною правила прямо высказывать то, что Вы думаете обо мне или моих действиях; так я всегда действую по отношению к людям, которых уважаю».

Флорентий Федорович отложил письмо в сторону, погладил свою окладистую бороду, задумался...

— Как приятно иметь дело с интеллигентным человеком! Ни мелких обид, ни авторских амбиций! Чистосердечно изложил ему обнаруженные противоречия направленности издательства места в рукописи и получил в ответ: «Сердечное спасибо Вам за то, что Вы вернули мне “Нашего друга” и дали мне возможность еще над ним повозиться». Конечно, и Николай Александрович не совсем согласен, спорит, обосновывает свою точку зрения... Но как это конструктивно, без эмоций, без ненужной позы...

«Уважая то, что Вы относитесь к книгам не как к товару, а вкладываете свою душу в издаваемое Вами, — говорится еще в одном письме Н. А. Корфа, — я вычеркнул шокировавшую Вас фразу, написанную прямо в ответ на нападения, которым бездоказательно... подверглась моя книга, как Вы знаете; заключительные строки предисловия я непременно оставляю, так как глубоко убежден в том, что догмат о христианской любви должен быть основой общества и особенно важен для воспитателей; точно так же убежден в том, что нужно настойчивее доказывать молодым, что знание ведет к нравственности».

Отправив в Петербург письмо Флорентию Федоровичу, Н. А. Корф в тот же день получает от издателя образец одной из иллюстраций к хрестоматии. На следующий же день он вновь пишет Павленкову из Женевы, где в то время находился: «...Вы мне еще поддаете энергии присланным рисунком “мышь”; если таковы будут все рисунки, то, право, будет за что сказать спасибо. Вы как-то писали, что рисунки должны образно выразить основную мысль моей книги, связь школы с жизнью, и что такой идее стоит послужить. Это верно, но я бы добавил, по совести, что “Наш друг” есть окончательное развенчивание схоластики... Я, по совести, не знаю ни на одном языке ни одной книги такого объема, которая сумела развивающим методом сообщать такую массу практически полезных сведений и которая сумела бы педагогично использоваться для

того, чтобы поднять умственное и нравственное благосостояние народа не только развитием его духовных сил, но и сообщением ему одновременно с этим сведений, не завтра, а сегодня улучшающих его быт. Вот этот научный характер “Нашего друга” должен быть выражен рисунками».

Как раз на этом и настаивал Павленков. Советуя автору очистить страницы рукописи от погрешностей, он подчеркивает ее значение в воспитательном процессе, ведь в ней делается упор на знание, образование, нравственные аспекты. Но книга понравится далеко не всем. Необходимо обезопасить издание от возможных нападок. Для этого можно, к примеру, поместить на обложке всем известные религиозные символы. Допустим, потир — церковный сосуд, употребляемый при литургии, освящении вина и при причащении святых даров; крест... Барон с ним соглашается. «Кстати, еще о внешности “Нашего друга”, — пишет он Флорентию Федоровичу. — Зная, что книга предназначена для народа и содержит статьи для чтения по Новому Завету; зная также, что “чаша и крест” отнюдь не символ клерикализма или даже пиетизма (в смысле — ханжества. — В. Д.); зная, что клеветники стремятся выставить книгу как “безбожную”, — я никак бы не возражал против помещения этих символов в кайме обертки “Нашего друга”».

Весь процесс работы над изданием Павленков всегда обуславливает строгими договорными отношениями. Направляется договор и автору «Нашего друга». Николай Александрович согласен со всеми пунктами договора и 16 августа 1879 года пишет из Женевы: «Чем прочнее Вы обставите свои издательские интересы (такому издателю, как Вы, можно так писать), тем более буду рад и притом по двум причинам: Вам следует хорошее вознаграждение за предприимчивость, талант, труд и капитал. Кроме того, и я буду спокойным за детей, что “Наш друг” — их собственность — в будущем обставлена прочно и что “Условие” на “Нашего друга” — документ, экономически серьезный, а не соглашение, состоявшееся при розовых надеждах, разбившихся о действительную жизнь».

В 1879 году Флорентий Федорович издает труд барона Н. А. Корфа «Наш друг. Книга для чтения в школе и дома» тиражом пять тысяч экземпляров и тут же повторяет издание шеститысячным тиражом. Это была большая материальная поддержка для увлеченного народного просветителя барона Николая Александровича Корфа. Тогда для него это было не самое простое время. В 1872 году на пути деятельности Корфа в сфере народного образования была воздвигнута серьезная преграда. Некоторым силам из местных землевладельцев давно уже была не по нутру

пропаганда им демократических идей. Для ее пресечения средство нашли самое простое: забаллотировать Н. А. Корфа на местных выборах. С этим совпали и предпринятые правительством меры по отстранению земства от влияния на учебно-воспитательную деятельность школ, сосредоточив их лишь на сугубо хозяйственных вопросах.

Активность Н. А. Корфа, а также книга «Наш друг» вызвали против него злостную и разнузданную травлю в некоторых органах печати. «Безбожник», «враг духовности», «утилитарист», «немец», «пришелец», «представитель немецкой педагогики», «материалист», «помещик, а не педагог», «неблагонадежный человек», «противник Закона Божьего\* — каких только обвинений не бросали Н. А. Корфу.

Были, правда, в «Нашем друге» и существенные просчеты, о чем сообщали Павленкову непредвзятые читатели. Поэтому издатель предлагает писателю В. М. Гаршину отредактировать книгу, устранив явные погрешности.

В письме писателя Н. М. Золотиловой от 20 августа 1882 года он довольно критически оценивает и стиль, и содержательную сторону книги барона. Не без ехидства Гаршин замечает об авторе: «В одном месте он пишет такую фразу: “Вот если бы мы были такими добрыми, умными и работающими, как бобр!” Конечно, если б я был такой превосходный, как бобр, я бы переделал “Наш Друг”, но так как — куда ж мне до бобра! — я не такой умный, то я и должен отказаться».

На следующий день в письме матери Е. С. Гаршиной писатель сообщает: «Павленков опять прислал письмо: усиленно просит взяться за “Нашего друга”». И добавляет: «Но это совершенно невозможно...»

В конце августа Гаршин пишет Павленкову, что после получения письма от него четыре дня просидел над «Нашим другом», «пробуя сделать что-нибудь...», но безуспешно. Объясняя издателю, что тот не совсем верно воспринял его предыдущий отзыв о книге, Гаршин прямо заявляет: «Дело идет совсем не о двух-трех статьях... Против содержания в общем смысле я ничего не имею сказать. Полезно сообщить детям и об аспидной доске, и об кожевенном производстве, и сведения из священной истории... Но бесполезно изъяснять их таким образом, что в голове ребенка кроме путаницы ничего не останется. Говорю не о слоге, а об отношении к предмету, что я в первом письме назвал содержанием».

Критикуя затем авторское определение «аспидной доски», Гаршин приводит собственное короткое объяснение ее сути и, отталкиваясь от этого примера, пишет Флорентию Федоровичу: «Только так, по моему мнению, возможно выправить “Нашего друга”, но тогда ведь книга из 15 листов



сократится на 7–9 и, собственно, перестанет быть книгой барона Корфа, так как от нее останется только один план... останется только одно приятное воспоминание. Простите меня, уважаемый Флорентий Федорович, за то, что я отнял у Вас много времени. Я очень виноват перед Вами: мне еще в Петербурге нужно было внимательно просмотреть книгу: тогда бы я наверно отказался от этой работы сейчас же\*. Осознание того, что он невольно подводит издателя, побуждает Гаршина добавить следующее: «Не пригодятся ли Вам замечания на те явные нелепости, какие встречаются в книге на каждом шагу и которые нельзя не выбросить. Укажу на кое-что». И дальше на нескольких страницах писатель приводит курьезные места из книги.

Как развивались события после получения Павленковым такого письма, нетрудно предположить. Он ожидал от писателя готовой редакторской работы, а в ответ же получил резкую критику на рукопись. Что остается делать? Нужно садиться самому за редактирование, за освобождение нового издания книги от содержательных просчетов и стилистических погрешностей. Конечно, гаршинские замечания совершенно справедливы. Но если следовать логике его рассуждений, книге надо выносить смертный приговор. Однако она уже работает не один год и приносит учителям пользу. А вот усовершенствовать ее — необходимо! И придется это делать самому.

К этому времени Николай Александрович был уже тяжело болен. В 1883 году в Харькове на пятидесятом году жизни он скончался. Сотрудничество с Павленковым для барона Корфа было той отдушиной, которая вселяла в него уверенность, помогала в противоборстве со всеми, кто препятствовал развитию народного образования. В издательстве Ф. Ф. Павленкова вышли не одним изданием многие работы Н. А. Корфа: «Итоги народного образования в европейских государствах», «Наш друг. Книга для чтения в школе и дома», «300 письменных работ», «Задачи для упражнения в письме в начальной школе», «Первоначальное правописание. 40 диктовок с указанием грамматических правил», «Руководство для воскресных школ».

За несколько лет до смерти Николай Александрович предлагал Флорентию Федоровичу купить в собственность все его литературное наследие. «Сегодняшнее письмо поразит вас и краткостью и содержанием его, — писал он Павленкову 5 октября 1879 года, — краткость объясняется тем, что сегодня первый относительно лучший день после 2½ недель невыразимых терзаний; а “поразительное” содержание письма состоит в следующем. Вполне доверяя Вам, предлагаю Вам вопрос, найдется ли у Вас охота и возможность переделать, то есть заменить все существующие

между нами условия совершенно иными: не купите ли в полную собственность все до сих пор появившиеся уже сочинения мои и, если да, то сколько можете предложить? Рассрочка платежа возможна, но с тем, чтобы 4500 рублей были выплачены мне не позже мая будущего года. Вы человек решительный, предприимчивый, умный, дело любящий и ко мне расположенный, а потому не выйдет ли дела из моего вопроса?»

Эта заключительная часть делового письма — не дежурный комплимент. Для Корфа Флорентий Федорович служил образцом, идеалом той личности, за которой будущее.

В письмах Николая Александровича к Павленкову можно встретить и немало других трогательных проявлений искренних дружеских чувств. 6 июля 1879 года Н. А. Корф писал Ф. Ф. Павленкову из-за границы: «Давно бы пора нам увидеться, ведь мы сблизились теперь, вместе созидая новые издания своих книг, духовно породнились только путем педагогической переписки; дайте же мне взглянуть на Вас, хоть издали, и вышлите мне непременно свой портрет — я им очень дорожу». Проходит чуть больше месяца, и Корф вновь напоминает: «Кстати, однако, Вы обещали свою фотографическую карточку, да вместо того заказываете всевозможные фотографии для “Нашего друга”, кроме своей собственной...»

В тот период, когда Павленков был конвоирован в сибирскую ссылку, всячески стремясь поддержать издателя, Николай Александрович писал ему: «Утешьте себя и тем соображением, что с отставкою Толстого (министр народного просвещения. — В. Д.) “Наш друг” может быть вновь включен в каталог, о чем я буду хлопотать своевременно и что может не только отозваться на сбыте книг, что возместит те убытки, которые Вы несете теперь». А в другом письме от 15 ноября 1880 года он сообщал Флорентию Федоровичу о том, что предводитель дворянства его уезда намерен ходатайствовать у Сабурова (сменил графа Д. Толстого на посту министра народного просвещения. — В. Д.) о помещении «Нашего друга» в каталог книг для народных учителей.

Как уже упоминалось, вместе с книгой Н. А. Корфа Флорентий Федорович переиздает и переведенный в Вятке труд А. Секки. Характерно, что Павленков не позволяет себе довольствоваться простым переизданием ранее выпущенной книги, даже если это сулило ему столь желаемую в тот момент материальную выгоду. Он продолжает вести работу над ней, добиваясь, чтобы книга выходила на уровне современных требований. Так вот при переиздании труда А. Секки «Единство физических сил», зная, что автор за это время выпустил уже переработанное издание, Флорентий Федорович во что бы то ни стало стремится сверить свой перевод с новым

вариантом, чтобы учесть все ценное в нем. С этой целью он адресует в Публичную библиотеку А. Ф. Бычкову

20 октября 1879 года просьбу следующего содержания: «Многоуважаемый Афанасий Федорович! Несколько лет тому назад я перевел известное сочинение Секки по редактируемому автором французскому изданию этой книги (1869 г.). Перевод мой уже в ½ года как разошелся, и я приступаю теперь к новому его изданию. Но так как Секки в 1874 году переработал свою книгу, сделав в ней множество дополнений и изменений, то мне необходимо сверить 1-е французское издание со 2-м. К сожалению, старого французского издания у меня не сохранилось, и я не мог достать его ни в одном книжном магазине — оно окончательно вышло из продажи. Но в Публичной библиотеке издание 1869 года находится налицо. Принимая в соображение, что всякий читатель, которому попадет книга Секки, охотно обратится за новым изданием, стоящим в уровень с последними успехами естествознания, и что старое издание Секки едва ли может представлять какой-либо интерес для Публичной библиотеки, я бы покорнейше просил Вас позволить мне или обменять его на новое французское издание 1874 года или же разрешить мне пользоваться им на дому в продолжении двух-трех недель».

Выход нового издания перевода книги А. Секки сопровождался, естественно, новыми претензиями цензуры. Об этом подробно рассказывается в прошении Павленкова, направленном 22 декабря 1879 года на имя начальника Главного управления по делам печати В. В. Григорьева. «Третьего дня было заарестовано до выхода в свет изданное мною сочинение Секки “Единство физических сил” (2-е издание), — пишет Павленков. — Представитель цензурного комитета объяснил мне, что задержание книги последовало за приложение к книге Секки двух лекций Тиндаля и Баркера, и что если я соглашусь их вырезать, то издание будет немедленно выпущено. Так как я готовил 2-е издание Секки к съезду естествоиспытателей, уже открывшемуся, то арест книги нарушает все мои расчеты, а потому я готов пожертвовать обоими приложениями, лишь бы только “Единство физических сил” можно было выпустить до закрытия съезда. Вы крайне меня обяжете, если сделаете распоряжение о немедленном снятии ареста с опечатанной книги Секки, — только безотлагательное распоряжение может сколько-нибудь помочь делу в данном случае. Переводчик “Единства физических сил” Ф. Павленков».

Как видим, в короткие месяцы после возвращения из вятской ссылки Павленков не тратит времени даром. Но не долго продолжалось его увлечение работой. Издатель Павленков теперь ведь до самого своего

последнего часа в царской России будет оставаться лицом политически неблагонадежным. Полиция постоянно проводила у него обыски: не обнаружится ли причастности издателя к тем или иным крамольным действиям противников самодержавного режима? 25 февраля 1879 года Флорентий Федорович подвергается аресту. До 5 мая, то есть в течение двух с половиной месяцев, он содержится в заточении в одиночной камере дома предварительного заключения. Причина ареста издателя так и не была прояснена. В. Д. Черкасов предполагал, что поводом послужили знакомство Ф. Ф. Павленкова и деловые отношения с арестованным тогда по делу Зиновьева М. П. Надеиным.

Имеются также свидетельства, что Павленков сочувственно относился к террористическим действиям против существующих в России самодержавных порядков, которые осуществлялись сторонниками «Народной воли». В. Г. Короленко в «Истории моего современника», коснувшись этой темы, так передавал умонастроение Павленкова той поры, когда они находились в одной камере в Центральной пересылочной тюрьме Вышнего Волочка, ожидая навигации, чтобы быть отправленными в административную ссылку в Сибирь.

«Он был “сочувствующий” — это несомненно. Однажды в нашей камере затеялся разговор о том, что можно делать для политического развития России, кроме террора. Я продолжал доказывать, что необходимо поднять уровень сознания в народе, что для этого необходимо идти с широкой проповедью культуры со стороны мирной интеллигенции и нелегально проводить только политические взгляды о необходимости изменения строя. Павленков резко возразил: просвещение подавляется, учитель превращен в казенную машину для обучения азбуке, а идейная работа требует совершенно “сверхсметных” качеств со стороны пропагандистов. Остается только один путь. Это — “террор”». Вслед за этим В. Г. Короленко приводит такой комментарий к этому эпизоду: «Меня поразило тогда решительный тон, прозвучавший в этом возражении. Вообще мягкий и слабый голос Павленкова звучал какими-то гневными тонами. Большинство собеседников с ним соглашались. Это носилось в воздухе... Это была сила вещей».

Подобное утверждение находим и в воспоминаниях еще одного павленковского товарища по несчастью С. П. Швецова. Ему также довелось коротать длинные месяцы вышневолоцкого заключения в одной камере с Флорентием Федоровичем. «Как ни возмутительно и по формам своим ни глупо было это постоянное преследование Ф. Ф. Павленкова со стороны администрации, — писал Швецов, — но я все-таки должен признать, что

чутье не обманывало ее: Павленков, конечно, был одним из самых упорных врагов царской власти. Ко всему дому Романовых и к личности Александра II он питал глубокую ненависть, — иначе я не могу охарактеризовать его к ним отношения.

— Их всех нужно уничтожить без остатка, — говорил он мне не раз.

И это в его устах не было фразой, а являлось твердым убеждением, годами выношенным и много раз продуманным. В этом убеждении он стремился утвердить и других». Швецов рассказывает, что у него самого в вышневолоцкий период к царской власти давно уже было определенно отрицательное отношение, но в душе все еще сохранялся известный налет ореола, каким в то время в глазах многих еще было окружено имя Александра II. Но 19 февраля 1861 года, освободившее от позорного рабства миллионы русских крестьян, было для него, как и для многих русских людей, неотделимо от личности Александра II. «Флорентий Федорович немало потратил усилий и проявил настойчивость, чтобы свести меня с ложной, по его мнению, почвы, рассеять мои на этот счет заблуждения... — вспоминал Швецов. — Пока в России есть царская власть, до тех пор ни о какой народной свободе не может быть и речи. И где только возможно было, он старался эту власть хоть чем-нибудь дискредитировать...»

Поэтому, как бы ни конспирировал Флорентий Федорович свои убеждения, а утаить их от властей было непросто. Так что после относительно скорого освобождения весной 1879 года Флорентий Федорович непродолжительное время остается на свободе, занимается реализацией своих издательских начинаний.

19 ноября того же года происходит взрыв царского поезда под Москвой. А через два дня Флорентий Федорович оказывается в одиночной камере дома предварительного заключения. Он, безусловно, никакого отношения к данному акту не имел, но у него производят обыск и обнаруживают номер газеты «Народная воля». Этого было достаточно, чтобы он просидел в одиночке до марта 1880 года, пока не состоялось решение особой комиссии о высылке его в административном порядке в Восточную Сибирь. Тут же его обрядили в арестантские холщовые порты, рубаху и серый халат и доставили в Вышневолоцкую политическую тюрьму.

Эта тюрьма не вызывала того тягостного чувства, которое производили обычно другие подобного рода заведения царской империи. Возможно, причиной тому было, что смотрителем ее назначили отставного солдата Лаптева, внешне хоть и сурового формалиста, но не рассматривавшего

заклученных как своих врагов, не стремившегося ущемлять без нужды их интересов.

Так, например, заключенные постановили, чтобы из рациона был исключен белый хлеб. Это считают роскошью. Желающие могли приобретать его за собственный счет. И некоторые из заключенных к утреннему ячменному кофе стали покупать себе бублики. Вот эти бублики и стали причиной разграничения всего населения Вышневолоцкой тюрьмы на две прослойки — «аристократов» и «демократов». «Ни Анненский с Павленковым, ни Короленко к “аристократам” не принадлежали, даже в такой мелочи не желая выделяться из среды остальных товарищей, не имевших средств позволить себе даже и такую скромную “роскошь”. В Пааленкове и Анненском, как людях значительно старших поколений, эту черту мы очень ценили», — заявлял впоследствии один из бывших заключенных.

В. Г. Короленко в «Истории моего современника» подробно описывает немало интереснейших подробностей своего совместного с Павленковым пребывания в Вышневолоцкой тюрьме.

«Утром туда внесли еще одну кровать, уже седьмую. Лаптев сообщил обитателям, что на этот раз к ним прибыл “майор” Павленков. Вид у Лаптева был особенно торжественный, — замечает Короленко. — Смотритель, безусловно, гордился тем, что под его начальством состоят и коллежские советники, и “майоры”...» Затем он пишет: «...В тот же день, после вечерней проверки, дверь нашей камеры открылась, и в нее вошел Ипполит Павлович. Он пришел познакомиться с “майором”. Войдя, он прямо подошел к его койке и, попросив дозволения, присел на ближайшую кровать.

Я очень жалею, что не могу воспроизвести эту картину. Друг против друга сидели два человека, представлявшие прямую противоположность. Лаптев, огромный, неуклюжий, с топорным лицом простодушного гиганта, в мундире, застегнутом на все пуговицы, как будто он явился к начальству. И против него — маленький человек в арестантском халате, с маленькими чертами лица и вздернутым носиком. Его живые темные глаза сверкали лукавой усмешкой...

Некоторое время оба молчали и глядели друг на друга. Лаптев начал первый:

— Как же это, господин “майор”?..

— То есть?..

— То есть... За что же?..

Павленков пожал плечами и усмехнулся.

— Не знаю, — сказал он кратко...

— Ну... может быть, все-таки... хоть догадываетесь?..

— И не догадываюсь, — решительно сказал Павленков и, тотчас же, кинув исподлобья взгляд своих быстрых глаз на смущенное лицо Лаптева, прибавил: — А ведь я знаю, что вы сейчас подумали, господин смотритель.

— Это не может быть, — сказал Лаптев с сомнением.

— Вы сейчас подумали: вот бывший офицер, отставной майор... А как врет...

С Лаптевым случилось что-то необычайное. Его большие глаза остолбенели, он невольно поднялся со своего сиденья и растерянно оглянулся на нас всех.

— Правда, — сказал он с изумлением. — Ей-богу, правда... Извините меня, господин майор, но, ей-богу — подумал... И как вы могли угадать...»

«Впоследствии, когда мы все, свидетели этой сцены, — утверждал Короленко, — давно оставили Вышневолоцкую политическую тюрьму и наши места заняли другие временные жильцы, Лаптев любил показывать места, где у него жил надворный советник и писатель Анненский, другой писатель — Волохов и, наконец, — издатель многих книг, майор Павленков.

— Проницательный человек, — прибавлял он каждый раз, — мысли в душе человека читает, как в открытой книге...»

Все, кто близко знал Флорентия Федоровича, отмечают, что в отношениях с разного рода начальством он всегда как бы преобразовывался. Ему доставляло прямо-таки наслаждение загонять в угол каждого, причислявшего себя к этому разряду людей. «Мне приходилось присутствовать, — рассказывал Швецов, — при его беседах со всяким начальством, начиная с директора полиции исполнительной Коссаговского, приезжавшего в Вышневолоцкую тюрьму, и до мелкой смотрительской сошки и жандармских ротмистров. И всегда наблюдалось одно и то же: овладевая разговором, Флорентий Федорович очень быстро ставил своего собеседника в смешное и беспомощное положение. Окружающая публика приходила в веселое настроение, сам же Флорентий Федорович оставался серьезным и, как всегда, безукоризненно вежливым и корректным. Нам эти беседы доставляли истинное наслаждение».

Время, проведенное в тюремном застенке, Павленков не терял даром. Он и здесь, в Вышнем Волочке, изыскивал возможность продолжать свои литературно-издательские работы. Выяснив, что встречи заключенных с посетителями не возбраняются, Павленков сообщает об этом В. Д. Черкасову, который приезжает, чтобы получить совет по тому или иному

вопросу.

Владея в совершенстве французским языком, Флорентий Федорович не упускал возможности, чтобы расширять свои лингвистические познания. В Вышневолоцкой тюрьме он, к примеру, занимался английским языком.

А по вечерам, когда камера запиралась, Флорентий Федорович и Швецов устраивались на своих кроватях, а Николай Федорович Анненский приступал к чтению вслух Шекспира. А затем — обменивались впечатлениями.

Флорентий Федорович внешне казался человеком мрачным, неразговорчивым. Однако в кругу близких людей Павленков был общителен, не чурался юмора. Однажды в камере Вышневолоцкой тюрьмы среди ее обитателей разгорелась дискуссия о происхождении человека. Флорентий Федорович медленно прогуливался из угла в угол, больше слушал, нежели сам говорил. Но в разгар спора вмешался, притом самым неожиданным образом.

— Да зачем далеко ходить за доказательствами, — вдруг прервал он молчание, — посмотрите хорошенько на меня и вы должны будете все согласиться, что человек произошел от обезьяны!

«Сказано это было невозмутимо серьезным тоном, — свидетельствовал С. П. Швецов. — Прогулка продолжалась. Камера заливалась хохотом. И нельзя было не смеяться, глядя на эту медленно двигающуюся с серьезным видом тощую фигуру, обтянутую узким холстом не по росту сшитых арестантских портов и рубахи, с голым неправильным, шишковатым черепом и длинными руками, мерно колебавшимися в такт шагу. Сходство с обезьяной, пожалуй, было и действительно».

В апреле 1880 года смотритель тюрьмы Лаптев сообщил, что губернатор распорядился готовить первую партию ссыльных в Сибирь. По открытию навигации они должны были отправиться в путь.

Началась подготовка к отъезду. Списывались с родными, узнавали условия пересылки в Сибирь политических партий. Каждый стремился запастись всем необходимым для такого длительного путешествия. Однако Лаптев вскоре огорошил новым распоряжением губернатора — вещей дозволено брать с собой не более тридцати фунтов на человека. Никаких чемоданов, сундуков, один казенный мешок — и только!

Безусловно, люди стали волноваться: как быть с имеющимися у них книгами, со слесарными инструментами, можно ли отправляться в сибирские холода без теплого платья, белья?

Однако перед Пасхой приехал член Верховной комиссии, князь



Имеретинский. Он пожелал встретиться и поговорить с каждым ссылкойным. Выслушал просьбы заключенных и обещал разобраться.

Одних распорядился освободить уже с дороги — кого в Томске, кого в Красноярске. Для других ссылка в Восточную Сибирь была изменена на Западную Сибирь. Спустя несколько месяцев Ф. Ф. Павленков и Н. Ф. Анненский были освобождены от ссылки.

## БОРЬБА ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ СИБИРИ

Когда Флорентий Федорович узнал в Тюмени, что местом ссылки определен ему уездный городок Ялуторовск на реке Тобол, то сразу стал наводить о нем справки. Оказалось, что не только во все края России, но и в Турцию, в Лондон, в Лейпциг шла оттуда продукция маслоделательных заводов, винокуренных, мукомольных и кожевенных производств. Да и жителей городок в те годы насчитывал до четырех тысяч человек. И от Тюмени путь был не так уж и долог.

Когда приехал в город, то узнал немало удивительного. Показали дом, где жил декабрист Матвей Иванович Муравьев-Апостол. Потом узнал, что тут на поселении находилась целая колония декабристов — Иван Дмитриевич Якушкин, Иван Иванович Пущин, Николай Васильевич Басаргин, Василий Карлович Тизенгаузен, Евгений Петрович Оболенский, Андрей Васильевич Ентальцев, Василий Иванович Враницкий...

Флорентию Федоровичу сообщили также, что именно декабрист Якушкин открыл в Ялуторовском первые в Сибири бесплатные общедоступные школы для мальчиков и для девочек.

Старожилы поведали ссыльному Павленкову и еще об одном легендарном человеке. На каторжные работы на местный стеклозавод ссылали отважного малоросса, бунтаря, мечтающего о «казацкой вольнице» — Устима Кармелюка. Атаман, в войске которого на борьбу с крепостной неволей собиралось до двадцати тысяч крестьян, сумел бежать из Ялуторовска и вновь туда водворялся...

Знакомился Павленков и с обитателями Ялуторовска, сосланными туда за участие в народническом движении семидесятых годов — В. М. Муратовым, С. Л. Чудновским, Е. Ф. Ермолаевой, С. Л. Геллером, польскими революционерами А. А. Полячком и Л. А. Белецким.

Одной из достопримечательностей городка, о чем тут же сообщили Флорентию Федоровичу по приезде, были ярмарки. Никольские, Рождественские, Знаменские, Вознесенские — каждая из этих ярмарок собирала людей со всей округи больше, чем в соседних уездах. Места в Ялуторовске красивые. Из окон второго этажа можно было любоваться тянущимися до горизонта широкими лугами, сверкающей гладью Тобола...

Но Павленков постоянно думал о возвращении в столицу, поэтому каждый день, проведенный в Ялуторовске, был посвящен одному — борьбе за свое освобождение.

Сохранилось «Дело Тобольского общего губернского управления о ссылке в Тобольскую губернию Н. Ф. Анненского и Ф. Ф. Павленкова». 21 июня 1880 года тобольский губернатор получил секретное уведомление из Омска, из Главного управления Западной Сибири. Ему сообщалось, что согласно распоряжению главного начальника Верховной распорядительной комиссии проживающий в Санкт-Петербурге под надзором полиции отставной поручик Флорентий Павленков вследствие политической неблагонадежности в минувшем мае был выслан в Тюмень для распределения на жительство в одну из губерний по усмотрению местных властей. В уведомлении указывалось, что из сообщенной тверским губернатором копии со статейного списка Павленкова «не усматривается других более подробных сведений об условиях его высылки».

Губернатору поручалось «сделать распоряжение о снятии... с Павленкова фотографических карточек» в количестве 12 штук. Предполагалось поселить его в Ялуторовск «с учреждением... установленного полицейского надзора».

24 июня тобольский губернатор дает предписание Тюменскому окружному исправнику за № 3782 о пересылке Флорентия Павленкова в Ялуторовск, а начальника Тобольского жандармского управления просит назначить двух жандармов для сопровождения Павленкова к месту ссылки. Ялуторовский исправник также получает предписание (№ 3783) об учреждении полицейского надзора за Павленковым.

И еще один документ вынужден был подписывать тобольский губернатор. 10 июля 1880 года (№ 4214) он обязывает управляющего почтовой частью в Тобольской губернии «сделать распоряжение о передаче корреспонденции, адресуемой на имя... отставного поручика Флорентия Павленкова, на просмотр местного окружного исправника и о последующем уведомлять».

25 июня 1880 года в адрес тобольского губернатора поступила еще одна депеша из Главного управления Западной Сибири. Содержащаяся в ней информация, нетрудно установить, была получена от тверского губернатора. Во время содержания в Вышневолоцкой политической тюрьме Павленков «заявил члену Верховной распорядительной комиссии князю Имеретинскому, при осмотре им сей тюрьмы, ходатайство о разрешении прибыть в Петербург для устройства своих имущественных дел». В депеше сообщалось, что после доклада начальнику этой комиссии

его сиятельство «соизволил приказать объявить Павленкову, что в настоящее время просьба его не может быть удовлетворена, но если на новом месте жительства Павленков до конца сего года не подаст повода к замечаниям, то тогда может быть возобновлено ходатайство о смягчении его участи». Из депеши явствует, что Павленков был отправлен из Вышневолоцкой тюрьмы в Западную Сибирь 9 мая 1880 года.

Все эти поручения нужно было довести до сведения ссыльного. Предписанием № 3994 тобольский губернатор требовал от ялуторовского исправника взять подписку от Павленкова о том, что ему было объявлено данное распоряжение. 18 августа 1880 года ялуторовский окружной исправник Розанов пересылал полученную от ссыльного расписку.

8 июля 1880 года ялуторовский окружной исправник в рапорте тобольскому губернатору сообщал точную дату прибытия Павленкова к окончательному месту ссылки. Приведем этот документ со всеми особенностями полицейского стиля: «При отношении тюменского окружного исправника от 1-го июля сего года за № 942, прислан отставной поручик Флорентий Павленков для водворения его на место жительства в город Ялуторовск, которым и водворен 2-го сего июля, с учинением над ним полицейского надзора. О чем Вашему превосходительству имею честь донести, на предписание, от 24 июня сего года за № 3783».

14 июля ялуторовский окружной исправник в рапорте тобольскому губернатору доносил, что ссыльный-де прислан ему «не по форме». И сообщал: «...копии со статейного о нем списка и фотографической с него карточки мне до настоящего времени не выслано».

На документе сохранилась лаконичная резолюция: «Нужное исполнить». 18 июля сведения об этом пошли исправнику. А 21 июля губернатор ставил в известность о водворении Ф. Ф. Павленкова в Ялуторовск также генерал-губернатора Западной Сибири и Третье отделение.

21 июля 1880 года тобольскому губернатору докладывал управляющий почтовой частью в Тобольской губернии о том, что поручение его выполнено и почтовой конторе в Ялуторовске соответствующее поручение дано.

26 августа ялуторовский окружной исправник пересылает на рассмотрение управляющего Тобольской губернией прошение от Павленкова на имя министра внутренних дел о разрешении ему въезда в Санкт-Петербург. Чтобы не закралось никакого сомнения в его собственном служебном нерадении, исправник повторяет сведения, что соответствующий отказ в такой просьбе ссыльному был своевременно

сообщен. На рапорте была поставлена резолюция: «По справке, как был аттестован в поведении, представить».

Но о чем же просил сам Ф. Ф. Павленков? Письмо его сохранилось: «Господину министру внутренних дел, генерал-адъютанту, графу Лорис-Меликову от находящегося в административной ссылке отставного поручика Павленкова.

Прошение

В апреле месяце я просил Ваше Сиятельство, через князя Имеретинского, о разрешении мне въезда в Санкт-Петербург. В ответе на это прошение Вы приказали мне объявить, что не можете его удовлетворить так скоро, как я бы желал, но что в конце настоящего года, если за все это время обо мне не последует никаких замечаний, я могу возобновить свое ходатайство.

Основываясь на такой Вашей резолюции и зная, что с моей стороны не было никаких поводов к дурным замечаниям, я — с наступлением последней трети года — решаюсь возобновить перед Вашим Сиятельством мое прежнее ходатайство, тем более, что официальное течение бумаг делает невозможным мое фактическое освобождение ранее октября.

Отставной поручик гвардейской артиллерии Флорентий Павленков. Ялуторовск (Тоб. губ.) 22 августа 1880 года».

Официальное «прошение» было передано по установленным каналам — через местного губернатора, а другое, более пространное, неофициальное, Флорентий Федорович решает передать друзьям в Петербург, чтобы они нашли возможность доставить письмо лично министру внутренних дел графу М. Т. Лорис-Меликову.

В этом документе содержатся сведения об истинных причинах, которые послужили основанием ареста Павленкова, содержания его в тюрьмах и ссылки в Западную Сибирь. Он разбивает все возведенные против него обвинения и требует прекратить неоправданные гонения, которым подвергается.

«Ваше Сиятельство! — пишет Флорентий Федорович. — Будущий историк III отделения, честь упразднения которого принадлежит Вам, должен будет сказать, что последней его жертвой был петербургский издатель, некто Ф. Павленков, которого — при появлении на государственной арене графа Лорис-Меликова — сослали в Сибирь не только без суда и следствия, но даже без всякого объяснения причин и без каких-либо то ни было допросов. Причины эти так тщательно скрывались, что об них не только не знал пострадавший, но даже те высокопоставленные лица, которые принимали в нем участие и желали

узнать истину.

Но это будет сказано не так скоро, а пока положение мое в высшей степени прискорбно, почти невыносимо: будучи выслан без объяснения причин, я лишен всякой возможности привести в свою защиту какие-либо оправдания. Что отвергать, против чего представлять возражения и доказательства — я не могу даже и придумать. Те туманные сообщения, которые до меня дошли в последнее время частным путем, окончательно сбивают меня с толка. Так, например, один мой близкий знакомый говорит, что будто бы моя фамилия найдена в списках тайной типографии, открытой в Саперном переулке. Хотя это вполне немыслимая вещь, но попробую допустить на минуту существование факта, чтобы посмотреть, что из этого выйдет.

Прежде всего, необходимо знать, какого рода этот список. Если это список лиц, которым предполагалось послать “Народную волю”, то занесение в него чьей-либо фамилии не может иметь решительно никакого значения, потому что было время, когда этот листок рассылался весьма щедро, и я зимой прошлого года действительно получил в конверте два номера (2-й и 3-й) “Земли и Воли”, о чем знал бывший шеф жандармов генерал-адъютант Дрентельн. Наконец, в этом году, как известно из газет, “Народная воля” была доставлена неизвестным лицом даже Вашему Сиятельству, когда Вы занимали пост главного начальника Верховной распорядительной комиссии.

Если в упомянутый мною список занесены, по мнению сыскных агентов Зурова, люди сочувствовавшие и содействовавшие типографии, то, оставляя пока в стороне всю невероятность существования таких ревизских сказок по их бесцельности, мы невольно наталкиваемся на вопрос — не существует ли в упраздненном теперь III отделении списка лиц, когда-либо привлекавшихся к так называемым политическим делам, и не стоит ли там фамилия Павленкова в нескольких экземплярах? Находясь в Тюмени, я хотя случайно, но совершенно доподлинно узнал, что перед III отделением в разное время фигурировали еще два каких-то “политических” Павленкова. Почему же, если в списках типографии оказалась эта фамилия, то она должна быть поставлена на счет Флорентия Павленкова? Потому что он издатель? Странное основание! Но как же можно не только прямо, а хотя бы косвенно содействовать тайной типографии, не имея ни одного знакомого между людьми, прикосновенными к ней? А ведь я — даю Вам честное слово — знал об этих людях столько же, сколько Вы знали о том, что Вам будет почти открыто доставлена “Народная воля”. Прибавляю, что я сам был свидетелем того, как III отделение иногда спутывает фамилии.

Вместе со мной в Вышневолоцкой политической тюрьме сидел беллетрист Петр Волохов, назначенный административным порядком к высылке в Восточную Сибирь. Он тоже не знал, за что его постигла такая строгая кара, потому что ссылался без объяснения причин. Но когда в тюрьму приехал, по Вашему поручению, князь Имеретинский, со множеством различных справок, и стал делать ему вопросы, то мало-помалу выяснилось, что это совсем не тот Волохов, какой должен быть сослан, а лишь его однофамилец, что его не только иначе зовут, но он даже не был в Петербурге в то время, когда, по сведениям III отделения, имевшимся в портфеле князя, его будто бы обыскивали, нашли у него склад запрещенных изданий, арестовали, после чего он бежал, был снова пойман и пр. и пр. Тем не менее, Волохов через три недели после открывшегося недоразумения был все-таки отправлен общим порядком в Сибирь и только на дороге, в Перми, остановлен. То же, вероятно, было бы и со мной, если бы князь Имеретинский мог объяснить, за что именно я ссылался. Но он прямо сказал, что-де “относительно Вас у меня нет никаких сведений”. Вследствие долговременной практики я научился понимать (в смысле прискорбного факта) возможность ссылок без суда и следствия, но ссылка в Сибирь без объяснения причин — для меня, признаюсь, совершенно непонятна. Возвращаюсь снова к пресловутому “списку”. Я сказал, что считаю список лиц, содействовавших типографии, решительно немислимой вещью — нет цели для такой курьезной регистрации. В самом деле, если тайные типографии могли так долго держаться, то только потому, что в них принимало участие весьма ограниченное число лиц. Составлять им список для самих себя — значило бы то же самое, что заносить в памятную книжку имена своих братьев и сестер. Вероятно ли, чтобы монах вел списки своих возлюбленных, когда этого не делают даже миряне? Вот почему я совершенно не верю дошедшему до меня недавно сообщению. В фиктивности его меня убеждает еще и то, что если бы даже и оказался такой список (он мог быть только нарочно составлен ради какой-нибудь отместки или подделан чересчур усердными низшими сыскными агентами), то мою фамилию приписали к нему впоследствии, иначе я был бы арестован месяцем раньше действительного; ведь типография в Саперном переулке была открыта, кажется, в начале февраля, если не ранее, а меня взяли в начале марта, именно 8 числа.

Наконец, для меня непонятно само ядро подозрений, выводимых из фантастического списка. Уж если можно в чем обвинить, то скорее в равнодушии, чем в сочувствии к каким-либо форсированным “пропагандам”: я не только не верю в целесообразность тайных листков, но

даже сомневаюсь вообще в силе печати без сопутствующего ей распространения народного образования. Все мои издания поэтому имеют в виду преимущественно обучение и развитие. Теперь представьте себе мое положение: единственное имеющееся у меня частное сообщение о причинах моей ссылки до такой степени неправдоподобно, до того напоминает собой изданные мною для детей “Наглядные несообразности”, что, получивши его, я очутился в еще больших потемках, чем прежде. Признаюсь, я долго затруднялся говорить об этом сообщении Вашему Сиятельству из опасения, чтобы Вы как-нибудь не заподозрили меня в притворно-наивной мистификации. Но мысль, что в систему провозглашенной Вами политики умиротворения не может входить недоверие *quand tème* — это маховое колесо прежнего режима — дала мне смелость высказать перед Вами, так сказать, неофициально. Конечно, в официальной бумаге, в так называемом “прошении”, которое я уже подал Вашему Сиятельству сегодняшним днем по обычному порядку (через губернатора), мне было бы совершенно невозможно говорить о сообщениях, сомнениях, предположениях и т. п. Здесь же Вы, вероятно, меня не осудите, если я скажу, что я пострадал совершенно безвинно (сам докладчик по моему делу в этом вполне убежден) и даже был бы рад, если бы знал за собой какой-нибудь компрометирующий проступок, потому что тогда я был бы, по крайней мере, спокоен и молчал — к молчанию меня обязывал бы долг чести. Но теперь совсем иное дело: сознание правоты слишком сильно говорит во мне.

Я знаю, что Вы желаете истины, справедливости, признания и гарантирования общественных и частных прав; сам один из первых порадовался Вашему призыву к руководящей роли в Вашей высшей администрации, но тем больнее было для меня получить в самый момент моих личных радостей тот удар, который мне нанесла нежданно-негаданно моя внезапная ссылка. Ссылка эта обошлась, а, вернее, об-холится мне очень дорого не только в материальном, но и, в особенности, в нравственном отношении.

Со всеми этими материальными потерями можно было бы, однако, на время примириться, но я не нахожу в себе сил помириться с несчастьем совершенно иного рода: моя племянница Елена Ермолаевна Шнейдер, судьба которой для меня дороже жизни, тяжело заболела. При теперешнем своем положении не только не могу ничем ей помочь, но даже лишен возможности ее видеть. Болезнь ее такого рода, что я рискую ее совсем потерять...

В апреле месяце я просил Ваше Сиятельство через князя



Имеретинского: о разрешении мне выезда в Петербург. В ответ на это прошение Вы приказали объявить, что оно “в настоящее время не может быть удовлетворено” (настоящим временем был тогда май), но что в конце года, если обо мне не последует никаких замечаний, я могу возобновить свое ходатайство...

Основываясь именно на Вашем собственном решении, я позволяю себе теперь — с наступлением последней трети года — возобновить перед Вами свое апрельское ходатайство подачей формального прошения, отправленного вчера по установленному порядку в Tobольск. Со времени моего исключения из общества прошло более полугода. Политическая атмосфера Петербурга, наравне со всею мыслящею частью России, с тех пор стала неузнаваема, и если тогда мое удаление из столицы могло обуславливаться общими тревожными настроениями, никогда и нигде не обходящимися без гекатомб, то теперь едва ли существуют эти причины.

Как бы ни были велики мои временные личные невзгоды, но, становясь на общую точку зрения, я считаю не только формальным, но и нравственным долгом свидетельствовать Вам свое глубочайшее искреннее уважение как государственному деятелю, открывавшему собой новый освежающий период нашей жизни.

Флорентий Павленков. Не судите, Ваше Сиятельство, за неформальность. Ялуторовск, 23 августа 1880 г.».

Какой же результат пожинал Павленков после того, как его проникновенная исповедь попала в руки «Их Сиятельства»? Нужно сказать, что это был первый период деятельности нового министра внутренних дел и ему льстило слыть либералом. Видимо, немаловажную роль сыграло прежде всего это обстоятельство, а вовсе не сама абсурдность не... предъявленных политическому ссыльному никаких обвинений! И тем не менее факт остается фактом: 11 сентября 1880 года исправляющий делами тобольского губернатора получает из Главного управления Западной Сибири депешу, проясняющую обстоятельства дальнейшей судьбы Павленкова. Вот что в ней говорилось: «В настоящем году, по распоряжению главного начальника Верховной распорядительной комиссии был выслан из С.-Петербурга административным порядком в Западную Сибирь, под надзор полиции отставной поручик Флорентий Павленков, назначенный генерал-губернатором на жительство в г. Ялуторовск (предписание от 21 июля за № 4450). Ныне генерал-адъютант граф Лорис-Меликов (как видно из отзыва его, от 6 сего августа за № 5524) признал возможным дозволить Павленкову возвратиться в столицу в том

случае, если он представит благонадежных поручителей с личной ответственностью за его дальнейшее безукоризненное поведение. Имею честь сообщить об этом Вашему Превосходительству для надлежащего распоряжения и объявления по принадлежности, покорнейше прося Вас о последующем меня уведомить».

Друзья из Петербурга тут же ставят Павленкова в известность о принятом министром решении. Однако официальные каналы хранили молчание. Поэтому 11 сентября 1880 года Павленков посылает в 7 часов 40 минут утра телеграмму в Тобольск следующего содержания: «Не откажите телеграфировать, когда и куда отправлено мое прошение об освобождении. Ответ — десять слов — уплачен. Павленков». На этой телеграмме под номером 39 имеется пометка: «Доложено господину исправляющему делами губернатора. Приказано послать ответ исправнику».

И действительно, уже на следующий день, 12 сентября, была отправлена в Ялуторовск телеграмма: «По возвращению Павленкова предписание Вам послано». В телеграмме указывается, что предписание губернатора датировано этим же 12 сентября. В упомянутом предписании за № 5970 содержалось требование дать отзыв о поведении Павленкова.

Через десять дней, 22 сентября, ялуторовский окружной исправник Розанов посылает управляющему тобольской губернии рапорт: «Во исполнении предписания от 12-го сего сентября за № 5970 имею честь представить при этом Вашему Превосходительству заявление находящегося под надзором полиции отставного поручика гвардейского артиллерии Флорентия Павленкова на имя его Высокопревосходительства господина министра внутренних дел по поводу возвращения его, Павленкова, в С.-Петербург». Этот документ не вносит ясности в создавшуюся ситуацию. Выходит, что до 26 августа ялуторовский исправник прошения Павленкова не пересылал? Или же он повторно направляет его?

Так или иначе, но факт неопровержимый: предписание из Тобольска шло до Ялуторовска крайне медленно. Флорентий Федорович находился в нервном возбуждении: ему казалось, что желанное освобождение может из-за какой-то случайности не состояться. И уже 16 сентября он в 8 часов 40 минут утра посылает новую телеграмму в Тобольск: «Предписание, о котором Вы телеграфировали 12 числа, до сих пор не получено. Ваша телеграмма возбудила недоразумения. Не откажитесь сказать мне определительно, предоставлено ли мне вернуться в Петербург. Ответ 20 слов уплачен. Павленков».

На следующий день, 13 сентября, начальник отделения Кузнецов

телеграфирует в Ялуторовск исправнику: «Начальником губернии приказано объявить Павленкову, что заявление его представлено генерал-губернатору 10 сентября № 6569». Как видим, и этот ответ уклончив. Ясности никакой нет. Терпение уже на пределе. Поэтому 9 октября 1880 года Ф. Ф. Павленков обращается к Кузнецову с пространственным письмом: «Милостивый государь Евгений Андреевич! 16-го сентября я послал Вам телеграмму с уплаченным ответом в 20 слов, на которую с Вашей стороны не последовало ответа. Не откажите в счет этих уплаченных мною 20 слов телеграфировать мне, когда тобольский губернатор отправил в Омск мое заявление министру внутренних дел от 18 сентября и за каким номером была бумага, при котором он препроводил это заявление генерал-губернатору Западной Сибири. Примите уверение в моем к Вам почтении. Ф. Павленков».

Под письмом приписка: «Читал исправник Розанов».

Как только Флорентию Федоровичу сообщили о решении министра, он тут же думает: кто бы мог стать «поручителем»? И решает обратиться в первую очередь к своим друзьям — барону Н. А. Корфу, публицисту и литератору В. О. Португалову и В. Д. Черкасову. Все они откликнулись на его просьбу.

14 ноября 1880 года последовало из Омска тобольскому губернатору распоряжение за № 1971 «По предмету возвращения Павленкова в С.-Петербург». Вот что говорилось в этом документе: «От 31 минувшего августа, за № 1385 председательствовавшим в совете главного управления Западной Сибири было сообщено управляющему Тобольской губернией о возможности возвращения в С.-Петербург высланного в Западную Сибирь под надзор полиции и водворенного на жительство в г. Ялуторовск отставного поручика Флорентия Федоровича Павленкова в том случае, если он представит за себя поручительство благонадежных лиц с личной их ответственностью за его дальнейшее безукоризненное поведение. Ныне управляющий Сысертскими горными заводами Владимир Дмитриевич Черкасов телеграммой на имя министра внутренних дел заявил желание о принятии на себя упомянутого поручительства за Павленкова.

О таком заявлении Черкасова, сообщенном мне департаментом государственной полиции, от 15 минувшего октября № 7774, имею честь уведомить Ваше Превосходительство для дальнейшего распоряжения в отношении Павленкова в том случае, если Черкасов, по местным сведениям, окажется личностью, настолько знающею Павленкова и благонадежным, что поручительство его может быть принято как несомненная гарантия в безвредном направлении Павленкова, причем

покорнейше прошу Вас, милостивый государь, поручительную подписку Черкасова по настоящему предмету доставить мне.

Временно исправляющий должность генерал-губернатора генерал-адъютант Мещеринов».

28 ноября 1880 года тобольский губернатор обращается с отношением № 7332 к своему пермскому коллеге, просит его доставить поручительную записку Черкасова за Павленкова, а также сведения о личности Черкасова и его благонадежности.

Однако и в Перми никакой спешки с ответом на это отношение, естественно, не наблюдалось. Дело стояло на месте. Очевидно, торопить его можно было лишь через петербургских друзей. И Павленков 22 декабря 1880 года из Омска в Тобольск от Мещеринова отправляет телеграмму № 833: «Телеграфируйте немедленно на предложение 14 ноября номер 1971, принято ли Вами поручительство Черкасова за Павленкова и каково сделано распоряжение относительно последнего».

В ответ сообщалось о сделанном запросе в Пермь и о том, что туда направлена телеграмма с просьбой ускорить ответ на отношение от 28 ноября № 7332 о Павленкове. Наконец-то отозвалась и Пермь. Местный губернатор телеграфировал в Омск генерал-губернатору: «... Поручительная подписка Черкасова будет представлена Вашему Превосходительству первой почтой (сего числа)».

Можно предположить, что Пермь запрашивал параллельно и Петербург. Ибо губернатор и туда давал ответ. 26 декабря 1880 года в Тобольск поступает копия его телеграммы из Петербурга: «О Черкасове ничего предосудительного мне неизвестно...»

30 декабря 1880 года в Тобольске получили рапорт екатеринбургского уездного исправника: «Имею честь представить поручительную подписку гвардии штабс-капитана Владимира Дмитриева Черкасова о высланном в Западную Сибирь отставном поручике Флорентии Павленкове, и донести, что Черкасов состоит управляющим Сысертскими горными заводами с недавнего времени, раньше во введенном мне уезде не проживал, но, тем не менее, пользуется здесь репутацией безукоризненного человека и в политической неблагонадежности замечен не был. По его отзыву, знает он Павленкова со времени совместного с ним обучения в Михайловской артиллерийской академии, и затем общей службы в гвардейской конной артиллерии и, наконец, по общей литературной и издательской деятельности».

Сохранилась также копия прошения В. О. Португалова к М. Т. Лорис-Меликову. «Доступность и популярность, которыми прославились Вы на

всем пространстве Русской империи, — читаем в письме, — причиняет Вашему Сиятельству много неудобства. Простите великодушно и за это мое странное к Вам обращение.

Из глубины Сибири, из Ялуторовска, я получил письмо от Павленкова, в котором он пишет, что Вы разрешите ему вернуться в Петербург, если он представит верное поручительство.

Ваше Сиятельство! Я прожил сорок пять лет. Лет тридцать как я прихожу в столкновение с учеными, с литераторами, с писателями, с общественными деятелями. Смею Вас уверить, что в жизни я не встречал более гениального, более талантливого человека, как Павленков. При других обстоятельствах и в другой стране Павленков стал бы неувядаемой славой своей страны, а у нас он всю жизнь проводит в ссылках, тюрьмах, в изгнании, в преследовании. Я его знаю как человека крайне мягкой души, неспособного ни на какие крайности и вполне преданного легальным интересам народной школы. Вот почему я позволю себе ручаться перед Вашим Сиятельством за дальнейшее безукоризненное поведение Павленкова.

Не лишайте Россию одного из полезнейших сынов ее... Примите уверение в искреннем и глубоком уважении к Вашему Сиятельству русского писателя и врача. В. Португалов».

Прочитав это письмо, министр почувствовал необъяснимую неприязнь к его автору. Что-то дерзкое и неуважительное сквозило в самом тоне письма этого русского писателя и врача. И он решает о нем самом навести справки.

Узнав о том, что Португалов — автор многочисленных статей, напечатанных в журналах «Дело», «Русское богатство», «Русская мысль», «Неделя», и постоянно привлекает к себе внимание, понимает, что, видимо, это не тот «поручитель», который нужен политическому ссыльному. Надо распорядиться, чтобы Павленков искал себе другого.

Но поскольку прошение В. Д. Черкасова, как уже говорилось, встретило более благосклонное к себе отношение, события развивались следующим образом.

Тобольский губернатор, получив сведения о В. Д. Черкасове, не стал медлить и в тот же день, 30 декабря 1880 года, за № 8008 отправил в Омск и поручительную записку Черкасова и данные о том, что, по местным сведениям, он пользуется репутацией безукоризненного человека.

9 января 1881 года из Омска было направлено ему отношение: «Признавая со своей стороны на основании этих сведений поручительство Черкасова за поведение Павленкова вполне благонадежным, имею честь

покорнейше просить Вас, милостивый государь, согласно предложению от 14-го ноября истекшего года за № 1971, сделать надлежащее распоряжение к возвращению Павленкова в С.-Петербург и о последующем мне донести». Это пишет Мещеринов.

20 января 1881 года в Тобольск поступает запрос из Петербурга: «Не откажите телеграфировать сообщенные Вам екатеринбургским исправником 24 декабря № 4891 сведения о Черкасове. Директор барон Валио».

Ответ дается в тот же день, повторяются в нем уже известные сведения о Черкасове, а также сообщается, что он получил распоряжение от генерал-губернатора о возвращении Павленкова в Петербург. После отправки телеграммы в Петербург тобольский губернатор стремится быстрее избавиться от ссыльного Павленкова, доставившего ему столь много хлопот. Но вновь возникает неясность. В полученном предписании не сказано: как отправлять его — за чей счет? Распоряжений никаких по сему поводу не сделано. Значит, надо вновь обращаться в Омск. «Имею честь покорнейше просить Ваше Высокопревосходительство, — пишет он 20 января генерал-губернатору, — ...дать знать: на чей счет должен быть отправлен в Петербург ссыльный Павленков».

Пока канцелярии вершат свои бумажные дела, ссыльный Ф. Ф. Павленков по-прежнему остается в неведении, как решится его судьба. Наконец 7 января 1881 года он не выдерживает и пишет из Ялуторовска пространное письмо тобольскому губернатору: «Ваше Превосходительство! С августа прошлого года тянется переписка о моем освобождении. Целые полгода я нахожусь, таким образом, в выжидательном положении. Между тем мои издательские дела ежеминутно призывают меня в Петербург и каждый лишний месяц ссылки наносит мне чувствительный материальный ущерб, не говоря уже о неудобствах другого рода, которых нельзя выразить цифрами. Зная все это, Вы, по всей вероятности, не откажите хотя несколько приподнять ту завесу, которая делает для меня совершенно непонятной всю процедуру последних формальностей, соединенных с простым отображением подписки от одного из моих поручителей — управляющего Сысертскими горными заводами В. Д. Черкасова. Черкасов писал мне, что подписка эта была взята с него около 20 декабря вследствие Вашего сношения с пермским губернатором.

Я бы крайне был Вам обязан, если бы Вы вывели меня из неопределенного положения и ответили бы мне на следующие вопросы:

1) Имеете ли Вы полномочия, по получению подписки Черкасова, тотчас же освободить меня, не сносясь с генерал-губернатором?

2) Если не имеете, то куда должна быть отправлена Вами эта подписка и с какого рода объяснениями?

3) Получена ли Вами подписка Черкасова от пермского губернатора, и если она подлежит отправлению, то когда и кому отправлена? С истинным почтением имею честь быть Вашим покорнейшим слугою Ф. Павленков».

На письме резолюция:

«Немедленно объявить ему через исправника о положении дела». Дата этой резолюции, очевидно, 25 января 1881 года.

А параллельно с этим крутится канцелярская карусель.

26 января из Омска в Тобольск посылается ответ на запрос по поводу способа отправки ссыльного. Исправляющий делами генерал-губернатора Мещеринов пишет: «Если у Павленкова нет собственных средств, то, согласно телеграмме департамента государственной полиции, снабдите его таковыми на путевые расходы до Петербурга на счет казны, по расчету прогонов, а где есть железная дорога, по тарифу 3 класса, причем объявите Павленкову, чтобы по приезде в Петербург заявил градоначальнику о прибытии».

Итак, теперь все ясно. 29 января 1881 года от тобольского губернатора ялуторовскому окружному исправнику направляется пространная секретная депеша, где излагается вся эпопея с получением всех документов, необходимых для освобождения ссыльного Ф. Ф. Павленкова, и затем даются распоряжения:

«Давая знать о вышеизложенном для немедленного объявления Павленкову с подпиской и препровождая при этом билет на следование его в С.-Петербург, предписываю Вашему Высокоблагородию, по наложению на билет в счет Павленкова гербовой марки 60 коп. достоинством, выдать таковой ему и в случае, если он действительно не имеет собственных средств для следования до Петербурга, то об отпуске таковых донести мне телеграммою, представив независимо сего надлежащий по предмету сему отзыв Павленкова вместе с подпискою в объявлении ему распоряжения о возвращении из Сибири и получении билета, а своевременно и сведения о выезде его из Ялуторовска».

Представляет интерес и сам билет № 312. «Дан настоящий билет от тобольского губернатора, за надлежащим подписанием, с приложением казенной печати, состоявшему под надзором полиции в г. Ялуторовске, Тобольской губернии, отставному поручику Флорентию Павленкову на следование его, согласно распоряжению господина министра внутренних дел, изложенному в предложении временно исправляющего должность генерал-губернатора Западной Сибири от 9 января 1881 года за № 80, в С.-

Петербург с тем, чтобы о прибытии своем туда он, Павленков, заявил местному градоначальнику».

13 февраля 1881 года окружной поручик Ялutorовска Розанов в своем рапорте тобольскому губернатору сообщал о выезде своего поднадзорного. «Вследствие предписания от 29 минувшего января за № 581 имею честь почтительнейше донести Вашему Превосходительству, что Павленков из города Ялutorовска выехал 11-го сего февраля».

К рапорту был приложен документ:

«Подписка. 1881 год, 3 февраля, я ниже подписавшийся дал сию подписку господину ялutorовскому окружному исправнику в том, что предписание господина тобольского губернатора от 29 минувшего января за № 581 об освобождении меня от административной ссылки и дозволении вернуться в Петербург объявлено и билет на проезд в столицу мною получен. Собственные средства имею. Отставной поручик Ф. Павленков».

28 февраля 1881 года отношением № 1169 губернатор информировал Омск об отъезде из губернии ссыльного издателя.

Кроме Черкасова поддерживают Павленкова и многие его друзья. Так, барон Н. А. Корф еще 21 мая 1880 года, получив в Женеве письмо Флорентия Федоровича, в котором сообщалось о его отъезде из Вышнего Волочка в Сибирь, тут же пишет ему ответ. В нем он прежде всего хочет поддержать близкого ему человека, которого ждут еще неизвестно какие испытания: «...Я могу найти облегчение только в удовлетворении потребности дружески пожать Вашу руку и сказать Вам хоть несколько слов. До сих пор я все еще надеюсь, что правда восторжествует и Вы будете освобождены. Я говорю “правда”, потому что хотя наша переписка и была всегда, как Вы знаете, исключительно педагогическою и Ваши политические убеждения мне совершенно неизвестны, но из переписки с Вами я вынес непоколебимое убеждение в том, что Вы искренне и бескорыстно преданны делу народного образования, а потому никак и допустить не могу, чтобы человек, действительно желающий пользы народному просвещению, мог иметь что-нибудь общего с нашею так называемою “партиею действия” или “радикалами”, или “нигилистами”. Участвовать в возмутительнейших безобразиях этих господ было бы для деятеля по народному образованию не только не последовательно, но и свидетельствовало бы о крайне легкомысленном отношении к делу. Не говорю уже о том, что Вы мне неоднократно писали, что непричастны ни к чему и что слову Вашему я верю. Знаете ли, дорогой, что я могу сказать Вам в утешение: то, что я очень много горя вынес в своей жизни, испытал возмутительнейшую клевету, беспощаднейший эгоизм, самую черную



неблагодарность, но я не утратил веры в то, что, в конце концов, добро торжествует, но при одном лишь условии, если испытываемый судьбою не изменит культу добра, не пошатнется под гнетом обстоятельств.

Для того, чтобы достигнуть душевного мира, без которого немислимо счастье, прежде всего, простите в душе тем, которые заставили Вас страдать: они могли действовать *bona fide* (по совести, искренне. — В. Д.), как ни тяжело отозвались на Вас их ошибки. Затем — веруйте, веруйте в то, что если Вы не бросите работы, не измените теории деятеля по народному образованию о пересоздании народа путем школы в пределах закона, то будет еще праздник на Вашей улице; рядом с этим хлопочите о своем избавлении, и я обещаю Вам сделать все, что только буду в силах для того, чтобы власти вновь пересмотрели Ваше дело и выслушали Вас; ведь должно же быть здесь какое-то совершенно необходимое для меня недоразумение.

...Попробую написать в Петербург Елизавете Ивановне Чертковой, имеющей огромные и всеисильные связи и живущей для того, чтобы помогать страждущим, а мне кое-чем обязанной... Будьте человеческим, то есть не унывайте, но и не озлобляйтесь, а примите без ожесточения удары судьбы, и она из мачехи вновь станет Вам матерью. Работайте, в науке ищите утешения. Искренне Вам преданный барон Н. Корф».

В тот же день Н. А. Корф через В. Д. Черкасова посылает Павленкову копию своего письма, отправленного Е. И. Чертковой.

6 августа 1880 года Флорентий Федорович в ответ на письмо Н. А. Корфа уверяет барона в справедливости тех предположений, которые по этому вопросу у того возникли.

Обрадованный Николай Александрович 20 сентября 1880 года тут же пишет новое письмо в Ялуторовск, ставя в известность Флорентия Федоровича о том, что он уже успел сделать.

«С величайшим наслаждением, — сообщал Н. А. Корф, — прочел я Вашу политическую исповедь, так как из нее узнал о том, что Вы крайне далеки от тех врагов прогресса России, которые своими немалыми крайностями чуть не затормозили роста России и заставили безвинно страдать не одного Вас. Будем надеяться на то, что все меры, принятые гр. Лорис-Меликовым и сделанные им назначения предвосхищают и близкий конец Ваших страданий; я верю Вашему честному слову, а потому мысль о том, какое горе на Вас обрушилось, просто терзает меня. Эти сердечные страдания еще более усиливаются тем, что все, предпринятое мною до сих пор, не принесло никакого успеха: я писал Орлову, Е. И. Чертковой и управляющему делами печати Абазе, имея у каждого из названных особ,

как говорится, “сильную руку”. Но Абаза вовсе не отвечал мне, а Черткова отвечала очень любезно, причем, однако, указывала лишь на то, что гуманность гр. Лорис-Меликова сможет служить порукою за Ваше скорое освобождение, но что протекции граф решительно никакой не допускает; впрочем моя просьба передана Чертковой гр. Лорису-Меликову. В письме своем Вы указываете мне столько сильных людей, принимающих в Вас участие, что трудно себе и представить, чтобы Вам не удалось скоро оправиться».

Н. А. Корф далее приносит извинение Павленкову в связи с тем, что из-за болезни он не может отправиться в Петербург, чтобы похлопотать лично перед графом. «Поэтому я решился, — продолжает он, — с этой же почтою написать графу заказное письмо, к которому и приложу в подлиннике первый лист Вашего письма ко мне с Вашей политической исповедью. Выгода тут во всяком случае будет уже в том, что через 8 дней он прочтает мое письмо, от Ялуторовска нескоро достигнет Ваше письмо своего назначения».

6 декабря 1880 года Н. А. Корф шлет еще один отчет Павленкову о том, что сделал для быстрейшего освобождения издателя из ссылки. «В ответ на Ваше последнее письмо, дорогой Флорентий Федорович, вот Вам копия сегодня отправленного мною второго письма к Лорис-Меликову:

“В дополнение к первому письму своему позволяю себе отнять у Вашего Сиятельства и сегодня еще несколько секунд. Несчастный Флорентий Федорович Павленков, высланный в марте этого года из Петербурга в Ялуторовск, получал разрешение Вашего Сиятельства возвратиться в Петербург, если предоставит поручителя за себя. Живи я в Петербурге, то я просил бы о том, чтобы мне было дозволено быть поручителем за Павленкова, так как я глубоко убежден в его благонадежности. Теперь позволяю себе почтительнейше просить лишь о том, чтобы телеграммою, ввиду огромности расстояния, было разрешено Павленкову прибыть в Петербург для приискания поручителя, что я полагаю, будет легко достигнуто посредством личных сношений, так как там его знают весьма многие с самой отличной стороны”.

Пересылаю это письмо через Черкасова, так как не рассчитываю на то, чтобы оно Вас еще застало в Ялуторовске, а Черкасову будет постоянно известен Ваш адрес».

Еще в одном письме, теперь уже 27 декабря 1880 года, Н. А. Корф пишет Павленкову: «...Через Черкасова же я сообщал Вам, что за Вас будет ходатайствовать лично у Лорис-Меликова предводитель дворянства Шабельский, который теперь на днях выезжает в Петербург...»

Лишь по возвращении в Петербург Флорентий Федорович узнал, что решающим для его освобождения было поручительство вдовы генерала Надежды Дмитриевны Половцевой. Все остальные его друзья для Лорис-Меликова оказались людьми неблагонадежными.

В тягостные дня ожидания освобождения Флорентий Федорович не прекращает своих издательских занятий. Он ведет обширную переписку с друзьями, продолжает работу над печатными переводами, обсуждает планы новых книг.

Предприимчивый и неутомимый издатель-борец Павленков и в сибирской ссылке решает повторить опыт с «Вятской незабудкой». Русский читатель практически ведь не знаком с условиями жизни политических ссыльных в Сибири. А что, если попробовать составить такое издание, посвященное политической ссылке?

И Павленков принимается за ее осуществление. Из Ялуторовска полетели письма, написанные убористым павленковским почерком, во все уголки Сибири с предложением подготовить статьи, воспоминания, а то и просто сообщить имеющиеся материалы для предполагавшегося издания. Правда, друзья, товарищи по совместному тюремному заключению и ссылке не разделяли уверенности Павленкова в возможности осуществления этого замысла. Вот что, к примеру, писал Павленкову 13 ноября 1880 года Н.Ф. Анненский: «Теперь относительно... Вашего предложения о “Сибирской страде”. Сказать по правде, Ваша идея повергла меня в некоторое недоумение. Вы, кажется, уже слишком оптимистически смотрите на “новые веяния” и ждете от них слишком многого, рассчитывая, что задуманная Вами книга не встретит никаких препятствий. Еще если бы Вы задумали о ссылке вообще, в которой политическая ссылка занимала бы одну из глав, тогда еще куда ни шло, а сочинение, целиком посвященное такому щекотливому предмету, очень легко может натолкнуться на подводные камни. Думаю также, что Вы встретите немалые препятствия и при собирании материалов и что материал этот легко может оказаться односторонним: то, что рисует более или менее сносные стороны, дойдет до Вас, повествование же об особенно мрачных, теневых сторонах дела канет в вечность. Я сообщал о Ваших предположениях Владимиру Викторовичу Лесевичу, кроме него у меня нет никого в Восточной Сибири, пишу еще Короленко, у которого обширная корреспонденция. Я вообще не торопился подыскивать Вам корреспондентов, думая, что дело будет гораздо удобнее вести, когда Вы будете уже в Петербурге».

Предположение Н. Ф. Анненского оправдалось. Осуществить издание Павленков не смог, поскольку получил разрешение возвратиться в столицу.

Однако часть материала — статьи и воспоминания — была им собрана. Очевидно, Флорентий Федорович продолжал надеяться, что выберет время возвратиться к задуманной книге. Но не успел...

В Ялуторовске Павленков переводит книгу А. В. Эспинаса «Социальная жизнь животных». После возвращения в Петербург эта книга будет одним из первых его изданий. В Сибири зарождается и целый ряд других творческих начинаний. Более того, некоторые из них и начинали реализовываться даже в тех труднейших условиях.

Переписка с Николаем Федоровичем Анненским касалась ряда издательских проектов. На долгие годы сохранились их дружеские отношения. Как уже говорилось, Н. Ф. Анненский был поселен в Тару. Между этими городками устанавливается постоянная связь посредством переписки. 20 августа 1880 года Николай Федорович сообщал Павленкову о получении его письма, к которому были приложены двадцать рублей в счет долга, числившегося за ним еще с дороги на место ссылки. В Тюмени приходилось им брать ссуду на продовольствие; покупали бумагу; запонки и пр. Так как Флорентий Федорович считал за собой еще какую-то сумму долга, а Н. Ф. Анненский оспаривал это, то последний обращался к своему адресату с предложением: «Если же Вы непременно хотите быть великодушным и располагаете в настоящее время несколькими свободными рублями, то могу предложить Вам следующее оных употребление. На днях получил я письмо от Тюрина из Березова очень грустного свойства. Он приехал туда без гроша и больной (пишет, что почти не владеет левой рукой), просит ссудить его, пока получит из дому. К сожалению, я этой просьбы исполнить не мог и не знаю, когда еще буду в состоянии исполнить. Если бы Вы могли выслать ему в Березов за меня нечто, сделали бы доброе дело; жаль беднягу!»

Когда Павленкову объявили, что ему предоставлено право ходатайствовать об облегчении своей участи, сразу же поделился с Анненским своей радостью в связи с открывающимися перспективами «скорого возвращения, или, по крайней мере, передвижения из мест не столь отдаленных в места совсем не отдаленные». «Я убедительнейше просил бы Вас, если можете, — обращается Анненский к Флорентию Федоровичу, — сообщать мне о всех фазисах Вашего дела, оно меня крайне интересует...»

Продолжая усиленно и энергично заниматься издательскими делами, Флорентий Федорович постоянно испытывает всевозможные затруднения: нередко задерживается почта, а обсудить все детали с переводчиком или редактором можно только с помощью писем... И все же и здесь издатель

находит себе помощников. Среди них — Н. Ф. Анненский, свободно владеющий немецким языком.

Еще в пути условились о сотрудничестве. Вот и в сегодняшнем его письме, от 3 сентября, сообщается, что получил посланную ему рукопись переводов книги Ф. Гольцендорфа «Роль общественного мнения в государственной жизни» и немецкий оригинал. Правда, перевод он поругивает: «Вы пишете, что перевод “незавидный”, но такая квалификация его еще слишком мягка, по крайней мере в тех 1½ листах, которые я редактировал, нельзя было оставить почти ни одного живого места. Главный недостаток перевода — его рабская близость к немецкому подлиннику; при существующем отличии синтаксиса от русского подобное копирование, слово за словом, немецкого текста является очень неудобным. Затем нередко самые оттенки мысли оригинала исчезают в переводе».

— Прав Николай Федорович. Но, опять же, задержка. Хоть и не по его вине. 4 листа обещает отослать 12 сентября, а остальные — в течение нынешнего месяца. И еще — как легко работать с профессиональным человеком. Он предлагает не печатать примечаний из текста оригинала. Нового они ничего не добавляют, а издание удорожат. Что ж, очень разумно.

...В письме новость. Я уже знаю о ней. Упразднено III отделение в качестве особого учреждения. В «Новом времени» он прочел по этому поводу массу самых сангвинических надежд и «видов на будущее». Согласен с его выводом: хотя и нечего приходить в «транс» подобно Суворину, но во всяком случае в рассуждении нашей участи оно «к добру», а не «к худу».

Посылая первую часть перевода Гольцендорфа, Анненский считает необходимым выступить в защиту переводчиков от ранее самим же выдвинутых обвинений: «Должен, однако, сказать, что чем более я сам возился с Гольцендорфом, тем более находил “смягчающих обстоятельств” для переводчиков: дело в том, что язык его такого рода, что его трудно уложить в правильную и ясную русскую речь; прибавьте к этому некоторую туманность самой мысли и, наконец, неизбежный немецкий “ученый парад”, и Вы легко поймете затруднения, в которые были поставлены переводчики. Затруднения эти пришлось испытывать и мне: не знаю, преодолел ли я их как следует, но, во всяком случае, могу ручаться, что мысль перевода везде передана правильно и если что-нибудь она представляет уже не вполне ясного, то вина уже не на мне, а на Гольцендорфе. По правде сказать, сей ученый муж не всем мне нравится и в его книжке такой живой, современный вопрос, как значение

общественного мнения, уснащен изрядною долею схоластики и довольно тусклой метафизики».

Флорентий Федорович перечитывал письмо от Николая Федоровича.

...Он, несомненно, прав. Серьезнейшая подготовка, определенность взглядов позволяют ему давать точную оценку реальным общественным процессам...

Мысленно Павленков перенесся на несколько месяцев назад — в Вышний Волочек. Среди всех союзников и соэтапников Николай Федорович был, пожалуй, ему самым близким. Всегда ровен в общении, остроумен. Как только он появлялся, в обществе сразу устанавливалось особое настроение — бодрое, светлое, жизнерадостное.

Вот Николай Федорович упоминает о конституции. А, помнится, об этом особенно много мы спорили в Вышнем Волочке. По-разному каждый из нас относился тогда к российской конституции. Закрою глаза, а слышу убеждающий голос Николая Федоровича...

— Представьте себе, говорит он, правительство пошло на уступки: кто и что от этого выиграет? Выиграет только буржуазия, которой, главным образом, и нужен тот вид свободы, что несет с собою конституция: народ же от нее ровно ничего не получит, так как для него прежде всего необходимо изменение социальных условий, а этого ему конституция дать не может.

...Я наблюдал тогда за реакцией молодой публики. Их, горячо ратовавших еще несколько минут за конституцию, чувствуется, убеждало авторитетное суждение Анненского.

— Мало того, — продолжал тот развивать мысль, — конституция, данная теперь, способна только затруднить и без того тяжелое положение народа в его борьбе за изменение социальных условий, к которому он всегда стремился. Сейчас у нас и народ, и буржуазия являются одинаково неорганизованными силами, и государственная власть подавляет их обоих, не допуская никакой политической организованности, а потому ни та, ни другая сторона не обладают никакими в этом отношении преимуществами. Совсем иное положение будет при конституции: в парламент буржуазия явится уже организованной. Она сумеет и успеет это сделать во время самих выборов. Пускай это будет сделано плохо, кое-как, едва-едва, но все-таки она явится туда — как-никак политически сплоченной. Чего не сумеет сделать при выборах, то постепенно доделает в самом парламенте. Везде так было, и мы не имеем никакого основания рассчитывать, чтобы у нас случилось иначе, — для этого нет решительно никаких данных. Ничего подобного не может быть с народом: у него для этого нет ни необходимого

политического развития, хотя бы самого скромного, зачаточного, ни даже того мизерного практического навыка, каким все еще обладает наша буржуазия, выступая на выборах — дворянских, земских, городских. Пусть все это убого и жалко, но народ не имеет и этого, а потому у него нет и не может быть никаких навыков, никакого опыта общественно-политического характера. Против этого спорить нельзя: таков факт. Теперь посмотрите, что получается: перед народом выступает новая организованная сила, по самому своему существу ему враждебная. Она будет непосредственно влиять на законодательство, в частности, — социальное. Влияние ее будет враждебно народу и его интересам. И борьба с нею для народа будет очень и очень трудна.

— Вот почему, — увлеченно убеждал Николай Федорович, — в порядок борьбы сегодняшнего дня и не следует ставить конституцию, так как это в лучшем случае значило бы только способствовать единению враждебных народу сил. А это невыгодно ни в каком смысле. У нас борьба должна вестись прежде всего за изменение социальных условий, и здесь положение народа, как борющейся стороны, будет прочно и крепко. Нужно стремиться к социальной революции, а не к политической. Когда народ добьется изменения социальных условий, то само собою изменится и вся политическая обстановка, разрешится вопрос и о свободе, хлопотать о которой отдельно не стоит. Да народ и не понял бы такой его постановки и истолковал бы такие требования свободы в том смысле, что господа о себе хлопочут: не ему, а им нужна свобода.

...Николай Федорович не ошибается, убежден в этом. По мановению волшебной палочки все не меняется в обществе. Ни конституции, ни самые прекрасные законы не принесут народу облегчения до тех пор, пока сам он не станет хозяином своей судьбы. И чтобы понять это, надо осознать хотя бы свое положение. Что для этого нужно? Опять же, — образование, просвещение.

...Да, вот уж парадокс: казалось бы, тюрьма. А вот воспоминания о Вышнем Волочке самые светлые и теплые... Просто-напросто там собралось тогда немало прекрасных людей, не на словах, а на деле радеющих за лучшее будущее народа.

Анненский не только сам вовлекался в павленковское издательское дело, но и старался приобщить к нему других политических ссыльных. «В Таре, — писал он, — собралась довольно большая “языческая” компания, обладающая досугом и нуждающаяся в работе. Перечисляет языки, с которых могут переводить в Таре, — с французского, английского, немецкого, итальянского, польского и, в случае нужды, с латинского. Сам

обязуется выступать в роли редактора. Будучи человеком деликатным, он, правда, свою роль обуславливает качеством проведенного им редактирования перевода Гольцендорфа».

6 ноября Флорентий Федорович получает новое письмо из Тары. «От души порадовался я, — писал Николай Федорович, — получив весть о Вашем освобождении, дорогой Флорентий Федорович. Грешный человек, я очень скептически относился к Вашему оптимизму и не мало иронизировал по поводу предпоследнего Вашего письма. И что же, оказалось, что Вы, с Вашей неугасающей надеждою, были гораздо правее, чем мы со своим скептицизмом. По неволе приходится воскликнуть: “Ты победил!” Победа Ваша была настолько полна, что я не мог остаться в своей выжидательной позиции и тоже предпринял известные “ходы” для своего освобождения».

Радость Н. Ф. Анненского можно понять. Ему казалось, что буквально на следующий день Флорентий Федорович уже отправится в Петербург. Куда отсылать рукопись Гольцендорфа — в Ялуторовск или Петербург? Поразмыслив немного, решил посылать все же в Ялуторовск, но, правда, на адрес Алексеева, боясь, что рукопись Флорентия Федоровича уже там не застанет.

Но увы! Еще много дней пришлось коротать Флорентию Федоровичу в Ялуторовске.

Чем больше размышлял Николай Федорович над отредактированным им переводом, который отправил Павленкову, тем больше возникало у него сомнений: а целесообразно ли вообще издавать эту книгу? В письме Павленкову он пишет, что если Павленков решит не печатать книгу, то Николай Федорович отказывается от своего гонорара, а просит оплатить только труд переписчика. В случае же, если книга все же будет издаваться, то фамилию свою он не желал бы на ней видеть.

Узнав, что жена Николая Федоровича, А. Н. Анненская, завершила работу над новым произведением для детей — «Оборвыш», Павленков предлагает свои услуги в его публикации. «Когда приступим к изданию, не преминем воспользоваться Вашим любезным содействием, за предложение которого большое Вам спасибо», — пишет в ответ Н. Ф. Анненский.

Флорентий Федорович высылает для перевода и изучения несколько книг в Тару. В ответ на его письмо Николай Федорович сообщал, что Вера Любатович, для которой прислан перевод французской физиологии, уже отправлена с другими ссыльными в Восточную Сибирь, поэтому перевести эту книгу он предложил Ольге Владимировне Витанеевой. Он сообщал также, что просмотрел книгу Вернике, представляющую собой заметки путешественника по некоторым городам. По его мнению, книга эта может



служить лишь компиляцией для будущих работ, не более. Но после прочтения ее зародилась мысль — а почему бы не выпустить Павленкову книгу о городской жизни, но такую, которая бы «в ряде картин наглядно изображала бы перед нами главнейшие типические черты современной цивилизации...». В письме излагалась даже подробная программа издания.

«Если Вам такой план издания представляется целесообразным, я охотно бы взял на себя составить общую его программу и выполнить те ее части, над которыми работать в местах не столь отдаленных не представит никаких неудобств (главным образом относительно пересылки громадного материала на различных языках)».

11 февраля 1881 года выехал из Ялуторовска и Павленков. Но и в столице, куда он так стремился, его ожидало строгое полицейское наблюдение. Николай Александрович Корф стремится ободрить его: «Сердечно радуюсь тому, что Вы застали свои дела в лучшем положении, чем они могли быть, принимая во внимание совершенно непредвиденные, чрезвычайные и необычайно бедственные обстоятельства...»

Зная, что здоровье его друга серьезно подорвано тюремными скитаниями, он приглашает его к себе в деревню. «Знаете ли, о чем я мечтаю? — писал он Флорентию Федоровичу 16 мая 1881 года. — О том, что захотите когда-нибудь отдохнуть в деревне, а потому когда-нибудь вспомните о том, что у нас удобный дом и обширный сад, всевозможные журналы, а главное, что тут Вы встретите искренне Вас любящих людей. Что Вы на это скажете? А, с моей стороны, это давняя мечта, с которой я не скоро и расстанусь».

К сожалению, мечта эта так и не осуществилась.

После смерти Николая Александровича Павленков, желая подчеркнуть неоценимое значение проведенной им работы в области развития народного образования, в своей биографической библиотеке «Жизнь замечательных людей» выпускает книгу «Барон Н. А. Корф, его жизнь и педагогическая деятельность». Написал ее тот, с кем Павленкова также судьба свела в вятской ссылке, — бывший земский учитель М. Л. Песковский.

После возвращения из Сибири у Павленкова начинается самый плодотворный период издательской деятельности. Видимо, месяцы вынужденного отторжения от любимого дела позволили ему обдумать и то, что предстояло издавать в будущем, и то, как это продуктивнее делать.

За годы, которые Павленков провел вдалеке от столицы, он познавал жизнь своего народа во всей ее неприглядности. Нищета, почти сплошная безграмотность, забитость... Осчастливить родной народ в одночасье,

принести ему блага цивилизации едва ли не по щучьему велению, как обещали тогда многие борцы за народное счастье, — эти надежды трезво мыслящему, прекрасно образованному Павленкову представлялись нереальными. Наивная вера, которой отдал дань и молодой Флорентий, в частности, в годы вятского сидения, будто одним свержением неугодного правителя, возбуждением ненависти к тем, кто правит народом, можно разрешить все проблемы, привнести лад и согласие на родную землю, развеивалась в его сознании, как дым или туман.

Ненависть, вражда — плохой помощник делу. Не к топору, не к тотальному разрушению всего и вся нужно звать народ. Он нуждается в знании, в просветлении его сознания, в образовании. А образ жизни, приемлемый ему, народ изберет сам, если ему помочь, вооружить всем тем, чего был лишен. Так у Павленкова и складывалось представление о собственном месте в этом эволюционном процессе, формировалась программа издательской деятельности, которой он твердо и неуклонно следовал все последующие годы.

Выработавший со времени прохождения курсов в стенах академии твердое правило следить за всеми новинками, издававшимися за рубежом, Флорентий Федорович в качестве важной составляющей своего издательского предприятия избирает выпуск переводных книг, знакомящих русского читателя со всем тем, что является неперенным условием цивилизационного существования. Надо переводить книги, которые сконцентрировали на своих страницах самые новейшие достижения науки и техники — в физике, химии, психологии, истории, философии, экономике. Привлекать к их переводам и комментированию отечественных ученых и специалистов, чтобы приблизить содержание к реалиям российской действительности, к потребностям практической жизни и труда сограждан.

Особый упор важно делать на утверждение писаревских заветов о приоритете научно-популярных изданий, которые были доступны для понимания не одних только специалистов, но даже малоподготовленного читателя. Все эти издательские задачи можно будет осуществить не в одиночку, а сплотив вокруг издательства и авторский актив, и тех, кто заинтересован в распространении среди народа так нужной ему книги. Опираясь только на собственные знания и силы — значит оторваться от развивающегося в этот период общественного движения.

## ДРУЖБА С ГЛЕБОМ УСПЕНСКИМ

Друзей не выбирают. Друзья находят друг друга сами. Как и все другие пословицы и поговорки, эти тоже не выступают в качестве правил, у которых отсутствовали бы исключения...

В. М. Гаршин решает сыграть роль посредника между Г. И. Успенским и Ф. Ф. Павленковым. О каждом из них ему было известно многое. Он видел, как мелкие издатели безжалостно эксплуатируют талант писателя, какой мизерный гонорар он получает. А Флорентий Федорович снискал себе уважение в писательских кругах не одним только ореолом страдальца за писаревские сочинения. К нему обращались как к человеку, всегда готовому принять живое участие в судьбе того или иного таланта, остро нуждающегося в поддержке. В. М. Гаршин и решается на шаг, который, — он не сомневался в этом! — сможет помочь Г. И. Успенскому облегчить материальное положение, создаст новые предпосылки для творчества.

Побудительным толчком послужило их совместное путешествие. Вместе с Г. И. Успенским и художником М. Е. Малышевым, кстати сказать, активно сотрудничавшим с издательством Ф. Ф. Павленкова, они совершили паломничество в Тихвин. Собравшиеся там богомольцы отмечали пятисотлетие явления Тихвинской иконы Божьей Матери. В этой поездке Гаршин и убедился в том, что Глеб Иванович испытывает серьезные материальные затруднения. Из его письма к Г. И. Успенскому от 2 июля 1883 года мы узнаем о том, что им было предпринято после возвращения в Петербург. «Дорогой Глеб Иванович! — писал Гаршин. — Третьего дня мы с Малышевым, наконец, добрались до Петербурга; вчера же я пошел к Павленкову и говорил с ним. Он очень хочет, по-видимому, издавать Вас, но просил неделю на обсуждение. В будущую пятницу даст решающий ответ; во всяком случае, он даст Вам более 1500 р. и выговорит себе не бесконечность экземпляров, а тысяч 5–6. Мне очень хотелось бы, чтобы издавал он, а не кто-нибудь другой... Павленков взял неделю на обсуждение потому, что последнее время предпринял кучу изданий и теперь у него маловато средств. Но я все-таки надеюсь, что он согласится и Вы получите за три тома рублей 2500–3000».

Так и случилось, ибо ровно через неделю, 10 июля, В. М. Гаршин сообщал Г. И. Успенскому: «Дорогой Глеб Иванович. Мы поладили с Павленковым на следующих условиях:

- 1) он платит Вам по 30 р. за печатный лист, то есть за три тома 2250 р.
- 2) 500 рублей Вы получаете при заключении условия, то есть сейчас же.

500 рублей он уплачивает долгосрочным векселем на Псков.

Остальные 1250 р. уплачиваются ежемесячно суммами от 50 до 100 р. в месяц. Павленков предполагает платить по 75 р. в месяц, то есть выплатить всю сумму в 16½ месяцев.

3) Павленков не решил еще, будет ли он издавать издание иллюстрированное или нет. В первом случае он выговаривает себе право издания 6000 экземпляров в два раза; во втором случае издает 4000 экземпляров.

4) Права и обязательства издавать следующие тома Ваших сочинений он на себя не берет, ограничиваясь на первый раз только тремя томами, но не отказывается, если все будет благополучно, взяться и за следующие тома по взаимному соглашению.

Отвечайте на мое имя: когда Вы приедете заключать условия, если Вы согласны».

Конечно, он был согласен. Ведь книгоиздатель Базунов, выпускавший произведения Г. И. Успенского в семидесятые годы, платил ему всего восемь рублей за печатный лист. А в начале 70-х годов в минуту острейшей нужды Г. И. Успенский продал книгопродавцу Н. П. Карбаникову за 300 рублей право собственности на свои сочинения. Спустя некоторое время писателю пришлось уплатить за выкуп своего обязательства уже 1100 рублей.

В. М. Гаршин был очень рад, что его миссия увенчалась успехом. В письме к своей матери он сообщает: «Я устроил издание сочинений Глеба Ивановича; сторговался с Павленковым на условиях, довольно выгодных для Успенского. Вчера даже телеграмму от него получил, пишет: “очень, очень благодарю”. Жаль было бы, чтобы его обобрали».

Флорентий Федорович, не изменяя своему правилу — действовать без проволочек, не тратя зря ни единого дня, тут же принимается за дело. И уже осенью 1883 года три тома «Сочинений Глеба Успенского» были изданы. Общественность восприняла выход первых томов собрания сочинений писателя-народника положительно. Вот что читаем, к примеру, в двенадцатой книге журнала «Вестник Европы» за 1883 год: «Глеб Успенский пишет уже более 20 лет, а для полного знакомства с его деятельностью приходится обращаться к старым книгам журналов; в отдельно избранных сборниках нашли место далеко не все его очерки и рассказы. Полное собрание его сочинений, предпринятое г. Павленковым,

является как нельзя более кстати».

Такие оценки побудили Павленкова в следующем году выпустить еще четыре тома сочинений писателя. Г. И. Успенский в письмах к друзьям не скрывает своей радости. В записке к писателю А. И. Эртелю он пишет: «Александр Иванович! Павленков купил у меня 5 и 6 тома за 1350 р. — из них я получаю 500 р. на этих днях, то есть когда пожелаю».

Энергичные усилия, предпринимаемые Павленковым по выпуску его собрания сочинений, и удивляли и радовали писателя. Ему впервые встретился издатель, который беспокоился прежде всего о качестве издания, душевном равновесии автора, с которым он вступил в деловые взаимоотношения, а затем уже — о собственных интересах. Вначале Успенский даже ожидал какого-нибудь подвоха.

Но оказалось, что в лице Флорентия Федоровича Глеб Иванович встретил преданного и верного друга, которому будет суждено быть его добрым ангелом на многие годы. Вскоре писатель поселяется в доме Павленкова. В письме Г. И. Успенского московской писательнице Е. С. Некрасовой от 27 января 1885 года сбоку сделана характерная приписка: «Я беру комнату у Павленкова и буду там долго жить один: М. Итальянская 6. кв. 16».

Флорентий Федорович делится с Г. И. Успенским всем, что его волнует и тревожит. «У меня пошли жестокие месяцы: в августе 8000 р. расхода, то есть на 4 или на 3 <sup>1</sup>/<sub>г</sub> тысячи более прихода, — сообщает он Глебу Ивановичу. — В сентябре — что-нибудь вроде же этого — пока не знаю точно. Словом, выходит то, что на техническом языке называется “перепроизводством”, а на обывательском просто: “зарвался”».

Глеб Иванович принимает близко к сердцу эту серьезную опасность, грозящую самому существованию павленковского издательства, и стремится оказать практическую помощь другу. В ноябре 1884 года он обращался к Е. С. Некрасовой с просьбой похлопотать о кредите у денежных людей Москвы для Флорентия Федоровича. Показательна та характеристика, которую дает Успенский Павленкову: «Человек этот вполне верный, аккуратный до щепетильности и ни за одну копейку, данную ему, нельзя иметь ни малейшего опасения... Его надо поддержать, потому что он и сам поддерживает таких людей, которым и Вы... отдадите последний грош».

27 января 1885 года в очередном письме Е. С. Некрасовой Г. И. Успенский благодарит ее за оказанное содействие. «Вам большое спасибо», — пишет он. Затем сообщает своему корреспонденту о том, что еще ему удалось сделать для Павленкова: «Вот Вам нечто приятное: недавно я

доставал Павленкову деньги 5000 р. и достал у Сибирякова; Павленков предложил им 8 процентов, следовательно, в 2 года — 800 р. Они сначала загордились, не хотели брать, но как раз в эту минуту из Минусинска пришла к ним же просьба о книгах, написанная Ал. Иван. Книг требовалось на 1100 р., и Сибиряковы... вероятно бы, отказали, но тут подвернулись эти 800 р. процентов, от которых они отказывались, и явилась возможность, не потратив ни копейки, тотчас исполнить просьбу сибиряков».

Как явствует из содержания последующей части письма, Павленков взял на себя заботу о комплектации и отправке библиотеки. А поскольку он мог брать книги в обмен с уступкой, то «дело сделалось в одну минуту», и «не позже 2-й недели будет послана чуть не целая библиотека».

На самом деле все было не так просто и легко. Успенскому довелось не один раз встречаться по этому поводу с Сибиряковым. Флорентий Федорович с трудом дожидался срока завершения этих бесед. Конечно, кредит у богатого купца И. М. Сибирякова помог бы ему выбраться из того труднейшего состояния, в каком оказались его дела в то время. Но все же особых надежд на успех переговоров Успенского с Сибиряковым, по его мнению, питать не приходилось.

«За последнее время я все хвораю и почти совсем не выхожу из дома, — пишет Павленков Глебу Ивановичу. — Сейчас к Вам приехать поэтому решительно не могу. Если погода немного исправится, постараюсь у Вас быть в пятницу вечером (часов в 8) или в субботу утром (часов в 12). Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что переговоры с Сибиряковым не приведут ни к каким результатам».

Еще в одном письме сквозит тот же пессимизм. «На основании Вашего последнего письма, — писал Павленков Глебу Ивановичу, — я полагаю, что Вы сегодня были у Сибирякова; но так как, в случае благоприятного результата, Вы, вероятно, заехали бы ко мне или прислали записку, а между тем не «лучилось ни того, ни другого, то надо думать, что исход дела не соответствовал Вашим ожиданиям. Так ли это действительно? Я, по правде сказать, не жду ничего хорошего, потому что твердо уверен в том, что говорил Вам на словах, а именно, что в письме Сибирякова выставлена не истинная причина отказа, — иначе отказ этот был бы мотивирован более логично. Это-то соображение и заставило меня прибегнуть в данном случае к посредничеству живого человека, — ибо бумаге легко выдерживать всякие «категорические императивы»; на словах же очень трудно решать дела, «неудобно» и обосновывать решения на логике трех ходов. Тут всегда приходится или уступить, или же отступить, то есть взять назад не

выдерживающую критики мотивировку и заменить ее другой, настоящей. Если Вы были у Сибирякова сегодня и не застали его дома, то считаю нелишним предупредить Вас, что его можно застать всегда от 4 до 5 часов».

Можно привести и другое павленковское письмо Успенскому, в котором улавливается тревожное душевное состояние в период острой материальной нужды, постигшей издателя. Помощь Успенского была как нельзя кстати. Он писал Глебу Ивановичу: «Неужели возможно то, о чем Вы пишете с такой уверенностью в успехе? По правде сказать, я уже давно перестал и думать о займе у Сибирякова как о серьезном деле, и записал его в область огородных мечтаний (“если бы да кабы, во рту росли бобы...” и т. д.). Совершенно бесполезно говорить о том, что я буду бесконечно обязан Вам, если только Вы устроите это дело. До последнего времени я не был совсем знаком с тем отвратительным состоянием, в каком находится человек, прижатый к стене каким-нибудь гидравлическим кредитором, и узнаю это удовольствие только теперь. Если бы, при Вашем содействии, Сибиряков открыл мне кредит в 10 тысяч (с правом брать, по мере надобности, с выдачей по каждому получению 24 месячных векселей), то я бы сразу освободился от давящего на меня хомута и привел бы свои дела в совершенный порядок. А то, при краткосрочном кредите маленькими суммами, приходится только “переворачиваться”, как переворачивается рыба на сковороде, когда ее жарят: и там и здесь в конце концов не хватает сил на такую пляску и Вам предстоит скоро, оставив всякие треволения, лечь пластом...

Ваш проект относительно двух векселей на 9 месяцев для меня очень удобен. Но он был еще удобнее, если бы Вы исполнили свое намерение — съездить в Москву. Ей-богу же нет ничего дурного познакомиться с Морозовой. Что же, скажите, тут предосудительного? Разве мы с Вами можем когда-нибудь подумать о каком-либо подражании Хващинской.

А раз у человека нет в голове “улова” — в чем он может себя упрекнуть? Я знаю, что для другого много легче сделать, чем для себя. Поэтому если Вы не можете познакомиться с Морозовой для себя, — познакомьтесь для меня: этим Вы, быть может, создадите (в письме далее неразборчивое слово. — В. Д.)... для меня в тех иногда внезапных затруднительных случаях, которые встречаются в каждом большом деле вообще, и издательском, в особенности. Хоть убейте меня, а дурного я тут ничего не вижу: ведь Морозова во всяком случае будет получать в подобных случаях проценты, и причем больше, чем ей платил бы банк или какая-нибудь облигация.

Если я говорю о Морозовой одновременно с Сибиряковым, то это потому, что для получения сколько-нибудь верного результата всегда необходимо рассчитывать не на одно лицо, а на нескольких.

5-й том давно готов, но не выходил из-за обертки, которую чуть не две недели протянула типография Котомина. Пока они ее воспроизводили, “Общественная польза” успела уже набрать 10 листов 6-го тома... Судя по Вашему письму, Сибиряков будет здесь до октября. Значит, нужно ждать к этому времени и Вас. Буду ждать».

Последний том восьмитомного собрания сочинений Успенского Павленков выпускает в 1886 году. И именно в этом же году Глеб Иванович, продав право на издание своих сочинений И. М. Сибирякову за пять тысяч рублей, передает их тут же Павленкову. Кроме того, правопреемник Успенского тоже не собирался самостоятельно издавать его новое собрание сочинений. Павленков 13 ноября 1886 года вступает с Сибиряковым в договорные отношения и таким образом получает право на последующие издания сочинений Успенского.

...Два брата Сибиряковых являлись их современниками. Оба отдавали дань благотворительной деятельности. Успенский одно время проживал в селе Сколкове Самарской губернии, недалеко от имения Константина Михайловича Сибирякова. Его брат Иннокентий Михайлович<sup>6</sup> и закупил права на издание сочинений Г. И. Успенского.

Флорентию Федоровичу придется вести обширную переписку с Сибиряковым, регулярно встречаться с ним по поводу возникавших вопросов с новыми изданиями Успенского и другими финансовыми проблемами.

«Простите, что я до сих пор не отвечал на Ваше тревожное письмо, — пишет Павленков Успенскому. — Мое молчание было вынужденным. Вы предлагаете комбинацию, основанную на постоянных отношениях к Вашим дальнейшим статьям. Но мои отношения к Сибирякову не только временные, но даже, пожалуй, кратковременные, а потому мне необходимо прежде, чем отвечать Вам, повидаться с Сибиряковым. И я обратился к нему с письменной просьбой назначить мне время (“сегодня, завтра, когда угодно”) для переговоров с ним по Вашему делу. Я говорил, что получил от Вас письмо и что по поводу этого письма мне крайне необходимо с ним повидаться. Посыльный мой не застал Сибирякова дома и оставил письмо, на которое я третий день не получаю ответа. Вот как обстоит дело. Судите сами, виноват ли я тут сколько-нибудь».

Несмотря на все эти тревоги, поддержка Сибиряковым павленковского



издательского дела стала реальностью. И по письмам Флорентия Федоровича чувствуется, что он меняет свое отношение к своему благодетелю., «Кажется, он за последнее время относится к людям менее формально, чем прежде, — читаем в письме Павленкова Успенскому, — по крайней мере в тех случаях, когда ему приходится иметь дело с тем или другим лицом не в первый раз».

11 апреля 1888 года заключается Павленковым с потомственным почетным гражданином И. М. Сибиряковым договор на передачу прав собственности на издание произведений Г. И. Успенского. Договор этот по доверенности поручика Ф. Ф. Павленкова был подписан отставным штабс-капитаном В. Д. Черкасовым. Из этого документа, составленного на актовой и гербовой бумаге, явствует, что 13 ноября 1886 года по договору, заключенному между Сибиряковым и Павленковым, явленному у санкт-петербургского нотариуса Иванова (№ 3227), Павленкову было предоставлено право на издание и продажу восьми томов сочинений Успенского в количестве пяти тысяч экземпляров, состоящих каждый экземпляр из восьми томов и составляющих в общей сложности сорок тысяч книг, на условиях в том договоре изложенных. Затем перечисляются все произведения Г. И. Успенского, которые включены в каждый из томов.

И после этого сообщается, что поскольку Павленков выпустил собрание сочинений Г. И. Успенского большим тиражом по согласованной с правопреемником цене — по 1 рублю 50 копеек за каждый том, то таким образом Сибирякову причитается еще 24 тысячи рублей.

Издатель и правопреемник Г. И. Успенского решили изменить договор от 13 ноября 1886 года. Поэтому и появился данный документ. Им предусматривалось, в частности, дальнейшее издание Павленковым сочинений Г. И. Успенского в двух видах — большим форматом и малым, причем предполагалось как снижение продажной цены, так и возможность пополнения томов ранее не включенными в собрание сочинений произведениями по взаимной договоренности. И затем со скрупулезностью оговаривались всевозможные ситуации при издании (вмешательство цензуры и т. п.), учитывалась финансовая сторона, суть которой заключалась в том, что Павленков должен был обеспечить при любых вариантах выплату Сибирякову прежней общей суммы — 54 тысячи рублей.

Между Флорентием Федоровичем, Глебом Ивановичем и Иннокентием Михайловичем завязалась обширная переписка. Если в письмах к Сибирякову затрагивались вопросы, преимущественно относящиеся к издательским делам, урегулированию финансовых взаимоотношений, то

Павленков и Успенский обменивались самой разной информацией.

3 июня 1885 года Флорентий Федорович сообщал Глебу Ивановичу о том, что доктор велел ему немедленно ехать на лиман в Одессу. «Числа 15-го я туда отправляюсь и пробуду там, по всей вероятности, месяца два — ревматизм левого плеча (суставной). Общее расстройство нервов (истерики), словом “Ваше сиятельство, плохие обстоятельства...”». В подобные подробности можно посвящать только очень близкого человека. А Глеб Иванович и становился для Павленкова именно таким настоящим другом.

Флорентий Федорович с готовностью брал на себя выполнение целого ряда мелких просьб писателя, хорошо понимая, что все это отвлекало бы Успенского от творческой работы. Часто адресовались Павленкову просьбы оказать содействие в осуществлении необходимых финансовых операций. Упомянем лишь о таком эпизоде. 5 августа 1886 года Флорентий Федорович в ответном письме сообщает: «Я не понял, Глеб Иванович, Вашей телеграммы: “Деньги переданы будут через Вас, не откажите в этом”».

Вы уже сообщали мне на словах, что Сибиряков вышлет 3000 р. на мое имя. Но телеграмма, конечно, не могла быть повторением уже сказанного. В чем же дело?» Суть проблемы выяснилась спустя несколько дней. 11 августа И. М. Сибиряков на своей визитной карточке писал Павленкову: «Многоуважаемый Флорентий Федорович! Глеб Иванович Успенский просит меня перевести следуемые ему в августе (15-го) деньги через Вас (я бы тоже так хотел), и поэтому я перевожу их из Москвы на Ваше имя. Перевожу всего 2050 р., так как остальные 250 р. Глеб Иванович просит меня оставить покуда их у себя». Но события развиваются так, что Флорентию Федоровичу довелось написать несколько писем в связи с этой простейшей, по всей видимости, финансовой операцией. Дело в том, что, не дождавшись от Сибирякова средств, Глеб Иванович, сильно в них нуждавшийся, просил Павленкова выручить его и ссудить необходимую сумму.

К сожалению, по причине, что Успенский обратился с этой просьбой в тот день, когда все банкирские конторы были закрыты, Павленков не смог помочь писателю. Об этом он и сообщает, добавляя, правда, следующее: «Сию минуту получилось письмо для передачи Вам — прилагаю его; вместе с этим письмом один и тот же почтальон подал мне другое от Сибирякова о переводимом векселе на Сибирский банк (2050 р.). Завтра все получите — в 12 часов».

Из еще одного письма Флорентию Федоровичу, отправленного И. М.

Сибиряковым 24 августа 1886 года уже из Ялты, известно, как осуществлялось все то, о чем шла речь в предыдущей переписке. «Письмо Ваше от 17 августа и расписку Глеба Ивановича Успенского в получении от Вас 2050 р. я получил; очень Вам благодарен. Глеб Иванович письмом от 17-го августа просит меня перевести через Вас ему 750 (семьсот пятьдесят р.), что и исполняю и прошу А. Трапезникова и К<sup>о</sup> в Москве перевести Вам в сопровождении этого письма р. с. 750, которые и не откажите передать Глебу Ивановичу. Я не премину уведомить Вас о моем приезде в Петербург дней за 10, я думаю вернуться к 1-му октября».

Всего одна услуга в небольшом финансовом вопросе, важном для Глеба Ивановича, повлекла за собой массу забот для Флорентия Федоровича: нужно было вести переписку, уточнить, работают или не работают банкирские конторы и т. п. Но с его стороны не прозвучало ни малейшего упрека. Издатель считает для себя необременительным все то, что он может сделать для человека, которого считает своим единомышленником, другом.

Павленков познакомил Глеба Ивановича с одной из подвижниц педагогической и просветительной деятельности на Украине — Христиной Даниловной Алчевской. Она открыла в Харькове первую воскресную школу для девушек, была автором интересной работы «Что читать народу», о которой высоко отзывался Л. Н. Толстой. Возможно, что в значительной степени под воздействием именно этой книги и сам Лев Николаевич предпринял издание своих произведений для яснополянской сельской школы. Издателем второго тома книги «Что читать народу» был Павленков.

Примерно в 1887 году и состоялась встреча Х. Д. Алчевской с Г. И. Успенским. «Я увидела худощавого человека высокого роста, со впалой грудью, с бледным страдальческим лицом и с такими чудными, глубокими, печальными глазами, — вспоминала она, — которые запечатлеваются в душе навсегда. Мне казалось, что в этих глазах отразилась, как в зеркале, вся его страдальческая жизнь, вся народная скорбь, которую так чудесно изображал он в своих рассказах».

Флорентий Федорович считал своим гражданским долгом делать все для того, чтобы произведения Успенского становились достоянием самых широких демократических масс.

27 января 1888 года Г. И. Успенский в письме к Х. Д. Алчевской сообщал о том, что в издательстве Павленкова готовится новое издание его сочинений. На этот раз в десяти книгах. Выпуск сочинений издатель предполагал завершить к октябрю 1888 года.

Начиная работу над выпуском нового издания собрания сочинений,

Павленков прежде всего озабочен тем, чтобы создать определенное творческое настроение у самого автора. Поэтому 31 января 1888 года он отправляет письмо Успенскому такого содержания: «Многоуважаемый Глеб Иванович! Я думаю приступить на днях к новому изданию Ваших “Сочинений”, а потому просил бы Вас получить от меня за пересмотр (по примеру прошлого издания) двести пятьдесят рублей. Назначьте время, когда Вы зайдете ко мне за получением денег. Они готовы и ждут Вас. При свидании переговорим о характере пересмотра. Будьте уверены, что он не принесет Вам никаких затруднений».

Особенно трогательна приписка издателя к этому письму: «Если Вы не выходите из дома, то, пожалуйста, скажите, я немедленно приеду к Вам и вручу Вам деньги лично». Флорентий Федорович всегда исходил из приоритета авторских прав. Он считал, что писатель должен и верить во всем издателю, и чувствовать постоянную заботу о себе.

Согласование состава нового собрания сочинений, определение характера издания — задача несложная. Но к нему необходимо было подготовить предисловие. И Павленков решает обратиться с просьбой написать вступительное слово к Николаю Константиновичу Михайловскому. Он пишет ему письмо с этим творческим предложением. Ответ от Н. К. Михайловского приходит незамедлительно. Он даже не получил еще письма от Флорентия Федоровича. «...Видел Ваше письмо к Успенскому. Разумеется, я согласен, но надо бы поговорить о кое-каких подробностях. 2-го или 3-го я надеюсь быть в Петербурге, но это довольно шаткая надежда».

В последующем, правда, по причине сложившихся обстоятельств Михайловский вынужден будет отказаться. «Вы совершенно правы, предполагая, что я стал бы с любовью работать над статьей о Глебе Успенском, — сообщал Н. К. Михайловский. — Но теперь я так связан одной большой работой, что ни в каком случае не могу приготовить статьи к октябрю. Мне остается только жалеть, что Вы так поздно надумали ко мне обратиться. Месяца 2–1½ тому назад было бы совсем другое дело».

Флорентий Федорович продолжает настойчиво уговаривать критика приступить к написанию статьи о творческом пути Успенского. Если же возможности никакой не представится, то тогда просит помочь хотя бы советом. «Вы поистине искушаете меня, многоуважаемый Флорентий Федорович, — тут же отвечал Михайловский. — Позвольте Вам предложить следующее. Служить Вам советом решительно не могу, — может быть, я ошибаюсь, конечно, но никто из ныне пишущей братии не представляется мне вполне пригодным для статьи об Успенском. Если у

Вас есть кто в виду — Ваше дело. Если же нет или Вам нужно некоторое время на обдумывание, то может быть, Вы согласитесь подождать моего окончательного ответа числа до 18–20 августа. 15–16 я приеду в Петербург и, осмотревшись и сообразивши некоторые обстоятельства, уведомя Вас. Это я кладу крайний срок; если дело выяснится для меня раньше, то и Вы раньше получите мой ответ, может быть, еще отсюда».

Николаю Константиновичу очень пришлось по душе такое предложение. Чтобы Павленков понял это, он в постскрипуме добавлял: «Если Вы согласитесь подождать моего ответа, то уведомяте и, кстати, разъясните некоторые мои недоумения: 1) Вы писали, что предисловие останется и для будущих изданий. Я против этого ничего не имею, но, сколько мне известно, последующие издания принадлежат Сибирякову. 2) Передавая Вам или Сибирякову право на свою статью, могу ли я и сам ею пользоваться для своих сочинений или для отдельного издания, вроде того, как я издал статьи о Толстом?»

Николай Константинович будет работать над статьей о Г. И. Успенском. Она появится в собрании сочинений писателя. Критик признателен Павленкову за то, что тому удалось отрегулировать сроки издания и он смог без ущерба другим творческим планам написать предисловие. Критик настолько торопился с выполнением издательского заказа, что вынужден был досылать в типографию даже не до конца доработанную статью. «Многоуважаемый Флорентий Федорович, — обращался он к Павленкову по этому поводу, — я должен сегодня уехать на малое время (может быть, на один день). К сожалению, это неотложно. Чтобы не задерживать печатания, посылаю Вам все-таки еще неоконченную статью. Велите набрать и прислать ко мне. В типографии, очевидно, плохо разбирают мою руку или прислали в прошлый раз первую корректуру. Нельзя ли вторую?»

Темпы, задаваемые Флорентием Федоровичем, для Успенского не были в новинку. А тем не менее и в его письмах звучит искреннее восхищение тем обстоятельством, что проходит чуть более месяца, когда возник вопрос о выпуске нового собрания сочинений, а работа уже идет полным ходом.

15 февраля Глеб Иванович в письме Х. Д. Алчевской сообщал, «что Павленков и Сибиряков издают все мои сочинения дешевым изданием в 3 рубля. Издание выйдет 1 сентября...». Предполагалось выпустить одно в двух томах, а другое — в десяти маленьких книжках. По поводу цены Успенским указывалось следующее: «Дешевое издание необходимо, и я всегда был против варварских цен — 10, 15 рублей и т. д.».

Выпуская по столь низкой цене тома собрания сочинений Г. И. Успенского (аналогичного типа книги на книжном рынке продавались по цене в два с половиной — три раза выше), Флорентий Федорович исходил из расчета, что убыток, который он вынужденно понесет в данном случае, будет с лихвой перекрыт в последующем за счет быстрого распространения тиража и последующего переиздания томов. Забегая вперед, скажем, что расчет оправдался в полной мере: вместо двух лет, как ожидалось, десяти тысячный тираж двухтомного собрания сочинений Г. И. Успенского, выпущенного в декабре 1888 года, разошелся в течение двух месяцев. Так что со следующего года издатель мог уже осуществлять третье издание...

Неправдоподобным было бы представлять дело таким образом, будто работа над выпуском собрания сочинений шла, как говорится, без сучка и задоринки. Не обходилось и без разногласий, и без капризов со стороны автора. Что касается Флорентия Федоровича, то он в каждой такой ситуации сохранял спокойствие, удивительную выдержку. Его безмерное терпение, его манера общения в самые критические моменты благотворно способствовали созданию нормальной обстановки во взаимоотношениях друг с другом.

Все знали, что Павленков никогда не был простым техническим исполнителем воли автора. К работе он всегда подходил творчески. При этом всякий раз твердо держался своей точки зрения, доказывал, аргументировал.

Отношения с Глебом Ивановичем не были исключением. Флорентий Федорович терпеливо разубеждал писателя, если тот был не прав. Вот, к примеру, что писал Павленков 5 ноября 1889 года Г. И. Успенскому: «Типография Траншеля сообщает мне, что Вы снова прислали ей гранки статьи “Не все коту масленица” при записке, из которой видно, что Вы желаете поместить “Парового цыпленка” во 2-й том. Неужели возможно этот беллетристический набросок относить к разряду публицистических статей? Мне кажется, что его можно бесспорно поместить в 1-й том, причем, для того чтобы он не стоял одиноко, после него можно было бы дать рассказ “Расцеловали”. Прошу Вашего ответа». Издатель не только убеждает автора в ошибочности принятого им решения, но и предлагает свой вариант.

В тех же случаях, когда Успенский задерживал корректуры, издатель тактично напоминал ему об общих сроках издания. «3-й том выйдет по всей вероятности в конце ноября: типография жалуется на корректуры», — писал он Глебу Ивановичу 11 октября 1889 года.

За Успенским наблюдался грешок — заволокитить, не выполнить к

нужной дате обещанного. Флорентию Федоровичу приходилось иногда тремя-четырьмя записками заставлять Глеба Ивановича исполнить какую-нибудь пустячную просьбу. Весь производственный процесс застопорился, а Успенский словно не слышит. Взять хотя бы историю с писательским автографом.

«...Не пришлете ли мне Вашего автографа для помещения под портретом, — просит издатель Глеба Ивановича 11 ноября 1889 года. — Желательно, чтобы Вы сделали для той цели свою подпись покрупнее и сполна (Глеб Успенский)». Казалось бы, чего проще: взять лист бумаги, расписаться и отправить тут же. Но прошло почти две недели, а автограф не прислан. Флорентию Федоровичу приходится направлять Успенскому подробнейшее послание.

«Дорогой Глеб Иванович! Так как Вы не прислали мне своего автографа, о котором я Вас просил, то, ради Бога, хоть верните первоначальный оригинал предисловия, где Вы подписались полностью: “Глеб Успенский” и притом достаточно отчетливо и крупно. Я сниму с этой подписи цинко-график». В сохранившихся у меня некоторых Ваших записках подпись Ваша очень мелка, неразборчива, недокончена и т. д. Оттуда нельзя ее заимствовать. Пожалуйста, пришлите поскорее или то, что я Вас прошу, или еще проще — клочок бумаги с двумя словами — Глеб Успенский».

Подобного рода недоразумений, а то и конфликтных ситуаций возникало немало. Так, к примеру, Успенский был очень недоволен портретом в третьем издании своих сочинений. Флорентию Федоровичу нужно было терпеливо разъяснить автору, какие причины привели к ухудшению полиграфического качества. «...Старый портрет вышел дурно, по причинам, зависящим не от меня (мне был дан невозможный оригинал и указан гравер, который, по моему мнению, тоже невозможен...) Чего же более?» — пишет он Глебу Ивановичу, который забыл, что сам же ранее настаивал на этом портрете. Еще в одной записке Павленков спешил заверить Глеба Ивановича, что дня через три-четыре он получит из Лейпцига первые типографические оттиски портрета. «Один из которых я немедленно направлю Вам», — добавляет он.

И вот позади все тревоги с цензурой, с бесчисленными задержками по самым разным причинам... Наступает момент, который особенно бывал дорог издателю. Как художник, с расстояния рассматривающий уже готовую картину и ставящий наконец последнюю точку, самый-самый завершающий мазок, так и он, издатель, вправе оформить очень важную составную часть книги — ее титульный лист.

На нем необходимо указать, кем это издание подготовлено. Если книга понравится, захочется приобрести другую. Возникает как бы доверие к этому издателю: он не обманул ожиданий, время, затраченное на чтение, ушло не зря!

Обычно свой издательский гриф Флорентий Федорович ставил в самой верхней строке страницы. Но тут особый случай. Здесь итожится творческая биография писателя, Флорентий Федорович пишет: «Сочинения Глеба Успенского. С портретом автора и вступительной статьей Н. Михайловского (при первом томе). Том третий. Цена 1 р. 50 к. (Цена за первые два тома — 3 рубля)». А теперь внизу страницы можно поставить и гриф: «Издание Ф. Павленкова».

После выхода в свет двухтомника Павленков решил выпустить дополнительно третий том. В него предполагалось включить и более ранние произведения писателя. Флорентий Федорович обязался выплачивать Успенскому ежемесячно гонорар в счет доходов с этого третьего тома сочинений. Следует напомнить вновь, что к тому времени расходы по изданию всего собрания сочинений еще покрыты не были.

Возникали некоторые разногласия между писателем и издателем по характеру оплаты гонорара. Глеб Иванович, по совету своих близких, предлагал Павленкову условия издания своих сочинений, принять которые не было никакой возможности. Просто-напросто издатель понес бы громадный материальный ущерб.

Флорентий Федорович и в таких ситуациях сохраняет свойственное ему самообладание. Он спокойно, аргументированно, с цифровыми выкладками доказывает, почему ему невыгодно соглашаться с предложением Глеба Ивановича. «Многоуважаемый Глеб Иванович! — пишет Павленков 25 сентября 1889 года. — Ваша задача оказалась для меня неразрешимой. То, что я считал возможным и предлагал Вам, существенным образом отличается от проектируемой Вами комбинации. Я предлагал Вам принять на себя все издержки по изданию нового полутомика и, вернувши их от продажи этой книги, — выплачивать Вам затем всю полученную от дальнейшей ее распродажи прибыль. Вы же хотите получать — до выхода издания и до возвращения расходов по изданию — 1900 рублей и наложить на нас долг в 3100 рублей. Не говоря уже о том, что это — комбинация другого рода, весьма трудно выполнимая и без процентного займа у Кукольникова, Луковникова и тому подобных господ совершенно для меня невозможная — она, кроме того, еще не совсем точно рассчитана. Вот какие от нее получаются результаты. По изданию надо будет уплатить расходов с объявлениями — около 3000 р.,



наложенного долга — 3100 р., Вам — 1900 р. К этим 8000 р. надо прибавить рублей 1000 процентов (за два года, примерно, Луковникову или Кукольникову). Получится же от продажи 1000 экземпляров 10000 р. — 30 %, то есть 7000 рублей. Дефицит в 1000 рублей.

В заключение я должен сказать, что всегда готов исполнить то, что обещал, и притом исполнить с величайшей охотой! Но всякие другие комбинации для меня невозможны».

Проблемами, связанными с изданием собрания сочинений, не исчерпывается, конечно, содержание переписки Павленкова и Успенского. Они поверяли в коротких записках друг другу сокровенное. В одном письме Флорентий Федорович пишет: «Напрасно, дорогой Глеб Иванович, Вы беспокоитесь. Вероятно, Вам нездоровится. Может быть, мне еще удастся повидать Вас до моего отъезда». «За последнее время я болел и до вчерашнего дня не выходил из дома», — читаем в павленковской записке Глебу Ивановичу от 1 декабря 1889 года. А уже из письма Г. И. Успенского Я. В. Абрамову от 2 декабря 1889 года узнаем, что в тот день у него состоялась встреча с Флорентием Федоровичем: «Кажется, Ф. Ф. Павленков не откажет мне в содействии издать книгу (речь идет, несомненно, о третьем томе собрания сочинений. — В. Д.). Я сегодня был у него по этому делу».

В другой раз Флорентий Федорович, узнав о возвращении Успенского, спешит сообщить, что у него возникла потребность личного свидания. «Глеб Иванович! — пишет он. — Я слышал, что Вы вернулись из путешествия и по временам бываете в Петербурге. Будьте так добры, предупредите меня запиской, когда именно сюда приедете и где остановитесь. Назначьте мне, словом, место и время (час), когда я мог бы с Вами видеться. Я имею переговорить с Вами об одном весьма срочном для Вас деле».

О чем речь? Об этом мы узнаем из более подробной записки Павленкова, направленной несколькими днями позднее. «С неделю тому назад я послал Вам, Глеб Иванович, в Чудово; но так как от Вас не было никакого ответа, то, думаю, что мое письмо до Вас не дошло, — пишет Павленков. — Вот в чем дело. Мне сказали, что Вы бываете в Петербурге, и я просил предупредить меня запиской, когда мне будет можно Вас здесь видеть? Будьте добры, уведомите меня об этом, потому что мне необходимо переговорить с Вами об одном крайне важном для Вас деле. Я же лично в этом деле никак не заинтересован. Меня просто просили сделать Вам предложение о приобретении права литературной собственности на Ваши сочинения. Подумайте об условиях и затем назначьте мне время. Фамилия

предлагающего лица будет объявлена Вам перед заключением условия. Такова просьба этого лица, просьба, которую я обязан исполнить». Известно также, что через посредство Г. И. Успенского Флорентий Федорович посылал бесплатно книги для организованной в Москве В. А. Морозовой библиотеки-читальни имени И. С. Тургенева, рассчитанной на необеспеченные слои населения, которым пользование платными библиотеками было недоступно.

В письмах Флорентия Федоровича Г. И. Успенскому, как в дневнике, отразилась будничная повседневность его жизни. Он отправляет две почтовые квитанции писателю, подтверждающие, что были отправлены оба тома сочинений Успенского по назначению; сообщает, что через день-два пошлет ему новую, а в скобках добавляет: «на этот раз крайне интересную», книгу Кюллера «Современные психопаты». «Завтра Вы получите с Василием 25 рублей, а в первых числах октября — не дальше 5-го — еще 100 рублей», — говорится в другой записке. Павленков пишет Успенскому о том, что два больших тома «Сочинений Скабичевского» совсем готовы и ждут только портрета. «Выйдут, вероятно, 15 ноября, если только не встретится затруднений в цензуре», — с горечью делает приписку издатель.

Из некоторых писем становится ясным, что малейшая неаккуратность Павленкова в переписке вызывала у Глеба Ивановича чувство обиды. Флорентий Федорович тут же приносил извинения, объяснялся со своим адресатом. «Ничем, ничем, дорогой Глеб Иванович, Вы мне не причинили никакого “беспокойства”. Не отвечал же я Вам в течение суток вследствие сутолоки и спешных корректур. Вам не в чем каяться и незачем себя утруждать. Я постараюсь исполнить Вашу просьбу, но надо немного подождать». Беспокойство вызывала задержка с ответом, не превышающая и суток. Эта записка говорит о многом. Нравственные обязательства друг перед другом для писателя и издателя были превыше всего.

Редко, но все же в переписке с Успенским у Флорентия Федоровича прорывается и сугубо личное: он рассказывает о себе, о своих увлечениях и пристрастиях. Глебу Ивановичу показалось, что Павленков был чем-то недоволен, слишком мрачным и необщительным на устроенной им встрече друзей по случаю своих именин. Откровенно об этом он и сказал другу. В ответном письме Флорентий Федорович объясняет, что причины произведенного им впечатления нужно искать ни в чем ином, а в свойствах его характера. «На начало Вашего письма затрудняюсь отвечать, — пишет Павленков. — Могу только Вас уверить, что никакие особенности проведенного нами вместе вечера (если только тут было что-нибудь

особенное) не могли произвести на меня того впечатления, о котором Вы пишете. Причины испытываемых мною в подобных случаях впечатлений лежат во мне самом — я совсем не умею бывать в гостях, а когда приходится находиться в оных, то чувствую себя всегда и везде более или менее неловко. Жизненные обстоятельства сделали меня нелюдимым. При всем моем искреннем расположении к Вам — даже симпатии — я дичусь и Вас. О других уже нечего и говорить. Вот и вся разгадка моего настроения на Ваших именинах — ларчик открывается очень просто. Кроме того, что было, ничего иного и не могло быть, потому что горбатого исправляет только могила. Кстати же, мне до нее, по всей вероятности, и не особенно далеко. Пока, однако, жив, нужно делать дело, а потому возвращаюсь к Вам как к автору». Павленков тут же силой своей воли подавляет давшую о себе знать некоторую сентиментальность. Он переводит разговор на практические дела, связанные с выпуском собрания сочинений Успенского. Правда, в конце письма, в постскриптуме вновь вспомнит об именинах, но уже по другому поводу.

В письме Флорентий Федорович высказывает пессимистическую мысль. И это не бравада. Состояние его здоровья ухудшалось, и издатель чувствовал, что ему вряд ли будет даровано судьбой быть долгожителем. Он откровенно писал об этом Глебу Ивановичу. Но жизнь непредсказуема. И Павленкову было суждено стать свидетелем личной драмы Успенского, когда тяжелая болезнь лишила того возможности работать. Вместе с другими искренними друзьями писателя Флорентий Федорович организует сбор средств, чтобы обеспечить нормальные условия жизни его семье. Сохранилось письмо Н. К. Михайловского Флорентию Федоровичу, из которого видно, что именно Павленков писал обращение к друзьям и почитателям Г. И. Успенского.

Н. К. Михайловский предлагал дополнения к этому документу: «Часть единовременных взносов должна будет пойти на уплату некоторых долгов Г. И. Успенского и устройство дел его семьи в настоящий критический момент. Если же по истечению 6 лет окажется остаток от единовременных, ежегодных и ежемесячных взносов, он будет передан в распоряжение жены или старших детей Успенского».

«Не находите ли Вы, многоуважаемый Флорентий Федорович, — писал Михайловский, — полезным сделать эту приписку в Вашей записке? Если да, то припишите ее своей рукой (за редакцию отнюдь не стою) и возвратите записку мне. Я пошлю ее в Москву, Плещееву и, может быть, кому-нибудь еще, для кого моей подписи будет достаточно. А потом подумаем о других подписях. В Москву я напишу, чтобы сбор взял на себя

кто-нибудь один для пересылки Вам, и этот один тем самым станет как бы членом нашего маленького комитета».

Н. К. Михайловский направил павленковскую записку также В. Г. Короленко, и тот откликнулся письмом на имя Флорентия Федоровича. «Получив письмо от Николая Константиновича относительно Г. И. Успенского, — сообщал Короленко, — я тотчас же написал в “Русскую мысль”, прося выслать на Ваше имя 100 рублей. Не знаю, исполнена ли уже эта просьба. Во всяком случае, она будет исполнена в непродолжительном времени. Теперь ко мне поступило еще сто рублей от доктора Елпатьевского. Надеюсь собрать еще рублей 100, 200 или 300. Здесь я счел более удобным собирать единовременно, ввиду того, что богачей знакомых у меня нет и по первому побуждению, при известии о положении всеми любимого Глеба Ивановича, всякий из тех, к кому я обращаюсь, старается сделать, что может. А там — посмотрим и ещё. Может быть, зимой (в начале) устроим концерт или чтение. Собранные деньги вышлю все сразу, — когда закончу сбор, то есть недельки через две».

По контракту 1896 года Павленков приобрел право на издание сочинений Успенского на десять лет. В предпринятой издателем серии «Жизнь замечательных людей» Флорентий Федорович стремился выпустить и биографию писателя, но, к сожалению, ее автором — В. Г. Короленко она не была подготовлена.

## КЛАССИКА ДЛЯ НАРОДА

В июне 1880 года в Москве был открыт памятник А. С. Пушкину. Почитатели таланта великого русского поэта вносили свой посильный вклад в увековечение его памяти. В те дни Павленков отбывал ссылку в Сибири. Когда сведения об открытии памятника поэту дошли и до ссыльного, он решил, что необходимо выпустить пушкинские произведения, причем распространить их по такой цене, чтобы они были доступны каждому, кто пожелает их приобрести. Пушкин нужен народу, и обязанность всех, кто работает во имя народного просвещения, сделать так, чтобы его творчество дошло до самых глухих уголков Отчизны. Тут мало одной книжки, какого-либо одного, даже пускай самого интересного издания! Важно подготовить целую библиотеку пушкинских книг, самых разнообразных. К тому же истекли и сроки авторского права на сочинения Пушкина.

С восьмидесятых годов произведения Пушкина, изданные Павленковым, начинают поступать на книжный рынок. Выбор был богатый. Это видно хотя бы из рекламных объявлений, помещаемых издателем на обложках выходящих тогда книг:

Сочинения Пушкина. С портретом, биографией и 500 письмами.

Полное собрание — в 1-м томе и в 10-ти томах. Цена 1-томного и 10-томного одна и та же. Без картин — 1 р. 50 коп. С 44 картинami — 2 р. 50 коп.

Сочинения Пушкина. Полное собрание стихотворений и вся беллетристика в прозе. В 1 томе. С биографией, портретами. Цена 1 р., с картинami — 2 р.

Стихотворения Пушкина. Полное собрание с портретами, биографией и пр. В одном томе (770 стр.). Цена без картин — 75 коп. С картинami — 1 р. 50 коп.

Большой альбом к «Сочинениям Пушкина». 44 иллюстрации с подписями и портретом. Цена в папке 1 р. 50 коп.

Малый альбом к «Сочинениям Пушкина». 44 иллюстрации, резаны на дереве. Цена в коленкором переплете — 1 р. 25 коп.

Капитанская дочка. Повесть А. Пушкина. 188 рисунков. Цена 60 коп. В папке — 75 коп., в переплете — 1 р.

И этим не исчерпывались пушкинские книги в издательстве

Павленкова. Многие из иллюстрированных изданий охотно приобретались бы школьными библиотеками, но, по мнению чиновников ученого комитета Министерства народного просвещения, далеко не все можно было допустить к распространению. Так, от издателя требовали, например, убрать некоторые рисунки. Особым придирам подверглась пушкинская «История пугачевского бунта». Репродукции из картин «Суд Пугачева», «Побоище в Казани», «Казнь Пугачева», «Сожжение дома Пугачева» потребовали изъять из издания на том основании, что народу не нужно смотреть на «возмутительные» сцены, изображенные на этих полотнах, что нельзя допускать, чтобы у читателя складывалось впечатление о Пугачеве, как о народном герое. Спасая книгу, Павленков вынужден был исключить из нее несколько рисунков и заверить цензурный комитет, что издаст ее не более чем двухтысячным тиражом. Возмущало власти и то, что издатель назначал цену книге всего двадцать копеек, хотя в ней помещал и иллюстрации, и портреты.

К подготовке полного собрания сочинений А. С. Пушкина Павленков привлек известного критика и историка литературы А. М. Скабичевского, который систематизировал пушкинские произведения и подготовил биографию поэта. Такой тип издания был в значительной степени приближен к учебным задачам и привлекал внимание учителей.

В «Русских ведомостях» известный пушкинист В. Е. Якушкин в обзоре новых петербургских изданий сочинений А. С. Пушкина не обошел вниманием, естественно, и павленковские книги. Он высказал в целом одобрительную оценку, но заметил, что в текстах допущены неточности. Правда, в обзоре об этом говорилось в самом общем плане. Поэтому Флорентий Федорович тут же адресует автору обзорной статьи письмо с просьбой более конкретно изложить суть претензий. 3 мая 1887 года В. Е. Якушкин отвечает. Он сообщает, что павленковское письмо получил вчера и что ответ на него дает немедленно. Составленный разбор новых изданий Пушкина готовился для «Северного вестника», но не был принят, а в «Русских ведомостях» смогли опубликовать лишь сокращенный вариант. Оттого и вышел столь общий разговор в опубликованной статье. Главная же претензия пушкиниста к подготовителям павленковского издания сочинений А. С. Пушкина заключается в том, что ими было взято за основу издание Литфонда под редакцией П. О. Морозова. «В моем подробном разборе были указаны два основных недостатка в работе П. О. Морозова, — пишет Якушкин Павленкову. — Всякое издание Пушкина должно основываться 1) на рукописях и 2) на подлинных изданиях. Г. Морозов занимался рукописями и внес из них дополнения и поправки, но он их не

исчерпал».

По мнению В. Е. Якушкина, издание пострадало оттого, что там повторены все ошибки прежних изданий и прибавлены свои. Так как рукописью своей статьи автор не располагал на момент, когда пришло павленковское письмо, — обзор застрял в редакции «Русских ведомостей», — он высылал издателю экземпляр изданного им «Евгения Онегина», где были «отмечены карандашом (лиловым) главные поправки», которые следовало бы внести в текст по сравнению с изданием 1882 года. А затем к этому присовокуплял ряд запомнившихся ему досадных ошибок, вкравшихся в пушкинский текст.

«Вот Вам по памяти еще несколько примеров, — пишет он Павленкову, — в пьесе “Цыгане” надо “проводжал” вместо “проводжал”, в пьесе “Вакхическая песня” надо “подыдем” вместо “поднимем”, или еще в начале “Андрея Шенье”: “подъята” вместо “поднята”».

Пушкиниста не устраивает тот факт, что павленковские издания дают текст 1882 года без всяких почти поправок и дополнений. «А. М. Скабичевский должен был внести поправки из сообщений на основании рукописей, — приходит к выводу рецензент. — ...По отношению к печатному тексту Вам еще нужно сделать много — сверить по подлинным пушкинским изданиям». К сожалению, из-за занятости другой работой Якушкин не может принимать участие в данной работе. Он ограничивается лишь высказанным советом, «...за который прошу не сетовать», — завершает он свое письмо.

Так вышло, что Флорентий Федорович, не дождавшись ответа на свое прежнее послание, в новом письме возражал рецензенту по поводу еще одного содержащегося в обзоре упрека в адрес иллюстративного ряда в пушкинских изданиях. Тут уж В. Е. Якушкин не выдерживает. Получив на второй день после отправки своего письма новое послание Павленкова, он пишет ему резкий ответ с аргументированным разбором допущенных несуразностей в иллюстрациях к пушкинскому тексту. «Вчера утром, — писал В. Е. Якушкин, — отправил Вам ответ на Ваше первое письмо, а затем получил еще Ваше письмо от 1-го мая. Что касается до сущности дела, то есть до вопроса об исправлении пушкинского текста Вашего издания, то я должен Вам повторить то же, что писал вчера; с одной стороны, я, к сожалению, не могу участвовать в этой работе, а, с другой, не могу опять не указать Вам на необходимость для точности текста сверить его по подлинным пушкинским изданиям. Если Вам для Вашего издания и не нужны варианты, то точность основного текста без такой сверки все-таки невозможна. Если таким образом можно, скажем, исправить, ну,

десять ошибок, и то очень важно. Согласитесь, что большая разница, читать ли в Е. Онегине “Свидетель падшей славы” или “Свидетель нашей славы”.

В своем подробном разборе новых изданий Пушкина я, говоря о Ваших изданиях, отдаю полнейшую справедливость Вашей издательской энергии, благодаря которой Вы выпустили сочинения Пушкина в таких многочисленных и многообразных изданиях. Вы, несомненно, сделали много и для редакции текста, пригласив известного литератора быть редактором издания, и не Ваша вина, что текст оказался и неточным, и неполным.

В подробном разговоре я, помнится, подробно говорил и о Ваших картинах, — в сокращенном же осталась одна лишь фраза, которая Вам показалась несправедливою и обидною. Признаюсь, несмотря на Ваше возражение, я остаюсь при своем мнении, которое выражено, быть может, несколько резко».

Весьма суровый приговор выносит Якушкин и всем рисункам в издании: «Картинки, приложенные к Вашему изданию и составившие также отдельный альбом, все такого рода, что ни одна из них, — не говорю уже о сравнении с поэзией Пушкина, — ни одна из них не имеет никакого художественного значения. Начать с того, что все они — плохой политипаж; затем на редкой из них нельзя указать на существенные ошибки технического свойства, то есть несоблюдение перспективы, теней и т. д.». Особенно серьезные претензии предъявлялись Якушкиным в связи с противоречием содержания картинок произведениям Пушкина. «Так возьмите хоть первую из них: вместо “чинного” ряда “арапов” изображена какая-то беснующаяся толпа диких уродов, не то китайцев, не то чертенят; по Пушкину, Черномор идет, — на картине его несут и т. д. Возьмите картину 8-ю “Верхом в глуши степей нагих”, а на картине деревня, окруженная деревьями. — На картинке № 11 вместо хрустального гроба представлен каменный, а главное — нет цепей. № 14 полячка должна быть совсем закрыта черною буркою, иначе Будрим не мог спрашивать: “что под буркой такое?” № 28: представлена какая-то лавка древностей, где червонцы валяются на полу, — вместо подвала, где должны быть только в сундуках для червонцев, бережно хранимых; — и т. д., и т. д. — можно бы привести много еще примеров».

Вновь обратившись к художественной стороне рисунков, Якушкин не без иронии спрашивает: «...можно ли нарисовать Карла (№ 8) так, что как будто он скачет на очень тряской лошади и боится упасть?», а «можно ли представить такую неотесанную и старую Татьяну, как видим на № 18?»



Или: «отчего Моцарт (№ 29) непохож на Моцарта? <...> Что это за ужасный Дон Жуан, а Донна-Анна в турнюре и кринолине, а вместо статуи Командора поставлены два валенка (№ 30)?.. Как можно вместо Савельича нарисовать какого-то маленького эльфа, летящего выше кустов?»

Но Якушкин просит не обижаться на эти замечания Павленкова: «Картинки (в общем) плохо задуманы, плохо нарисованы, плохо вырезаны».

Но Флорентий Федорович и не думает об обидах. Наоборот, он признателен пушкинисту за столь откровенный отзыв. И вскоре посылает ему очередные выпущенные пушкинские издания. Уже 16 июня 1887 года тот благодарит за пересланное Павленковым ему в деревню новое издание Пушкина и дает несколько конкретных советов: «В основу исправлений Вы кладете издание Литературного фонда. Не помню, писал ли я Вам о двух замеченных мною у Морозова пропусках: 1) песня о С. Разине под 1825 г. и 2) приписка в последнем письме Нащокину — см. II и VII тома Комаровского издания».

Павленков немедленно реагирует на пожелание, содержащееся в письме В. Е. Якушкина. 12 июля 1887 года он запрашивает библиографа и историка литературы П. А. Ефремова: «Мне очень понадобились те первые два тома Пушкина, на которых у меня сделаны отметки. Будьте добры, пришлите их мне с подателем этой записки: он зайдет к Вам в назначенный Вами час. Когда я могу повидаться с Вами лично, чтобы снова переговорить о некоторых предполагаемых поправках в новом издании Пушкина, а также о рисунках? Не выберите ли Вы коллекцию из 24 портретов Пушкина для моего нового издания, как я Вам говорил прошлый раз?»

Много лет спустя друг и в значительной степени восприимчивый идей Павленкова Н. А. Рубакин в своих размышлениях о сильных и слабых сторонах личностей русских интеллигентов оставил очень важное замечание относительно того, каким работником был идейный издатель, приверженец Писарева. «Никаким трудом он никогда не брезговал, а поручать его другим не любил, — писал Рубакин. — И зато был всегда в своем деле настоящим и полным хозяином — руководителем и внутренней и внешней стороны его. Он входил в самую суть всякой книги, которую выбирал для своего издательства... При этом был всегда строг и деловит. И этим доказал всему свету, что может ведь и интеллигент создавать дело практическое, да и вести его практически, а в коммерческом отношении щепетильно-честно».

Работа Павленкова над изданиями пушкинских произведений как

нельзя ярче подтверждает справедливость рубакинского наблюдения. Интеллигентность издателя проявлялась не в бесконечных рассуждениях о работе, деятельности, а была направлена на то, чтобы эта работа выполнялась качественно, без малейших изъятий, чтобы она лучше служила народу.

«Принимаетесь ли за третье издание Пушкина?» — спрашивал Павленкова писатель П. В. Засодимский 6 июня 1887 года. И ответ на этот вопрос мог быть только один: издаю. В 1891 году Павленков выпускал уже четвертое издание сочинений А. С. Пушкина.

В материалах Общества любителей российской словесности за 1887 год, связанных с чествованием памяти А. С. Пушкина в пятидесятую годовщину со дня смерти поэта, сохранились черновики переписки с Ф. Ф. Павленковым.

Когда Флорентий Федорович узнал, что Общество любителей российской словесности решило устроить в Московском университете выставку пушкинских изданий, приуроченных к этой дате, он посылает туда свой запрос, в котором, в частности, выражает беспокойство: а не опоздает ли он представить для готовящейся экспозиции собрание сочинений А. С. Пушкина, выпущенное его издательством? Из Общества любителей российской словесности ему сообщили: «Милостивый государь Флорентий Федорович, в ответ на почтенное письмо Ваше спешу Вас уведомить в двух словах: не опоздаете, присылайте 31 января».

После выставки, на которой демонстрировалось павленковское собрание сочинений поэта, 20 января 1887 года Общество любителей российской словесности направило издателю послание: «Милостивый государь Флорентий Федорович! Общество любителей российской словесности, состоящее при Императорском московском университете, постановило выразить Вам, милостивый государь, искреннюю признательность за доставление на устроенную Обществом выставку произведений А. С. Пушкина изданных Вами сочинений нашего великого поэта».

Ниже в благодарственном письме содержалась просьба к издателю «... уведомить, какое дальнейшее назначение угодно будет дать Вам присланным в Общество экземплярам Ваших изданий, то есть, возвратит ли их Вам обратно или же Вы найдете возможным пожертвовать их в библиотеку Общества?».

Нет сомнения в том, что Павленков определил однозначно судьбу своих пушкинских книг: пусть через библиотеку они служат российскому читателю, студенчеству. И они несли такую службу многие годы.

Флорентий Федорович всю тяжесть издательских хлопот взваливал на собственные плечи. Штат сотрудников, которых он нанимал, был очень небольшим. Друзья издателя вспоминали, что в любое время стол Флорентия Федоровича был завален верстками, рукописями, письмами. Так, в романе «Не герой» писатель И. Н. Потапенко представляет нам некоего П. М. Калымова, прообразом которого некоторые считают Флорентия Федоровича Павленкова. «Рачеев... изучал его письменный стол, на котором в образцовом порядке были разложены корректурные оттиски разных форматов и шрифтов.

— Неужели Вы сами прочитаете все это? — спросил Рачеев.

— Безусловно! Конечно, у меня есть корректора, они занимаются черновой работой, но последнее слово принадлежит мне. Ни одно мое издание не попадает под печатную машину без моей подписи, а я никогда не подписываю того, чего не прочитал внимательно...

— Но как Вы успеваете?

— Успеваю потому, что только этим и занимаюсь. Это мое единственное дело, которому я посвятил всю свою жизнь. Я всегда держался мнения, что всякое дело может быть поставлено образцово, если ему отдаешься вполне. Впрочем, это не ново и во всяком деле прилагается, за исключением книжного. У нас книжное дело большею частью ведут промышленники, ровно ничего в издаваемых ими книгах не понимающие и интересующиеся только сбытом... Они затрачивают громадные суммы, у них переплеты стоят дороже самих книг, но одного не хватает их делу: души, потому что никто у них не любит этого дела, а все, кто при нем состоит, заинтересованы только в одном, — чтобы был заработок. Ну, а я, — уж извините, скабреной книги не дам своему читателю. Зачем? И так у нас довольно развращающего печатается. Я хочу не только сбыть книгу, но и увеличить охоту к книге, умножить число читателей. И, слава богу, дело наше явно подвигается».

Конечно, большая часть проделанной работы не дошла до нас. Но и то, что безжалостное время сберегло, что отложилось в архивах, позволяет увидеть, насколько титаническим был труд издателя-демократа.

Сохранился собственноручный подсчет строк, сделанный Павленковым, для готовящегося им издания двухтомного собрания сочинений М. Ю. Лермонтова. Учтена каждая стихотворная строчка, сделан пересчет на различные шрифты. На маленьких листах, согнутых пополам, мелким убористым почерком сделаны подсчеты...

Издание сочинений М. Ю. Лермонтова осуществлялось на основе принципов, сходных при работе над выпуском пушкинских произведений.

В собрание включались и биография, и 115 рисунков художника М. Е. Малышева, и портрет поэта. Позднее это издание целиком войдет в однотомник большого формата. Для удобства пользования изданием в нем помещался алфавитный указатель всех произведений. По примеру «Иллюстрированной Пушкинской библиотеки» Павленков выпускает и «Иллюстрированную Лермонтовскую библиотеку».

Павленковым изданы собрания сочинений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского, Г. И. Успенского, Ф. М. Решетникова, Н. В. Шелгунова, А. М. Скабичевского и др. В этом ряду по праву могут быть названы и сочинения Н. В. Гоголя. Они были подготовлены к изданию Павленковым, но издать их удалось лишь его душеприказчикам в 1902 и 1915 годах.

**«Том первый**  
**Стр. 1—184. Стихи 5831 строка. Выйдет — 47 страниц.**  
**Стр. 184—370. Проза 37 200 букв. Выйдет — 78 стран.**  
**Стр. 371—431. Стихи (Маскарад). Выйдет 1580 строк — 13**  
**стран.**  
**Стр. 432—484. Письма боргес 72 000 букв прозы — 11 1/2**  
**стран.**  
**И 153 страницы выйдет.**  
**Том второй.**  
**Стихи 10 625 строк. Выйдет — 86 стран.**  
**Проза (46—47 и 126—194). Выйдет — 28 стран.**  
**Примечания (510—528) петит — 7 стран.**

Просветительская нацеленность всех этих изданий находила свое выражение не только в том, что Флорентий Федорович — нередко даже в ущерб собственным интересам — занижал цены выпущенных книг, чтобы они находили покупателя в самой широкой аудитории, но и в самом характере издания. Павленков стремился снабжать их предисловиями, причем добивался, чтобы авторами таких обращений к читателю выступали подлинные знатоки, талантливые пропагандисты творчества того или иного писателя.

Так, когда Флорентий Федорович решает издавать собрание сочинений Виктора Гюго, для написания предисловия он обращается к литературному критику, сотруднику «Отечественных записок» Александру Михайловичу Скабичевскому. «Вы очень обяжете меня, — обращается к Скабичевскому

Павленков 29 октября 1894 года, — если не откажетесь написать вступительную статью критико-библиографического характера к издаваемым мною сочинениям Виктора Гюго в сокращенном переводе г-жи Брагинской. Все необходимые сведения и состав этого издания Вам сообщит Николай Александрович Розенталь. Объем статьи, в случае Вашего согласия, будет зависеть от Вас. Я думаю, что она займет не более журнального листа...»

В статье критика М. А. Протопопова, талантливого, убежденного и горячего последователя литературных традиций шестидесятых годов, которая сопровождала двухтомное собрание сочинений писателя-демократа Ф. М. Решетникова, отмечалось прогрессивное значение его произведений. Такие оценки были весьма смелыми, ибо немало произведений Решетникова входило в восьмидесятые годы в списки запрещенных к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях книг.

Отдельные статьи такого рода, подготовленные по заказу Павленкова, стали настоящим явлением в литературной и общественно-политической мысли. К примеру, Г. В. Плеханов, ссылаясь на статью Н. К. Михайловского «Прудон и Белинский», считал нужным добавить очень существенное для ее характеристики: «...которую г. Павленков украсил свое издание сочинений Белинского».

Наряду со статьями-предисловиями и послесловиями издатель помещал иллюстрации, портреты авторов. Для собрания сочинений М. Ю. Лермонтова он заимствует иллюстрации, публиковавшиеся в журнале «Нива» в 1879–1883 годах. Это — и фотографии дома Лермонтова в Пятигорске, дома, где он родился, гробницы поэта в селе Тарханы, и репродукции работ, к примеру, М. А. Зичи «Побежденный демон», «Княжна Мери» и рисунки к отдельным произведениям — Бэла, Воздушный корабль, Горные вершины, Беглец, купец Калашников, Три пальмы и др.

По возвращении из сибирской ссылки Павленков всю свою энергию направил на завоевание все новых и новых читательских кругов. Будучи стойким и убежденным борцом за претворение в жизнь идеалов 60-х годов, он вынужден был жить и трудиться в новую эпоху, среди других веяний в общественно-политической жизни страны. Очень точно выразит позднее сходство и отличие этих двух поколений — шестидесятых и последующих годов — К. А. Тимирязев. «Моисей, умирающий, простирая руки к обетованной земле, куда ему не привелось войти, — трогательно-поэтический образ, но, конечно, не менее трогательные были образы тех безвестных, не завещавших истории своих имен, молодых евреев, которые

и родились и умерли в пустыне, не увидав обетованной земли, но не изменили своим заветам, не поклонились золотому тельцу, — писал Тимирязев. — В такой символической форме нередко представляются моему воображению, с одной стороны, типические фигуры старых шестидесятников, а с другой, — молодых представителей других десятилетий, сошедших в могилу, не оставив видимых следов своей преданной, самоотверженной деятельности. С типическим образом старого шестидесятника неразрывно связано представление о каком-то устойчивом оптимизме, неискоренимой уверенности в лучшее будущее. Чувство это, конечно, не брало начало в каком-нибудь благодушном равнодушии к настоящему; напротив, сочетаясь с горячим протестом против него, оно питалось живым воспоминанием о прошлом, воспоминанием об освобождении из плена египетского. Кто видел один восход солнца, того не уверишь даже темной ночью, что оно закатилось навсегда. На этой индукции: восходило, — значит, взойдет, держится вся нравственная опора жизни. Не то было с молодым поколением; как и отцам, ему сорок лет пришлось бродить по пустыне, как и отцам, не привелось ему вступить в обетованную землю, но сверх того у него не было позади, как у отцов, бодрящего, живого воспоминания о поражении фараона, и тем большее напряжение нравственных сил требовалось ему для беззаветного служения своему народу».

От наблюдательного взора Павленкова не ускользало это разящее противоречие. И он, как истый шестидесятник, делает все, что в его силах, чтобы передать новым поколениям те идеалы, которыми он сам и его товарищи вдохновлялись в юности. Оттого он издает сочинения В. Г. Белинского, Н. В. Шелгунова, борется за выпуск в России произведений А. И. Герцена.

Переписка Павленкова позволяет восстановить историю издания сочинений близкого ему по взглядам и мировоззрению человека — Николая Васильевича Шелгунова. Инициатором выпуска в павленковском издательстве страстных публицистических работ этого шестидесятника был все тот же Г. И. Успенский. Однако из-за болезни скорее всего он не сумел обговорить с издателем все вопросы. Поэтому Н. В. Шелгунов обращается с просьбой к Н. К. Михайловскому взять на себя эти хлопоты. 11 февраля 1890 года Михайловский пишет Павленкову: «Многоуважаемый Флорентий Федорович! Я получил от Шелгунова письмо, из которого позволяю себе сделать следующую выписку для Вас: “Глеб Иванович предложил мне переговорить с Павленковым об издании моих прежних статей. То же самое предлагал мне летом Ярошенко. Я был сначала против.

Кому и для чего нужны мои статьи? Но потом взяли верх личные соображения. В моих статьях, конечно, нет ничего руководящего, но в них есть кое-какие знания и мысли, подготавливающие к руководящим мыслям. А такого читателя у нас много. Значит, издание может найти покупателей. Не знаю, переговорил ли Глеб Иванович с Павленковым. Да еще и когда? Если тебе случается с Павленковым встречаться — брось ты ему эту мысль и зондируй». Как видите, я предпочитаю не бросать мысль и зондировать, а полностью сообщать Вам предположение глубоко мною уважаемого и глубоко несчастного старика. Позвольте надеяться, что Вы сообщите мне свои на этот счет мысли с такою же откровенностью».

Не получив тут же ответа на свое письмо, Михайловский дважды навещает издателя на его квартире, но тоже безуспешно. Тогда оставляет такую записку: «Я два раза был у Вас и не заставал, хотя второй раз был в Ваши приемные часы. Мне необходимо Вас видеть по делу об издании Шелгунова... Не найдете ли возможным назначить время, когда я Вас наверное застаю».

Несомненно, такое время нашлось. Предложение Павленкову пришлось по душе, ибо он тут же принимается за работу. Из письма Н. В. Шелгунова Ф. Ф. Павленкову, отправленного из Пятигорска 31 мая 1890 года, известно, что первый том сочинений им уже выслан в адрес издателя, а второй он также рассчитывает направить к оговоренному сроку. Поскольку автора одолевают сомнения и страхи, будут ли интересны его статьи новому читателю, он просит издателя редактировать, а все то, что найдет неудобным, сокращать.

Обращаясь к проблеме рекламы своих сочинений, Н. В. Шелгунов пишет: «Не знаю, в каком виде Вы пустите объявления? Сказать только “Сочинения Н. Шелгунова” — едва ли понятно для читателя. Подробное оглавление выяснило бы дело каждому; но ведь это дорого?»

И еще одно беспокоит писателя, о чем он и делится с Павленковым. «Статьи очень концентрированные, как в отдельности каждая, — так в общей совокупности, — пишет он. — Как отнесется цензура? Я запуган цензурой московской. В майской книжке “Русской мысли” опять не явился мой очерк. А что и, кроме того, они вычеркивают из каждого очерка! Если такая цензура и в Петербурге, то уже и не знаю, чего ожидать. Вообще у меня много и неуверенности, и сомнений, и страхов».

Причины для волнения, конечно, были. К тому же писатель был уже серьезно болен, и это сказывалось на его настроении. Его раздражали даже советы издателя, хотя они были продиктованы исключительно одним — заботой о качестве издания. Так, возникла даже конфликтная ситуация

между Павленковым и Шелгуновым относительно статьи «Податной вопрос». Не соглашаясь с замечаниями Павленкова по поводу того, что приведенные статистические данные отражают прошедшие времена, Николай Васильевич решает обратиться к Н. К. Михайловскому как к арбитру в их споре.

Вот что писал Павленкову Михайловский: «Был у меня Шелгунов и, между прочим, давал читать свой “Податной вопрос”. Ему так хочется видеть эту статью в составе сочинений, и так он постарел и ослабел, что, по-моему, право, жестоко отказывать ему в этом удовольствии. Притом же идея статьи не устарела, устарели цифры, которые он ведь сильно сократил, целыми и многими страницами. И все это может быть оговорено в предисловии или специальном примечании к статье. Я бы на Вашем месте исполнил его желание...

Сейчас получил Ваше письмо, Шелгунов говорил мне об арбитраже, но я не принимал этого серьезно, в буквальном смысле. Иначе бы я уклонился с первого слова. Присутствие или отсутствие одной статьи в три листа в двухтомном пятидесятилистном издании не представляется мне настолько важным, чтобы стоило из-за этого вести форменные пререкания. С моей точки зрения решающим моментом является в этом случае желание Шелгунова, а так как это мотив чисто сентиментальный, то и выставляю его отнюдь не в качестве арбитра. Извещу об этом и Шелгунова, конечно, без упоминания об его старости и слабости».

Однако эти разногласия не идут ни в какое сравнение с теми испытаниями, которые предстояло выдержать издателю в цензурном комитете. Чтобы спасти собрание сочинений старейшего шестидесятника, Павленкову приходилось идти на уступки. 22 декабря 1890 года он давал собственноручную расписку следующего содержания: «Я, нижеподписавшийся, согласен в изданном мною 2-м томе сочинений Н. В. Шелгунова сделать указанные мне петербургским цензурным комитетом исключения».

О чем же идет речь? Что показалось неприемлемым цензуре на указанных ста с лишним страницах? Даже из приложенного к сочинениям биографического очерка Н. К. Михайловского был выброшен целый ряд строк и абзацев. Но больше всего досталось, конечно, «Воспоминаниям» Н. В. Шелгунова. Цензор В. Ведров, рассматривавший данное издание, 5 декабря 1890 года представил свой доклад заседанию цензурного комитета. Уже на нескольких цитатах он желал доказать общий дух «Воспоминаний» и внес предложения по многочисленным вырезкам из них. Естественно, что были изъяты воспоминания о М. Л. Михайлове, как общественном деятеле,



которого обвинили в сочинении прокламации «К молодому поколению» и сослали в Сибирь. Цензор скрупулезно отметил все страницы, где речь шла о революционном движении и где пестрели запретные имена. «Сам автор, — язвительно отмечал цензор, — не устыдился представить свою жизнь, как агитатора по идее». «Оставляя в стороне политико-экономические увлечения автора, — делал вывод В. Ведров, — мы должны остановиться на его воспоминаниях, касающихся нашего Отечества, его недавних революционных стремлений, которые только взволновали поверхность и не довели ни до чего: Россия пребывает в сумерках мысли и до сего момента (стр. 620). Все это “прокламационное время” так эффектно описано у него подробно со всеми героями и их “резкими выходками”».

Далее цензор делает вывод: «Смелым и вдохновенным пером он обновил пагубные влияния, так много причинившие бедствия нашему Отечеству». Затем, сославшись на множество параграфов из цензурного устава и других запретительных актов высшей власти, он полагал невозможным допустить выход «Воспоминаний из прошлого и настоящего» Н. В. Шелгунова.

Цензурный комитет согласился с этим мнением и в дополнение отметил тенденциозный характер всего издания.

Он признавал книгу вредною и разрешил выпустить ее в свет лишь при условии больших купюр.

Спасая издание, Ф. Ф. Павленков вынужден был согласиться даже на такую жестокую меру. Он добивался, правда, восстановления нескольких страниц, поскольку на них была ссылка в уже вышедшем первом томе сочинений Н. В. Шелгунова. Но В. Ведров возражал и в докладной записке своему начальству от 7 января 1891 года написал: «В главном, как было желательно “власти”, — сделано; остаются мелочи, о которых не стоит говорить... По моему мнению, нельзя согласиться никаким образом на оставление места, как пели барковщину и искажали молитвы и о поляках, усиливающих элемент сопротивления, хотя это было напечатано... Пусть останутся голые места без точек, как будто ошибка печатника. Во всяком случае, это безопаснее».

Собрание сочинений Н. В. Шелгунова так и появилось с «ошибкой печатника»: после 642-й страницы сразу следовала 679-я, а на 630-й странице текст давался более широкой разрядкой строк и абзацев.

Возможно, что Павленков отстаивал бы право на выход шелгуновских сочинений не в столь изуродованном виде и с большей настойчивостью, но писатель был уже смертельно болен. Того же самого 7 января 1891 года, когда цензор Ведров писал новую реляцию по поводу сделанных

Павленковым поправок, Н. К. Михайловский обращался к Флорентию Федоровичу с тревожной просьбой: «Шелгунов плох. Я говорил с Монасеиным, да и без него видно. Должно быть, мы его скоро хоронить будем. Потешьте старика перед смертью — поторопите, если можно, выход его сочинений».

12 апреля 1891 года писателя-демократа не стало...

Павленков намеревался выпускать и новое издание собрания сочинений Н. В. Шелгунова, однако его наследники, в частности сын — Н. Н. Шелгунов, посчитали целесообразным предпринять собственное издание...

Конечно, далеко не все замыслы Флорентия Федоровича в издании художественных и публицистических произведений были воплощены в жизнь. Причины, помешавшие этому, самые различные. Чаще всего препятствием выступали более ранние договоренности писателей с другими издателями. Правда, на пути сотрудничества возникали и иные преграды. В начале 1889 года либеральный общественный деятель, поборник просвещения М. М. Стасюлевич сообщил Флорентию Федоровичу об ухудшении состояния здоровья М. Е. Салтыкова-Щедрина и о том, что тот не возражал бы против выпуска его собрания сочинений. Творчество писателя всегда было близко Павленкову. Он без колебаний соглашается на издание салтыковских произведений, о чем ставит в известность писателя.

13 февраля 1889 года информируется об этом и М. М. Стасюлевич. «Многоуважаемый Михаил Матвеевич! — писал Флорентий Федорович. — По Вашему совету я послал три дня тому назад М. Е. Салтыкову письмо, в котором сообщаю ему о моем согласии на его новое предложение относительно одного издания его “Сочинений”. Желая, однако, связать и слить вместе оба предложения Салтыкова, я проектировал (в общих чертах) наши обоюдные договорные отношения так: 1) Салтыков получает от меня 20 000 рублей и дает мне право напечатать в 12 000 экз. “Полное собрание его сочинений”, притом  $\frac{1}{2}$  издания выпускается мною в продажу, а  $\frac{1}{2}$  (т. е. 6000 экз.) отдается автору или, кому он укажет, на хранение. 2) Не позже как через год по выходе в свет сделанного мною издания я имею право получать от Салтыкова 3000 экз., уплативши ему 22 тысячи, а не позже двух лет от того же дня ко мне переходят и остальные 3000 экз., вместе с правом собственности на все вошедшие в это издание произведения Салтыкова — если только я уплачу при этом Салтыкову еще 21 000 рублей, а всего в общей сложности 63 000 р. 3) Если бы я почему-нибудь не внес Салтыкову какого-либо из этих срочных платежей — все хранящиеся у него

экземпляры изданных мною “Сочинений Салтыкова” становятся собственностью автора или его наследников. Думаю, что при такой комбинации не может быть уже вопроса о “гарантиях”».

Как выясняется, М. Е. Салтыков-Щедрин вел переговоры и с другими издателями по поводу выпуска собрания своих сочинений. И его настораживала заинтересованность Павленкова в этом проекте. Это видно из письма Михаила Евграфьевича от 4 февраля 1889 года издателю Л. Ф. Пантелееву. «От Салаевых (книгопродавцы-издатели. — В. Д.) ни слуха, ни духа, — сообщает Салтыков-Щедрин. — Между тем Павленков дал мне знать, что завтра утром будет у меня для переговоров на тех же условиях, как и Салаевы. Я совсем Павленкова не знаю, и потому обращаюсь к Вам с просьбой уведомить меня (ежели сами зайти не можете), не рискую ли я, особенно при рассрочке платежей. Само собой разумеется, что Ваш отзыв останется тайным». Возможно, что эта «тайна» и не позволила осуществиться павленковскому намерению издать сочинения Салтыкова-Щедрина. Отказывая Павленкову в сотрудничестве, писатель ссылался на свой прогрессирующий недуг. 17 февраля 1889 года он писал Павленкову: «Милостивый государь Флорентий Федорович! Болезнь моя приняла такой тяжелый характер, что я вынужден отложить на неопределенное время всякие предположения об отчуждении права собственности на мои сочинения».

Два года ранее неудачей завершилась павленковская попытка выпустить и собрание сочинений В. Г. Короленко. Писателя, с которым довелось провести несколько месяцев в Вышневолоцкой политической тюрьме, он по праву считал одним из своих единомышленников. Глубоко симпатизируя его творчеству, Флорентий Федорович решает предложить Короленко выпустить его собрание сочинений. «Милостивый государь Владимир Галактионович! Еще до издания Ваших рассказов редакцией “Русской мысли”, — писал Павленков 23 сентября 1887 года, — я обращался к Н. Н. Бахметьеву за справкой об Вашем адресе, чтобы предложить Вам то, что теперь уже сделано: адреса мне не дали.

Теперь возвращаюсь к своему прежнему намерению. Я хотел Вам предложить сделать дешевое издание Ваших рассказов, в формате моего однотомного Пушкина: такое издание можно было бы возобновлять ежегодно, прибавляя к нему всякий раз все написанное Вами в промежуток между ближними выходами книжек.

Цена проектируемого мною издания была бы назначаемая... очень низкая — не дороже 3½ коп. за большой лист, в котором помещается 2 сложенных листа “Северного вестника”. Печатать сразу не менее 10 тысяч

экземпляров. Иллюстрировать издание. Подумайте серьезно о моем предложении и, если Вы не против него в принципе, то можно о дальнейшем переговорить с Вами лично, а в случае надобности и письменно».

В. Г. Короленко ответил отказом на это предложение. Мотивировал его следующим образом: «Большое спасибо за Ваше предложение, но, к сожалению, пока еще я не могу его принять. Дело в том, во 1-х, что второе издание моих рассказов уже печатается, опять же в “Русской мысли”. Во 2-х, я уже дал слово одному издателю, что если почему-либо издание в “Русской мысли” моих писаний сочтут неудобным — я или сама редакция, — то передам издание ему. Таким образом, пока я не в состоянии принять Ваше предложение, которое в принципе не могу не одобрить. Дело только в одном маленьком замечании (которое делаю мимоходом и так сказать на всякий случай): мне кажется неудобным присоединять вновь написанное к прежде изданному в одну книгу. Тогда тот, кто уже имеет прежние издания, должен или платить вторично за то, что уже у него есть, или отказаться приобретать новые рассказы. Впрочем, это замечание платоническое». В конце письма В. Г. Короленко с дружескими пожеланиями передает поклон от проживающего в Нижнем Новгороде «нашего общего старого знакомого» Н. Ф. Анненского.

Флорентий Федорович встречает ответ Короленко спокойно, без какого-либо недовольства. Он не теряет надежды на возможное сотрудничество. По поводу короленковских замечаний о характере будущей книги издатель считает нужным разъяснить суть своей позиции. «Это даже лучше, — пишет он 14 октября 1887 года, — что Вы не можете принять моего предложения теперь. Лучше по двум причинам: 1) на иллюстрации надо употребить изрядное количество времени, и согласись Вы теперь, — я не имел бы возможности выпустить издание своевременно в том виде, какой проектировался мною. 2) через 2–3 года предполагаемый мной формат будет более или менее соответствовать количеству написанного Вами, а теперь он дал бы Вашему собранию вид тетрадки.

Затем, что касается возбужденного Вами вопроса о “неудобстве присоединения вновь написанного к прежде изданному”, то я сам тому горю помогу: я могу или выпускать вновь написанные рассказы отдельно или же параллельно с общим собранием издать все сполна, по этапам. Вообще, тут возможны различные комбинации. Но весь план проектируемого мною издания должен быть решен в деталях не позднее, чем за год до его предполагаемого выхода. Вот все, что я нахожу целесообразным ответить на только что полученное мною Ваше письмо.

Можно, впрочем, прибавить еще три строчки: в случае если бы Вы нашли для себя более удобным сделать по моему плану компактное издание Ваших сочинений без моего посредства, то я этим нисколько не был бы огорчен, так как предложение мое не выходит из пределов самых обыденных комбинаций, известных всем и каждому».

План этот так и не был осуществлен. А выход первого издания собрания сочинений В. Г. Короленко отодвинулся... почти на тридцать лет — до 1914 года.

Боролся Павленков и за издание собрания сочинений А. И. Герцена. Еще в 1849 году, готовясь к изданию сборника своих произведений за границей, Герцен с грустью и надеждой писал: «Я знаю, что не только книгу в России запретят, но что учредят особый пограничный кордон *ab hoc* (для этой цели. — В. Д.) и новое ведомство предупреждения и пресечения ввоза мятежной книги. Мы посмотрим, кому удастся — книге ли пробраться в Россию или правительству не пропустить ее».

Долгое время в России и речи не могло быть о том, чтобы издавать работы Герцена. Но по прошествии времени издатели предпринимают попытки познакомить читателя с его творчеством. В 1890–1891 годах писатель и издатель Л. Ф. Пантелеев более трех месяцев проживал в Лозанне, где часто встречался с сыном А. И. Герцена Александром Александровичем, профессором местного университета. Имея большую семью, А. А. Герцен испытывал определенные материальные затруднения. Он обратился к Пантелееву с просьбой: не мог ли бы тот выяснить возможность переиздания в России тех герценовских сочинений, которые при жизни писателя и общественного деятеля не запрещались цензурой. Пантелеев получил доверительное письмо от А. А. Герцена и по возвращении домой обратился официально с запросом в цензурный комитет. Встречи с председателем цензурного комитета Феоктистовым, с некоторыми членами совета не принесли положительного результата. Хотя Пантелееву и разрешили получить полное заграничное издание сочинений А. И. Герцена для предоставления в цензуру. С. И. Кассовичу было поручено его изучить.

18 августа 1893 года в журнале заседаний Санкт-Петербургского цензурного комитета сделана запись о рассмотрении «доклада цензора Кассовича по просмотру полного собрания сочинений Герцена на предмет дозволения их печатания в России». Документ этот красноречив сам по себе. И не столько субъективными, достаточно окарикатурными оценками фигуры А. И. Герцена, сколько характером тех препятствий, которые возникали перед русскими издателями при осуществлении издания

герценовского собрания сочинений. Цензор разделил все сочинения А. И. Герцена на четыре группы по тому, насколько, по его мнению, возможно было бы предложить их русскому читателю: «а) Безусловно возможные, без всяких модификаций (громадное большинство было помещено в различных периодических изданиях, выходящих в России)»; «б) возможные, с указанными в тексте исключениями»; «в) возможные, но представляющие собою некоторые, хотя в иных случаях и не особенно значительные, неудобства по политическим мотивам»; «г) неудобные, безусловно». Под каждым из этих разделов были помещены произведения Герцена с указанием страниц. Чтобы ясна была степень цензорского вмешательства в творческое наследие писателя, достаточно привести такие суммированные цифры: запрету или помещению в русском собрании сочинений с исключениями Кассович подвергал ни много ни мало три тысячи страниц произведений и лишь тысячу страниц он соизволил признать «безусловно возможными, без всяких модификаций».

Но и этого показалось мало. «В заключение, — писал Кассович, — необходимо заметить, что почти все сочинения Герцена, изданные за границей, не могут по многим, весьма понятным причинам стать достоянием большинства публики, и круг читателей в данном случае следует по возможности ограничить. Сделать же это весьма нетрудно. Стоит только обязать издателя: 1) печатать разрешенные ему сочинения этого публициста в общем сборнике, состоящем из нескольких томов; 2) назначить этому сборнику цену приблизительно не менее 10 рублей; 3) не выпускать в продажу отдельных томов, а тем паче отдельных самостоятельных статей и 4) разрешенные таким образом сочинения Герцена следует изъять из числа книг, допускаемых в частные публичные библиотеки, так как этим последним путем сочинения Герцена могут приобрести самый обширный круг читателей».

В список произведений А. И. Герцена, которые цензор Кассович посчитал «неудобными, безусловно», вошли 25 его работ: «Дневник», «Москва и Петербург», «Новгород Великий и Владимир на Клязьме», «Письма из Франции и Италии», «С того берега», «Русский народ и социализм», «Крещеная собственность», «Старый мир и Россия», «Вольное русское книгопечатание», «Юрьев день! Юрьев день!», «Поляки прощают нас!», «XXIII годовщина польского восстания», «Народный сход», «Глава XXX. Не наши», «Глава XXXIX», «Былое и думы» (часть пятая), «Русские тени», «Без связи. III. Цветы Минервы», «Лишние люди и желчевики», «Aphorismata», «Еще раз Базаров. Письмо второе», «За кулисами», «Даниил Тьер», «Долг, прежде всего».

Совет Главного управления одобрил доклад Кассовича. Феокистов докладывал его министру Дурново, но тот, как стало известно, сказал Феокистову: «Мне будет крайне неприятно утруждать государя таким делом».

После Л. Ф. Пантелеева за издание сочинений А. И. Герцена решил взяться Ф. Ф. Павленков. Он рассчитывал на свою «пробивную» силу, надеялся на то, что ему удастся преодолеть противостояние цензуры.

Осенью 1894 года Флорентий Федорович заключает договор с Александром Александровичем Герценом, берет на себя обязательство заплатить за право издания двадцать тысяч рублей в точно определенные сроки. Правопреемник получил тут же от Павленкова крупную сумму. При покупке сочинений Герцена Павленков шел, конечно, на большой риск.

Невский проспект. 1894 год. Из разговора прогуливающихся...

— Слышали новость: издатель Павленков совсем уже стал поступать непрактично?

— Разве этого не знали ранее? Он всегда ведь за новое свое издание цену определяет меньшую, нежели за предыдущее. Я все задумывался, отчего же он не разоряется. И, знаете, понял: он просто-напросто заботится о том, чтобы капитал его все время был в движении.

— Да не об том речь. Сугубо доверительно сообщили мне, что покупает он на сей раз то, что, по условиям реализации, не стоит ничего.

— Это совсем непонятно. Что же произошло?

— Издатель приобрел право собственности на выпуск сочинений А. И. Герцена в России. Продали ему это право наследники — сын А. И. Герцена, профессор из Лозанны А. А. Герцен и дочери изгнанника. Кто и когда разрешит такое издание?

— Не знаю. Однако могу утверждать, что Павленков человек упорный и целеустремленный...

Энергии действительно Павленкову не занимать. Наряду с выяснением в цензурном комитете, будет ли разрешено или нет ему право на выпуск герценовского собрания сочинений, Флорентий Федорович продолжает производить материальные затраты, отдачу от которых издатель мог получить лишь через весьма неопределенный срок. Сохранилась написанная рукой Павленкова расписка. Она датирована 22 сентября 1894 года. «Три процензурованных рассказа А. И. Герцена («Легенда о св. Феодоре», «Первая встреча» и «Вторая встреча»), — читаем документ, — получил для издания от Е. С. Некрасовой, уплативши ей за это, через посредство Л. С. Миримановой, сто пятьдесят рублей». Под распиской

содержится собственноручный автограф издателя.

Павленков поддерживает самые тесные контакты с сыном А. И. Герцена. Издает его книгу «Общая физиология души». Оказывает содействие в публикации герценовских работ в петербургских журналах. Об этом свидетельствуют, в частности, две расписки Павленкова на уступку прав герценовских писем для публикации их в журнале «Новое слово». «Мы, нижеподписавшиеся, Флорентий Федорович Павленков и Ольга Николаевна Попова, — говорится в первом документе, — заключили между собою следующее условие:

1) Я, Павленков, уступил издательнице журнала “Новое слово” Ольге Николаевне Поповой для напечатания в этом журнале переписку А. И. Герцена (за 1837–1838 годы и часть 1836 г.) за тысячу сто рублей. Если вследствие прекращения журнала или по иным независимым от О. Н. Поповой обстоятельствам напечатание этой переписки встретит препятствия, то переписка возвращается мне, Павленкову, а я возвращаю Поповой полученные мною от нее деньги; причем, если печатание будет прервано в то время, когда часть писем окажется уже помещенною в журнале, а другая еще нет, то напечатанный оригинал рассчитывается по сто рублей за лист, остальные же деньги возвращаются Поповой.

2) Если количество листов переписки, помещенной в журнале, окажется более одиннадцати, то за все дальнейшие листы гонорар уплачивается мною, Поповой, семейству Герцена по пятидесяти рублей за лист по мере печатания означенной переписки.

3) Из уплаченных тысячи ста рублей, в том случае, если журнал поместит менее одиннадцати листов...» На этом месте текст в сохранившемся экземпляре документа обрывается.

Отдельная записка Павленкова касается уже сугубо технических и организационных вопросов: «Цена, я полагаю, средняя по 100 р. с листа. В “Русской мысли” Герцен получал больше... Могу отдать переписку только Вам или Стасюлевичу. На днях у Вас будет вместе с пакетами писем Герцена Н. А. Розенталь».

Из письма Павленкова С. Н. Кривенко видно, что издатель не прекращал поддерживать связей с сыном А. И. Герцена и в последующие годы. «Только что прочитанное мною объявление о выходе январской книжки “Нового слова”, — пишет Флорентий Федорович из Ниццы 25 февраля 1896 года, — напомнило мне о моей забывчивости. Дело в том, что я должен был еще месяца два тому назад уведомить Вас о желании А. А. Герцена иметь те №№ “Нового слова”, в которых будет помещена переписка его отца. Я ответил ему тогда же, что, конечно, Попова без



малейших затруднений исполнит эту скромную его просьбу. Надеюсь, что и Вы одного со мной мнения на этот вопрос. Будьте же добры, устройте так, чтобы соответствующие №№ Вашего журнала посылались по мере их выхода в Лозанну. Вот новый адрес А. А. Герцена: Suisse. Lausanne. Ronte de Chailly, Villa Mon-tallegge Professor A. Herzen».

Несмотря на нерешенность вопроса в цензуре, Павленков ведет целенаправленную работу по подготовке собрания сочинений А. И. Герцена к изданию. Письмо Н. К. Михайловского от 8 декабря 1898 года подтверждает это. «Многоуважаемый Флорентий Федорович, — пишет Михайловский. — Я все собирался к Вам, да все не мог выбрать времени, да и не знаю, принимаете ли Вы. Мне кажется, что каков бы ни был слог Герцена в разные периоды его жизни, он, во всяком случае, должен быть сохранен, равно как и попадающиеся местами французские и другие выражения. Выправлению подлежат, я думаю, только те (немногие) нескладности, которые явно зависят от корректуры».

Как же отнеслась цензура к предполагаемому выпуску герценовских произведений? Все усилия издателя упирались в Феоктистова, который не выносил даже имени Павленкова, а о его издательстве выражался не иначе, как «павленковская кухня». Феоктистов, естественно, не только не способствовал осуществлению этого намерения, но, наоборот, всячески препятствовал его реализации. А затем ситуация тоже не облегчилась. Феоктистова в 1896 году сменил М. П. Соловьев, ставленник К. П. Победоносцева. Даже заикаться тогда об издании Герцена было нельзя. Лишь при Д. С. Сипягине, когда место начальника Главного управления по делам печати занял князь И. В. Шаховской, вопрос о выпуске сочинений А. И. Герцена стал несколько продвигаться. По докладу князя Шаховского министру в 1900 году было получено разрешение, но при условии, что князь сам будет цензурировать Герцена. Правда, Павленкова к тому времени уже не было в живых...

А. А. Герцену об этом не было известно еще и в начале 1901 года. Это видно из его новогоднего поздравления В. И. Яковенко — одному из душеприказчиков Павленкова: «Многоуважаемый Валентин Иванович! Желаю Вам на Новый год здоровья, счастья и успеха — успеха в большом предприятии издания сочинений моего отца! Вот мы же и в Новый век вступили, а разрешения так и не получили! Неужели нам придется еще долго ждать его? Дайте мне, пожалуйста, знать, как обстоит дело».

Скоро не только сын Герцена, но и вся общественность узнала о том, что герценовские сочинения готовятся к изданию. Во втором номере «Книжного вестника» за 1901 год сообщалось: «Как известно, Ф. Ф.

Павленков приобрел права литературной собственности на сочинения Герцена-Искандера, но он не успел сам приступить к их изданию. В настоящее время душеприказчики покойного издателя, на которых волею завещателя возложена обязанность довести до конца начатые им литературные предприятия, готовят к изданию “Избранные сочинения А. И. Герцена”».

Разрешение князя Шаховского, которое получили душеприказчики Павленкова, было обусловлено целым рядом ограничений. А именно: «1) издание должно быть процenzуровано Главным управлением по делам печати; 2) разрешалось выпустить только собрание сочинений (а не отдельные произведения) с тем, чтобы цена за это собрание была не ниже 10 рублей и чтобы отдельные тома в розницу не продавались; 3) все, касающееся Николая I, должно быть очищено от “нападков” и “резкостей”; 4) рассуждения Герцена о Польше подлежали почти полному изъятию».

Пять лет потребовалось, чтобы душеприказчики согласовали все вопросы в Главном управлении по делам печати. Глубоко трагическое в этой эпопее перепутывалось с комическим. В ходе предварительной цензуры не просто выбрасывались «статьи, страницы и более или менее значительные места», но безжалостно вымарывались «повсюду отдельные слова, меткие, едкие, блестящие обороты». Причем пропуски не разрешалось обозначать никакими знаками.

В первой половине 1905 года многострадальное собрание сочинений А. И. Герцена появилось. Формально воля Ф. Ф. Павленкова была выполнена. Однако радости это не приносило, ибо надругательство цензуры лежало позорной печатью на этом издании. После революционных событий 1905 года душеприказчики Павленкова, чтобы познакомить народ не с урезанным, а подлинным герценовским творческим наследием, выпускают отдельными изданиями наиболее пострадавшие от цензуры его произведения. И в 1906 и 1907 годах выходят без купюр произведения А. И. Герцена: «Русский народ и социализм», «Старый мир и Россия», «Роберт Оуэн», «Александр I и В. Н. Карамзин», «Княгиня Екатерина Романовна Дашкова», «Крещеная собственность», «С того берега», «О развитии революционных идей в России», «Русский заговор 1825 г.».

Но самая главная проблема заключалась в другом. Около десяти тысяч экземпляров изуродованного собрания сочинений А. И. Герцена еще не были к тому времени распространены. Как быть — или продолжать продажу имеющегося тиража или же, уничтожив его, предпринять новое, не урезанное цензурой? При этом втором варианте сумма потерь выльется в весьма значительную цифру — семьдесят тысяч рублей. Это вызвало

разногласия и в среде самих душеприказчиков. Вопрос был передан на решение третейского суда, в состав которого входили К. К. Арсеньев, Н. Ф. Анненский и И. Д. Смирнов. Вот к какому решению они пришли: «Третейский суд, ввиду крайней желательности для русского общества нового, более полного издания сочинений Герцена, находит, что душеприказчики Павленкова нравственно обязаны употребить все зависящие от них меры для достижения вышеозначенной цели, хотя бы для того и пришлось поступиться некоторыми выгодами или даже уничтожить часть напечатанных и нераспроданных экземпляров».

На основании этого решения издатели в 1907 году приступили к печатанию нового собрания сочинений Герцена. Но наступивший период реакции нарушил эти планы. «Герцен все оставался на том берегу, к которому, казалось, мы уже было причалили, но от которого теперь снова удалялись на всех парах», — с горечью заметил один из душеприказчиков В. И. Яковенко. Возникла реальная опасность того, что загублено все собрание. Поэтому душеприказчики изменили тактику и приступили к изданию сборника статей, наиболее подвергшихся жестокому остракизму в цензурные времена. Речь шла о статьях А. И. Герцена о Польше. Сборник был конфискован, а затем через четыре года последовал по нему процесс. В 1911 году из него изымается лишь одна статья «Палач». Казалось бы, теперь путь к изданию собрания сочинений А. И. Герцена открыт. Но к тому времени душеприказчики приступили к ликвидации всего вообще издательского дела Ф. Ф. Павленкова, и печатание собраний сочинений А. И. Герцена было приостановлено ими окончательно. «Великое дело возвращения Герцена всему читающему русскому миру выпало из рук душеприказчиков Ф. Павленкова, — писал В. И. Яковенко... — Права душеприказчиков на издание сочинений Герцена оканчиваются в 1915 г. Но дела незачем откладывать. Издательство Ф. Павленкова никогда не было только коммерческим издательством. Согласие душеприказчиков привести в исполнение решение третейского суда показывает, что и душеприказчикам, как издателям, не чужды побуждения идейного характера».

«Первый решительный шаг к возвращению великого изгнанника на родину сделал покойный издатель Ф. Ф. Павленков», — говорилось в предисловии к первому тому сочинений А. И. Герцена, вышедшему в 1905 году. Там же рассказывалось, что все попытки Павленкова получить разрешение на выпуск герценовского собрания сочинений разбивались о цензурные условия. Пять лет не дожид прогрессивно настроенный издатель до осуществления своей заветной мечты. Душеприказчики же его Н.

Розенталь, В. Черкасов и В. Яковенко сочли одной из своих главнейших обязанностей довести это дело Павленкова до конца и после десятилетней борьбы все-таки издали сочинения опального писателя...

Одновременно с собраниями сочинений русских писателей и критиков в издательстве Павленкова выходили книги классиков зарубежной литературы: Г. Андерсена, В. Скотта, Сервантеса, Диккенса, В. Гюго, Эркмана-Шатриана и другие. Их отличием от книг других издательств была все та же дешевизна.

С декабря 1893 года начала выходить в Санкт-Петербурге «Иллюстрированная сказочная библиотека» Ф. Павленкова, в которую были включены избранные сказки народов мира. Всего Павленков предполагал выпустить от 150 до 200 книжек. В каждой из них помещались одна большая или несколько маленьких сказок. От пяти до пятнадцати иллюстраций содержало каждое издание. Цена была небольшой — от пяти до пятнадцати копеек. Уже до января 1894 года вышло пятнадцать книжек сказочной библиотеки. Там были помещены, в частности, общедоступные для детей сказки Андерсена. Кстати сказать, они издавались с предисловием И. С. Тургенева. Издатель намеревался в дальнейшем выпускать по четыре книжечки в месяц.

На 1 ноября 1899 года в «Иллюстрированной сказочной библиотеке» Павленкова насчитывалось уже свыше ста книжечек, цена каждой колебалась от 5 до 25 копеек. Помимо Андерсена, туда входили произведения Ж. Санд, Ш. Перро, братьев Гримм, Гауфа, Густафсона. Из народных сказок, помимо русских, в библиотеку включались польские, арабские, норвежские и другие.

Участвовали в этом издательском проекте и другие деятели культуры, ученые, писатели. «Я видел Ваше объявление об издании коллекции сказок, — писал Павленкову в 1897 году Л. Гольдмерштейн. — Не возьмете ли Вы и восточных? У меня есть несколько довольно больших и очень интересных сказок, найденных мною в джагатайских и уйгурских рукописях Оксфордской Бодлеянской библиотеки. Английский перевод издается мною по поручению университета, и, если хотите, я отберу сказки, годные для детей, к переводу для Вас и на русский».

Павленков добивался, чтобы книги для самых маленьких читателей пробуждали в человеке добрые чувства, воспитывали уважение к труду, презрение к подлости и праздности. Часто выходили в павленковском издательстве «Задушевные рассказы» писателя-народника П. В. Засодимского. Его двухтомник переиздавался дважды. Выпускались книжечками и отдельные рассказы из сборника. Сохранилась расписка П.

В. Засодимского от 2 марта 1887 года: «Я, нижеподписавшийся, продал книжному магазину г. Луковникова все оставшиеся у меня 650 экземпляров моего романа “По градам и весям” за двести рублей серебром, которые получил сполна. Обязуюсь доставить экземпляры эти по первому требованию магазина. До распродажи этих 650 экземпляров магазином г. Луковникова, я не имею права делать нового издания романа “По градам и весям”, но если бы я сам сделал или продал кому-нибудь полное собрание моих сочинений, то этот роман может войти в это собрание».

В другом письме П. В. Засодимский сообщает издателю, что, по его сведениям, тираж первого тома «Задушевных рассказов» уже полностью разошелся. А так как отказывать покупателю в них нежелательно ни для автора, ни для издателя, то он напоминает об этом, «потому что Вы из-за своих более крупных и многочисленных дел можете позабыть о моих маленьких рассказах».

11 января 1894 года Засодимский уже более категорично ставит перед Павленковым условие — определить какой-то срок, в течение которого можно было бы рассчитывать на переиздание «Задушевных рассказов». Писатель пришел к заключению, что продажа первого издания может растянуться на многие годы. «Ввиду возможности такой печальной для меня перспективы, пишет Засодимский, — вынужден поставить вопрос: нельзя ли, наконец, назначить какой-нибудь срок (например, 1 января 1895 г.), с которого бы я был бы вправе распоряжаться моими “Задушевными рассказами” и дать возможность желающим — без труда приобретать их».

В 1896 году П. В. Засодимский вновь запрашивает магазин Луковникова, сколько еще осталось непроданных «Задушевных рассказов» (I и II томов), но ответа не получил. Поэтому обращается с просьбой к Павленкову: «Потрудитесь дать мне требуемую справку».

А в своей книге «Из воспоминаний» Павел Владимирович трогательно рассказывал об участии Флорентия Федоровича в его судьбе, когда в апреле 1891 года, после выступления у свежей могилы Николая Васильевича Шелгунова, власти выслали его из столицы. «В тот же день под вечер приходил ко мне Ф. Ф. Павленков и, между прочим, осведомился, не нужно ли мне денег. Деньги мне были не нужны, но его предложение, его участие в постигшей меня неприятности глубоко тронули меня, и я навсегда остался благодарен Павленкову за его горячее участие во мне в эти дни».

## ДОХОДЧИВО, ДОСТУПНО, ПОПУЛЯРНО

В отзыве на павленковские книги для детей журнал «Русская мысль» отмечал, что они «незаметно, среди веселого, забавного, а местами трогательного повествования, вызывают в читателе живой интерес к природе и наукам». Даже для самых маленьких Флорентий Федорович выпускал книжечки под названием «Подружка», познавательные рассказы, которые расширяли кругозор ребенка, его мировосприятие.

Книжка должна отличаться оригинальностью замысла, богатством высокохудожественных иллюстраций. А еще — хорошо, если она увлекает, что особенно необходимо для детей и юношества. И Павленков думает: почему бы ему не издать сборник геометрических игр? И в 1883 году в издательстве Павленкова выходит переводная книга В. И. Обреимова.

С Василием Ивановичем Павленков познакомился в Вятке. Учитель Екатеринбургской гимназии тоже был сослан туда. Несомненно, что именно Флорентий Федорович побудил Обреимова взяться за перевод с французского книги Э. Люка «Математические развлечения. Приложение арифметики, геометрии и алгебры к различного рода запутанным вопросам, забавам и играм». Появляются в павленковском издательстве и оригинальные книги Василия Ивановича: «Математические софизмы» (в ее подзаголовке приводились парадоксальные заявления: 50 теорем, доказывающих, что  $2 \times 2 = 5$ , часть больше своего целого и пр.) и «Тройная головоломка. Сборник геометрических игр» (с 300 рисунками и пр.). «Математические софизмы» выдержали три издания.

Такого рода книги, считал Павленков, способствуют повышению интереса к точным наукам. К тому же это необходимо и для самообразования. Вспомним, что и сам Флорентий Федорович выступал в подобном жанре, создавая свои «Наглядные несообразности», в подзаголовке которой так и говорилось: «Детские задачи в картинках». И такой тип литературы в павленковском издательстве появлялся постоянно, пополняясь как за счет оригинальных работ русских авторов, так и за счет переводов. Достаточно назвать хотя бы «Научные развлечения» Тиссандье и другие.

29 ноября 1883 года Флорентий Федорович получил письмо из

Воронежской губернии от Владимира Григорьевича Черткова. Имя это было ему знакомо. Друг Л. Н. Толстого в своем издательстве «Посредник» выпускал немало дешевых книг. Что же побудило его обратиться к Павленкову?

«Флорентий Федорович, я знаю, что Вы интересуетесь изданиями для народа, — писал Чертков, — и сами принимаете в них участие, издавая, например, “Сельский календарь”. На тот случай, если Вам встретится надобность переложить на простой, всем доступный язык какие-либо книги, написанные литературным языком, столь затруднительным для понимания простолюдином, я хочу Вам указать на одного моего сотрудника Николая Лукича Озмидова.

Он владеет замечательною способностью перекладывать на простой (не подражательно-простонародный, а простой, действительно общедоступный) язык какие угодно литературные изложения. Он перекладывает для изданий “Посредника” книги самого разнообразного содержания, как, например, математического, медицинского, беллетристического, философского и т. п. И переложения его так удачны, что просто удивляешься тому, что люди выражают свои мысли изысканно-литературным языком, понятным только сравнительно небольшому кружку интеллигентных людей, между тем как то же самое возможно высказать настоящим и простым русским языком, понятным всякому русскому человеку. Необходимо при этом заметить, что главное достоинство озмидовских переложений в том, что он ради большей ясности слога не отступает произвольно от содержания первоначального изложения. Напротив того — он ставит себе задачей сохранить всю первоначальную мысль со всеми ее оттенками, и в этом отношении он достигает воистину удивительных результатов. Н. Л. Озмидов, в случае, если подобная литературная работа Вам может пригодиться, желал бы получить от Вас небольшую книгу для переложения в виде пробы. Если работа его Вас удовлетворит, то тогда Вы сами назначите Вашу плату за лист. Если же его работа не понравится Вам, то за пробную книжку ему ничего не надо. Так как, быть может, Вы захотите вступить с ним в непосредственные сношения, то прилагаю его адрес (он живет в 4-х верстах от меня)...»

И в конце В. Г. Чертков делал приписку: «Считаю нужным прибавить, что Н. Л. Озмидов — человек образованный (кончивший курс в Петровско-Разумовской академии) и притом особенно хорошо знакомый с математикой и сельским хозяйством. Впрочем, сведения, которыми жизнь его наделила, не ограничиваются какою-либо одною или двумя специальностями. Из литературных работ Н.Л.Озмидова в свое время

обратил на себя внимание его “Дневник деревенского читателя”, помещенный в “Русской мысли”».

Это просто подарок. Как важно находить, собирать вокруг себя таких популяризаторов науки. Многие ученые ведь сами не могут писать для народа. Хотя разве наши знаменитые современники-англичане Ч. Дарвин, М. Фарадей, Дж. Тиндаль, Т. Г. Гекели, немцы Г. Л. Гельмгольц, Р. Майер, француз Кл. Бернар и другие, сделавшие величайшие открытия, не были одновременно и популяризаторами науки? А почему бы не вспомнить Галилео Галилея? Его по праву называют первым популяризатором. Это он стал излагать собственные научные открытия на языке своего народа (по-итальянски), тогда как все остальные по-прежнему продолжали творить на языке привилегированных классов (по-латыни)...

Павленков давно хотел выпустить библиотечку брошюр, рассчитанных на тех, кто только начинает обучаться грамоте. Необходимо доступно рассказать им обо всех новейших достижениях естествознания. Особенно важно сегодня активнее приобщать к издательским делам наших русских ученых. Пусть они содействуют и переводам специальных книг зарубежных коллег.

К редактированию книги Поля Бера «Первые понятия о зоологии» Флорентий Федорович привлекает известного биолога И. И. Мечникова. Создатель русской физиологии В. О. Ковалевский, физиолог В. Я. Данилевский оказывают помощь в редактировании изданного Павленковым в 1886 году «Практического курса физиологии», который составили английский профессор Бурдон-Сандерсон, Джон Скотт и другие. Русские ученые несколько переработали книгу, адаптировав ее для отечественного читателя.

Среди русских популяризаторов активно сотрудничал с издательством Павленкова Орест Данилович Хвольсон. 19 мая 1886 года он делился с Флорентием Федоровичем радостным событием: выпущенная ими в 1884 году книга «Популярные лекции об электричестве и магнетизме» получила официальное признание. «Многоуважаемый Флорентий Федорович! — писал О. Д. Хвольсон. — Поздравляю! Наша книга рекомендована для ученических и фундаментальных библиотек средних учебных заведений министерства народного просвещения. Как это случилось, сам не понимаю. Синоду посылается об этом уведомление. В журнале министерства народного просвещения появится особая подробная рецензия профессора Любимова».

Флорентий Федорович стремился привлекать к сотрудничеству с издательством ученых, уже зарекомендовавших себя в той или иной



отрасли знаний. Когда в обществе заговорили о лекциях психиатра Владимира Михайловича Бехтерева, Павленков стремится представить их отдельным изданием читающей публике. В. М. Бехтерев 11 января 1886 года ответил согласием. «Милостивый государь Флорентий Федорович! — пишет он Павленкову. — Свой реферат о психопатии я предполагал выпустить отдельным изданием и потому с удовольствием готов принять Ваше любезное предложение. Предупреждаю, однако, что мой реферат представляет собой не более трех печатных листов. Немного расширить для публики объем своего реферата я могу, но для этой цели прошу Вас недели три сроку или четыре. Должен, кроме того, предупредить Вас, что реферат мой будет напечатан в протоколах здешнего юридического общества, которые, впрочем, не идут в продажу. Не понял я Вас в последней части Вашего письма, а именно: необходимо ли Вам сейчас же послать экземпляр моего реферата в том виде, как я его имею сейчас, или же можно будет послать Вам реферат несколько расширенный для отдельного издания, что потребует, как я сказал, трех-четырёх недель времени. Будьте добры меня известить по этому поводу».

Спустя некоторое время ученый несколько уточнил условия и сроки издания. «Я поспешил Вам дать свое согласие на издание своего сочинения “О психопатии” при тех условиях, которые Вы мне предложили, то есть 40 рублей с листа в 35 000 букв, я был бы удовлетворен гонораром в 60 рублей. Мне остается извиниться перед Вами за невольную с моей стороны ошибку расчета».

И добавлял в постскриптуме: «Если бы мы сошлись с Вами на указанных выше условиях, то я считаю необходимым заявить, что дополнительная обработка реферата потребует с моей стороны, по всей вероятности, два-три месяца. Следовательно, я рассчитываю, что к апрелю его мог сдать бы Вам для печати. Гонорар я желал бы получить разом и немедленно по получении Вами рукописи».

В издательстве Павленкова были изданы работы замечательных зарубежных популяризаторов — Дж. Тиндаля, К. Фламариона, П. Бера, Г. Тиссандье, С. Томпсона и других.

При знакомстве с популярными изданиями Павленкова обращает на себя внимание одна любопытная особенность.

Наряду с пропагандой знаний, достижений той или иной отрасли науки он стремится выпускать издания, которые носят сугубо практический характер. В этом отражались бытовавшие в тот период представления о книге как об учебнике жизни.

Издатель стремится предложить читателю новый тип научно-

популярной книги. Он ставит перед собой цель добиться, чтобы его издания были доступны для самых широких народных масс, продаваясь по минимальной цене. А главное — чтобы они были востребованы читателем. Свою библиотечку издатель так и озаглавливает «Библиотека полезных знаний». Интересное наблюдение встречаем у Н. А. Рубакина. Он подчеркивает, что и другие издатели того времени поддержали начинание Павленкова. В частности, «Полезная библиотека» издателя П. П. Сойкина стала выходить по примеру уже вышедших общедоступных книг для народа Ф. Ф. Павленкова.

У Флорентия Федоровича регулярно выходят книги и брошюры на самые разные темы: домашние занятия ремеслами; общедоступная астрономия; проверка часов без помощи часовщика; телефон и его практическое применение и другие. Из этого образуется целая библиотека, основная цель которой — просветительство и забота о внедрении этого технического новшества в быт. Много работ издал Павленков об электричестве и его повседневном применении: «Популярные лекции об электричестве и магнетизме» О. Хвольсона; «Справочная книжка по электротехнике», «Электрическое освещение в его применении к жизни и военному искусству», «Чудеса техники и электричества», «Электрические аккумуляторы» В. Н. Чиколева; «О свете и электричестве» Дж. Тиндаля; «Электричество и магнетизм» А. Гано и Ж. Маневрье; «Главнейшие приложения электричества», «Электричество в домашнем быту» Э. Госпиталье и другие. Подобные библиотечки появляются в издательстве Павленкова и по другим направлениям науки и техники.

Еще в 1884 году Флорентий Федорович прочитал статью К. Тимирязева. Суждение автора об общественных задачах ученых ему показалось очень верным. «Мы должны стремиться, — писал Тимирязев, — к установлению общения между представителями труда умственного и физического, к гармоническому слиянию задач науки и жизни, к служению научной истине и этической правде». Разве не прав он? Ведь и Галилей, переводя свои ученые труды на язык народа, думал о том же — о слиянии науки и жизни. А такое взаимодействие и признано служить утверждению повсеместно этической правды.

Объяснение того, что многие павленковские издания учебной литературы, пропагандирующие достижения науки и техники, выдерживали по несколько изданий, тиражи их быстро распространялись, следует искать в объективной ситуации, возникшей в России к 80—90-м годам XIX столетия. Развитие промышленности влекло за собой потребность в подготовленных кадрах. В свою очередь этим вызывалась

необходимость в открытии различных технических учебных заведений. Росло число желающих самостоятельно постигать многие технические дисциплины. Павленков улавливал эти тенденции в реальной действительности.

Справедливости ради нужно отметить, что все выпущенное павленковским издательством не является лишь плодом его личной инициативы. Он действительно был родоначальником многих серий, переводных изданий. Но одновременно с этим идеи многих изданий были предложены ему друзьями, единомышленниками, а порой и незнакомыми ему лично энтузиастами. Когда товарищ по вятской нелегальной работе В. О. Португалов обнаружил, что в книжных магазинах не сыщешь учебных руководств по географии, он тут же считает своим долгом изложить Флорентию Федоровичу конкретную рекомендацию: «Вы... осычастливили бы русское учащееся юношество и русских “образованных” читателей, если бы издали хорошую всеобъемлющую подробную географию... Это было бы истинным благодеянием для нас, для нашего брата, не удовлетворяющегося печатной географией календаря Суворина». География Корнелла и была издана в ответ на это социальное требование жизни, подсказанное издателю одним из друзей.

Шли годы. Изданная Павленковым библиотека научно-популярных изданий пополнялась. Его переводные издания трудов популяризаторов науки и техники из разных стран расходились буквально нарасхват. Но были и другие замыслы и идеи у издателя, в частности те, которые зародились еще в годы мучительных раздумий, когда скитался он по ссылкам и тюрьмам. Их предстояло еще воплощать в новые книги, брошюры, библиотеки.

...В памяти зримо предстали дни, проведенные в Тюменском остроге. Ожидание ссылкой пунктом, куда предстояло каждому отправляться, затягивалось. Поэтому более десяти человек теснее держались друг друга, и так само собой получилось, что душой этого небольшого коллектива страждущих стал Флорентий Федорович. Книг в остроге вообще никаких получить нельзя было. Выручала незаурядная эрудиция Павленкова. Он вел со своими товарищами регулярно научные беседы на самые разнообразные темы. Иногда даже ловил себя на том, что манерой своих собеседований как бы повторяет лавровские лекции в академии. Одно время знакомил Флорентий Федорович ссылкой с новинками в физике. Работа над переводом курса «Физики» А. Гано тут пригодилась как нельзя кстати! Большой интерес вызвали его рассказы о новейших изобретениях того времени — микрофоне, телефоне, фонографе. «Это не были лекции, а

скорее беседы, простые, но очень содержательные», — вспоминал позднее П. С. Швецов. Он же утверждал, что тогда, в Тюмени, прослушал нечто вроде краткого курса Флорентия Федоровича о самых последних достижениях науки и техники.

В Тюмени, как и в годы ссылки, отторгнутый от любимого дела, Флорентий Федорович не прекращал помыслов о его продолжении и развитии. Он делился со своими невольными спутниками по заключению новыми разработками общих планов будущей издательской деятельности, своими соображениями о характере тех или иных изданий, серий, программ. И трудно не согласиться с одним из его союзников, который утверждал позднее, «что многое, что Флорентием Федоровичем было впоследствии с такой неослабевающей энергией проводимо и выполнено, обдумывалось и примеривалось не раз уже здесь, в Вышневолоцкой и Тюменской тюрьмах». И вот теперь, спустя годы, Павленков был близок к осуществлению одной из своих идей...

Юноша из Тифлиса — Валерий Лункевич предлагает ему издать свою рукопись о физиологии человека, которая выходила в 1893 году на армянском языке под названием «Наука о жизни». Хотя он был моложе известного издателя на целых 27 лет, но гражданское формирование его личности также проходило под воздействием идей русских революционных демократов. Он сам называл их вдохновителями своей молодости. А Д. И. Писарев оказал на него особое влияние. «Д. И. Писарев — пропагандист и популяризатор — вдохнул в меня любовь к науке, заразил навсегда неодолимой тягой к знанию...» — писал позднее В. В. Лункевич в своих воспоминаниях. Именно благодаря Писареву он уже в годы ранней юности открыл для себя труды популярных тогда материалистов-естествоиспытателей К. Фогта, Л. Бюхнера, Я. Молешотта, Д.-Г. Льюиса. Еще гимназистом возникает у него страстная жажда к популяризации в народе достижений научной мысли. В шестнадцать лет он сплачивает вокруг себя сверстников, которые также тянулись к самообразованию. Вместе с ними штудировал сочинения Ж. Ж. Руссо, Р. Оуэна, Г. Спенсера, Ф. Лассалья и других.

И когда после завершения учебы в гимназии один из его педагогов советовал посвятить свой жизненный путь филологии, В. Лункевич встретил такой совет резким неприятием. «Чудак! И он еще мог сомневаться в том, что я, ученик и поклонник Д. И. Писарева, представитель “мыслящего пролетариата” и будущий сподвижник Базарова и Кирсанова, должен был идти только на естественный факультет и никуда больше! Друзья и товарищи горячо защищали мой выбор»...

Уже после создания первых самостоятельных работ, раскрывающих доходчиво для широких народных масс малоизвестные и нераспознанные пока еще тайны природы, двадцатисемилетний Валерий Лункевич, не колеблясь, решает обратиться за содействием не к кому-либо другому, а именно к издателю трудов Д. И. Писарева — Флорентию Федоровичу Павленкову. Он ожидает встретить у него понимание всей важности той деятельности, которую избрал для себя, желая осуществить замыслы своего идейного наставника, одухотворенный его великим стремлением, его призывом самозабвенно трудиться во имя мыслящего пролетариата. К тому же именно в издательстве Павленкова В. Лункевич познакомился со многими переводами и оригинальными книгами, которые несли в народ самые современные достижения естественных наук. Особенно импонировала молодому человеку их ориентация на то, чтобы помочь в постижении последних достижений науки даже пока еще мало подготовленным читателям. Книжки Павленков выпускал дешевые, непременно иллюстрированные, что в значительной степени способствовало их широкому распространению.

Внимание В. Лункевича привлекли к себе павленковские издания: «Дарвинизм, или Теория появления и развития животных и растительных видов» Г. Омбони, «Первые понятия о зоологии» П. Бера, «Первое знакомство с физикой посредством общедоступных приборов» М. Герасимова, «Общедоступное землемерие» А. Колтановского, «Начальные основы химической технологии» В. Селезнева, «Общедоступная геометрия» В. Потоцкого; «Общедоступная астрономия» К. Фламариона, «Дарвинизм. Популярное изложение теории Дарвина» Э. Ферьера и другие.

Но прошло несколько месяцев, а Павленков молчал. Лункевич не мог понять, в чем дело. Лишь спустя полгода из Петербурга пришла телеграмма из шести слов: «Рукопись прочел. В восторге. Пишу. Павленков». А в пришедшем вслед за этим письме издатель расточал немало похвал в его адрес, желал работать в том же духе и в конце добавлял: «Могу поздравить читателя с талантливым произведением».

Отчего же произошла столь длительная заминка с ответом?

Об этом рассказал в своих воспоминаниях сам В. В. Лункевич. «... Впоследствии один из душеприказчиков Павленкова — Розенталь рассказал мне следующую историю моей рукописи “Наука о жизни”：“Павленков никак не мог выбрать время, чтобы прочесть ее. И вот однажды под вечер принялся за нее. Прочел одну главу, приступил к другой... Но не окончил ее, пошел к Черкасову... и потащил его к себе, говоря: Пойдем,

прочтем одну рукопись. Увидишь, как хороша. И просидели они оба за ней до поздней ночи, пока не дочитали всю. А на другое утро Павленков послал Вам телеграмму...”»

Издатель уже в этой первой работе сумел рассмотреть недюжинные способности талантливого юноши и приложил немало усилий, чтобы они были реализованы.

В 1894 году Павленков выпускает в свет «Науку о жизни»

В. Лункевича. Книга получает признание в обществе. Ободренный автор тут же предлагает новый замысел: он готов, не мешкая, подготовить рукопись «Популярной биологии».

Бескорыстный прогрессивный издатель решает выплачивать автору авансом гонорар за год вперед. Именно столько требуется для подготовки рукописи. И в 1897 году на русском языке произведение выходит в свет. Книга, объемом 450 страниц, была проиллюстрирована более чем двумястами рисунками и цветной хромолитографией. Правда, в погоне за образностью и ясностью изложения сложных понятий он иногда допускал суждения, не выдерживающие критики специалистов. Так, профессор Санкт-Петербургского университета В. М. Шимкевич в своей рецензии, помещенной в журнале «Образование», обращал внимание на то, что некоторые выводы В. Лункевича противоречат фактам, что работа в целом предстает как компилятивная. «Означенное издание представляет нежелательное исключение между изданиями Павленкова, в большинстве случаев делаемых, кажется, с известным выбором», — такой суровый приговор книге выносит профессор в своей рецензии.

Конечно, В. Лункевич переживает. К тому же он собирался предложить Флорентию Федоровичу выпустить целую серию научно-популярных брошюр для народа по разным отраслям естественнонаучных знаний. Что, если издатель под впечатлением во многом справедливой критики его предыдущей работы откажется вообще от сотрудничества?

После длительных сомнений и мучительных колебаний Валерий Лункевич решает поговорить с Флорентием Федоровичем... Узнав, что молодой автор переживает о допущенных просчетах в «Популярной биологии», опытный издатель не только не отвергает его нового предложения, но, наоборот, всячески поощряет к работе. Составленный В. Лункевичем проспект серии, предполагавший выпуск сорока книжек по астрономии, геологии, географии, зоологии, ботанике, микробиологии, антропологии, технике, химии и другим отраслям науки, Павленков одобряет. Соглашается он и с предложенными автором сроками: два года рассчитывает Лункевич поработать в библиотеках Москвы, а к 1899 году

намерен представить первые рукописи.

Юноша принимается за работу. Спустя два года Павленков начинает получать от него брошюры — почти половину из задуманного проекта.

Сохранилось письмо В. Лункевича, в котором он не только информирует издателя, находящегося во Франции, о выполнении своих обещаний, но проявляет заботу о сроках их издания, информирует о полученных им сведениях о действиях конкурентов. Кроме того, автор старается помочь издателю с иллюстративными материалами, с выбором шрифта. «Милостивый государь Флорентий Федорович! — пишет Лункевич. — Сегодня мною отослана на имя Николая Александровича девятая брошюра по народной библиотеке; в первых числах мая вышлю и десятую. Поэтому я решил напомнить Вам, что не мешало бы начать уже печатание их, чтоб к сентябрю можно было выпустить в свет (как Вы имели сами в виду) сразу штук пять-шесть, а затем печатать по 2 брошюры в месяц. За лето, я думаю, мне удастся выслать Вам еще 4 или 5 рукописей. На иллюстрации я не скупился, во-первых, потому, что в таких изданиях они необходимы, во-вторых, я воспользовался рисунками почти только из Ваших же изданий. Немногие рисунки, взятые мною из других книг, я прошу Вас, многоуважаемый Флорентий Федорович, непременно поместить.

Затем еще и еще просьба.

1) Нельзя ли шрифт выбрать несколько покрупнее, чем в Ваших научно-популярных изданиях, а то уж очень он будет не подходящим для многих читателей.

2) Очень буду я благодарен, если Вы закажете какую-нибудь общую виньетку и обложку ко всем моим народным книжонкам.

Из готовых рукописей первыми пойдут в печать следующие пять из первой серии: 1) Земля. 2) Небо и звезды. 3) Боги земли и чудеса природы. 4) Землетрясения и огнедышащие горы и 5) Гром и молния.

Затем готовы еще следующие четыре брошюры: 1) Муравьи, 2) Обезьяны, 3) Зеленое царство, 4) Два великих царства природы (животное и растительное население суши). В первых числах мая вышлю рукопись “Великаны и карлики из мира животных”.

Недавно я узнал из газет, что Вольно-экономическое общество собирается выпустить в свет серию народных книжек по естественной истории и приглашает работников для осуществления этой затеи. Хорошо было бы поэтому не запоздать с нашей библиотечкой. Когда Вы думаете вернуться в Россию? А может быть, Вы и сейчас уже в Питере? Я и письмо это пошлю на всякий случай через Н. А. Розенталя. Отдохнули ли Вы на

благодатном юге за это время? До 15 мая я остаюсь в Москве».

В постскриптуме Лункевич добавлял: «К сентябрю будут высланы следующие брошюры: 1) “Подводное царство”.

2) “Жизнь в капле воды”. 3) “Воздух”. 4) “Вода” и, быть может, 5) “Как идет жизнь в человеческом теле”».

Можно только восхищаться слаженностью работы издателя, автора и типографии. Ибо все, о чем пишет В. Лункевич, реализуется уже в конце того же года.

В 1899 году Павленковым выпускается уже 17 книжек «Научно-популярной библиотеки для народа», а в последующие годы, уже после его смерти, продолжатели дела Павленкова завершат все издание.

В 1900 году было выпущено семь книжек, в 1901 году — шесть, в 1903 году — еще шесть, а в 1905 году — последняя сороковая книга.

Большинство этих небольших книжечек (объем каждой составлял от двух до шести печатных листов) выдержали в издательстве Павленкова по несколько изданий.

Как же встретила общественность новую павленковскую серию, на этот раз именную — брошюры Валерия Лункевича? В основном одобрительно. А рецензент «Журнала для всех» высказывался, к примеру, так: «Можно пожелать, чтобы книжки эти достигли самого широкого распространения не только среди интеллигентного класса, но и среди простого народа». Были пожелания и другого рода. Журнал «Вестник воспитания» поместил небольшую заметку о первых десяти брошюрах «Научно-популярной библиотеки для народа В. Лункевича», изданных в 1899 году. Указав на то, что брошюры по изложению доступны детям 12–14 лет, к тому же проиллюстрированы неплохими рисунками, рецензент приветствует это начинание, однако при этом обращает внимание на целый ряд погрешностей — неточностей, злоупотреблений выпяченным слогом и т. п. «Можно совершенно простым и ясным языком, но в то же время живо и увлекательно излагать научные вопросы — это будет популяризация знания; можно постоянно впадать в приподнятый тон, говорить языком раешника — позволяем себе думать, что это вульгаризация науки. Почему деланный пафос считается недозволенным в книгах, которые пишутся для людей из “общества”, и почему на него смотрят так снисходительно, если им наполнены книги “для народа”?» — спрашивает рецензент.

Перечитывая упреки в свой адрес, В. Лункевич огорчился.

— Ох, как бы пожурил меня дорогой Флорентий Федорович за сей труд, — сокрушался он. — Это урок на будущее...

В целом же серия была встречена в России положительно.



Душеприказчики Ф. Ф. Павленкова и после его смерти не порывали связей с талантливым популяризатором. В 1908 году Лункевич написал дополнение ко второму изданию книги «Наука о жизни», затем для издательства Павленкова составляет небольшую брошюру «План занятий для уяснения основных положений общественно-философского мировоззрения»; а в 1907 году предлагает выпустить вторую научно-популярную серию из 22 книжек на общественно-политические темы. План его был одобрен, но до 1917 года удалось выпустить лишь пять книг, да и то они были конфискованы властями.

Бескорыстен, чуток, внимателен был к людям Павленков. Когда Лункевич завершил выполнение своего обязательства перед издателем и сдал свою последнюю рукопись из сорока для «Научно-популярной библиотеки», он решил совершить поездку за границу. Необходимость в этом диктовалась намечавшимся переизданием ранее выпущенных книг «Наука о жизни» и «Популярная биология». Нужно было пополнить свои знания, усовершенствоваться в языках, чтобы успешнее работать над первоисточниками. Важно было попасть в книгохранилища Берлина, Парижа, Рима и Женевы. Но откуда взять средства для такой поездки? И Лункевич решает продать права на последующие издания всей своей «Популярной библиотеки» издателю Павленкову. Узнав об этом, Флорентий Федорович живо поддержал поездку за границу талантливого автора для пополнения своих научных познаний, однако категорически отклонил саму мысль о продаже автором права на собственные работы. «...Насчет денег не беспокойтесь, — заверил Флорентий Федорович, — буду высылать Вам гонорар ежемесячно в счет печатания Ваших книжечек. Библиотечку Вашу я не куплю. Она всю жизнь будет Вас кормить!»

И действительно, в течение четверти века повторные издания библиотеки позволяли Лункевичу продолжать свою работу, особенно в период эмиграционных скитаний.

## СРАЖЕНИЯ С ЦЕНЗУРОЙ

Петербург по обыкновению встречал теплотой и радушием многих подвижников на ниве просвещения, да и вообще общественной деятельности. Столица привлекала к себе все интеллигентные силы и дарования из провинции. Прогрессивно настроенные петербургские деятели, к которым примыкал и Флорентий Федорович, стремились помочь любому начинанию, родившемуся где-либо в отдаленных уголках и в университетских городах империи.

В 1889 году из Харькова приезжает в Петербург заведующая местной воскресной школой Х. Д. Алчевская. Вместе с другими учителями она составила трехтомный критический указатель книг для народного и детского чтения.

Рукопись второго тома указателя «Что читать народу» она незадолго до своего приезда послала к издателю, которого называла не иначе как одним из своих самых близких друзей, — Флорентию Федоровичу Павленкову.

По совету друзей она решилась печатать книгу без предварительной цензуры. Теперь книга была на выходе и первые ее экземпляры предстояло показывать цензурному комитету, она очень волновалась. Как сложится судьба книги? Не станет ли преградой на ее пути к читателю цензура? Как отнесется к ней авторитетный издатель?

Х. Д. Алчевской казалось, что лучше будет, если представит издание перед строгими судьями-цензорами кто-либо из авторитетных современников.

Однако опытный издатель руководствовался не чувствами, а практическими соображениями в своих взаимоотношениях с цензурным комитетом. В своем дневнике Алчевская рассказывает об этом достаточно подробно: «По приезде в Петербург я все-таки не знала, в цензуре ли книга или нет, и тотчас же послала записку к издателю ее, Павленкову, трепетно ожидая от него ответа. На визитной карточке, которую мне принес посыльный, было написано лаконически: “Буду у Вас завтра в 12 часов”. Ответ этот страшно взбесил меня, и я еле могла дождаться следующего утра.

— Ну, повинную голову и меч не сечет! — сказал мне, входя, Павленков со своей обычной саркастической улыбкой. — Я не послушался

Вас, Христина Даниловна, и послал книгу в цензуру просто со сторожем. К чему Вам обставлять ее какими-то особенными условиями и тем самым возбуждать к ней излишние подозрения. Книга эта так безобидна, что не требует положительно никаких ухищрений, и я настолько уверен в благополучном исходе, что готов выпустить публикации о ней в воскресенье, несмотря на то, что срок ее в цензуре истекает в понедельник».

Обстоятельство это окончательно расстроило Алчевскую, от среды до понедельника оставалось еще целых пять дней. «Мой угнетенный и потерянный вид вызывал, очевидно, во всех искреннее сострадание, и каждый силился ободрить и успокоить меня, — пишет Алчевская. — По вечерам гостиная моя была полна симпатичных людей, и все они относились ко мне с каким-то исключительным вниманием и участием, как относятся, вероятно, к человеку, приговоренному к смерти. Тем не менее, в беседах этих прорывался минутами и зловещий элемент, так, например, на утешительные слова о том, что книга эта слишком велика и ни один из цензоров не в силах перечесть ее, кто-то сделал предположение, что ее разорвут по кусочкам и раздадут 12 цензорам. На указание близости окончания срока другой предсказывал, что для подобной толстой книги, наверное, удвоят срок. Один из приятелей Павленкова, Надеин, говорил ему, просидевши у нас вечер: “Как я боюсь за Христину Даниловну! Сосредоточенность ее на одном пункте так велика, что, по-моему, она близка к сумасшествию”».

Павленков, верный своему слову, выпустил в воскресенье газетные публикации, но это нисколько не успокоило Алчевскую. «Напротив, я негодовала только до последней крайности, как может шутить он подобным серьезным делом. Особенно тяжела была для меня ночь с воскресенья на понедельник: мне не то грезились, не то снились какие-то страшные сны; мне снилось, будто какой-то отвратительный господин дернул меня мимоходом за правую руку и оторвал мне ее. “Цензор” прошептал кто-то, наклоняясь над моим ухом».

Утром Алчевской сказали, что ее ждет какой-то простолюдин. В передней перед ней стоял артельщик Павленкова в смазных сапогах и в порыжелом пальто.

— Флорентий Федорович приказали спросить Вас, — сказал он, — сколько прикажите делать скидки на книги: двадцать процентов или двадцать пять? И будете ли Вы отпускать торговцам на комиссию или продавать за наличный расчет?

«Я стояла перед ним молча и почти не понимала, о чем он спрашивает

меня, — писала Христина Даниловна в дневнике. — Как, неужели в этом виде совершится выход книги? Мне казалось, что при этом событии должно произойти нечто необычное, нечто вроде звона колоколов, толпы народа, криков ура! И вдруг этот артельщик в смазных сапогах и вопрос об уступке каких-то процентов! Наконец, я вспомнила слова одного из своих друзей, Королева, будто мне должны прислать билет из цензуры о выходе книги, и написала записку Павленкову в довольно резком тоне, на что тот отвечал мне шутливо: “Вероятно, Королев вспомнил о том, что было во времена Очакова и покорения Крыма; теперь же не посылают никому никаких билетов, и если не заарестуют книгу на 3–4 день, Вы можете говорить: слава Богу!”

Весь этот день я ходила как в чаду, не смея верить своему счастью...»

В другой раз Флорентий Федорович приехал к Христине Даниловне Алчевской прямо с похорон... цензора В.

В своем дневнике рассказ об этой печальной церемонии Х. Д. Алчевская предваряла такими словами: «...Утром у меня был мой старый друг, идейный издатель, который давно выговорил для себя право бывать по утрам! Как многие люди с широким кругозором, он терпеть не может педагогов и педагогических кружков, кажущихся ему синонимом со словом скука. Почему прощает он мне мою педагогичность, если можно так выразиться, я, право, не знаю, и это непонятно для меня также, как то, каким образом я могу простить ему его высокомерный и несправедливый взгляд на людей, посвятивших свою жизнь вопросам народного образования. Но, так или иначе, Вы никогда не увидите его у меня вечером, в кружке других моих друзей, а утром я тщательно оберегаю те дни и часы, когда он приходит ко мне».

Итак, в упомянутое утро Павленков провожал в последний путь цензора. С этим человеком довелось выдержать немало споров, дискуссий. Но, справедливости ради, нужно признать, что среди своих коллег цензор В. являлся все же исключением. О нем говорили даже, что своими действиями, справедливыми решениями он как бы подтверждал верность пословицы: «Не место красит человека, а человек место».

Флорентий Федорович приехал мрачным, заметно возбужденным. Он простился не то что с другом — вовсе нет! Может быть, чаще, чем с кем-либо, с этим человеком ему было суждено вести жаркие баталии, отстаивая судьбу то одной, то другой книги. Но издатель отдавал последние почести человеку честному и так много сделавшему для того, чтобы не создавать искусственных преград на пути тех, кто сеял разумное, доброе, вечное.

— Огорчен я, Христина Даниловна, очень огорчен... Из издателей и

писателей, которые были — ох как — обязаны покойному распространением в обществе их заветных идей, — не встретил ни единого человека. Противно это душе русского человека. Как же так: не отдать последнюю дань уважения человеку, который и на своем, таком исключительно неблагоприятном месте, находясь среди большинства окружавших его надменных особ, кого иначе как палачами мысли и не назовешь, ухитрялся делать добро для Отечества. Нелегко ему было, ой как нелегко. А писателям и издателям, видите ли, показалось постыдным сопровождать гроб цензора. Не могу понять этого.

— Не цензору В. обязана ли и я разрешением книги «Что читать народу»? — спросила Алчевская.

— Да. Хотя уже и был он тяжело болен в те дни...

Спустя какое-то время Х. Д. Алчевская оставит в своем дневнике заметку, служащую продолжением этой беседы...

«...Во второй мой проезд в Петербург он пришел ко мне прямо из цензуры; он имел вид человека, одержавшего победу, и действительно, победа эта заключалась в следующем: незадолго до тяжелой болезни цензора-благодетеля он представил на его рассмотрение книгу “Рабочий вопрос” и заручился его обещанием, что книга эта увидит свет Божий; обещание, однако, дано было на словах, а потому участь “Рабочего вопроса” оказалась вдруг весьма сомнительной, как и нескольких других книг. Пришлось избирать для себя нового цензора, и вот идейный издатель останавливается на том, чтобы выбрать строжайшего из них, показав уже тем самым уверенность в благонадежности своих изданий. Это не помешало, однако, строгому цензору забраковать одну, другую, третью книгу. Когда дело дошло до представления “Рабочего вопроса”, цензор вышел, наконец, из себя и, явившись в комитет, стал кричать и размахивать руками, говоря чуть не с пеною у рта: “Что, он хочет произвести меня в звание палача мысли? Это черт знает, что такое, пусть просматривает эту зловредную книгу кто угодно, только не я”. Идейному издателю была передана своевременно эта сцена. Он явился к суровому цензору и объяснил ему, что тот поступил вполне неприлично, думать о книге он может все, что угодно, но зачем же компрометировать ее в публичном заседании. Уже этим фактом положение другого цензора, кто бы ни был он, окажется крайне щекотливым, если он даже по совести одобрит книгу, названную его предшественником зловредной. Вероятно, доводы издателя в чем-то поколебали прежние позиции сурового цензора, и на этот раз он пропустил “Рабочий вопрос” с такой аттестацией: “Хотя книга затрагивает вопрос либерального свойства, но в основании своем не имеет

злонамеренных целей и замыслов”».

— Что-то Вы нынче, дорогой Флорентий Федорович, чем-то опечалены, — заметила Алчевская во время их очередной встречи с Павленковым. — Опять цензоры донимают?

— Ей-богу, зарежут, подлецы, — произнес он в ответ раздраженно.

— Что-то вновь с «Рабочим вопросом»?

— Какое, я забыл о нем уже и думать, — сказал он с досадою. — Эта новая книга называется «История цензуры в России». Я напечатал ее без предварительной цензуры, на что имел полнейшее право. И, знаете, придрались-то к пустякам...

— В самой книге?

— Да нет же! В типографии не разобрали набора вовремя... Под этим предлогом настаивают, чтобы издание это было подцензурное...

— А вы чего-то опасаетесь?..

— Да если это удастся им, они, конечно, искалечат издание до неузнаваемости. Но нет, этого не будет! Производить насильственную цензуру над подобной темой? Слыханное ли дело, чтобы произнесение приговора над собственными поступками предоставлялось заинтересованному лицу!

Флорентий Федорович расхаживал по комнате большими шагами и как будто позабыл о своей собеседнице... Потом, словно очнувшись, заметил, обращаясь к Алчевской:

— Верите, по глазам их видел, что доводы мои значительно смутили цензоров.

7 мая 1892 года Флорентий Федорович телеграфировал автору этого труда А. М. Скабичевскому: «Ваша книга спасена. В чреве китовом осталось только пять страниц».

Трудно даже сосчитать, сколько подготовленных им изданий были аттестованы цензорами как предосудительные, скольким из них преграждалась вообще дорога к читателю, скольких не допускали в библиотеки и учебные заведения! Не одна книга с павленковской маркой конфисковывалась по всем губерниям России.

К каким только уловкам не доводилось прибегать Павленкову за тридцать пять лет единоборства с царской цензурой — от прямой мистификации, когда одно и то же произведение приходилось давать на просмотр различным цензорам, до угроз жаловаться вышестоящему начальству.

В глазах современников издатель зарекомендовал себя личностью из пледы шестидесятников, но, правда, чуждавшейся активной

общественной борьбы насильственными средствами, все возлагавшей на силу убеждения и печатного слова. Однако и эта позиция вовсе не избавила его от жестоких преследований именно за убеждения. Официальных тузов приводили в бешенство ловкость, бесстрашие, выдумка, с помощью которых Флорентию Федоровичу удавалось обходить вокруг пальца тех, кто должен «бдеть», зорко стоять «на страже», кто по самой сути своей деятельности являлся врагом свободного слова.

В. Г. Короленко в «Истории моего современника», опираясь на рассказ самого издателя, подробно описывал эпопею с московским изданием писаревских сочинений в период подготовки к Литературному процессу. Павленков не дрогнул не только перед свирепствующей цензурой, но и перед судебным органом, сумел опровергнуть обвинения, выдвинутые против него, очень смелым, неожиданным способом и тем самым доказать всю вздорность предъявленного обвинения ко второй части сочинений Писарева.

Когда в начале 70-х годов цензурное ведомство добилось запрещения второго издания сочинений Д. И. Писарева, то павленковские друзья и помощники — В. Д. Черкасов и М. П. Надеин сумели издать писаревские «Очерки по истории труда» в Варшаве на польском языке, за что варшавскому цензору был объявлен строгий выговор.

Уже Литературный процесс по делу об издании второй части сочинений Д. И. Писарева, выигранный Павленковым, создал ему репутацию опасного для цензоров издателя. «...С тех пор цензура стала считать его таким противником, с которым нелегко иметь дело и неприятно связываться», — отмечал Н. А. Рубакин.

Действительно, хлопот Флорентий Федорович доставлял служащим этого ведомства немало. Некоторые не скрывали своей радости, когда им хватало аргументации, чтобы закрыть ход тому или иному павленковскому изданию. С другой стороны, сама репутация «опасного противника» служила на пользу Павленкову, ибо многие цензоры под любым предлогом не хотели иметь с ним дела.

— В цензуре меня не любят, — говорил Флорентий Федорович с горьким юмором. — Да и боятся как будто. Благодаря этому и уступают во многом.

И все же одержанные победы не исключали того, что многим рукописям, представляемым на просмотр Павленковым, была уготована смерть. Они задерживались цензурой, а книги, изданные без предварительной цензуры, уничтожались. В десятках и сотнях книг и рукописей охранительными органами вымарывались куски текстов. А, к

примеру, книга Ф. Кирхнера «Путь к счастью» поступила на книжный рынок с вырезанными страницами.

Цензуре достаточно было узнать, что какая-то рукопись представлена от имени Павленкова, чтобы отнестись к ней с особой подозрительностью и придирчивостью.

Так, 8 октября 1887 года в циркуляре, подписанном сенатором Плеве, признавалось необходимым на основании статьи 180 установления цензуры (изд. 1886 г.) воспретить обращение изданной Павленковым с разрешением Санкт-Петербургского цензурного комитета книги под заглавием «Сельский календарь на 1888 год». Главным управлением по делам печати об этом решении уведомлялись соответствующие органы на местах «для зависящего распоряжения». Отобранные экземпляры у книгопродавцев, изъятые из библиотек и кабинетов для чтения, «а равно от лиц, торгующих вразнос произведениями печати — офеней и ходябщиков», требовалось выслать в Главное управление по делам печати. Такое указание было разослано губернаторам.

Цензура все делала, чтобы в печати не появлялось рецензий на павленковские издания. Так, в 1892 году журнал «Детское чтение» подготовил для своего «Педагогического листка» обзорную статью «Популярные книги по психологии», в котором делался разбор изданий Павленкова. Корректурa сохранилась с резолюцией: «Недозволена к печати». Почему? Об этом откровенно говорится в рецензии цензора Пеликана. «...Вообще издательская деятельность Павленкова, как известно комитету, является тенденциозною и восхваление именно его изданий на страницах педагогического журнала не может быть признано удобным с цензурной точки зрения...»

Притеснения со стороны Санкт-Петербургского цензурного комитета год от года становились все более невыносимыми. Г. И. Успенский, наблюдая за тем, как цензура пыталась «пришибить» Флорентия Федоровича, восхищался его несгибаемой волей и замечал: «Павленков... не намерен покоряться».

И действительно, за последние десять лет своей деятельности Флорентию Федоровичу удалось отвоевать у цензуры рукописей намного больше, чем это могли сделать другие современные ему издатели. Даже, к примеру, марксистскую книгу удалось издать. В Одессе вышла в переводе Рашковского книга К. Каутского «Экономическая система Маркса». Павленков покупает права у переводчика, но с тем условием, что тот сам получит разрешение у цензора без указания издателя. Переводчику это удалось, и в 1890 году, благодаря этой малой хитрости, Павленков



выпускает ее в Петербурге под измененной фамилией.

Почему цензорам было трудно спорить с Павленковым, почему он нередко выходил победителем в полемике вокруг судьбы того или иного произведения, той или иной авторской мысли? Прежде всего, следует подчеркнуть, что в его лице она сталкивалась со всесторонне образованным человеком, развившим за счет самообразования свои знания во многих областях и сферах человеческой деятельности. То, что он готовил себя с юных лет к военной службе, благотворно сказалось на чертах его характера. Павленков выработал в себе четкость, организованность, обязательность. Если он давал слово сделать что-то, если он принимал замечание цензора, то он не позволял себе ни малейшей попытки злоупотребления оказанным ему доверием: указание выполнялось беспрекословно. Флорентий Федорович в своем единоборстве с цензурным ведомством сделал ставку на изучение действующего законодательства о цензуре. Он до тонкостей разбирался во всех параграфах и статьях всевозможных уложений, установлений и т. п. Сильной стороной Павленкова был его точный анализ тех логических построений, которые содержались в заключениях конкретных цензоров. Его аналитический ум позволял безошибочно определять наиболее уязвимые места в докладах цензоров, противоречия их заключений тем или иным законоположениям. Получалось чаще всего так, что издатель стоял строго на юридической почве, а цензующий высказывал собственные предложения, субъективно толковал статьи закона. Если цензор оказывался несговорчивым, то Павленков не пренебрегал и прямой угрозой жаловаться на него начальству. Это иногда действовало, ибо чиновник знал пробивную силу оппонента и не хотел рисковать, чтобы получить замечание по службе.

В качестве реального давления на принятые решения о судьбе конкретных книг Флорентий Федорович не стеснялся прибегать и к другому рода мерам. Он мог пообещать цензору, что в либеральной печати эта история станет предметом нелицеприятного разбирательства и что именно он, имярек, окажется в эпицентре критической кампании. Беседующий с Павленковым служащий цензурного ведомства знал, что это непростые слова: у издателя были тесные связи с редакторами многих газет и журналов. Как свидетельствует Н. А. Рубакин, не брезговал Павленков в отдельных случаях даже такой мерой, как взятка. Он описывает со слов самого издателя эпизод, происшедший при отстаивании одной книжки Т. Г. Лубенца. Из этой книжки, которую держал Павленков, вдруг выпал какой-то конверт.

— Это от Вас он упал? — спросил смекалистый цензор.

— О нет, — спокойно ответил, глазом не моргнув, Павленков. — Наверное, это Ваш.

И цензор положил конверт себе в карман. В нем было пять ассигнаций по сто рублей каждая. Это, конечно, исключительный случай. Типичнее были многочасовые споры и дискуссии с цензорами...

Когда Рубакин сам занялся издательской деятельностью, Павленков передавал ему свой опыт — те многочисленные хитрости, с помощью которых ему удавалось преодолевать рогатки цензуры. К примеру, в биографическую библиотеку «Жизнь замечательных людей» Флорентий Федорович решает включить такие запретные в тот период в России имена, как А. И. Герцена, организатора социалистического рабочего движения в Германии Ф. Лассаля и известного французского ученого Э. Ренана. Как быть? Что, если попробовать воспользоваться такой возможностью: действующее законодательство того времени разрешало издателям выпускать книги без предварительной цензуры, если это были непереводные, а оригинальные русские издания и если объем их был не меньше десяти печатных листов (160 страниц). И хотя библиотека «Жизнь замечательных людей» состояла из книг, объем которых составлял пять-шесть печатных листов, издатель решает на этот раз сделать исключение. Е. А. Соловьеву он предлагает подготовить биографию А. И. Герцена в два раза больше обычного объема. В. Я. Классану — таким же образом биографию Ф. Лассаля, а С. Ф. Годлевскому — биографию Э. Ренана. После издания этих книг без предварительной цензуры, после получения разрешения на то, что они допускались к распространению, после того как практически весь тираж их был распродан, Павленков посылает на предварительную цензуру три этих отпечатанных тома, желая включить их в биографическую библиотеку. Что оставалось делать цензуре? Естественно, разрешать. В противном случае — общественное возмущение было бы гарантировано.

Правда, бороться с цензурой становится все трудней. Взять хотя бы историю с социологическим романом Э. Буажильбера «Крушение цивилизации». Для Павленкова перевел его с английского и написал к нему вступительную статью Р. И. Сементковский. Когда 17 июля 1892 года книга поступила в Санкт-Петербургский цензурный комитет, обнаружилось, что этот роман еще в оригинале был запрещен к обращению в России. Цензор Пеликан из 344 страниц книги полсотни подчеркнул и разрешения на выпуск не дал. Длительное время тянулась волокита. Лишь через шесть лет,

17 апреля 1898 года, начальник Главного управления по делам печати

высказывал свою точку зрения на роман в письме министру внутренних дел. «Избрав общедоступную форму романа, — подчеркивалось в докладной, — автор, конечно, имел в виду обеспечить для своей утопии наибольшее распространение в массе народа; односторонним же изображением одних лишь темных сторон культуры XIX века он может возбудить в читателях ненависть к имущим классам и опасные мечты о насильственном и коренном преобразовании общества». Министр даже не стал посылать материалы в Комитет министров, а самостоятельно запретил издание и распорядился задержанные экземпляры передать в Главное управление по делам печати. Правда, в декабре 1909 года запрещение это было снято и уже в следующем, 1910 году роман поступил к читателю.

Особое место во взаимоотношениях Павленкова с цензурой занимают истории двух книг — биографии М. Н. Каткова в серии «Жизнь замечательных людей» и сочинения Ш. Летурно «Прогресс нравственности».

Редактор журнала «Русский вестник» М. Н. Катков для Павленкова и его друзей был олицетворением дворянско-монархической реакции в самом крайнем ее выражении. Своей систематической травлей молодого поколения «нигилистов», журнала «Современник», герценовского «Колокола» он снискал к себе ненависть и презрение у всех тех, кто воспитывался на радикальных идеях 60-х годов, оставался верен им до конца своих дней. В воспоминаниях И. Е. Репина приводится шутливый рассказ об обряде посвящения провинциальных поповен и светских барышень в орден нигилистов. Среди трех вопросов, на которые предстояло ответить претендентке на посвящение перед тем, как у нее будет обрезана коса, один имел отношение к Каткову.

«Первый вопрос. Отрекаешься ли от старого строя?

Ответ. Отрекаюсь.

Второй вопрос. Проклинаешь ли Каткова?

Ответ. Проклинаю.

Третий вопрос. Веришь ли в сон Веры Павловны (из романа «Что делать?» Чернышевского — фантастическое видение будущих форм жизни)?

Ответ. Верю».

Скорее всего, именно этим с юных лет впитанным в сознание чувством презрения к Каткову и было продиктовано предложение включить в серию «Жизнь замечательных людей» биографию идеолога воинствующего шовинизма и реакции. Не иначе как преследовалась цель создать портрет антигероя, выставить на страницах книги на всеобщее

обозрение те неприглядные стороны его деятельности, когда он буквально заискивал перед высшими кругами власти. Р. И. Сементковский взялся подготовить такой очерк.

9 февраля 1891 года книга была послана в Санкт-Петербургский цензурный комитет. К сожалению, как и предполагалось, личность Каткова для петербургской цензуры — фигура слишком каноническая. Ни одного нелестного слова в его адрес не скажи! 20 февраля комитет запретил книгу «ввиду того, что автор ее явно задался целью выставить в неблагоприятном свете именно те стороны в деятельности покойного публициста, которыми он заслуживал нередко одобрения правительства».

Флорентий Федорович сидел за столом у остывшего самовара. Было уже далеко за полночь... А он все держит в руках уведомление...

«А что если?..» — подумал он.

Нет, даже не идея родилась, а просто всплыли в памяти былые времена такой далекой теперь молодости...

Как тогда вытянулись лица у судей и всех собравшихся, когда он, молодой, энергичный, воюя с петербургской цензурой, привлек на помощь к себе их коллег из Москвы. Удивленному суду представил он тогда экземпляры изданной в Москве писаревской книжки, за которую здесь, в Петербурге, его пытались осудить...

Точно так же позднее удалось спасти и «Наглядную азбуку», под другим названием предложив ее киевскому цензору...

— А что если тряхнуть стариной? И... обвести вокруг пальца?

Поговаривают, что в Дерпте цензор Е. Янзен человек широких взглядов, совсем без такой собачьей хватки, как некоторые из здешних...

Может быть, попробовать именно ему и переслать катковскую биографию? Человек он добросовестный, рассказывают, и порядочный. Увидит в книге лишь то, что в ней есть.

Утром и ушла рукопись в Дерпт. И вскоре действительно был получен ответ, который не мог не радовать. На обороте титульного листа стояло: «Дозволено цензурой. Дерпт, 28 января 1892 г.». Теперь можно рукопись посылать в типографию Ю. Н. Эрлиха.

Удача всегда рождает вдохновение. Человека обуревают жажда новых деяний, ради осуществления того, что еще давеча он не мог осилить под тяжким бременем обстоятельств.

К Флорентию Федоровичу через верных друзей попал один экземпляр книги Ш. Летурно «Эволюция морали», отпечатанный в издательстве К. Т. Соддатенкова еще в 1889 году. Комитет министров наложил запрет на ее распространение, и большая часть тиража была уничтожена. В книге были

собраны лекции Ш. Летурно, прочитанные им в Парижской антропологической школе в зимний семестр 1885/86 года. Павленков намеревается их издать и подготовленный перевод под другим названием — «Прогресс нравственности» — отправляет на просмотр в Дерпт, тому же цензору Е. Янзену. К счастью, рукопись одобрена, и Павленков печатает ее тираж.

Но от зорких соглядатаев в Петербурге не могли пройти незамеченными эти «обходные» маневры Флорентия Федоровича. Столичное цензурное воинство переходит в атаку против прогрессивного издателя. Поскольку конфисковать обе книги — и о Каткове и сочинения Ш. Летурно без «высочайшего повеления» власти не могли (формально ведь все законно: разрешение цензуры имеется!), министр внутренних дел входит с докладом к царю об изъятии этих изданий. Однако ожидать царской воли не стал. 1 августа 1892 года Главное управление по делам печати посылает циркулярное письмо губернаторам, в котором в конфиденциальном порядке доводится до их сведения, что министр внутренних дел признал необходимым изъять из обращения книги Р. И. Сементковского и Ш. Летурно. Все обнаруженные экземпляры предлагалось отобрать и переправить в Главное управление по делам печати. 13 августа 1892 года царь Александр III узаконил эти действия, «высочайше повелев» изъять книги из обращения.

Действительно, львиная доля тиражей была уничтожена, но часть книг разошлась среди читающей публики. Из отправленного 6 декабря 1892 года художником И. Репиным письма В. Жиркевичу узнаем, что ему удалось познакомиться с этим изданием и оно произвело на него неизгладимое впечатление. «...Только что дочитал прекрасную вещь, сильную... “Прогресс нравственности” Летурно. Как жаль, что книгу эту (хотя и разрешили Павленкову) сожгли уже отпечатанной... Вот так книга! Вот этому я верю!»

Атаки против Флорентия Федоровича со стороны цензурного ведомства продолжались со все большей ожесточенностью. Спустя три дня после царской резолюции, 16 августа,

Главное управление по делам печати предпринимало еще одну меру пресечения к этим двум павленковским изданиям. Оно запрещало цензурным комитетам и отдельным цензорам по внутренней цензуре разрешать какие-либо отзывы и рассуждения о книгах «М. Н. Катков» и «Прогресс нравственности». Над книгами этими, по мнению цензуры, расправа свершилась (хотя следует упомянуть о том, что 24 октября 1910 года новый царь Николай II снимет с обеих конфискованных изданий

запрет на их распространение), настал черед приняться за самого несговорчивого издателя. И тогда появляется документ, который с полным основанием можно было бы назвать характеристикой Павленкова от цензурных властей. Однако характеристика сия была направлена на одно — покрепче затянуть веревку на его руках, пресечь его неумную энергию, ужесточить обращение всего цензурного ведомства с этим столь беспокойным для цензуры человеком.

18 августа 1892 года за подписью начальника Главного управления по делам печати Феоктистова был разослан с грифом «конфиденциально» циркуляр за № 3974 цензурным комитетам и господам отдельным цензорам по внутренней цензуре. «Главным управлением по делам печати, — говорилось в циркуляре, — замечено, что занимающийся в С.-Петербурге изданием книг и брошюр Ф. Павленков позволил себе некоторые сочинения, неразрешенные к печати С.-Петербургским цензурным комитетом, представлять вновь на просмотр в другие цензурные учреждения. Ввиду того, что при просмотре одного и того же сочинения в различных цензурных учреждениях могут состояться и различные решения, Главное управление по делам печати предлагает цензурным комитетам и господам цензорам по внутренней цензуре все поступающие к ним от Ф. Павленкова на просмотр сочинения представлять на усмотрение Главного управления».

— Да, грустно жить на земле, если служба Отечеству встречает на своем пути такие колючие барьеры, — только и заметил Флорентий Федорович после того, как ему стало известно о таком решении цензурных властей...

В письмах друзьям Флорентий Федорович не скрывает того, что внимательно следит за всеми изменениями в цензурном ведомстве. Вынужденный по состоянию здоровья отправляться на юг Франции, Флорентий Федорович 17 октября 1895 года писал Р. И. Сементковскому: «Крайне жалко, что приходится уезжать в неблагоприятный для меня момент — момент перемены министерства... (речь идет о Министерстве внутренних дел. — В. Д.) Может быть, теперь-то, в первые 2–2½ месяца, и удалось бы сделать что-нибудь для “Каткова”, Буажильбера и Летурно. Во всяком случае не теряю надежды».

А в другом письме тому же Р. И. Сементковскому Павленков сообщил: «В Главном управлении готовится циркуляр, в котором редакции газет будут предупреждены о том, что администрация не желает появления в печати никаких воспоминаний и статей о Писареве по случаю исполняющегося в начале июня (4-го числа) двадцатипятилетия со дня его

смерти. Рассматривается также циркуляр о запрещении печатать какие-либо объявления о не вышедших его книгах и изданиях всякого рода. Сам комитет недоумевает по поводу этого циркуляра. После покушения на жизнь Победоносцева, по всей вероятности, цензура делается еще психиатричнее».

Когда департаменту стало известно, что Ф. Ф. Павленков намеревается предпринять выпуск нового издания сочинений Д. И. Писарева, там не на шутку встревожились. 20 мая 1894 года беспокойство охранителей режима было вызвано тем обстоятельством, что «в некоторых слоях общества, и особенно в среде учащейся молодежи, заметно волнение и толки о том, насколько легально будет означенное издание, и будет ли оно доступно для всех желающих приобрести его», а также тем, что «студенты и другие представители учащейся молодежи принимают ныне меры к сконцентрированию денег в руках нескольких лиц на покупку поименованного сочинения, чтобы сразу же по выходе, а может быть, даже до выхода его в свет, приобрести таковое в значительном количестве».

Борьба с цензурным своеволием Флорентию Федоровичу не представлялась только делом личным. Наоборот, он всячески стремился поддержать каждого, кто подвергался несправедливым преследованиям, давал советы, предлагал собственные услуги.

— Слыхали, Флорентий Федорович, заарестован номер «Русской мысли»...

— За что же? Не за отклик ли на наши книги?

— Нет, Бог миловал. Статья редакторам не приглянулась. Цензор увидел в ней то, о чем и сам автор не подумал бы.

— Но ведь цензорские предположения — это еще не нарушения закона. Наоборот, статья сто сорок четвертая цензурного уложения прямо нацелена против пресловутого чтения между строк.

— Вам бы, Флорентий Федорович, повстречаться с Гольцевым, возможно, что он сейчас нуждается как раз в дельном совете опытного человека, многие годы неотлучно состоящего «при цензуре».

— Попробую. В самом деле, нельзя же давать распоясываться этим господам цензорам!

Встреча с В. А. Гольцевым по независящим от издателя причинам не состоялась. И Флорентий Федорович решает обратиться к нему в письме. «Многоуважаемый Виктор Александрович! — обращается он к Гольцеву 28 ноября 1893 года. — Пишу Вам на лету, возмущенный мотивировкой данного “Русской мысли” второго предостережения. Не могу не обратиться к Вам по этому поводу с просьбой. Мне кажется, что Вам не следует

столько же в своих, сколько в общественных интересах — оставлять этого дела так... Ваш издатель также не должен падать духом. Слова Дюпюи: “Заседание продолжается”, сказанные им тотчас же после разрыва бомбы в зале парламента, — вот образец гражданского мужества, которому надо подражать в подобных случаях. От нашего брата читатель такого мужества не требует. Тем не менее, мы должны, так или иначе, заботиться об охране тех мизерных прав, которые нам оставляет закон о печати.

Если нельзя формально жаловаться в Сенат на министра (хотя это вполне возможно), то следовало бы написать объяснительное письмо по поводу предостережения... Можно ручаться, что Дурново не читал Вашей статьи и что его просто втянул в это дело Феоктистов». Затем автор письма заявляет, что «не нужно даже говорить о том, что для каждого, кто прочитал статью “Социология на экономической основе”, подвергнушуюся наказанию, безусловно, предостережение покажется несправедливым по существу». После этого заявления Павленков добавляет: «...Оно решительно незаконно и по форме: 144 ст. цензурного устава не уничтожает того общего цензурного правила, по которому цензуре запрещается чтение между строк». А ведь именно это и положено в основу мотивировки данного «Русской мысли» второго предостережения! «Здесь оно фигурирует нагишом, без малейшего виноградного листка».

Флорентий Федорович весь свой пафос употребляет на то, чтобы убедить В. А. Гольцева действовать. Решительно восставать против цензурного произвола! «Не оставляйте этого дела так». Нельзя же совершенно пассивно относиться к таким незаконным карам.

«Искренне благодарю Вас за любезное письмо, — писал в ответ 2 декабря Виктор Александрович. — Я-то лично вовсе не падаю духом, но мое “политическое” положение таково, что я не считаю себя вправе настаивать на каком-либо решительном шаге: цензура несколько раз ставила Лаврову и Ремезову на вид опасность пребывания в редакции такого неблагонадежного человека, как я. По некоторым признаниям, предостережение имело в виду “поразить” меня лично еще более, чем журнал. Я предложил поэтому моим коллегам, что я удаляюсь из редакции, но Лавров об этом не хочет и слышать. На всякий случай, начну, однако, приискивать себе какое-нибудь занятие, потому что жить надо, детей доучить. Еще раз большое Вам спасибо. Постараюсь тоже сего происшествия не оставить».

— Не боец Вы, Виктор Александрович, — заметил Флорентий Федорович, получив этот ответ.

Выигрыш во времени для каждого делового человека — это во многом



гарантия успеха. Флорентий Федорович очень твердо уяснил эту истину. Еще не выпущен тираж издания, первые экземпляры лишь посланы в цензурный комитет для просмотра, «добро» на выход их в свет не получено, а Флорентий Федорович уже рассылает экземпляры в журналы, чтобы побыстрее книга была проанонсирована для читающей публики.

Как правило, в большинстве случаев подобная практика оправдывала себя. Правда, бывали случаи, когда происходило вмешательство цензоров и книга задерживалась. Тут уж ни в коем случае нельзя было допустить преждевременного информирования о книге, ибо таким образом можно было оказать плохую услугу коллегам — журналистам. Флорентий Федорович в таких ситуациях посылал записки редакторам. 17 апреля 1891 года он пишет В. А. Гольцеву: «Я послал Вам на днях экземпляр “Истории новейшей русской литературы” в том виде, какой она имела до представления ее на 7-дневный цензурный искус. Будьте добры, не давайте этого экземпляра никому или скажите тому рецензенту, который будет давать отзыв о книге в библиографическом отделе Вашего журнала; иначе он может прорецензировать что-нибудь исключенное цензурой... Для рецензента посылаю Вам другой экземпляр — законный».

Требовалось все предусмотреть, обо всем позаботиться заблаговременно, не пускать на самотек даже самых незначительных дел.

В письме этом промелькнуло выражение — «цензурный искус». По каждой из сотен выпускаемых Павленковым книг пришлось ему ощущать укусы тех, кто выступал в роли цепных псов существующего строя, набрасывающихся на каждое «неудобное» слово.

Н. А. Рубакин, вспоминая об этом, проронил горькое свидетельство: «Павленков поседел в борьбе с цензурой».

И это соответствовало истине.

## ALTE LIEBE MORTET NICHT

Как человек, лишенный материнской ласки с детских лет, Флорентий Федорович через все годы пронесет в своем сердце тоску о той, которая дала ему жизнь, но которой не суждено было увидеть свое чадо ни в короткие, радостные мгновения его творческих взлетов, ни в тяжкую годину горестного одиночества... Единственное наследство, доставшееся ему от матери, — самое сокровенное его богатство, с которым он не расставался никогда, — был ее небольшой акварельный портрет, миниатюра, выполненная неизвестно кем и когда. Флорентий Федорович не знал даже, такой ли была мать до или после его рождения. И никто не мог ему ответить на этот вопрос. Куда бы ни забрасывала его судьба — повсюду Флорентий Федорович возил с собой этот портрет. И сколько раз, оставаясь один на один с ним, изливал матери свою душу, посвящая ее в самые потаенные думы, о чем даже не решался откровенничать с близкими своими друзьями.

Мать ему казалась удивительно похожей на Сикстинскую мадонну. В ее глазах, безотлучно смотревших на него, он каждый раз встречал что-то такое, что умиротворяло, ободряло душу и сердце. Он долго не отводил взгляда, словно пытаясь проникнуть вглубь этих родных очей...

Но всегда с ним был и портрет еще одной женщины — Веры Ивановны Писаревой. Ее образ неотлучно был с ним и в дороге, и за письменным столом. Верочка Писарева, его первая — и, увы, последняя! — любовь...

Тогда письмо Флорентия Федоровича к царю не принесло желаемого результата. Вера Ивановна по-прежнему оставалась глухой к его чувствам. Власти не хотели возвращать ее в столицу, скорее всего, по самой примитивной логике: чтоб писаревским духом там и не пахло...

От друзей в Петербурге узнал, что в 1871 году Вера Ивановна уехала в Варшаву, якобы занялась там журналистской работой. Рана, нанесенная столь внезапным и не до конца понятным разрывом их отношений, со временем заживала. Флорентий Федорович окунался в новый для себя мир жизни политического ссыльного. Вокруг него появлялись новые люди. Нужно было жить и бороться... Лишь портрет Веры Ивановны по-прежнему стоял на письменном столе, радуя его и огорчая...

Решил возобновить прерванное общение лишь тогда, когда в

очередной раз наступила нелегкая пора в его жизни. Годы ссылки подорвали здоровье. Вятское сидение, «прогулка» по этапу до Тюмени, месяцы волнений в Ялutorовске не прошли даром. Чахотка не давала покоя. Умер барон Н. А. Корф, с которым переписывались и сотрудничали пятнадцать лет. В издательских делах столкнулся впервые с реальной возможностью краха...

Очень неуютно чувствовал он себя в те январские дни 1885 года. Случайно узнал от одной знакомой, что она отправляется в Варшаву. Решил просить ее отыскать там Веру Ивановну и передать ей вместе с небольшим письмом свою фотокарточку. Зачем? Трудно объяснить... Скорее всего, подействовали слова из письма покойного Николая Александровича Корфа. Сам уже тяжело больной, он каждый раз находил слова, чтобы утешить друга в часы его все новых и новых испытаний...

Когда Павленков покидал Вышневолоцкую политическую тюрьму и отправлялся в Сибирь, настроение было не из лучших — мучили полнейшие неизвестность и неопределенность. Написал в Женеву, где проживал Н. А. Корф, поделился своими невеселыми мыслями. Излил душу, и вроде бы стало легче. А по пути в ссылку пришло дружеское письмо от барона. Там и были эти строки: «Жена моя, вот уже 24 года всегда распинающаяся со мною на одном и том же кресте, принимает самое теплое участие в Вашем, то есть нашем горе и шлет Вам искреннейший привет. Пусть хоть то тепло, которым повеет от нас на Вас, согреет Вашу душу и поддержит Ваши силы».

Вот эти его слова о его жене, с которой они вместе несли тяжелый крест по жизни, почему-то и всплывали в памяти Флорентия Федоровича. Видимо, и захотелось узнать: а как же сложилась судьба Веры Ивановны?

Уже в конце февраля 1885 года пришел ответ из Варшавы. «Мы с Вами когда-то были большими друзьями, Флорентий Федорович, — писала В. И. Писарева, — но с тех пор утекло столько воды... я, несколько раз собираясь писать Вам, все откладывала по разным соображениям.

Сейчас Вера Ивановна решила написать письмо, тем более что и мадам Гречина, передавая павленковское письмо, уверяла, что Флорентий Федорович будет рад получить весточку от нее. Вера Ивановна обращается с просьбами к ныне столь известному столичному издателю. Пятнадцать лет газетной работы подорвали ее здоровье, и она нуждается в лечении, а средств нет. Не оказал ли бы Флорентий Федорович содействие в том, чтобы она смогла получить пособие от Литературного фонда. Также она предлагает свои услуги издателю в качестве переводчика с французского, немецкого, итальянского и польского языков. Вера Ивановна выражает

признательность за фотографию: «Благодарю Вас за карточку; памятуя, что “долг платежом красен”, я пришлю Вам свою, но предупреждаю, что она будет далеко не похожа на ту, которая у Вас уцелела. Ведь с тех пор прошло 18 лет!»

Так завязалась их переписка. Потом Флорентий Федорович приезжал к Вере Ивановне в Варшаву. Вера Ивановна жила с дочерью Юлей, постоянно испытывая материальные затруднения. Флорентий Федорович посылал деньги, книги, обеспечивал переводами... Она не скрывала своего огорчения от того, что после смерти брата так опрометчиво оборвала нити собственного счастья... В письмах то и дело прорывалось: «*Mea culpa, mea maxima culpa!*» («Без числа согрешишь, и без толку покаешься»); «Добрый мой старый друг, который иногда бывает лучше новых двух...»; «*Alte Liebe mortet nicht*» («Старая любовь не умирает». — В. Д.).

Письмо от 19 октября 1885 года Вера Ивановна начинает выражением: «Не о книгах единых свят бывает человек». Жалуется, что долгое время не получает ни слова в ответ. Сообщает, как распорядилась присланной книгой. «Книгу я подарила дочери, которая очень обрадовалась, тотчас принялась читать и весьма благодарит “незнакомому господина в Петербурге”». «...Зарботок мой упал до такого минимума, что просто не знаешь, как свести концы с концами», — пишет далее Вера Ивановна и просит помочь с работой. Интересуется, как дела с открытием детского журнала и не найдется ли в нем места для нее.

В письме от 1 мая того же года Вера Ивановна спрашивает: «Не угодно ли Вам приобрести переписку Дмитрия Ивановича и за какую цену?», «Сможете ли, захотите ли Вы дать мне работу?»

В следующем письме — хорошее настроение. «Спасибо! Вы меня поняли. Ну, как же можно не быть друзьями, когда мы так прекрасно понимаем друг друга через 17 лет разлуки, издали! Заранее благодарю за книжки и брошюры о Никоне, Морозовой, Аввакуме, но так как Вы мне предоставили *carte blanche* выбирать из двух вещей ту, над которою я охотнее поработаю, то я на первый раз возьму “Сагайдачного”, ибо он короче и представляет больше исторической яркости, больше бытовых картин, да пословный массив не такой, надрывающий душу. Если бы Вы захотели совсем убогаторить меня и прислали бы мне что-нибудь о Сагайдаке, чтобы ярче обрисовывало его личность, я сказала бы Вам глубокое спасибо; ежели ничего такого нет, то придется довольствоваться наличным материалом, который можно вытянуть из Мордовцева. Прости ему Бог!»

И опять напасти обрушиваются на бедную женщину. «У меня большое

горе — дитя заболело, боюсь, не серьезно ли», — пишет Вера Ивановна. В другом письме сообщает: «Я серьезно думаю уехать и, если возможно, убраться в Петербург. Скажите что-нибудь на этот счет». Павленков отговаривал ее от такого шага — без заработка, без поддержки не просто ей будет на новом месте. Обещал предоставлять ей работу в год рублей на шестьсот. В письме от 2 сентября 1886 года Вера Ивановна обижается: «Могли съездить в Москву и Нижний, а не могли приехать на свидание со старым другом в Варшаву? Стыдно и нехорошо!» А это письмо уже после их встречи в Варшаве: «Долго я раздумывала, писать Вам или нет; раздумывала потому, что после нашего свидания в Варшаве Вы совсем забыли меня, пропали без вести, несмотря на обещание переписываться, с горизонта». Еще в одном письме — просьба прислать по два красивых экземпляра ее перевода детских книжек — «Приключение сверчка» Э. Ш. Кандеза и «Через дебри и пустыни. Скитания молодого беглеца» С. Ворисгофера. По одному для дочери, «у которой нет маминого перевода, чем она очень обижена»; другие — в подарок детям одних добрых людей.

А в этом письме о болезни дочери, о совете врача отправить ее в деревню, на свежий воздух, об отсутствии средств: «Как Вы думаете, нельзя ли мне опять через пять лет обратиться к Литературному фонду. Будьте добры, не откажите ответить. Я совсем одинока...»

Деньги Павленков выслал тотчас же. Через несколько дней Вера Ивановна сообщала, что 2 мая отправила девочку в Александрию под Варшавой, где служил и жил племянник ее Сокольников с матерью. Кстати сказать, добавляла Вера Ивановна, «сестрой знаменитой мадам Маркович». Веру Ивановну тревожит теперь ее долг, и она просит работы, чтобы расплатиться.

И словно снова переносится в Санкт-Петербург середины шестидесятых. Когда они шутили, спорили и были счастливы... «Не забудьте, — пишет Вера Ивановна, — что и мы, Писаревы, потомственные дворяне с Дмитрия Донского. Это смешно, несовременно и недемократично, но я дорожу своей дворянской традицией и гербом».

Флорентий Федорович отобрал два письма, удобнее устроился в кресле и стал перечитывать их. Одно письмо из самых первых в их переписке. Выполнив просьбы Веры Ивановны, Флорентий Федорович сообщал ей об этом достаточно сухо, по-деловому. Она почувствовала эту отчужденность. И в ответ вылила свою исповедь... Лишь в конце смогла сдержать себя...

«...Ваше последнее письмо, весьма суровое, так живо напомнило мне того Павленкова, с которым мы читали “Дым”, исправляли у Черкасова

корректур «Физики» Гано, гуляли в Рождественскую ночь по Крестовскому острову, возвращались в белые, краткие весенние ночи с Большой Мещанской на Большую Итальянскую, с которым читали по частям, мысль за мыслью, аргумент за аргументом незабвенную защитительную речь о сочинениях Писарева, что 17 лет будто не бывало. Я встретила в Вас во всей прежней полноте все, чем я в Вас дорожила, что было в Вас хорошего — редкий, светлый, острый и гибкий, как дамасский клинок, ум, кроме того, женски-нервную впечатлительность, превосходящую, пожалуй, даже мою, крайний идеализм, потому что Вы идеалист с ног до головы, несмотря на отрицание всего внеестественного и всех мифологий и космогоний, умственную страстность, доходящую до самозабвения и... сказать ли? Нет, лучше не скажу, ибо это завело бы меня слишком далеко...»

...Флорентий Федорович не читал, а словно слышал голос своей любимой. Как же я мог упустить свой шанс? Почему не был настойчивым? Ведь она любила...

Но... старого не воротишь. Вот и Вера Ивановна пишет об этом. Правда, уже десять лет спустя после восстановленных отношений.

«Спокойствия я Вам не желаю, ибо, ведь Вы все тот же, который:

“А он, мятежный, ищет бури,  
Как будто в бурях есть покой”.

А ведь была и “струя светлой лазури”, был “луч солнца золотой”, да все это, как говорил Митя, было, да сплыло, да быльем поросло».

От писем мысли перенеслись к событиям их сегодняшнего сотрудничества. 3 октября 1898 года типография М. Я. Минкова представила в цензурный комитет, в соответствии с действующим порядком, требуемое число экземпляров книги «Иезуиты, их история, учение, организация и практическая деятельность в общественной жизни, политике и религии», которая была переведена Писаревой и издана Павленковым.

Тут же последовало распоряжение задержать печатание до особого распоряжения. Цензор Пантелеев принялся за изучение труда. Он настроил восемь страниц убористого рукописного текста соображений, но не мог признать книгу предосудительной. Цензурный комитет согласился с его мнением и в отношении в Главное управление по делам печати писал: «...Цензор Пантелеев доложил комитету, что это сочинение имеет за границу довольно большое распространение, судя по тому, что настоящий русский перевод сделан с 6-го издания, но на русский язык является впервые отдельною книгою, а в выдержках для характеристики было

помещено в №№ 72, 73, 74, 77, 80, 84 и 88 газеты “Церковно-общественный вестник” за 1874 год. Сочинение это представляет подробную историю ордена иезуитов и такое же изложение их вредного учения, а общий характер сочинения есть осуждение последнего. На стр. 247 автор так характеризует учение иезуитов: “История ордена производит впечатление истинной трагедии. Великие заслуги, которые он оказал папству, развили его гордость до размеров дерзости; опьяненный успехами, он стремится к господству над церковью, старается навязать ей свое учение; старается уничтожить традиционный строй церкви; он искажает и извращает древнюю веру; портит чистоту нравственного учения и оказывает разлагающее влияние на духовную жизнь своего времени; он распространяет самые грубые, самые нелепые суеверия и проповедует внешнюю, мертвую нравственность. Внося нравственное разложение в область церкви, орден подрезает те корни, которые она пустила в сердце общества и, поддерживая внешним образом ее господство, он подорвал самые глубокие ее основы: св. Духа и дочери Троицы. Она была не только первою поверенною и сотрудницею Троицы, но и самую чистую ее представительницею. Без Девы Марии Бог не был бы в состоянии создать мир, потому что если бы она не приняла благовестив архангела Гавриила, то Сын не смог бы сделаться человеком, следовательно, человечество не было бы спасено и Бог не создал бы Вселенную, чтобы не отдать проклятию весь человеческий род” (ст. 192)». Цензурный комитет представлял Главному управлению по делам печати решать судьбу книги. И оно вскоре сообщило, что книга «может быть выпущена в свет».

...Очередное письмо Веры Ивановны напомнило о той поре, когда он вместе с друзьями готовился к Литературному процессу по второй части сочинений Д. И. Писарева. Вера Ивановна обратила тогда внимание, что в обвинительном заключении Дмитрию Ивановичу приписывалось, будто он осмеивает верования Киреевского. А поскольку верования эти — православно-христианские, то вот вам и крамола. На развенчании этого заключения прокурора следовало сосредоточить главный удар защитительной речи. Тут можно было убедительно показать, что Писарев спорит с Киреевским, но догматов религии он вообще не касается. Самое же основное, что, оттолкнувшись от этой части обвинения, можно было изложить существо идей, раскрытых в статье «Русский Дон-Кихот». Причем одновременно подробнее осветить и идейно-философские воззрения Киреевского.

Поскольку прокурор в обвинительном заключении не привел ни одной цитаты из сочинений последнего, кроме тех, на которые ссылается

Писарев, решено было воспользоваться его промахом. Так можно было доказывать голословность прокурорских придинок, подводить судей к пониманию того, что обвинитель не разобрался в существе дела.

Поэтому в защитительной речи определенное место заняло изложение взглядов Киреевского на роль русского народа в европейской цивилизации: вскрывались противоречивость этих воззрений, их неоправданный крен в идеализацию древнерусской истории. В конце своего выступления ему удалось, как считала Вера Ивановна, убедить судей в том, что речь в писаревской статье идет не о подрыве основ православия, а всего лишь о критическом разборе взглядов Киреевского.

Исчислив все добродетели древнерусского человека и снабдив его такими богатствами, какими не обладал еще ни один народ, Киреевский увидел, что с такой тяжкой ношей русский человек мог бы раздавить весь мир лишь одной своей тяжестью и что у всякого читателя должен непременно родиться вопрос: почему же русский народ не опередил Европу, почему же Россия, имея столько залогов, не стала во главе умственного движения всего человечества? Как человек честный, Киреевский не уклоняется от ответа. Он говорит: «Это произошло по высшей воли Провидения. Провидению, видимо, угодно было остановить дальнейший ход умственного развития России, спасая ее, может быть, от вреда той односторонности, которая неминуемо стала бы ее уделом, если бы ее рассудочное образование началось прежде, чем Европа dokonчила круг своего умственного развития».

Мне оставалось только закончить тему следующим монологом: «Я уже не говорю про внутреннюю нелепость этого ответа, по которому следует, что мы должны ждать для своей умственной зари полного заката европейского солнца и что нашей цивилизации поставлена такого рода дилемма: если она началась, то европейское умственное развитие кончилось и разлагается; если Европа продолжает развиваться, то мы должны коснеть. Я не говорю обо всем этом. Но посмотрите, какая подкладка у всего этого ответа. России предопределено подождать... России предопределена лучшая будущность, чем Европе... Позволяю себе спросить: неужели понятие о предопределении есть понятие христианское, а не фаталистическое, и неужели Писарев, читая эти строки, не имел права назвать такие нехристианские воззрения Киреевского — непогрешимыми убеждениями убогих старушек Белокаменной, допотопными идеями и другими одинаково справедливыми эпитетами, так ужасающими г. прокурора? Неужели, наконец, нельзя назвать мистиком человека, признающего в том, что он ходит по соборам слушать Евангелие,



предварительно загадавши? Пусть мне докажут, что слушание Евангелия в виде игры в лотерею не есть чистейший мистицизм, а вполне согласно православно-христианским верованиям».

...Давно это было. Но сердце его волнует, как и прежде. Не оттого ли, что то было время юности, любви и надежд?

## К ИСТОРИИ «ЖЗЛ»

Как человек своего времени, Флорентий Федорович не чужд был всем тем философским исканиям, которые звали к служению во имя просвещения народа и приближения того часа, когда восторжествуют на родной земле идеи социальной справедливости и равенства. У его поколения вместе с верой в могущество мысли, в ее способность к созиданию новых форм жизни крепла надежда, что каждая личность призвана сыграть важную роль в истории. «Эту сторону нашего духовного развития, — писала позднее одна из современниц Павленкова Вера Фигнер, — культивировала уж не западноевропейская, а наша отечественная литература. “Мыслящий пролетарий” Писарева, “Критически мыслящая личность” Лаврова, “Борьба за индивидуальность” Михайловского — все клонилось к тому, чтобы внушить веру в себя, в великое значение человека как творца и строителя социальных форм жизни и двигателя ее».

Флорентий Федорович обладал удивительным даром воплощать в конкретные, осязаемые дела все то значимое, о чем думали, за что боролись люди, близкие ему по взглядам и духовным устремлениям.

Сейчас не просто определить, кто побудил Флорентия Павленкова заняться биографическим жанром. Возможно, ему попались на глаза рассуждения В. Г. Белинского на эту тему, который еще в 1836 году словно предугадывал облик павленковской серии «Жизнь замечательных людей».

Не исключено, что замысел выпустить столь представительную биографию личностей незаурядных, выдающихся зародился у Павленкова в ответ на проникновенный вопрос, адресованный своему поколению П. Л. Лавровым: «Если личность, сознающая условия прогресса, ждет, сложа руки, чтобы он осуществился сам собою, без всяких усилий с ее стороны, то она есть худший враг прогресса, самое гадкое препятствие на пути к сему. Всем жалобщикам о разврате времени, о ничтожестве людей, о застое и ретроградном движении следует поставить вопрос: а вы сами, зрячие среди слепых, здоровые среди больных, что вы сделали, чтобы содействовать прогрессу?»

Флорентий Федорович воспринимал это как призыв прежде всего к его собственной совести. Как увлечь деятельным началом каждого из массы, чья творческая сила зачастую еще дремлет или не видит реального места применения своим знаниям? Что может послужить здесь нравственным

примером? Конечно же жизнеописание людей, уже обретших свое место в служении общественному долгу, науке, искусству. Если выстроить в ряд десятки, а то и сотни биографий личностей, которые стали знаменем своего времени, если с ними смогут познакомиться тысячи сограждан, разве это не поддержит в человеке оптимистической веры в светлое грядущее?

Н. А. Рубакин считал, что «...Павленков был одним из тех фанатичных издателей, которые поставили своей задачей создать книгу в целях создания кадров глубоко честных (да, не только сведущих, но и честных) созидателей нового строя, борцов против старого строя».

Флорентий Федорович с первых дней своей издательской деятельности тяготеет к биографическому жанру. Он издает для детей и юношества биографические очерки А. Остравинской «Искры Божии. Биографические очерки» (Новикова, Белинского, Щепкина, Жуковского, Ершова, Серякова, Сервантеса, Свифта); книгу А. Павлова «Биографии образцовых русских писателей»; В. Острогорский составляет для него «20 биографий образцовых русских писателей (для чтения юношеству)». Также выпускает перевод с французского книги А. Жоли «Психология великих людей» и с английского публичных бесед Т. Карлейля «Герои, почитание героев и героическое в истории».

Прежде чем знакомить русскую читающую публику с умственной жизнью представителей прежних эпох, с устремлениями лучших сынов других народов, нужно было доподлинно выяснить, а не было ли подобного прецедента в отечественной и зарубежной практике. Заказав библиографические сведения о жизнеописаниях, вышедших ранее, Павленков обнаружил, что такое начинание, в таком масштабе, до сих пор никем не предпринималось. В одном из писем Павленкова, направленном 10 января 1890 года С. Н. Кривенко, сообщается, что вся книжная библиография для предполагаемой биографической библиотеки им уже собрана и проанализирована. «Оказывается, — писал Флорентий Федорович, — что наш книжный материал до жалости беден: биография, следовательно, почти совсем забыта».

Сам же издатель высказывался определенно о той сверхзадаче, которая ставилась им перед готовящимся серьезным проектом: «...Биографическая библиотека, Карлейль и Тард, взятые в общей совокупности, должны демонстрировать в сердцах читающей молодежи веру в человека».

При разработке новой биографической серии перед Павленковым возникало множество вопросов. Каким должен стать сам тип этого серийного издания? Как сделать книжечки доступными как можно большей читательской массе? Кто определит потенциальных героев серии?

Найдутся ли авторы?

Когда вопросов возникало больше, нежели ответов на них, Флорентий Федорович следовал испытанному правилу — советовался с друзьями: Г. И. Успенским, Н. К. Михайловским... Павленков настолько увлечен новой идеей, что буквально зажигает своих единомышленников. «Вы так горячо относитесь к своему изданию биографий и так это приятно, “аппетитно” видеть, что и меня сильно подмывает написать что-нибудь. Не знаю только, удастся ли», — пишет издателю Н. К. Михайловский. А в другой записке сообщает: «...Сегодня еду в Москву... Вернусь я в пятницу вечером и затем буду к Вашим услугам по части программы биографий».

Друзья собрались у Павленкова на Малой Итальянской. Предложение Флорентия Федоровича одобрили. Все согласились, что библиотека должна быть обширной, но количество предполагаемых к выпуску книг не должно превышать двухсот. Такая цифра показалась самой оптимальной. Каждому из замечательных людей посвящается книжка объемом от 80 до 160 страниц.

— Объем диктуется условиями цензуры, — заметил Павленков.

Против этого, естественно, возражать не было смысла. А как быть с портретами?

— Помешать непременно, — поддержали все.

— Очень сомневаюсь в этом. Флорентий Федорович помнит, как в моем собрании сочинений портрет появился такой, что я сам себя не узнал, — запротестовал Успенский.

— Полноте Вам, Глеб Иванович. Но, безусловно, портрет, да и вообще иллюстрация в книге только тогда чего-либо стоит, если она исполнена подлинным мастером. Тут Глеб Иванович прав.

— Но настоящих граверов у нас раз-два и обчелся.

— А почему я не могу для этой серии, как это делаю и для других богато иллюстрированных изданий, портрет заказывать в Лейпциге?

— Вот это было бы здорово!

Условились, что к биографиям путешественников, художников и музыкантов целесообразно было бы прилагать карты, репродукции с картин, ноты.

Бурные страсти разыгрались, когда начали формировать персональный состав серии. Не обошлось без упреков. Некоторые предложения стали предметом иронических пассажей со стороны других участников встречи.

Но все же, несмотря на все минусы, состоявшийся разговор был очень полезен. И на следующий же день, для того чтобы привлечь внимание общественности к библиотеке, Павленков рассылает несколько десятков

писем и дает объявления на обложках выходящих в ближайшее время книг.

Живой отклик вызвало у общественности намерение Флорентия Федоровича издавать новую серию «Жизнь замечательных людей». Многие прогрессивные писатели, литераторы, журналисты, критики того времени активно включились в работу, чтобы подготовить биографические очерки о тех или иных выдающихся представителях как отечественной, так и мировой культуры, науки, общественных деятелях, полководцах.

Получив предложение К. А. Скальского включить в серию книгу (тот заранее отказывался от того, чтобы претендовать на какой-либо гонорар), в которую вошли бы биографии убийцы американского президента Гарфильда — Чарльза Гито и Наполеона III, Павленков так отвечал автору: «Для меня приятнее платить гонорар, чем получать статьи о gratis (даром. — В. Д.). Но это не помешало бы мне воспользоваться в какой-либо иной форме Вашим любезным предложением, если бы оно совпадало с планом издаваемой мною биографической библиотеки. Но, во-первых, ни Гито, ни Наполеон III не входят в мой список биографий, а, во-вторых, соединять их в одной книжке решительно невозможно, так как ни по своему значению, ни по характеру своей деятельности они неоднородны. Гито — положительный тип второразрядного политического теоретика; Наполеон III — первоклассный отрицательный тип блестящего вырождения империализма в Европе. Его можно было бы соединить с Вильгельмом II, поскольку они оба и им подобные работают безвозмездно и бессознательно на пользу республики».

Историк Д. М. Петрушевский предложил Павленкову написать для серии биографию Джона Уиклифа. Когда ему стало известно о положительном отношении издателя к этой идее, он сообщал Флорентию Федоровичу следующее в письме от 1 мая 1891 года: «В данный момент я не могу точно определить срок, к которому будет представлена моя работа. Очень вероятно, что она будет готова через месяц, два; во всяком случае, я надеюсь окончить ее не позже 1-го января следующего года, о чем и имею честь Вас уведомить».

А вот аналогичное послание Н. К. Михайловского: «Мне улыбаются и Магомет, и Франциск Ассизский, и Лермонтов, и Салтыков, и Ренан, но очень недоумеваю». Чуть позже: «Вернее, однако, что я Вам предложу биографию Ивана Грозного, если она, конечно, Вам пригодится. Боюсь только цензуры, хотя, понятно, ничего страшного писать не собираюсь». «Биографию Грозного попробую начать в непродолжительном времени, — сообщал в дальнейшем Павленкову Михайловский, — когда немного осмотрюсь и покончу с кое-какими началами в “Русских ведомостях”,

продолжение которых идет ужасно туго».

Предложений по пополнению библиотеки «Жизнь замечательных людей» все новыми и новыми потенциальными героями поступало немало. Но Павленков твердо придерживался тех принципиальных установок, которые были выработаны в тот памятный вечер, когда он собрал в своей комнате ближайших друзей.

Поэтому, получив письмо от юноши из Санкт-Петербурга В. Бонч-Бруевича, Флорентий Федорович разъяснял ему: «Пополнять биографическую библиотеку (и без того состоящую из 200 с лишком книжек) математиками не нахожу ни возможностей, ни даже желания нет».

В письме Флорентия Федоровича от 15 апреля 1894 года (лицо, кому адресовалось письмо, установить не удалось. — В. Д.) также идет речь о составе библиотеки, об оценке ее в общественном мнении. «Многоуважаемый Александр Антонович, — писал Павленков. — Ваше одушевленное, горячее письмо я прочел с редким удовольствием. Ясно, как Божий день, что Вы любите свое дело деятельною любовью, потому что следите за его перипетиями с замечательным вниманием. Вполне согласен с Вами, что включить Ламброзо в биографическую библиотеку, значит быть только справедливым к его заслугам, как основателя школы, вооружившего ее верным и плодотворным научным методом. Боюсь только, что встретится затруднение со стороны биографического материала. Судя по Вашему письму, мне кажется, что Вы могли бы написать недурную книжку... Очень приятно было бы знать, от кого я имел удовольствие получить письмо — от юриста, врача, учителя и т. д.».

Работа над серией шла полным ходом. В павленковской переписке то и дело встречаются сюжеты, связанные с изданием биографической библиотеки. Особенно активно включился в подготовку серии «Жизнь замечательных людей» критик Евгений Андреевич Соловьев. Он предлагал для серии одну фигуру за другой.

— Важно, чтобы в библиотеке появилось жизнеописание Гегеля, — убеждал Соловьев Павленкова. — Ведь русские люди, изучая целостность, всеобъемлемость системы этого берлинского мудреца, впервые знакомились с совершенно стройным философским мировоззрением, являвшимся, так сказать, последним словом европейской культуры тридцатых-сороковых годов.

— Были дни, когда диалектические тонкости и хитросплетения этого человека безраздельно властвовали над лучшими умами в России, и эти дни по своим богатым результатам навсегда останутся светлым воспоминанием для русской интеллигенции, — соглашался Флорентий

Федорович.

— Вы правы, действительно, целый период умственного развития Белинского, к примеру, совершался под знаменем гегелизма...

И биография Гегеля выходит в числе первых книг новой серии.

В одном из писем Павленкову Соловьев как-то сам перечислял сделанное им для серии «Жизнь замечательных людей». Получился довольно-таки представительный список: биографии Семковского, Кромвеля, Грозного, Мильтона, Тургенева, Карамзина, Ротшильдов, Бойля, Аксаковых, Писарева, Толстого, Герцена, Диккенса. «Лично для меня этот счет довольно приятен», — добавлял Соловьев. Но это было уже спустя несколько лет после появления первых книг серии осенью 1890 года.

При формировании же программ биографической библиотеки, как видно из писем критика, предпочтение отдавалось именно отечественным деятелям. «Я очень рад, — писал Соловьев Павленкову, — что Вы так заботитесь об усилении русского отдела. Это действительно необходимо. Грустно, если не будет Добролюбова, Писарева, а главное — Герцена... Не отвергает ли это надежд, что и биографическая библиотека обогатится Герценом. Успех будет поразителен — 10 000 экземпляров».

Откликнулся на призыв участвовать в подготовке книг серии «Жизнь замечательных людей» и известный публицист В. В. Берви-Флеровский. 8 января 1891 года он писал Павленкову о возможности своего участия в этом начинании: «Относительно биографий. Я бы взял на себя биографии Кромвеля, Вашингтона, Франклина, Мирабо и Гамбетты (его нет у Вас). Кроме того, я желал бы взять биографию Дидро. Я возьмусь также за Гладстона. Кроме того я могу взять на себя следующие биографии: 1) Руссо, 2) Сперанский, 3) Суворов, 4) Мольер, 5) Меттерних, 6) Магомет, 7) Милль, 8) Посошков, 9) Колумб, 10) Виктор Гюго. Если Вам угодно будет поручить мне составление нескольких из вышеперечисленных биографий, то не будете ли Вы столь добры написать мне об этом».

Флорентий Федорович отложил письмо, задумался. Вот ведь какая великая сила не разбужена еще в нашем великом народе. Вот и автор этого письма. Служит в государственной конторе Закавказской железной дороги. Двадцать лет назад сделал, как сам утверждает, научное открытие, которым устранялось понятие о механической силе и доказывалось, что всякое движение в природе есть результат мыслительного процесса. Конечно, трудно признать правоту автора открытия. Наши ученые отвернулись от нее. Много лет он не мог напечатать обоснование своей идеи. Лишь благодаря хлопотам Кавелина и других удалось издать книгу «Философия бессознательного, дарвинизма и реальная истина» за счет Литературного

фонда. Ученые проигнорировали своим вниманием этот труд, автора посчитали не совсем здоровым.

Даже не вдаваясь в рассуждение по поводу существа вопроса: прав автор или нет, но другое не может не тревожить — глухота общественная ко всему новому на родной земле, нежелание возвращать ростки неведомого до сих пор, возвращать терпеливо и заботливо. Ведь, кто знает, а вдруг из одного из таких ростков раскинется столь густая крона, что обратит на себя взоры всего человечества. И она будет стоять на нашей на русской почве.

— Что-то я увлекся... Куда меня занесло! Автор из Тифлиса привел свои соображения ведь только для обоснования того, каким личностям из прошлых эпох стоило бы, по его мнению, отдавать предпочтение... Хотя опыт — всегда — опыт: и положительный, и отрицательный...

Флорентий Федорович давно уже заметил за собой привычку вести диалог с каждым из своих адресатов. Возможно, это происходило из-за уединенного образа жизни, который он вел. Без семьи, без частых и шумных застолий... Он ловил себя на том, что мог иногда часами вести полемику с кем-либо из друзей, написавших ему...

Так на чем же стоит сосредоточиться Берви-Флеровскому?.. Вот он называет Мирабо... Что ж, пускай попробует. Правда, в письме оговаривались некоторые условия... «За неимением денег я вынужден просить у Вас аванс 50 р. на покупку источников. По получении Вашего согласия я бы прислал к Вам человека, который, получив от Вас деньги, купил бы и выслал мне книги. Если Вы найдете это более удобным, — то не купите ли Вы на мой счет источники и не вышлите ли Вы их мне. По получении источников, я немедленно составил бы одну или две биографии и выслал бы их Вам... Я попросил бы Вас назначить мне сроки, к которым биографии должны быть готовы, принимая в соображение, что я не могу начать писать ранее получения источников, а источники я могу получить в Тифлисе не ранее десяти дней после высылки их из Петербурга».

Из следующего письма В. В. Берви-Флеровского Павленкову от 3 марта 1891 года известно, что на его предложение активно сотрудничать в выпуске биографической серии издатель ответил согласием. В телеграмме от 19 февраля 1891 года Флорентий Федорович предложил приступить к работе над биографией Мирабо, сообщил условия, на которых могло бы вестись творческое содружество.

Берви-Флеровский с признательностью принимает издательское предложение. Он уже поручил некоему Романовскому заняться приобретением биографических книг о Мирабо. Но оказалось, что



Павленков одновременно со своей телеграммой начинает приобретать книги о Мирабо. Поэтому спустя 10 дней, 12 марта 1891 года, Берви-Флеровский благодарит Флорентия Федоровича за то, что он взял на себя труд выписать источники для биографии Мирабо. «Прошу Вас не стесняться суммой, я готов заплатить за книги, лишь бы получился материал», — пишет он. В письме называются отдельные французские издания, которые ему понадобятся. Автор просит приобрести издание речей Мирабо. В конце письма Берви-Флеровский напоминает: «Я полагаю, что все останется так, как Вы мне написали, то есть, если пробная биография Мирабо окажется удачной, то Вы мне предоставите от 8 до 10 биографий, которые я должен буду написать в течение двух с лишком лет».

19 марта 1891 года Берви-Флеровский перечисляет Флорентию Федоровичу книги о Мирабо, которые он получил, просит не беспокоиться по поводу того, что некоторые книги могут повторяться, он приобретет их для себя. «Я был бы Вам очень обязан, если бы Вы написали мне или Черкасову два слова о том, когда я могу ждать выписанные Вами для меня книги», — добавляет он. Берви-Флеровский продолжает в письмах постоянно информировать издателя о том, как продвигается его работа над книгой. 19 апреля 1891 года, к примеру, он сообщает, что у него уже есть двадцать томов, посвященных Мирабо. Среди них — три биографии, его сочинения, речи, переписка. Он еще не получил нескольких книг, видимо, заказанных из-за границы, но принимает решение приступить к написанию: «...Я счел возможным начать изложение биографии, и к 1 июля Вы ее получите». Он просит издателя сообщить, где он будет летом, чтобы рукопись могла дойти до него, «не блуждая в пространстве».

Обязательство автор выполнил в срок, ибо в своем письме от 13 августа 1891 года он уже отвечал, какие поправки будет вносить в рукопись по совету прочитавшего ее Павленкова. «Многоуважаемый Флорентий Федорович! — пишет он. — Конечно, причины, по которым я сосредоточился на недостатках Мирабо, очень важны; ведь в нем, как в фокусе, совокупились все те слабые стороны выдающихся современных общественных деятелей, которые задержали развитие Европы более, чем на столетие. Но мне самому приходило в голову, что цель такого изложения может быть не понята публикой, и это даже может уменьшить сбыт книги, что совсем нежелательно. Я готов исправить изложение в том смысле, как Вы говорите. Пришлите мне обратно рукопись, я вставлю то, что может выказать в выгодном свете несомненные и великие достоинства Мирабо и объяснить его недостатки».

Автор исправно и добросовестно поработал над рукописью, но ей

предстояло пройти через цензуру. Флорентий Федорович, ощущая все большее притеснение цензоров по отношению к себе в столице, предлагает автору, без указания издательства, куда он намерен передать рукопись, представить ее цензору в Тифлисе.

Берви-Флеровский соглашается с таким тактическим ходом. В письме от 10 марта 1892 года он информирует Флорентия Федоровича о результатах, высказывает свои суждения по поводу того, как следовало бы поступить далее.

Это письмо Берви-Флеровского раскрывает те ухищрения, на которые приходилось идти авторам и издателю биографической библиотеки, чтобы спасти книгу. «Многоуважаемый Флорентий Федорович! — писал Берви-Флеровский. — Вчера (9 марта) был у Гаккеля; он возвратил мне Мирабо для исправления; выпускает немного, хотя интересные и существенные вещи. Он меня опять уверял, что без его билета на выпуск брошюра появиться не может. Он находит, что издатель имеет право остаться для него неизвестным, так как он имеет дело со статьей, а не с ее издателем; но он непременно настаивает, чтобы брошюра была напечатана по возможности в Тифлисе; он сильно против того, чтобы она печаталась в месте, где есть другой цензор; во всяком случае, он требует, чтобы ему было известно, где брошюра будет напечатана и какая будет выставлена на ней цена. Иначе он не соглашается пропустить ее в том виде, как пропустил теперь; если цена будет 25 коп., то последуют дальнейшие вычеркивания. Я полагаю, что горю можно будет помочь так: издателем будете не Вы, а мифическое лицо из Костромы, которое выставит на обертке цену 1 р. 25 коп. Когда брошюра выйдет в свет, тогда это лицо продает ее Вам. Вы выставите на ней штемпель — «собственность биографической библиотеки Ф. Павленкова», вычеркните 1 р. и оставите 25 коп. — и дело в шляпе. Остается вопрос о месте печатания. Нельзя ли, например, ради дешевизны рассылки, напечатать ее где-нибудь на Николаевской железной дороге, в месте, где нет цензора, или в Царском Селе (там, вероятно, нет цензора) и т. п. Жду Вашего решения, по получении Вашего письма пойду к Гаккелю и покончу с ним».

Конечно, получалась почти детективная история. Однако Флорентий Федорович, ради выпуска интересной книги, готов был идти на любой риск. Из письма Берви-Флеровского от 22 апреля 1892 года известно, что вопрос с прохождением рукописи книги о Мирабо удалось успешно решить. «Я очень рад, что Мирабо прошел через цензуру», — заканчивал свое письмо Флорентию Федоровичу автор.

Прохождение каждого издания в биографической серии требовало от

Павленкова отдачи частицы своего сердца. Можно ли подсчитать, выразить какими-либо данными то, сколько лично им самим было сделано для обеспечения успешной реализации выпуска биографической библиотеки? Книга о Мирабо — далеко не исключение. Рождение других изданий также проходило через Сциллу и Харибду хлопот.

«С величайшим удовольствием предлагаю Вам, — писал Павленков Р. И. Сементковскому, — на выбор составление следующих биографий. По иностранному отделу: 1) Рикардо, 2) Макиавелли, 3) Юлий Цезарь, 4) Меттерних, 5) Бисмарк. По русскому: 1) Александр II, 2) Канкрин, 3) Кантемир, 4) Аксаковы и 5) Милютины. Наиболее желательны вообще русские биографии, а степень желательности в каждом отделе выражается порядком их нумерации. Прежде, чем Вы вернетесь в город, я, вероятно, узнаю от Вас, какие именно биографии Вы желаете оставить за собой...»

23 февраля 1893 года Флорентий Федорович получил письмо от А. Малеина, который интересовался судьбой подготовленной им биографии Горация.

Из ответного письма, которое Флорентий Федорович посылал 10 января 1890 года публицисту народнического направления С. Н. Кривенко, мы узнаем еще кое-какие подробности о тех принципах, которых придерживался он при подготовке книг для биографической библиотеки. «Я ничего не имею, — писал Павленков, — против измененного Вами порядка в составлении биографических очерков: в мой план не входит та или другая последовательность в выпуске книжек, так как подобная задача невыполнима, да и, пожалуй, бесцельна. Пишите о ком Вам угодно из тех лиц, которые числятся за Вами, да, кстати, перечислите их снова в своем ответном письме. Сколько я помню (лист с отметками у меня куда-то пропал), Вы взяли Бисмарка, Лассаля (благодарю за совет относительно Полякова), Лютера, Магомета, Некрасова и Салтыкова. Всего, следовательно, за вычетом Лассаля, пять имен. Может быть, я что-нибудь и забыл». Из текста следующего письма видно, что издатель брал на себя обеспечение авторов необходимой литературой. Он сообщал, какие ему удалось подобрать сведения о материалах для намеченных к выпуску биографий. Перечисляются работы, которые можно было бы использовать при написании книги о Некрасове. Далее следует наблюдение: иностранная литература о Бисмарке более чем богата самыми разнообразными сведениями, чего никак нельзя сказать об отечественной, где удалось обнаружить всего четыре работы с биографическими сведениями.

Подобных писем Павленковым было отправлено немало. Его собственная активность и служила той побудительной силой, которая, в

конце концов, и приводила к практическому результату. Но нельзя питать иллюзий, будто не было сбоев, не было неприятных ситуаций. 2 июня 1893 года Павленков напоминал Р. И. Сементковскому, что его обещания написать книги для серии «Жизнь замечательных людей» повисли в воздухе. «Очень обяжете меня, — писал Павленков, — если уведомите, какие из биографий Вы оставляете за собой. Вы предполагали написать “Аксаковых”, “Александра II” и “Бисмарка”. Крайне жалею, что Вы совсем охладели к биографической библиотеке». Еще в одной записке того же, 1893 года содержится напомирование: «А как же по части биографий? Они теперь особенно нужны для меня». «Получили ли Вы корректуры Кантемира? — уточняет Павленков 6 августа 1893 года у Р. И. Сементковского. — Типография их спрашивает».

В. Г. Короленко также соглашался подготовить биографический очерк о Г. И. Успенском. Павленков спрашивает у писателя, как идут дела, скоро ли будет получена рукопись.

В сентябре 1890 года Владимир Галактионович в ответном письме объясняет причину вынужденной задержки. «Дорогой и многоуважаемый Флорентий Федорович! — пишет В. Г. Короленко. — Прошу извинить за долгое молчание, но я и сам все ждал письма от одного неисправимого надувателя, да так и не дождался. Сей надуватель не кто иной, как Глеб Иванович Успенский, “известный русский писатель”, — известный, между прочим, нам, его добрым знакомым, тем, что редко исполняет обещания. Мне очень хочется написать биографию, о коей идет речь, но согласитесь сами, что материала, Вами присланного, больше чем недостаточно... Канвы-то, канвы самой и не хватает. Необходимы чисто внешние факты. Я рассчитывал добыть их все-таки от Глеба Ивановича, и он дал мне торжественное обещание: “Непременно”. И вот, жду, не дождусь. Нельзя ли пробудить в нем дремлющую совесть?»

Крепость оказалась неприступной для обоих друзей Глеба Ивановича. Это становится очевидным из следующего письма В. Г. Короленко Флорентию Федоровичу, датированного сентябрем 1891 года. «Мне кажется, что я еще в долгу у Вас, и в большом, — писал Владимир Галактионович. — Во 1-х долг благодарности: книжки биографий я получил... Приношу мою запоздалую благодарность. Затем — долг второй — это биография. Тут уж не знаю, как быть. Вы, конечно, согласитесь, что пока никакого биографического материала нет. Собственная Глеба Ивановича заметка только свидетельствует об этом отсутствии материала и дает одну черту к его характеристике, но ни одного биографического факта. Не скажу, чтобы я не прилагал стараний добыть эти факты. Наоборот, я

даже добился было обещаний от Глеба Ивановича рассказать лично мне кое-что из своей жизни (независимо от моих намерений, как биографа). Затем уж можно было бы, конечно, сделать многое. Но, увы! — обещание так и осталось обещанием. Ввиду всего этого — я должен признать себя совершенно бессильным справиться с задачей. Писать одну только характеристику — это ведь совсем не то, да такая характеристика и сделана уже Н. К. Михайловским. Поэтому, если найдется кто-либо, обладающий большей возможностью собрать нужные сведения, — я, конечно, тотчас же по Вашему требованию передам материалы. Если нет, подождем. Признаюсь, самая работа, будь для нее хоть небольшая грудка кирпичиков, — меня влечет и мне улыбается». Книга для серии при жизни Павленкова так и не была Короленко написана.

После смерти Г. И. Успенского один из душеприказчиков Ф. Ф. Павленкова В. И. Яковенко вновь возобновил перед Владимиром Галактионовичем просьбу о подготовке биографии для серии «Жизнь замечательных людей». «Напишите биографию Глеба Ивановича Успенского для биографической серии Павленкова, все еще незаконченной, — просил Яковенко. — Успенский в этой серии необходим, и я не знаю, кто бы лучше мог написать о нем, как Вы. Объем биографий, как Вы, вероятно, знаете, небольшой; но если бы он в цензурном отношении оказался не особенно надежным, то можно довести до 10 печатных листов формата биографической серии. Остальное — всегда зависит от Вас. Может быть, мое предложение покажется Вам и вовсе не подходящим; тогда не взыщите, а объясните просто тем, что мне хотелось бы, чтобы биографию Успенского написал человек, его любящий и действительно понимающий».

В. Г. Короленко книгу так и не написал. Но в пятом номере «Русского богатства» за 1902 год был опубликован его очерк «О Г. И. Успенском. (Черты из личных воспоминаний)».

Видя, что работа того или иного автора над подготовкой биографий по разным причинам неоправданно задерживается, Павленков пытался воздействовать на него разными способами, например, сообщал о намерении передать заказ на книгу другому. Нередко эта мера приносила результаты. Вот что писала, к примеру, Флорентию Федоровичу Л. К. Туган-Барановская: «Мне бы очень не хотелось уступать Шопена моему двоюродному брату, потому что у меня написано больше половины этой биографии. В начале ноября я приеду на некоторое время в Петербург и рассчитываю к тому времени кончить биографию и передать ее в Ваши руки. Шопен меня интересует прямо как личность, его характер, его отношение к Жорж Санд — все это, мне кажется, имеет интерес и не для

музыкантов... За Бернса я примусь, как только окончу Шопена».

С неаккуратностью авторов издателю приходилось встречаться нередко. У писателей появлялись более спешные работы, и подготовка книг для серии откладывалась. Флорентию Федоровичу из-за каждого такого нарушения ранее установленных сроков приходилось спешно корректировать свои производственные отношения с типографиями — заменять одни книги другими.

И, тем не менее, ради осуществления серии издатель добровольно брал на себя груз все новых и новых хлопот. «Совестно мне перед Вами, — обращается К. М. Станюкович к Павленкову 27 февраля 1891 года. — Обещал Ротшильд давно и не сдаю. Ради Бога, повремените, дайте окончить одну работу (я рассчитывал окончить ее раньше), и я примусь за продолжение Ротшильда. Боюсь назначить точный срок, но полагаю, что в начале следующего месяца сдам Вам рукопись».

Беллетрист И. Н. Потапенко собирался подготовить для серии «Жизнь замечательных людей» биографии Бальзака, Кольцова, Наполеона, Ломоносова. 5 ноября 1890 года он просил Павленкова ссудить ему 400 или 300 рублей, «засчитав их... в счет гонорара за биографии, которые мною изготавливаются».

2 июля 1891 года Потапенко ставил в известность «добрейшего Флорентия Федоровича», как он сам выражался, о том, что «Кольцова у Вас будет просить В. В. Огарков. Наполеона же и Ломоносова все-таки прошу оставить за мной». Чуть позднее он напишет Павленкову: «Относительно Наполеона я сложил с себя всякие полномочия за окончательной неспособностью выполнить их...»

Но работа над текстами и оставшихся биографий по-прежнему затягивалась. Флорентий Федорович стремился всяческими средствами активизировать творческий процесс. Зная, что И. Н. Потапенко бывал весьма стеснен материально, он предлагает ему ежемесячно высылать по сто рублей в счет будущего выпуска двух томов его сочинений, правда, обуславливал это сроками завершения биографии Бальзака. Вот как отреагировал на это И. Н. Потапенко в письме из Парижа от 25 (3) апреля 1893 года: «Вы ставите свои ежемесячные высылки в связи с доставкой Вам биографии Бальзака. Но зачем? Даю Вам честное слово, что я не лгу, говоря, что я работаю над ней добросовестно и непременно доведу до конца. Вы кидаете передо мной приманку, но ведь Вы знаете, до какой степени я завишу от денежных обстоятельств, и что всякая приманка заставляет меня из кожи лезть, чтобы поскорее до нее добраться. Другими словами, Вы поощряете меня торопиться, а это скверно для дела, я напишу

хуже, чем хочу и чем могу». К этому месту Потапенко даже сделал примечание: «Можно и сюда применить козу и капусту, ибо трудно требовать от козы хорошего поведения, когда капуста лежит настолько близко, что до нее (козы) доносится (капусты) сладкий аромат».

Отзывы издателя на готовящиеся книги не всегда носили комплиментарный характер. Он мог и пожурить автора. Так, посылая В. И. Семевскому чистые листы «Мальтуса» до выхода биографии (он заверял автора, что по выходе книги тот получит ее в обложке, с портретом, сброшюрованную, как следует), Флорентий Федорович информировал, что ему пришлось сделать в очерке некоторые сокращения, так как по своему объему он превышал предельные рамки биографической библиотеки (maximum — шесть листов в книжке). А в постскрипуме добавлял весьма существенное: «Я, признаюсь, ожидал от биографии большего. С биографией Фурье ее нельзя и сравнивать».

Бывало, что авторы под тем или иным предлогом и отказывали Павленкову на его предложение поучаствовать в написании биографий. Так случилось, к примеру, с известным историком литературы, шекспироведом Н. И. Стороженко. 23 марта 1896 года он писал Флорентию Федоровичу: «Прежде всего, позвольте Вас поблагодарить за лестное для меня предложение написать для русской публики биографию моего любимого писателя. В другое время я охотно взялся бы за это дело, но теперь, вследствие недавней потери жены, я нахожусь в таком состоянии, что не могу сосредоточиться и систематически работать. Если мое мнение имеет значение в Ваших глазах, то я советовал бы Вам обратиться к одному из моих учеников Иванову (автору книги о Тургеневе), который любит Шекспира, много им занимался... и сделает предлагаемую Вами работу и скорее и хорошо, а я, со своей стороны, окажу ему содействие и советом и книгами».

Из переписки современников видно, что павленковская библиотека завладела умами многих представителей русской интеллигенции, вызвала живой интерес общественности. На страницах «Русской мысли» как особое достоинство павленковских биографий отмечалось то, что почти в каждой книге светится бодрая и гуманная мысль, содержится горячий призыв к знанию, общественно полезному труду. Серия становилась значительным культурным явлением, о котором говорили, спорили. Художник И. Е. Репин в письме к А. В. Жиркевичу от 6 декабря 1892 года писал, что он увлекся биографией Аристотеля в издании Павленкова. О своей заинтересованности биографией Будды сообщал писатель Н. С. Лесков: «Павленков на днях выпустил в свет маленькую книжечку под заглавием

“Сакиа-Муни” (Будда). Здесь нечто для меня новое и любопытное, и очень удобное для поэтических репродукций». Поэт и философ В. С. Соловьев в письме М. М. Стасюлевичу от июля 1895 года замечает: «Я думаю, что в моем предстоящем некрологе, а также в посвященной мне книжке биографической библиотеки Павленкова будет, между прочим, сказано: “Лучшие зрелые годы этого замечательного человека протекали под гостеприимною сенью казарм кадрового батальона лейб-гвардии резервного пехотного полка, а также в прохладном и тихом приюте Царскосельской железной дороги”. Вы, может быть, сомневаетесь, что я попаду в биографическую библиотеку Павленкова между Катковым и Магометом? Я тоже не совсем в этом уверен, а потому и прилагаю все старания, чтобы сего достигнуть». Даже если автор письма и иронизирует в данном случае, то о библиотеке он говорит как уже о состоявшемся явлении.

Из сохранившихся писем Е. А. Соловьева Флорентию Федоровичу вырисовывается картина тех реальных преград, которые вставали перед авторами и издателем при выпуске книг биографической серии. Уже в письме от 25 декабря 1890 года Соловьев с горечью замечал: «Журналистика бессовестно замалчивает биографическую библиотеку». Нужно сказать, что эта проблема очень тревожила и Павленкова. Он аккуратно рассылал новинки по редакциям, а также в адрес тех литературных критиков, которые помещали о них отзывы в журналах. Так, И. Н. Потапенко в письме из Москвы от 4 октября 1893 года ставил в известность Ф. Ф. Павленкова: «2 книги (Щепкин и Грозный) получил и отдал в редакцию. Я приложил к ним отзывы своего собственного создания, но, не навязывая их, психологично сказал, что написал их на тот случай, что у редакции не будет времени написать свои. Отзывы будут помещены на днях». Речь шла о «Русских ведомостях», ибо далее в письме говорилось: «Вчера шумно праздновали юбилей “Русских ведомостей”».

Результаты предпринимаемых усилий радовали далеко не всегда. Почти что все свои издания Павленков тотчас же по выходе их из печати направлял в редакцию «Русской мысли». Это было правило, которого он придерживался неукоснительно. Однако библиографический листок журнала лишь изредка помещал отзывы на те или иные книги. Флорентий Федорович длительное время терпеливо ожидал, но перемен к лучшему не наблюдалось. Непонятное молчание прессы по поводу серии «Жизнь замечательных людей» затягивалось. Книги выходят, а их словно не замечают.

Павленков решает выяснить причины журнальной обструкции



новаторского начинания, каким, по его твердому убеждению, было издание биографической библиотеки. «Многоуважаемый Виктор Александрович! — обращается он с письмом к редактору «Русской мысли» В. А. Гольцеву 28 ноября 1890 года. — Много раз я собирался обратиться к Вам по этому поводу (рецензирования в журнале книжных новинок издательства. — В. Д.) — и, однако, никогда не мог этого сделать: опасение, что Вы можете объяснить мою просьбу о большем внимании к издаваемым мною книгам чисто материальными побуждениями, всегда останавливало меня от исполнения моего намерения. Но последнее задуманное мною издание — “Жизнь замечательных людей” — заставляет меня отложить всякое стеснение и прямо просить Вас о нравственной поддержке в редактируемом Вами журнале. В данном случае на поддержку “Русской мысли” я имею право рассчитывать уже потому, что ни одна иностранная литература не имеет такой биографической серии, какая задумана мною — ни по ее разнородному составу, ни по размерам... Есть много специализированных серий (писатели, государственные люди, художники и т. д.), но библиотека, в которую входили бы представители по всем отраслям человеческой деятельности, появится в первый раз только на русском языке... Появится, если мне удастся довести задуманное дело до конца, а довести его до конца я буду иметь возможность лишь в том случае, если меня поддержит публика и печать. О значении для нас в данное время биографий, как общественно-воспитательного элемента, я не говорю... Это всякий понимает или, по меньшей мере, чувствует».

В. А. Гольцев не остался равнодушным к просьбе Флорентия Федоровича. Ибо уже 17 апреля 1891 года издатель благодарит редактора: «От души благодарю Вас за сочувственное отношение к издаваемой мною биографической библиотеке». Одновременно в письме Павленков сообщал о том, что послал в «Русскую мысль» десять новых биографий из серии «Жизнь замечательных людей»: «8 послал вчера, 2 (Гус и Демидовы) посылаются сегодня».

Письмо Павленкова Гольцеву воспринимается как своеобразный издательский манифест. На чашу весов ложились не только коммерческие планы, а прежде всего желание добиться приоритета отечественной культуры в мировом сообществе. Его заботит просветительный, воспитательный пафос этих небольших книжечек, которые он направляет читателю страны в тот период, когда так важно побудить каждого к общественным помыслам и действиям. Не как сугубо личное, а как дело всех прогрессивно мыслящих своих современников рассматривает он свою биографическую библиотеку. И оттого просит помощи и поддержки.

В поддержке издатель нуждался еще и потому, что властям очень скоро прояснился подлинный замысел павленковского начинания. И препоны начинают возникать буквально на каждом шагу. «Биографию Бокля возмутительно долго держат в цензуре», — свидетельствовал Е. А. Соловьев 11 декабря 1894 года. В другом письме Павленкову он высказывал сомнения в возможности выпустить биографию Л. Н. Толстого: «Насчет Толстого я лично ставлю на капитуляцию. Не верю в перемену цензурного режима...» Очевидно, издателю удалось найти аргументы, чтобы переубедить автора, ибо вскоре он приступит к работе и осуществит ее. Через какое-то время читаем в его письме: «Толстой вышел, и, к моему удивлению, книжечка не расплзается на части. Теперь сижу и жду “фурора” — хотя бы самого маленького. Должны же обратить какое-нибудь внимание, а то просто обидно. Литература без капли успеха — каша без масла». Спустя некоторое время Соловьев опять возвращается в своем письме Флорентию Федоровичу к разговору о молчаливой реакции на выходящие биографические книги. «Толстой, — сообщает он, — в рознице разошелся 2520 экземпляров, но “фурора” ни малейшего. Лично отправил экземпляры самому Льву Николаевичу, Солдатову, Михайловскому — молчат, хоть бы слово... Ни-ни... Да и среди знакомых, когда говоришь: “Толстой вышел”, в ответ: “Да? Неужели?.. Это интересно!” — Черти. Теперь уж и не знаю, на что надеяться, чего ждать. Если уж сорвался Толстой, — то Гончаров и Островский не помогут».

Публика, да и журналы настороженно встречали этот настойчиво прорывающийся на общественную арену новый род литературы. Позже появятся и аналитические обзоры, и восторженные отзывы. А на первых порах даже единомышленники палили по биографическим книжкам из пушек солидного калибра. Тот же Н. К. Михайловский в «Русских ведомостях» разразился фельетоном в 1200 строк по биографии Н. Г. Чернышевского, выпущенной в серии Е. А. Соловьевым. Автор не ожидал такого удара. И в очередном письме к Флорентию Федоровичу задавался вопросом: «Мне, очевидно, не выйдет более писать биографий?» И добавлял: «Это очень грустно, так как Гегель и Достоевский, насколько я вообще знаю, признаны приличными. К тому же Кромвель и Мильтон в голове у меня готовы, а ½ Кромвеля есть даже на бумаге. Но подчиняюсь Вашему приговору, каким бы он ни был, со смирением и преданностью».

Справедливости ради, надо сказать, что в данном случае критика относилась не к биографической библиотеке, как таковой, а к той концепции, которой придерживался автор. И таких критических упреков удостоилась не одна только эта биография. В августовской и сентябрьской

книжках журнала Министерства народного просвещения за 1895 год была помещена рецензия на серию «Жизнь замечательных людей». В частности, там рецензировались пятьдесят три выпуска биографий русских деятелей. Среди очерков о писателях отмечались автором отзыва «слабее прочих биография В. Г. Белинского, составленная г. Протопоповым, и биография Салтыкова, принадлежащая перу г. Кривенко». О биографии Белинского рецензент писал, что она «носит характер какого-то философского трактата, наполнена всевозможными отступлениями... и не дает полного и более или менее определенного представления о литературной деятельности нашего критика». Рецензент журнала «Образование» указывал, что включение в серию биографии О. И. Сенковского (барона Брамбеуса) явная ошибка издателя. «Надеемся, что составители биографической библиотеки постараются быть построже в выборе своих замечательных людей».

Журнал «Русское богатство» упрекал издателя в отсутствии общей редакции книг библиотеки, из-за чего авторы стараются «внушить как можно большую симпатию к своему “замечательному человеку” — иногда за счет другого... также получившего место в биографической библиотеке». Рецензенты с достойной основательностью отмечали все авторские просчеты и небрежности.

Флорентий Федорович старался из всего, в том числе из каждого замечания прессы, справедливого или несправедливого, извлекать жизненные уроки. Получив письмо Соловьева, свидетельствующее о смятении и подавленности того фельетоном Михайловского, Павленков стремится ободрить молодого автора, предлагает ему новую программу для творческой работы. Ибо уже в следующем письме Е. А. Соловьев выражает свою готовность с головой окунуться в осуществление начертанной издателем программы. «Хотелось вот из каких биографий: Маркса, Лассаля, Петра Великого, Шекспира и Сен-Симона. Не все, разумеется. Предпочтительнее других — Маркс, Петр и Шекспир», — сообщает он Павленкову.

Флорентий Федорович просил авторов держать его в курсе дела во время работы над подготовкой биографий. Он старался по возможности контролировать этот процесс. Порой Павленков получал рукопись частями, читал ее и тут же отправлял в типографию. Так, получив часть рукописи от С. Н. Кривенко, Флорентий Федорович писал ему: «Вполне надеюсь на Ваше обещание, я сдаю сегодня в набор полученную от Вас часть рукописи. Если Вы доставите остальное на этой неделе, то перерыва в типографской работе не будет». Когда к автору было полное доверие,

Павленков ради экономии времени мог и не читать рукопись. 6 декабря 1894 года он писал из Ниццы Р. И. Сементковскому: «Многоуважаемый Ростислав Иванович! От души благодарю Вас за радушие и спешу успокоить Вас насчет биографии Бисмарка. Само собой понятно, что Вы можете получать за нее весь гонорар, когда только пожелаете. Я заранее уверен в ее достоинствах, а потому считаю даже простой потерей времени читать ее в рукописи. Желательно только, чтобы она не выходила из пределов максимального объема подцензурных биографий, то есть 6 листов».

Но, пожалуй, такая практика была скорее исключением, нежели обычной нормой.

В письмах Е. А. Соловьева видим своего рода отчет о работе: «На днях Вам выслан Герцен». Или: «Пишу Гончарова, тихо, тихо пишу, так как вещь приятная во всех отношениях. Жаль только, что материалов мало, да и те слишком разбросаны. Ну, да справлюсь как-нибудь».

Еще в одном соловьевском письме Павленкову читаем: «Работаю над Гончаровым. Тема оказалась куда интереснее, чем я предполагал; жаль только, что собственно биографический материал очень скуден и разбросан. Но все же чувствую, что с Гончаровым справляюсь». К данному письму автором делается приписка: «Аксаковых закончил, кажется прилично. Побойваюсь только цензуры».

Преследование именно с этой стороны являлось главным тормозом к реализации павленковского начинания. Это понимали авторы, об этом говорилось на страницах печати. «Русская мысль» писала в 1892 году: «Мы знаем, какими трудностями обставлено у нас предприятие, подобно биографической библиотеке Павленкова». Для издателя эти трудности касались почти что каждой книги. Вот строки из павленковской переписки. «На днях задержали биографию Л. Толстого, — пишет он Р. И. Сементковскому. — По справкам оказывается, что инициатива принадлежит Шебеке. Он предупредил Феоктистова, и тот, чего никогда не бывало, — сам явился в цензурный комитет и вопреки заключению велел арестовать издание». Обосновывая правомочность подобной меры, цензурный комитет в своем отношении в Главное управление по делам печати характеризовал эту книгу как своего рода прокламацию, рассчитанную на широкие массы читателей. Последнее сообщение ставилось в упрек издателю, ибо «биография Толстого в десять печатных листов предположена к продаже всего за 25 коп». А коль столь дешевая цена на книгу, значит, ее смогут прочесть многие. Это крайне нежелательно, по мнению цензурного комитета, а вернее тех, кто стоял на

верху должностной лестницы в империи. Могут ведь прочесть, кому не положено, те страницы, где нескрывая восхваляется деятельность писателя в последние годы, когда он заявил свои религиозные воззрения и нравственные заповеди, противопоставив их государственной религии. Павленков боролся до последнего, не соглашаясь на изъятие мест, запрещенных цензурой. Но в конце концов пришлось смириться, ибо в противном случае биография вообще не увидела бы свет.

Цензура обвиняла издателя в нарочитой дешевизне выпускаемых им книг, а общественность, наоборот, приветствовала эту особенность павленковских изданий. Журнал «Русское богатство» так отзывался о доступности биографической библиотеки: «Подобное дешевое издание делает честь г. Павленкову, а читатели должны поддержать его благое предприятие, сделав эти книги, столь доступные по цене, непременной принадлежностью своих библиотек».

В целом же вокруг серии «Жизнь замечательных людей» в общественном мнении, как уже отмечалось выше, вначале создавалась какая-то не совсем понятная обстановка. Возможно, новое всегда с трудом пробивает себе дорогу. Но не исключено, что действовали и какие-то другие пружины. Порой некоторые специально нагнетали нервозность. Так, Павленкову как-то сказали, что писатель П. И. Вейнберг резко отрицательно высказывался о серии. «До меня дошло известие, — писал Вейнберг Павленкову 12 января 1892 года, — что Вам кто-то передал, будто я “ругаю” Вас по поводу наших сношений из-за биографии Гейне. Что это за невыразимая чепуха и еще более невыразимая скверность, если это правда! Я говорил, что для меня — при тех условиях, на которых издаются Ваши биографии, — это работа невыгодная, и, пожалуй, даже убыточная. Но, думаю, что от такого заявления до руганья — достаточно далеко. Этакая любовь у иных к идиотским сплетням!»

Как уже отмечалось ранее, во взаимоотношениях с некоторыми авторами возникали немалые сложности. Кое-кто стремился записать за собой много героев, а с выполнением своих обязательств не торопился. Другие отказывались от своих намерений под самыми разными предлогами. Так произошло, в частности, с писательницей Е. С. Некрасовой. 26 октября 1891 года Флорентий Федорович писал ей: «Ваше письмо об отказе от биографии Рашели будет принято мною к сведению». И добавлял: «Очень жалко». Ибо, основываясь на обещании писательницы, Павленков успел к тому времени заготовить портрет Рашели для книги. «Что ж, он может подождать: клише — персона не великая».

Издателя больше волновало содержащееся в письме Е. С. Некрасовой

обвинение его в непоследовательности. Тут не что иное, как недоразумение! Его надо развеять! «О Волкове и Дмитриевском я Вам не мог говорить того, что Вы приписываете мне, будто бы мне понадобятся их биографии, — пишет Павленков. — Я говорил Вам, что биография Волкова пишется и что она будет составлена в связи с историей русской театральной старины, причем в нее войдут в качестве иллюстраций этой старины биографические наброски из жизни И. А. Дмитриевского, П. А. Плавильщикова, А. С. Яковлева, Е. С. Семеновы и др. Для отдельных книг ЖЗЛ и Яковлева и Семенова недостаточно крупные величины».

Не успевает схлынуть одна волна неурядиц, как уже накатывается новая. И Флорентию Федоровичу ничего не остается, как включаться в очередную кампанию борьбы с цензурой. Иногда эта кампания затягивается на месяцы и даже годы... «У меня опять история с Кромвелем, такая же, как и с Катковым, — жалуется он в письме к товарищу. — Биография цензурована в Москве и по выходе тотчас же задержана, но не формально, а путем якобы промедления в выдаче выпускного билета, который должен выдаваться не позже трехдневного срока, а на самом деле не выдается уже почти шесть недель. Идет какая-то подозрительная переписка. Грозят запретить продолжение биографической библиотеки. Я не верю такому абсурду. Написал куда следует неофициальное объяснение на тридцати страницах. Изложил все каверзы петербургской цензуры — конечно, также относительно моей персоны. Жду последствий».

Эта эпопея заслуживает того, чтобы о ней рассказать подробнее. Берет свое начало она 29 апреля 1893 года. Именно в тот день типография Ю. Н. Эрлиха отправила в московский цензурный комитет уже отпечатанную в соответствии с ранее полученным разрешением биографию Кромвеля. Требовалось «добро» на выпуск тиража. Однако в установленный срок ответа не последовало. 12 мая владелец типографии повторно запрашивает о причине задержки. А именно в этот же самый день, 12 мая, Московский цензурный комитет объяснял Главному управлению по делам печати, почему цензор господин Трескин не посчитал возможным подтвердить свое прежнее решение по данной рукописи. Оказывается, он усмотрел существенное отличие в обложке, титуле и в цене между напечатанным в Петербурге экземпляром и рукописью, которую ему представлял автор Е. А. Соловьев.

Получив из Петербурга брошюру «Оливер Кромвель», цензор с нескрываемым испугом обнаружил, что «она оказалась одним из изданий Ф. Павленкова, относительно которых в 1892 году за № 3974 комитету дано особое предписание». Что предпринять? Цензор тут же ищет возможные

зацепки. Ему не показали обложку, значит, это — серьезное умышленное нарушение «с целью скрыть... что брошюра будет одним из изданий “Биографической библиотеки Ф. Павленкова”, что обязывало бы цензора иначе отнестись к сочинению». Далее. «При двадцатикопеечной цене брошюра представляется неудобною к обращению». Почему? Дело в том, что содержанием ее служит изложение борьбы королевской власти с народом. Кромвель же, стоявший во главе противодействия власти, докладывает цензор, превозносится автором как великий человек, совмещавший в своей деятельности все эти элементы, которыми определяется понятие о величии. Главное управление по делам печати, прочитав объяснение цензурного комитета, согласилось с предложенными мерами по задержке издания, но при этом потребовало, чтобы был наказан цензор за «неосмотрительность его действий в настоящем случае». Главное управление твердо убеждено, что «популяризация народного противодействия королевской власти в брошюре в 96 страниц, предназначенной к широкому распространению в массы публики, представляется... неудобною». Но так как по закону все расходы в данной ситуации должны были бы принять правоохранительные органы на себя, они решают волокитой заставить издателя пойти на перепечатку брошюры на устранение из нее мест, неудобных цензуре.

Флорентий Федорович решает включиться в борьбу. 16 июля 1893 года он пишет пространное заявление председателю Московского цензурного комитета. «С разрешения московской цензуры, — сообщает он, — мною была издана книжка “Кромвель. Его жизнь и политическая деятельность”. По статье 65 цензурного устава выпускной билет на цензурованные книги должен выдаваться не позже 3-х дней со времени представления отпечатанной книги тому комитету, который ее разрешил к печати. Между тем московская цензура не выдает этого билета на “Кромвеля” уже около 6 недель и тем причиняет мне материальный ущерб, не говоря уже о многих неудобствах другого рода...

Обращаясь к Вашему превосходительству с покорнейшей просьбой об устранении препятствий к выпуску в свет изданной мною книжки, считаю необходимым объяснить при этом, что задержка ее не может быть законно обоснована ни на формальных причинах, ни на соображениях, вытекающих из содержания биографии...»

Используя свое глубокое знание действующего цензурного устава, буквально до мельчайших тонкостей и нюансов, опираясь на логику мысли, Павленков разбивает в пух и прах все те придирки, которые выдвинуты московскими цензорами, чтобы задним числом дезавуировать данное ранее

ими самими разрешение на выпуск книги. Обвинительные пункты представляют собой, указывает Павленков, одно сплошное недоразумение, объясняемое неточным толкованием цензурного устава. Прежде всего, по цензурному уставу не требуется никакого особого разрешения для печатания обложки, так как она представляет собой лишь второй оттиск заглавного листа рукописи с тою разницей, что первый из них делается на белой бумаге, а второй — на цветной. «Перемена же во цвете бумаги не требует цензурного разрешения», — не без сарказма замечает он.

Абсурдность обвинения в том, будто издатель умышленно скрывал правду о своем издательстве, обнаруживается уже тем обстоятельством, что рукопись была приобретена им лишь после разрешения ее цензурой. Павленков считает далее важным указать на то, что закон в данном случае (как раз наоборот) во избежание пристрастия запрещает цензурному ведомству требовать выставления на рукописи имени издателя, ясно этим говоря, что книги должны рассматриваться цензурой, соображаясь только с тем, что в них написано, и без всякой зависимости от того, кто их издает. Таким образом, выставление фирмы типографии и издателя не требует цензурного разрешения на основании 47-й статьи цензурного устава.

Поскольку Московский цензурный комитет не дал никакого ответа на эти и другие доводы в пользу снятия запрета с уже готовой книги, Флорентий Федорович 6 августа подает повторное заявление, приложив к нему две гербовые марки стоимостью по 80 копеек. Он решает усилить натиск. Очевидно, на такую меру его вдохновило то, что в эти дни удалось одержать целый ряд существенных побед в сражении с цензурным воинством. Именно в этот день, 6 августа, Павленков пишет Р. И. Сементковскому: «Август месяц был для меня месяцем удач в жизненном отношении. Я успел провести “в свет” три издания: 1) “Под маской благочестия” (преступления и оргии пап), которое вылуплялось из яйца целых 7 лет. Печатание его 2 раза прекращалось; 2) 3-е издание Беллами с прибавлением очерка Ранис “Deus cont aus”, последнее из которых почему-то попало у нас в список запрещенных книг и 3) Биография Р. Оуэна, лежавшая под спудом возможного запрещения с июня прошлого года. Теперь еду в Москву хлопотать о Кромвеле, который задержан тамошней цензурой... Вернусь из Москвы дней через 6–7, то есть к 12 числу».

В Москве у Павленкова состоялась устная беседа с председателем местного цензурного комитета, ибо 12 августа он обращается еще с одним заявлением, требуя письменного ответа. «Еще раз прошу убедительно московский цензурный комитет указать мне определенно и притом письменно, что именно он находит “предосудительным” в изданной мной



биографии Кромвеля... Вчера мне говорил в комитете г. председатель, что, выставив на обложке биографии — “Жизнь замечательных людей”, я этим подчеркнул значение Кромвеля, и что это-то комитет находит “предосудительным”. На это я могу заметить, что всякий деятель, биография которого издается, должен быть более или менее человеком замечательным, иначе не было бы смысла писать его биографию. Поэтому мой общий заголовок есть скорее точка над *i*, чем “подчеркивание”, да еще предосудительного характера. Подведение чего-либо под общие рамки (“Жизнь замечательных людей” — общее заглавие издаваемой мною биографической библиотеки) отнюдь не может считаться подчеркиванием, а как раз наоборот — нивелированием. Ставить Кромвеля в одном ряду с Кантемиром, Перовым, Андерсеном, Шуманом, Карамзиным и тому подобными совсем не значит оказывать большой почет». Относительно выставленной на книге цены — 25 коп. — Павленков, ссылаясь на цензурный устав, обращает внимание на то, что комитетам не дано права цензурировать цены книги и добавляет: «Такое право отдавало бы в руки цензуры всю книжную торговлю и могло бы повести к страшным злоупотреблениям».

Так как на предыдущее заявление Флорентий Федорович ответа не получил, он здесь почти что дословно повторяет те аргументы, которые вытекали из практики выпуска других биографий.

«...Сошлюсь на все биографии, издаваемые мною с разрешения петербургского комитета, — пишет Павленков. — Авторы их, представляющие свои рукописи в комитет, не выставляют на них: “Жизнь замечательных людей” (биографическая библиотека Ф. Павленкова), ибо не знают, приняты ли будут мною их рукописи или нет, и не придется ли им обращаться к другим издателям. Тем не менее, подчеркнутые мною слова всегда являются на заглавных листах и обложках издаваемых мною биографий (которых вышло уже 120) и никогда ни один петербургский цензор не позволял себе задерживать из-за этого книг, ибо такой задержкой он сам нарушил бы законы о печати, а именно 68 статью цензурного устава».

При своем заявлении Флорентий Федорович прилагает чистый экземпляр брошюры и просит исполнить свою законную просьбу: вычеркнуть все места, какие представляются неудобными, чтобы тем самым московский комитет ясно заявил свою позицию. И добавляет, что это понадобится ему для перенесения дела в более высокую инстанцию.

Возвратившись 13 августа в Петербург, Флорентий Федорович сообщает Р. И. Сементковскому о результатах своей поездки: «Ничего не

мог сделать, но не теряю надежд». В конце концов Павленкову удалось выпустить эту книгу до конца 1893 года.

Но отстоять некоторые книги не удавалось даже такому принципиальному борцу, каким был Павленков. Так, цензура не разрешила выпустить в серии «Жизнь замечательных людей» биографию Меттерниха только на том основании, что автором ее был Д. И. Писарев. И хотя сама по себе писаревская работа не была в свое время предметом цензурных нападков, но придаться все же удалось. Книга была запрещена, поскольку входила в седьмой том собрания сочинений Писарева, подвергнутый запрету совсем за другие статьи!

28 января 1897 года начальник Главного управления по делам печати вынес приговор еще одной издаваемой Павленковым писаревской книге. «Не дозволять печатать сочинение Писарева о Меттернихе», — начертал он резолюцию на донесении цензурного комитета в отношении биографического очерка о Меттернихе. Казалось, никакой опасности не предвещалось. Цензурных претензий к очерку, включенному ранее, в 1894 году, в собрание сочинений Д. И. Писарева, которое Павленковым переиздавалось вторым изданием, не было. Следовательно, можно запускать в производство. Как только были сброшюрованы первые книги «Меттерних, его жизнь и государственная деятельность. Биографический очерк Д. И. Писарева» (с портретом Меттерниха, гравированным в Лейпциге Геданом), издатель направляет два экземпляра в соответствии с установленным положением в цензурный комитет. Там решили перестраховаться и донесли в Главное управление по делам печати буквально следующее: «Содержание этого очерка, строго говоря, нельзя назвать противным цензурным правилам. Сочувствие автора к конституционным учреждениям выражено в самой общей, притом весьма скромной форме. Таким образом, препятствий со стороны содержания к напечатанию этого очерка не встречается».

Казалось бы, все ясно — можно разрешать печатать. Но нет. Зацепка, чтобы придаться, все-таки нашлась. «Это сочинение вошло в седьмой том сочинений Писарева, — сообщается далее в донесении цензурного комитета, — который решением Комитета Министров запрещен к обращению, хотя само по себе это сочинение не было причиной запрещения, а другие статьи. Ввиду этого и весьма широкого распространения и общедоступности по цене издаваемых Павленковым биографий, комитет затрудняется непосредственно решить вопрос о дозволении этого очерка Писарева к печати». Какое было принято решение, мы уже знаем.

В тех же случаях, когда книга биографической библиотеки являлась настоящей творческой удачей автора, когда она доходила, в конце концов, до читателя, Павленков искренне радовался. Он спешил прежде всего поздравить писателя с этим успехом, заботился о том, чтобы издание быстрее распространялось. «Многоуважаемый и дорогой Ростислав Иванович! — писал он 11 февраля 1896 года Сементковскому. — От всей души благодарю Вас за скорое окончание биографии Дидро. Жаль только, что она задержится портретом, который, как оказывается, не был заказан мною своевременно. О семи страницах не стоит даже и говорить, в особенности по отношению... к Дидро».

Когда Павленков чувствовал, что цензурные замечания придется принять, чтобы спасти саму книгу, в таких ситуациях он стремился вместе с автором внести приемлемые исправления, чтобы учесть цензорские замечания и не испортить содержания. В этом отношении характерна павленковская записка С. Н. Кривенко, подготовившему биографический очерк о М. Е. Салтыкове-Щедрине. «Не придете ли ко мне, дорогой Сергей Николаевич, сегодня часов в 8 попить чайку и поговорить о Коссовиче, который цензуровал “Салтыкова”», — пишет Павленков.

Поиск авторов и составителей книг Павленков продолжал до последних дней своей жизни. Как известно, биографию Н. А. Некрасова собирался готовить С. Н. Кривенко. Однако ему не удалось осуществить своего намерения.

25 декабря 1899 года Флорентий Федорович, уже совершенно больной, готовясь к отъезду в Ниццу, пишет письмо. Оно переполнено энергией действия и искренней радостью оттого, что застопорившийся очерк наконец-то двигается с места. Издатель словно чувствует, что времени у него осталось мало, и стремится предусмотреть все, чтобы рождение книги на сей раз свершилось. «Многоуважаемый Сергей Николаевич! Я нашел, наконец, человека, который берется написать книжку о Некрасове, — сообщает Павленков. — Это Мельшин (Якубович), находящийся в настоящее время в Петербурге. Конечно, ему помогут в указаниях на источники Н. К. Михайловский, В. Г. Короленко и др. Но я думаю, что в этом случае я имею нравственное право рассчитывать и на Вас. Вы собирали в свое время материалы по данному предмету и можете сделать, по всей вероятности, несколько ценных указаний. Очень обяжете, если сообщите мне для передачи Якубовичу и дадите ему хотя бы на некоторое время сделанные Вами записки и наброски. Все будет возвращено Вам в скрупулезной целости и полной неприкосновенности. Якубовичу, конечно, только факты, а рассуждения и выводы из них будут делаться им вполне

самостоятельно».

Павленков намеревался передать это письмо через Н. А. Рубакина, просит дать ответ хотя бы на словах. Он явно торопится. «2 января рассчитываю покинуть Петербург», — добавляет он в постскрипуме.

Биографией Прудона участвовал в осуществлении павленковского начинания и известный экономист и историк того времени М. И. Турган-Барановский. В письме к Павленкову из Берлина он высказывал тревогу по поводу того, что цензура изрядно изуродовала его рукопись. «Я слышал, что цензор значительно сократил мою биографию, — пишет он, — ...и в некоторых местах даже совершенно исказил смысл моих слов. Если это верно (мне говорили, что теперь в моей биографии есть места совершенно бессмысленные), то, пожалуйста, вышлите мне опять корректуру в Берлин на просмотр; мне было бы очень неприятно, если бы моя биография вышла в значительно искаженном виде. Впрочем, так как я сам не знаю, в чем заключались цензорские поправки, то я представляю Вам решить, можно ли выпускать биографию Прудона в том виде, какой она имеет теперь. Быть может, Вы могли бы задержать печатание биографии до начала ноября: моя жена приедет к тому времени в Петербург и просмотрит сама корректуру».

Перечитывая переписку Флорентия Федоровича с авторами по поводу книг серии «Жизнь замечательных людей», нетрудно уловить его нацеленность на то, чтобы читатели получали жизнеописания тех, кто своей общественной деятельностью, служением поэзии, науке несли в народные массы передовые идеи своего времени, показывали образцы борьбы за великие идеалы прогресса и социального равенства. Павленков предпринимал усилие, чтобы в серии была представлена биография Карла Маркса, он вопреки всем преградам добился, чтобы читатели получили биографии революционных демократов В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, А. И. Герцена, Д. И. Писарева. Даже друзья не верили в возможность осуществления такого замысла. «Мне кажется, — писал Флорентию Федоровичу Н. К. Михайловский в самом начале работы по подготовке к выпуску биографической библиотеки, — что из заподозренных Вами Будда, Гюго, Кант, Шопенгауэр... могут пройти вполне благополучно. Герцен же и Чернышевский действительно, я думаю, безусловно, невозможны. Но, вообще говоря, дело не в биографиях, а в том, как они будут сделаны. Я боюсь, что предварительная цензура будет, угрызая слова, строчки, странички, вытраивать все цветное, хотя и не решаясь задерживать книжку, если бы она вышла помимо нее».

Все так и было. Но при переиздании Павленкову удавалось восстановить многое из урезанного в первых изданиях. И серия, несмотря

ни на что, вошла в отечественную культуру как яркая и заметная страница, как результат неутомимого труда одного из шестидесятников во благо народного просвещения, развития личности — граждански активной и деятельной.

«Ни одно из павленковских дел, по моим наблюдениям, не может сравниться с тем огромным влиянием, какое оказала на читателей всех русских слоев, классов и рангов изданная Павленковым и почти законченная (если только можно ее закончить) “Биографическая библиотека” или “Жизнь замечательных людей”», — писал Н. А. Рубакин.

Завершали серию уже после смерти издателя его душеприказчики. А. М. Горький с глубочайшим уважением и восхищением относился к этой павленковской серии. В 1929 году он писал Е. Д. Зозуле: «...Почему бы “Огоньку” не повторить — в сокращенном виде — Павленковские биографии?» А спустя несколько лет он встал у истоков возрождения этой серии, славная жизнь которой продолжается вот уже более века.

## РАЗДУМЬЯ О ПЕРЕЖИТОМ

Как-то Флорентий Федорович просматривал свои бумаги.

— Целый архив накопился... Письма, письма, письма... А вот и знаки общественного признания!

Павленков взял в руки два официальных документа. Не торопясь, перечитал вслух.

«Первая Всероссийская гигиеническая выставка, устроенная под почетным председательством Его Императорского Высочества великого князя Павла Александровича Русским Обществом охранения народного здоровья.

Похвальный отзыв

Постановлением Совета Русского Общества охранения народного здоровья на основании заключения экспертной комиссии присужден Ф. Ф. Павленкову, книгоиздателю в

С.-Петербурге.

С.-Петербург, мая 22-го дня, 1894 года».

Свидетельство

«Императорское Московское Общество сельского хозяйства назначило серебряную медаль для присуждения на Всероссийской сельскохозяйственной выставке 1 — 14 декабря 1895 г.

Москва. Декабря 15 дня, 1895 года.

На основании постановления экспертной комиссии присуждена сия медаль декабря 15 дня, 1895 года издателю Ф. Павленкову за дешевые иллюстрированные издания для народа русских классиков — Пушкина и Лермонтова».

Конечно, приятно было получить Павленкову эти зримые свидетельства признания общественной пользы его дела. Не так много было их за прожитые десятилетия. Больше — заключений цензуры о книгах. Правда, были и письма читателей: ободряющие, утверждающие в справедливости избранного жизненного курса. Ведь все издательство Павленкова выросло без капиталов, исключительно благодаря поддержке читателей. Угадать, уловить эмоциональный настрой российского читающего населения столь бурного времени было делом непростым. Однако в какой-то мере удалось справиться с этой задачей. Немалую роль сыграло, наверное, и то, что книги, выходившие в его издательстве, были

прежде всего для простого массового читателя, порой имеющего не слишком обширные знания в той или иной области.

Об этом же свидетельствовал и один из ближайших сподвижников издателя литературный критик А. М. Скабичевский. «Павленков, — писал он, — избегал строго и специально ученых книжек, оставляя их на долю других издателей, сам же избирал именно наиболее популярные и общедоступные. В этом до самой смерти его заключалась коренная, так сказать, его деятельность».

Самое важное для любой деятельности — верно определить общественную потребность времени. Это одинаково справедливо и для политика, и для писателя, и для художника. Флорентий Федорович удивительно точно улавливал только лишь зарождающиеся в обществе процессы и оперативно откликался на них.

На этот счет до нас дошли очень характерные свидетельства одного из друзей Павленкова Николая Александровича Рубакина.

...Лозанна. Ноябрь 1928 года. В своей библиотеке сидит один из сподвижников книги директор Международного института библиологической психологии Николай Александрович Рубакин. Он написал заглавие своего очередного очерка — «Из истории борьбы за права книги. Флорентий Федорович Павленков». Откинулся на спинку кресла, задумался. Перед глазами возник облик давно ушедшего из жизни друга, замечательного работника книжного дела, энергичного борца, искателя и прокладывателя новых путей в этой неизмеримо обширной, даже безграничной области — Флорентия Федоровича.

Прошло почти что тридцать лет, как его не стало. Но и до сих пор стоит он перед ним, словно живой: «среднего роста, худощавый, довольно узкоплечий, несколько сгорбленный, с большой головой и высоким лбом, и с глазами, такими глазами, которые никогда не забываются, если только вам приходилось хоть разок заглянуть прямо в их глубину. Это были большие, честные и суровые глаза, всегда молодые, всегда смелые, полные одновременно и ума, и воли, и добродушия, точнее говоря, доброжелательства. Они словно пронизывали, а то и пугали, особенно тех, кто разговаривал с Павленковым, забывая, что у того вовсе нет времени для праздных разговоров и пустопорожней болтовни».

Что же, это был эдакий деловитый сухарь, отдавшийся целиком работе, лишенный всех других радостей жизни? В памяти всплывают дорогие сердцу картины...

...Шумит самовар. В небольшой, не очень-то приветливой квартире на Малой Итальянской улице в С.-Петербурге сидим вдвоем. Мне, юному

книгочею, лестно находиться в столь уважаемом обществе. Осматриваю комнаты, пока хозяин разливает чай. Их всего четыре, низких, в два и в одно окно. Желтые крашенные полы. Обстановка — самая что ни на есть спартанская. Нет излишков мебели. Большой письменный стол, заваленный бумагами, письмами, корректурами. Солдатская кровать. Маленькая столовая с обеденным столом около стены. Никакой обстановки, никакой внешности. Всюду содержание преобладает над формой, а деловитость над красотой.

Но сколько пришлось мне и пережить, и передумать в этих комнатах! И сколько сил влилось там в мою душу!..

...Не буду скрывать, заранее продумывал вопросы, которые задам Флорентию Федоровичу за чашкой чая. Меня занимала тогда сильно одна проблема: как ему удалось работать в одном ритме с духовными устремлениями своей эпохи? Отчего к книгам его наблюдался такой неумный читательский интерес?

Помню, как в 1877–1881 гг., когда я работал в качестве «библиотечного мальчика» в библиотеке моей матери в Петербурге, читатели спрашивали у меня: «А у вас имеются издания Павленкова?» Спрашивали не по их названиям, а по имени издателя. Такого внимания со стороны читающей публики не удостоивался тогда ни один издатель. А иные читатели еще интересовались: «Нет ли у вас “Вятской незабудки”, той, которая арестована». Эта книжка у нас была, и из нее читатели, заранее настроенные, вычитывали то, чего там нет и не было, приписывали ей свои ожидания, свои мысли, чувства, стремления и, переживая их на свой лад, были искренне убеждены, что все это они получили из этой книги...

...Поймав удобный момент, стараюсь, как можно более мягко, задать свой «коварный» вопрос Флорентию Федоровичу:

— Не залежалась ли у Вас хоть какая-нибудь одна книга?

Понимаю всю бестактность такого обращения к издателю, хочу сгладить впечатление и добавляю:

— Зная, как Вы подбираете материал для Ваших изданий, я буду писать о ней, где могу, и толкать ее в библиотеке...

В ответ же Флорентий Федорович улыбается и без всякого самодовольства, поставив чашку на стол, отвечает:

— У меня не села ни одна книжка, помаленьку все идут...

...Флорентий Федорович продолжал просмотр своего архива.

Вот он остановил взгляд еще на одном письме.

Создательница воскресной школы в Харькове Х. Д. Алчевская сообщила ему, как во время своей встречи с Л. Н. Толстым, состоявшейся



14 апреля 1884 года, она восторженно рассказывала писателю о значении «Наглядной азбуки» и «Азбуки-копейки», способствующих самообучению. А потом, увлекшись, поведала писателю и о создателе этих изданий.

«Я охарактеризовала Вас и как человека, и как издателя», — писала Алчевская.

Как человека... Никогда не задумывался над тем, какое впечатление произвожу на окружающих своей внешностью?.. Скорее всего самое невыгодное: угрюмый, суровый, не располагающий к общению. Если разговор выходил за рамки деловых взаимоотношений, то у меня и совсем терялся к нему интерес...

Стареющий издатель несомненно здесь лукавил. Все, кто близко знал его, утверждали, что на самом деле это был в душе чрезвычайно добрый, отзывчивый и уступчивый человек.

...Павленкову попала на глаза еще одна бумажка. Список книг, переданных А. П. Чехову. Когда тот, возвратившись из поездки на Сахалин, развернул активную кампанию по сбору литературы для сахалинских школ, ну как было не откликнуться на призыв писателя? С большим удовлетворением пожертвовал книги для этой благородной цели. Да, вот и приписка о том, что 25 января 1891 года книги, собранные А. П. Чеховым, в том числе и полученные от павленковского издательства, были отправлены из Петербурга...

...Огромная папка переписки с Петром Владимировичем Засодимским. Вот, в частности, 6 июня 1887 года он рекомендовал ему в качестве переводчицы с немецкого языка Анну Павловну Саввину, отбывавшую ссылку в Архангельской губернии. «Немецкий язык она знает как родной, а человек она добросовестный и аккуратный, — писал Засодимский. — Судьба безжалостна с нею; пострадала она по делу Герм Л. (очевидно, Германа Лопатина. — В. Д.). Списать с нею можно будет через меня...»

Сколько таких вот людей помогало ему! Да, и «неблагонадежность» в глазах у властей усугублялась тем, что не «раскаивался в своих грехах», «никогда не приносил повинную», а как раз напротив: боролся, грызся, спорил, отстаивал свою точку зрения, свои убеждения. Да к тому еще сплывал вокруг себя таких вот неугодных...

Трудно даже перечислить всех тех, кто тем или иным способом подставлял свое плечо под их общую нелегкую издательскую ношу. Многие, очень многие помогали. Но их нужно было организовать. Дать каждому дело по призванию.

Павленкову самому приходилось работать так, как будто бы у него

вообще не было никаких помощников, исполнять, не пренебрегая и мелочами, тьму разнообразных обязанностей в многосложном и быстро растущем книгоиздательстве. «Одно исправление оригиналов чего стоит! — часто говорил он В. Д. Черкасову. — Ведь пишущих вполне правильно, как показал мне опыт, так же мало, как вполне честных людей».

Вот письмо П. В. Засодимского от 11 мая 1888 года. Он также сотрудничал с Павленковым в вычитке корректур. Очевидно, не все получалось у него хорошо, и Флорентий Федорович высказывал писателю нелицеприятные слова. В ответ Засодимский писал: «Недоразумения насчет корректур “Физиики” не разъяснились, — да и Бог с ними! Личные неприятности лучше побоку, а то, чем больше в лес, тем может выйти хуже». Вслед за этим Павел Владимирович добавлял: «Благодарю Вас за предложение работы, но воспользоваться им не могу (писатель в то время уезжал в Саратовскую губернию на кумыс, лечить свои легкие. — В. Д.). Корректур сочинений Успенского, без сомнения, работа хорошая и выгодная; я даже думаю, что возьмут менее 4 руб. с листа, — ибо никаких умствований ни синтаксических, ни относительно знаков препинания при этой работе не потребуется, так как набор будет делаться с печатного оригинала».

Правда, вскоре пришлось отказаться от его услуг. Когда он вычитал корректуру «Физиики» А. Гано, то написал: «Так как оказалось, что я оставлял в корректуре много ошибок неисправленных, то я считаю справедливым уменьшить плату за чтение корректур на 1 р. с листа». «От дальнейшего чтения корректур отказываюсь».

Не удалось избежать и конфликтных ситуаций. Чаще всего они происходили от несовершенства юридической службы, от неверного толкования законоположений и норм. Может быть, причина и в том, что за многое приходилось браться самому лично. Все ведь не додумаешь до мелочей, все ситуации не предусмотреть...

...Шла работа над одним переводным изданием юридической библиотеки. Павленков, как условились заранее, послал корректуру Илье Лазаревичу Лазареву. И вскоре получит «рассерженное» письмо. «Милостивый государь Флорентий Федорович! Сколько помнится, мы условились, что я буду получать совершенно выправленную корректуру, делать по ней поправки, касающиеся юридических терминов, имен, неправильно понятых переводчиком. Теперь же я, проверив перевод по рукописи, проверяю его еще раз по первой корректуре — что уже совсем не то же самое...» Кто тут прав, кто виноват, разобраться трудно. Пришлось брать расходы дополнительные на себя, ибо в конце письма Илья

Лазаревич уже добавлял слова обиды: «Вместе с тем, считаю необходимым указать на то, что ничем до сих пор не дал оснований заподозрить себя в каких бы то ни было неблагоприятных поступках».

Произошла какая-то размолвка в Вятке с одним из близких людей в ссылке — с Марией Егоровной Селенкиной. Обидно и горько оттого, что все так обернулось. Она укоряла Павленкова за скардность, за то, что он мало платил в ту пору Николаю Николаевичу Блинову, который помогал ему. Не раз потом вспоминал он ее слова, когда строил свои денежные взаимоотношения с авторами и сотрудниками издательства... Старался быть крайне щепетильным и в размерах оплаты, и в соблюдении сроков выдачи гонораров, авансов писателям и авторам. Нельзя допустить, чтобы еще кто-нибудь подумал о нем так, как в тот далекий день Мария Егоровна.

Конечно, бывали случаи, когда допускались сбои, возникали недоразумения. Но каждый раз, несмотря даже на имевшиеся причины, объясняющие допущенную неаккуратность, Павленков считал своим долгом принести извинения за задержку оплаты, тут же снять проблему. 23 июня 1893 года, в самый разгар сражения издателя с московской цензурой за выход биографии Кромвеля в серии «Жизнь замечательных людей», Флорентий Федорович писал Р. И. Сементковскому: «Задержка произошла отчасти по случаю переезда моего на дачу в Царское (Магазинная улица, д. 47, дом. Алмазова), отчасти же вследствие суматохи, вызванной историей с “Кромвелем”. Завтра Вам будет послано 200 рублей».

В этом отношении авторитет Павленкова в писательской среде был безукоризненным. То ли потому, что не пытался ущемлять гонорарами, то ли своей деловитостью: если предложил условия, то это уже все продумано до последней точки и за данными словами не следует искать никаких уловок, рассчитанных на то, чтобы ввести автора в заблуждение. Поэтому, если тот или иной писатель решал установить сотрудничество с другим издателем, то считал своим нравственным долгом обязательно поставить в известность Флорентия Федоровича. Так было, к примеру, с П. В. Засодимским.

11 мая 1888 года тот объяснялся с Павленковым, поскольку решил выпустить свои «Задушевные рассказы» новым изданием у другого издателя. «...Я очутился в положении очень неприятном, — писал он Павленкову. — Не сказать Вам о своих переговорах с Девриелем — значило, что я как будто бы искал, помимо Вас, другого, лучшего для себя издателя (детских рассказов). Молчал, значит, — было неудобно. Говорить было еще неудобнее, поэтому я предпочел молчать. Если бы я заговорил с Вами об этом предмете, то можно было бы подумать, что я вымогаю,

насилую, что я как будто хочу сказать: “Издавайте! А то вот г. Девриель желает купить у меня рассказы!” Меня всегда глубоко возмущают подобные насилия в частных делах — и вот почему я, решительно, не мог говорить с Вами об этом деле. Случись опять такая же история, — и я опять поступил бы так же точно».

Павленков обладал удивительной способностью все воспринимать без обид. Возможно, тем самым он и спланировал вокруг себя талантливых людей, умел строить с ними свои взаимоотношения на строго деловой основе. Один из его биографов точно определил — «артельно», никогда никого не подводил (а если случались непредвиденные, не от него зависящие срывы или сбои, то тут же искал пути для улаживания возникших недоразумений!), пользовался такой репутацией в их глазах, что каждый стремился вести себя с ним подобным же образом. «Мне в течение почти 20-летней литературной работы, — читаем в воспоминаниях о Павленкове публициста-народника Я. В. Абрамова, опубликованных в «Бессарабце» в 1900 году, — пришлось иметь дело со значительным числом издателей как периодических изданий, так и книг, и я считаю себя вправе заявить, что другого такого бессребреника, как Ф. Павленков, я не видел среди этих издателей. Он платил за работу так, как ни один книжный издатель. При малейшем недоразумении, при малейшем неудовольствии со стороны сотрудника, Павленков, хотя бы считал себя безусловно правым, немедленно же уступал во всех пунктах и уплачивал беспрекословно все, что претендующий считал себя вправе получить. Никогда, решительно никогда я не слышал от Павленкова выражения хотя бы малейшего неудовольствия на того или иного из лиц, которые работали для его изданий, хотя между ними были и люди крайне тяжелого характера, предъявлявшие прямо нелепые претензии. Круг лиц, с которыми работал Павленков, представлялся ему чем-то вроде одной семьи, все члены которой имеют право на то, что создает вся эта семья. И так как на то, что давали ему издания, Павленков смотрел не как на собственное достояние, а как на достояние всех, работавших с ним, то он и считал себя обязанным удовлетворять все претензии со стороны своих сотрудников относительно вознаграждения их труда». Для сравнения приведем отрывок из самохарактеристики героя уже упоминавшегося романа И. Н. Потапенко: «Я смотрю на дело так, что у меня нет своего капитала. Это капитал моих книг, моих изданий. Каждая вышедшая в свет и распроданная книга кормит следующую книгу — одну или две или полторы, смотря по цене, успеху и по другим условиям. От этого так быстро возрастает количество моих изданий. Я не имею права оставлять капитал без движения; чуть я замечаю,

что он накапливается, как немедленно стремлюсь облечь его в плоть и кровь, то есть превратить его в книгу. Сам же я — только приказчик при моих изданиях; я получаю от них жалованье, ровно столько, сколько мне нужно на мою довольно скромную жизнь...»

На Малой Итальянской под аккомпанемент самовара продолжается неспешная беседа...

— Чистое дело можно делать только чистыми руками, дорогой Николай Александрович. Это Вы должны уяснить твердо.

— Кто же с этим спорить будет, Флорентий Федорович. Это само собой разумеется, — отвечал Н. А. Рубакин.

— Не скажите. Сколько раз мне довелось встречаться с плутнями, разного рода казенными забегаями, с подхалимами либеральных пенкоснимателей, с негодьями, стремящимися поживиться от редакции. Такие господа не брезгуют ничем. То ли с детства не привили им никаких представлений о понятиях чести и совести, то ли наша почва питательна для произрастания этого особого сорта наших соотечественников?

Рубакин внимательно слушал неторопливую, но взволнованную исповедь своего наставника. Уже стало взаимной потребностью обоих делиться по вечерам за чаепитием новостями, обмениваться суждениями о самых, казалось бы, неожиданных вещах.

— Не знаю, возможно, военное воспитание, учеба в кадетском корпусе, в академии способствовали выработке у меня уважения к тому, что, несомненно, является стержнем подлинной человечности — строить взаимоотношения с людьми на доверии к личности, на началах честного и искреннего партнерства. А бывает очень больно встречать совсем иное понимание этих понятий. И случается это — увы! — нередко...

— Причины такой метаморфозы человека мы изучаем слабо. Ведь юная душа все-таки *tabula rasa*. Какие следы, зарубки оставляет на ней жизнь? Почему человек приобретает свойства, недостойные своего высокого предназначения в мире? Я давно собирался рассказать Вам историю одного своего ровесника. Когда узнал о ней, несколько дней ходил под гнетущим впечатлением...

— Буду признателен Вам, — с интересом отозвался Павленков.

Он уселся поудобнее в кресло. А Рубакин, отодвинув от себя чашку, заговорил:

— Этот молодой человек решил связать свою судьбу с железнодорожным транспортом. Когда поступал в институт инженеров путей сообщения, он восторженно делился со своими товарищами теми радужными перспективами, которые вскоре должны были открыться перед

ним.

«Для России, — говорил он, — железная дорога — это все. Самый насущный, самый жизненный вопрос. Покроется Россия сетью железных дорог, и природные богатства, которыми так изобилует Россия, как в недрах, так и на поверхности, будут умело использовать, возникнут бесчисленные заводы и фабрики, торговые, промышленные и другие предприятия. Да, торговля, промышленность и все связанные с ними дела и предприятия обнаружат изумительный, доселе еще небывалый у нас прогресс, а с ним вместе будет расти и развитие самого народа, его просвещение и благосостояние. Цивилизация пойдет быстро вперед, и мы, наверное, хоть, и не сразу, догоним передовые страны Западной Европы. Вот почему, повторяю, постройка железных дорог — у нас теперь самое первое и главное, самое жизненное, самое насущное дело, и вот почему я поступаю в институт инженеров путей сообщения — чтобы быть потом строителем железных дорог, чтобы иметь потом право сказать: “Есть тут и частица моего труда”.

Но не много времени потребовалось молодому человеку, чтобы убедиться в том, насколько призрачна в нашей действительности сама возможность плодотворной, а главное, честной деятельности в деле строительства железных дорог.

«Нет! — с горечью и болью говорил он спустя какое-то время. — У нас в институте только одни карьеристы, будущие хищники и воры, грабители народа и расхитители народного достояния. И удивительное дело — откуда взялась эта мечтающая о будущих доходах и богатствах молодежь? У мальчишки еще материнское молоко, как говорится, не обсохло на губах, а он рисует себе, как будет наживать доходы на постройках железных дорог, устроит себе роскошную квартиру с коврами и великолепной мебелью — тьфу! — заведет себе любовницу из балета, так что ему будут завидовать другие товарищи, менее его преуспевшие в карьере и добывании денег всякими правдами и неправдами. Нет, инженером мне не быть...»

После ухода Николая Александровича Флорентий Федорович еще долго размышлял о судьбе разочаровавшегося незнакомого ему молодого человека, который искренне жаждал так же преданно служить Отчизне, как в свое время и они с Черкасовым и Верой Ивановной Писаревой. Но тоже повстречали на своем пути столь же омерзительное приспособленчество своих же ровесников, что от этого стали опускаться руки... Как помочь молодым людям? Как придать силы этим чистым натурам из поколения, идущего на смену?

Флорентия Федоровича всю жизнь влекло к молодежи. Кто заронил в нем эту искру любви к учительству? Мать? Но он так рано лишился ее ласки. Может быть, наставники в училище? Лавров... Поражали его обширнейшие знания всего таинственного, неведомого, которыми он щедро делился с будущими офицерами. Для юношей Лавров стал настоящим другом, ибо каждый раз открывал перед ними частичку своего миропонимания. Павленкова поражало смелое ла-вровское толкование событий истории. Все то, что ранее воспринималось по-школярски, как свод определенных исторических дат, совокупность личностей, у Лаврова обретало иную, почти магическую силу. Все оживало, действовало, боролось за осуществление собственных устремлений. Слушая учителя, Флорентий ощущал воочию, как мало он еще знает, сколько нужно прочесть, чтобы вот так, просто и ясно, рассказывать о том, как жили, творили целые человеческие цивилизации, отчего гибли они, что мешало и мешает счастью каждой конкретной личности...

Тогда в Киеве, у Днепра, когда понял, что военная служба, где, казалось, можно будет принести пользу Отечеству, это вовсе не то идеальное место, о котором мечтал с друзьями, Флорентий решает твердо: нужно пойти к самым юным, учить их так, как их учил Лавров! Честных и чистых год от года будет становиться все больше. Они начнут теснить всех тех, кто ныне попирает закон, погряз в коррупции, предал идеалы чести и свободы. Как наивны были эти надежды! В Петербург Павленков и отправился с единственным намерением добиться права преподавать в военной гимназии. Быть, как Лавров! Правда, напрасными оказались старания юноши. Нашелся предлог для отказа в праве избрать жизненную дорогу, которая, как тогда ему представлялось, отвечала бы призванию — учить молодых, открывать им путь к свету знаний.

Несмотря на эту неудачу, Флорентий Федорович через всю жизнь пронесет верность этой избранной в юности цели. Он и издателем станет с заметным педагогическим креном. И азбуку собственную подготовит, будет издавать труды виднейших педагогов своего времени. По прибытии в ссылку, в Вятку, Павленков сдружится с Блиновым. А самое любопытное — вокруг него там начнет группироваться радикально настроенная местная молодежь, в частности вятские семинаристы. Полиция тогда очень встревожилась, когда обнаружилось это общение молодежи с политическим ссыльным! А семинаристы потянулись к нему и Португалову, ибо истосковались по свежим мыслям в своем захолустье. Для Флорентия Федоровича встречи эти значили тогда, пожалуй, больше, чем даже для молодых людей. Обретала смысл сама жизнь, ибо можно

было хоть частичку своих дум, того, о чем мечталось, вложить в эти пытливые души, заронить там искру, подобную той, что зажег в его сердце не так много лет назад Лавров.

«Думаю, что по отношению ко мне было нечто в том же роде, — писал в своих воспоминаниях С. Л. Швецов. — Он, вероятно, видел во мне подходящий объект для пропаганды и конспирации. А конспиратор он был упрямый, я его даже как-то представить себе не мог без конспирации, бывшей, по-моему, его “второй натурой”. Отношения у нас были очень хорошие, почти дружеские, если этим именем позволительно называть отношения между почти стариком, каким выглядел Флорентий Федорович, и безусым юношей, каким тогда был я». И чуть ниже добавлял: «Свои излюбленные мысли он старался проводить в юную среду, среду духовно неокрепших, еще ищущих знания, и вся его издательско-литературная деятельность направлена была на воздействие на эту именно среду».

Уже будучи тяжело больным, Павленков не теряет интереса к происходящему в обществе. Он пристально следит за всеми новыми течениями в освободительном движении страны, его привлекают самые радикальные идеи. «Кажется, теперешние “беспорядки” представляют собой только начало столь долго задержавшегося движения, — писал Флорентий Федорович Р. И. Сементковскому 13 февраля 1895 года, — и мы находимся, так сказать, накануне весьма серьезных затруднений. Опыт показал достаточно ясно, что арестами и ссылками нельзя парализовать недовольства, а, напротив, можно только обострить его. Но так как к урокам опыта мы не питаем особой склонности, то противная сторона наверно обратится к своему прежнему излюбленному оружию форсированию репрессий и “с ихней помощью” доведет дело до вооруженных сопротивлений, выстрелов, динамита... регентства. Ну, а тогда заварится такая каша, что теперь даже трудно себе и представить, чем она будет пахнуть».

19 февраля 1899 года Флорентий Федорович просил Н. А. Рубакина проинформировать его о выступлениях студенчества в России. «В русских газетах, — писал он, — нет никаких известий о студенческих волнениях. Не сообщите ли малую толику, что Вам известно».

Чутко прислушивающийся к малейшим колебаниям общественной мысли, в последние годы своей жизни Флорентий Федорович не мог остаться в стороне от получившего все больший размах вовлечения юношества в политическую жизнь страны. Именно молодое поколение имел в виду Павленков, когда задумывал и свою биографическую библиотеку.



Прочитав письмо из Тифлиса от одного из авторов библиотеки «Жизнь замечательных людей» В. В. Берви-Флеровского, делившегося оригинальными мыслями относительно истории общественных движений в Европе и Америке, о роли отдельных личностей в них, Флорентий Федорович отвлекся от сиюминутных забот и сам попытался окинуть взором собственную эволюцию взглядов на острейшие противоречия, которые переживала современная Россия. И обнаружил существенную перемену в своих представлениях о терроре как практике, способе борьбы за утверждение в жизни народа более справедливых устоев. Нет, эта мера, которой отдал дань увлечения в молодые годы, не приносит желаемых результатов. Кроме ожесточения репрессий властей, закручивания гаек, сворачивания даже малейших свобод, трагедии личностей талантливых молодых людей, ставших на заведомо ложный путь борьбы, она ничего не дает народу. Осчастливить его одним ударом, выстрелом, бомбометанием по чьему бы то ни было мановению невозможно. И питать такие иллюзии — только наносить вред благородным устремлениям тех, кто хочет и искренне стремится работать во имя желаемых изменений на родной земле.

Если французы в течение целого столетия не могут учредить у себя подлинно демократических институтов, то что говорить о России... Но, с другой стороны, простая констатация факта отсутствия, всхлипывание по сему поводу разве дадут что-либо позитивное, разве помогут в конструктивном созидании?

Чтобы в обществе получили господствующее положение демократические нормы общежития, важно не столько кричать о дефиците оных, а, скорее всего, утверждать знание об этих нормах. Французская поговорка справедливо гласит: *la critique est aisée mais l'art difficile* (критиковать легко, творить трудно). Были ли зачатки демократизма в прошлом? Что об этом говорит история Руси? Были. И новгородское вече, и земские соборы. Деспотизмом самодержавия вытравлялись из общественного бытия эти ростки демократизма, пускай не всегда последовательные, не во всем выражающие подлинную волю народа. Но все же они были. Есть они и сегодня, правда, чахлые, которые нуждаются в поддержке, в упрочнении их авторитета в народном сознании. Вот почему, думается, надо больше переводить книг, обобщающих опыт демократического развития в других государствах. Да, собственно, уже из одних только его изданий начинает формироваться целая библиотека по этому вопросу. Тут — и книга профессора Ф. Гольцендорфа «Роль общественного мнения в государственной жизни», и «Очерки самоуправления земского, городского и сельского» С. Приклонского, и

«Законы о гражданских договорах и обязательствах...» — сборник, составленный В. Фармаковским еще в пору яранской ссылки.

А сколько осуществлено было переводов книг зарубежных авторов, которые пропагандировали демократические устои государственного строительства, вызывали интерес к функционированию подлинно демократических институтов и учреждений в обществе. Взять хотя бы перевод с французского книги Г. Тарда «Законы подражания». Или другие издания: «Общественный организм» Р. Вормса; «Общественный прогресс и регресс» профессора Г. Греефа; «Психология народов и масс» Г. Лебона; «Преступная толпа. Опыт коллективной психологии» С. Сигеле; «Организация свободы и общественный долг» А. Прэнса; «Представительное правление» Дж. Стюарта Милля и другие.

Стоит пересмотреть каталог павленковских изданий девяностых годов, как нетрудно обнаружить заметно усиливающееся его пристрастие к литературе мировоззренческого характера. Он переводит книгу А. Прэнса «Организация свободы и общественный долг», издает труд Т. Рибо «Философия Шопенгауэра в популярном изложении», выпускает работу М. А. Энгельгардта «Прогресс, как эволюция жестокости», книгу И. Карно «История французской революции» и многие другие.

Определенную дань отдал Павленков и пропаганде марксистского учения в России. Конечно, было бы преувеличением сказать, что он принял это учение, стал его поборником, последовательным приверженцем. Но его кредо, как человека, исповедующего все новое, ранее неизвестное, состояло в том, чтобы способствовать развитию этих взглядов, их распространению. Они имеют право на жизнь, а граждане на родной земле должны иметь возможность самостоятельно разобраться в их истинной значимости, чтобы сделать сознательный выбор. Ну а если так, то гражданский долг издателя доносить все эти идейные открытия как можно быстрее до читательских масс.

Так понимал значение своей работы Флорентий Федорович, и оттого он посчитал необходимым внести и свою лепту в распространение марксистских идей в России. 5 декабря 1896 года он представляет в Санкт-Петербургский цензурный комитет книгу «Очерк политической экономии по учениям новейших экономистов», где составителем значился Д. Норден. На самом деле это был перевод с немецкого сочинения К. Каутского «Экономическое учение Карла Маркса». Но так как книга была запрещена, пришлось прибегнуть к такой хитрости.

Ранее Павленков вел переписку с В. В. Берви-Флеровским по поводу переиздания его книг «Положение рабочего класса» и «Азбука социальных

наук». Кроме упомянутой выше работы К. Каутского, в издательстве Павленкова выходили также его популярно-экономический очерк «Итоги XIX века» (под тем же псевдонимом Д. Нордена) и «Экономическая система Карла Маркса с научной стороны» (под псевдонимом П. Гросса). Работал Флорентий Федорович и над изданием труда Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства». В 1894 году Н. К. Михайловский писал Павленкову: «Г. Иванов из Риги (В. Королевская, 32, кв. Цвинева) просил меня сообщить Вам, что получил цензурованный перевод Энгельса. Почему он доводит об этом до Вашего сведения через меня, не знаю, но просьбу его исполняю».

Полученный перевод не удовлетворял требования издателя. Он обращается поэтому за содействием к Р. И. Сементковскому. «Убедительно прошу Вас, многоуважаемый Ростислав Иванович, — пишет Флорентий Федорович 24 сентября 1894 года, — помочь мне в издании книжки Энгельса “Происхождение семьи”. Она не так хорошо переведена. Очень обяжете, если позволите послать Вам фанки для просмотра и легких исправлений. Если же нельзя будет ограничиться легкими направлениями, то, после первых гранок, Вы можете отредактировать рукопись. На днях Вам будет прислан их немецкий оригинал, а теперь пока посылаю параллельно русское издание, сколько мне известно, уже распроданное. Впрочем, посылаю рукопись. Просмотрев ее местами, Вы лучше решите, как править — в гранках или до набора». В постскриптуме вновь повторяется: «Очень обяжете исполнением моей просьбы, а то решительно не на кого оставить эту книжку. Мне следовало бы отказаться от издания перевода Иванова. Но обстоятельства так сложились, что сделать это оказалось крайне неудобным». Р. И. Сементковский включается в работу.

Через некоторое время издателю пришлось даже поторапливать своего редактора. «Сейчас узнал, — пишет он 25 ноября 1894 года, — что “параллельное” русское издание Энгельса встретило препятствие для своего возобновления со стороны цензуры. Надо поэтому немного поторопиться, чтобы не потерять установленного цензурой срока, в течение которого цензура не может на законном основании остановить моего издания, пока еще не осуществленного. Очень буду Вам благодарен, если Вы поможете мне одержать еще одну маленькую победу над обществом Красного Креста». «Надеюсь, что Вы это дело будете сохранять до времени в секрете», — просит он Сементковского.

...1 мая 1899 года для Флорентия Федоровича оказалось счастливым днем. Он уже собирался возвращаться из Ниццы на родину. Организм заметно окреп, настроение улучшилось. А главное — дописывал последние

строки предисловия к первому изданию «Энциклопедического словаря...». Еще раз перечитал написанное: «...Не гнался за полнотой...»; «...Имел в виду практические требования обывденной жизни...»; «...Вносил в словарь только то, что считал необходимым для среднего интеллигентного читателя...»; «...Едва ли можно будет упрекнуть мое издание в субъективности...»; «...Главное внимание обращалось на фактические данные...»; «...Выводы из них предоставляется делать самому читателю».

Флорентий Федорович взял ручку и продолжил: «Во всяком случае, за состав словаря, в тесном смысле этого слова, я считаю долгом принять на себя всецело нравственную ответственность перед читателями и извиниться перед ними за те недосмотры, которые будут мне указаны периодической печатью».

...Теперь вот, уже в Петербурге, в слабеющих руках издатель держал свой «Энциклопедический словарь», свое любимое детище. Сколько же лет отдано ему, сил! Еще в Яранске, в бытность, когда был сослан «из ссылки» «в ссылку», по вечерам корпел над осуществлением давно задуманной идеи. В изданных такого рода словарях так много лишнего, чего там только нет! Но ведь специалиста узкого профиля он все равно не может удовлетворить, ибо ему нужно еще больше сведений по своей профессии. А зачем массовому читателю переизбыток сведений по тем проблемам, к которым он ни в коей мере не сможет прикоснуться, ибо они носят чисто специальный характер.

А вот другое, что нужно, — и это удалось осуществить! — дать больше зрительных образов. Книга, объемом 92 печатных листа, давала краткие сведения практически по всем отраслям знания. В ней были воспроизведены 2224 рисунка, в том числе 813 портретов и 37 географических карт, которые гравировались в Париже. Трехрублевая цена, назначенная Павленковым за словарь, далеко не отражала вложенных в его создание затрат. «До появления этого словаря, — писал Н. А. Рубакин, не было на русском языке никакого ему равного и ценного. Он явился как бы маленькой народной энциклопедией, общий дух которой уже никак не вязался по существу с тогдашним настроением царского правительства и социально-экономическим строем».

И рецензенты были единодушны в оценках этого издания. В четвертой, апрельской книжке научно-популярного журнала для родителей и воспитателей «Вестник воспитания» за 1900 год в разделе «Критика и библиография», к примеру, публиковался отзыв о словаре Павленкова А. Е. Грузинского. В нем напоминалось, что год с небольшим тому назад со страниц журнала при освещении попытки тульского земства выработать

каталог учительских библиотек высказывалась мысль о том, что крайне необходим для народных учителей энциклопедический словарь. Выражая сожаление в связи с недоступностью такого рода пособий для деревни, рецензент с завистью и болью, как он сам писал тогда, упоминал великолепные краткие энциклопедии, вроде: *Dictionaries complété illustré Carouse*. В этом словаре в сжатом и ясном виде преподносится масса материалов, они прекрасно иллюстрированы. «Мы и не предполагали, — писал он, — что в момент наших сожалений такой желанный и необходимый словарь уже близок был к выходу в свет, благодаря заботам и энергии просвещенного издателя Ф. Павленкова».

Откуда было знать рецензенту, что словарь этот — плод усилий почти трех десятилетий жизни Флорентия Федоровича. По вечерам, до поздней ночи засиживался он над карточками, раздумывал о составе, формулировал собственные толкования понятий... А затем, в промежутках между спешными верстками, рукописями, перепиской, принимался за свое любимое детище, каждый раз что-то совершенствуя, уточняя, дополняя.

«Этот первый опыт, — писал он далее, — может быть назван весьма удачным. Полнота словаря, сжатость и серьезность объяснений, изящный, четкий и убористый шрифт, прекрасное качество рисунков и дешевая цена заставляют признать его очень ценным вкладом в нашу популярную литературу. План словаря выработан и проведен оригинально; ни в подборе слов, ни в объяснениях, ни в рисунках он не представляет подражания или копии подобных ему иностранных изданий, хотя, разумеется, существование последних, так же, как и появление русских словарей — Граната и большого Эфроновского, должно было сильно облегчить задачу Павленкова».

Семь изданий выдержал павленковский словарь до 1923 года, общий их тираж приближался к ста шестидесяти тысячам экземпляров.

По мысли Павленкова, его словарь должен был оказывать помощь в первую очередь учителям народных школ. Хотел издатель подготовить и «Энциклопедию для народа», сделать ее настольной книгой каждого грамотного. Но выполнить этот план не успел.

«Все эти годы меня, — писал Павленков, — маняще влекло вперед писаревское завещание распространять в обществе больше научно-популярных книжек, несущих свет естественнонаучных, антропологических и социологических знаний. И не один идейный принцип руководил мной при отборе книг для издания. Они должны служить просвещению народа, его молодого поколения, а значит, их следует сделать возможно доступнее для массы. Пусть другие продолжают

издавать для аристократии... верхушки интеллигенции. Мне же представлялось куда более важным быть служителем толпы в лучшем смысле этого слова, ей нести свои помыслы и заботы...»

Был ли мечтателем Павленков? — задавал вопрос в свое время Н. А. Рубакин и сам же отвечал на него: да, был. Но мечты его были вполне реальны. Скорее они напоминали четко спланированную программу, где предусмотрено буквально все для успешного ее осуществления.

На последнем году жизни его занимали проблемы дальнейшей демократизации общественного устройства России. Он не просто мечтал о приближении желаемых изменений, но и старался вносить свой посильный вклад в приближение этих преобразований. «...Всего более мне хотелось бы издать Письмо о конституции, — делился своими планами Флорентий Федорович в письме к Н. А. Рубакину от 18 февраля 1899 года, — создавши эту книгу специально для русской публики. Она должна состоять из переписки между абсолютистом и представителем правового порядка, причем доводы первого постепенно и шаг за шагом должны падать перед возражениями его оппонента. Здесь необходимо перетряхнуть в занимательных эпизодах всю русскую и европейскую историю вообще и, в частности, конституционную историю». Павленковым уже продуманы все детали подготовительной работы и сам характер книги. «Необходимы два автора, одинаково талантливые и убежденные в своей правоте. Без последнего условия книга потеряет 50 % своего информационного действия».

Мысль о подобной книге пришла к Флорентию Федоровичу еще в Вышнем Волочке, когда слушал взволнованное выступление Н. Ф. Анненского перед молодыми узниками о том, почему лозунг конституции не столь актуален в то время для России. Подумалось: но, возможно, сегодня он и не является злобой дня, но завтра... Конституционный строй все же самый демократичный! Надо бы популярно об этом рассказывать народу...

Еще одним своим замыслом Флорентий Федорович делился со К. А. Скальским в письме от 8 января 1894 года: «В настоящее время я задумываю новую библиотеку, сюжетом которой послужит жизнь стран и народов. Это будет своего рода *revue des deux mondes* (обозрение всего мира. — В. Д.), где каждому государству, каждой характерной области (напр. Поволжье, Кавказ, Малороссия, Сибирь), каждому типичному центру (Париж, Лондон, Константинополь) будет посвящена особая книжка». Издатель приглашал своего адресата принять участие в этой библиотеке.

Мечтал Флорентий Федорович и об издании газеты «Копейка». Друзья Флорентия Федоровича проявляли самый живой интерес к тому, как осуществляется это его намерение. «Можно ли надеяться на осуществление предполагавшегося журнала?» — спрашивал Ф. Ф. Павленкова 29 июня 1883 года писатель П. В. Засодимский. А товарищ по тюрьме в Вышнем Волочке С. П. Швецов утверждал: «Вспоминая в жизни по разным поводам Флорентия Федоровича Павленкова, я не раз пожалел, что ему так и не удалось осуществить свою заветную мечту об издании “Кнута”, много образчиков его остроумия и ядовитости сохранилось бы».

— Отчего это у нас так мало пользуются сатирой и карикатурой как оружием политической борьбы? — удивлялся Флорентий Федорович.

— Вы намекаете на пример «Искры» в шестидесятые годы? — спрашивал Швецов.

— Вот именно! Каким огромным успехом пользовался он у молодежи моего поколения... Мне иногда так хочется попробовать создать свой сатирический журнал...

— Это серьезно?

— Да как сказать... Одного желанья мало. Были бы журнальные условия полегче, отчего бы не попробовать. Тут как-то мне и название приглянулось.

— Какое же, если позволено поинтересоваться?

— Очень простое — «Кнут»! Журнал должен жарить всех от царя до урядника.

Собеседник Флорентия Федоровича, — а разговор состоялся в застенках Вышневолоцкой политической тюрьмы, — свидетельствовал, что намерение издавать журнал «Кнут» не покидало издателя. Спустя некоторое время поделился темами карикатур, которые вынашивал для будущего издания. Уже по этим задумкам можно было судить о характере журнала. «Одна карикатура должна была представлять собою следующее: на полу валяется растрепанная книга с заголовком “Судебные уставы”, которую с остервенением рвут здоровнейшие псы с мордами, напоминающими физиономии тогдашних вершителей судеб России — Победоносцева, министра юстиции Набокова, графа Палена, графа Шувалова и других. Карикатура должна была иметь такую надпись: “Одна из великих реформ”. Другие темы карикатуры были еще определенными и злободневными на тот период».

Слишком короткий жизненный срок был отведен Павленкову. И он не успел воплотить в реальность многие из своих мечтаний. Можно только сожалеть об этом.

Исследователи, проанализировав всю изданную Павленковым литературу, вполне обоснованно отдают ему приоритет во многих сферах отечественного книгоиздания. Это, конечно, не означает, что другие издатели не прибегали в своей практике к тем или иным способам удовлетворения читательского спроса на книги, которые использовал Флорентий Федорович. Просто он был более последовательным в проведении избирательных методов общения с читательской публикой. Служению книге издатель посвятил всю свою жизнь, не отвлекаясь ни на какие бы то ни было сторонние интересы.

И еще одна принципиально важная отличительная особенность павленковской деятельности. С юности восприняв, как свое жизненное кредо, широко культивируемые в 60-е годы XIX столетия идеи о мыслящей личности, активно вторгающейся в окружающую действительность, работающей во имя преобразования ее на более совершенных началах, Флорентий Федорович сумел очень точно, почти безошибочно найти свою собственную нишу на набиравшем бурные темпы развития российском книжном рынке в тот период. Он предложил самый востребованный тип изданий именно той категорией читателей, ради которой он и стал вести свою работу.

Он решительно отвергал любые тенденциозные подходы, стремился самим подбором рукописей для издания приучать читателя самостоятельно оценивать ту или иную точку зрения, сопоставлять альтернативные взгляды на проблему, творчески усваивать все самое дельное, практически применимое в повседневной жизни. За более чем десятилетний срок вынужденного пребывания в тюрьмах и ссылках Павленков все более убеждался в том, что методы борьбы против существующего несправедливого положения народа, избираемые народовольцами, их террористические акты, не только не приносят желаемых результатов, но еще более усугубляют трагедию и отдельных личностей, вовлеченных в водоворот политического действия, и общества в целом. Лишь работа во имя просвещения народа, освобождения его от рабской покорности и смирения вооружает подлинным знанием и может со временем дать желаемый результат. И Павленков с начала восьмидесятых годов всю свою жизнь посвящает именно этому подвижническому служению.

Свои книги он адресует прежде всего преподавателям народных школ, гимназий, духовных семинарий, библиотечным работникам. В чем нуждаются эти люди? В постоянном пополнении багажа собственных знаний. А отсюда — активное использование Павленковым именно системного подхода к выпуску литературы. Он издает чаще всего не



отдельные книги, а серии книг и брошюр, тематические библиотечки. Историки российского книгоиздания о павленковских книгах говорят как о литературе энциклопедического характера с отчетливо проявляющейся в ней установкой на самообразование. Издатель предъявлял неприменное требование к авторам рукописей — переводной книги или оригинальной, — они должны нести на своих страницах сведения о самых последних достижениях науки или техники. Павленков активно привлекает к популяризаторской деятельности и видных ученых, и практиков, и публицистов.

Просветительство павленковских книг выразилось и в богатстве иллюстрационного материала, которое использовал он на их страницах. Чтобы читателю легче было постичь смысл тех или иных технических сведений, издатель старался помещать как можно больше рисунков, исходя из того, что зрительское восприятие — большое подспорье в самообразовательной работе читателя.

Популярности павленковских книг во многом содействовала и гибкая ценовая политика издателя. Хорошо представляя покупательские возможности своих читателей, Флорентий Федорович был озабочен тем, чтобы обеспечить как можно более низкую цену на свои издания. Нередко стремясь облегчить доступ той или иной книге к более широкой читательской массе, он шел даже на искусственное занижение ее цены по сравнению с себестоимостью ее производства, другими словами — на заведомые убытки. Наверстывал потери Павленков благодаря постоянному движению капитала, оперативному выбросу на рынок дополнительных тиражей изданий, которые быстро расходились. Тиражи устанавливал Флорентий Федорович на редкость очень точно. И это тоже было одним из гарантов успешной работы его издательства. А по числу переизданий многие павленковские книги едва ли не рекордсмены в книгоиздании России!

Знатоки истории русской книги, представляется, обоснованно говорят о «павленковском типе» изданий. В качестве характерных свойств его называют: небольшой формат, насыщенность иллюстративным материалом, качественное типографское изготовление тиражей, низкую цену. При использовании больших форматов Павленковым, пожалуй, одним из первых была применена верстка в два столбца.

## ЭПИЛОГ

«Когда я с ним познакомился (это было в 1890 г.), он был еще бодр, но его по временам донимал мучительный кашель», — вспоминал впоследствии Р. И. Сементковский, с которым Флорентий Федорович тогда общался довольно часто.

...В вечерний час он застал Павленкова сидящим за письменным столом. Воздух в комнате был пропитан сыростью и бумажной пылью. Лицо издателя было бледным, шея укутана шерстяным шарфом.

— Флорентий Федорович, голубчик, что же это Вы так не щадите себя? Давно ли Вы прогуливались по Невскому? Вы сидите здесь как затворник.

— Да о чем Вы. Я ведь работаю в собственное удовольствие.

— Ну, с этим согласиться не могу. Какое там удовольствие? Вы прямо-таки истязаете свой организм. По-моему, это что-то близкое к тому, как поступают фанатики.

— А, на Ваш взгляд, фанатизм может быть признан явлением отрицательным? — оживился Флорентий Федорович.

— В известном смысле, да.

— О, Вы не правы. Почему Вы отказываете человеку, поглощенному своим делом, в отдаче ему целиком, без остатка, без разумных подсчетов? Я фанатично верен своему призванию, той идее, которая захватила душу мою еще в юности... Дмитрий Иванович Писарев помог мне обрести себя, найти свою дорогу в жизни. На этом пути я могу сделать нечто такое, чего не способен совершить кто-либо другой. Отчего же я плохой человек? Фанатик! Как язвительно Вы отзываяетесь...

— Да об этом ли речь! Все, что Вы говорите, трудно оспорить. Вас и ценят в Петербурге, да и во всей Руси за Ваше подвижничество служение отечественному просвещению. Но при всем при том здоровье Ваше тоже достояние немалое. Будете во здравии, сделаете куда как больше, чем до сих пор. Зачем же испытывать и так изношенный изрядно организм?

— Понимаю умом правоту Вашу, а вот иначе уже поступать не могу. Без дела я словно потерянный. Не знаю, куда идти, на что смотреть, о чем говорить. А вот когда окунаюсь в любимое занятие, и чувствую себя лучше, и радостное тепло проходит через каждую клеточку тела моего.

Подобную заботу о здоровье Флорентия Федоровича проявляли

многие его сподвижники. «Когда Вы собираетесь дать себе отпуск и отдых?» — спрашивал 6 июня 1887 года П. В. Засодимский. И через несколько строчек своего письма добавлял: «Отдохните хоть немного летом, так должен сказать каждый желающий Вам добра и пользы русской литературе».

И в конце концов друзьям удастся убедить Флорентия Федоровича в необходимости позаботиться о своем здоровье. К тому же врачи вообще категорически настаивали на лечении и отдыхе. Из всех возможных вариантов Павленков выбирает для себя наиболее предпочтительный — Крым. Это ближе к Петербургу, письма будут задерживаться не так долго.

В 1892 году издатель решает уехать к Черноморскому побережью. Однако дела все задерживают и задерживают его в столице. 28 мая 1892 года Е. А. Соловьев, напоминая Флорентию Федоровичу, что ему не прислали ни гроша из причитающихся гонораров, добавляет: «Вы, вероятно, уехали в Крым, как Вы писали, и забыли распорядиться или забыли Ваше распоряжение исполнить, что вероятнее».

Но Павленков еще долго будет оставаться в Петербурге. Лишь 28 сентября 1892 года он сообщит Р. И. Сементковскому об отъезде: «Собираюсь в дорогу. Хочу месяца полтора пожить в Крыму: д-р Нечаев находит это необходимым». И добавляет: «Я еще пробуду здесь до 5 числа, но не далее».

Ростислав Иванович Сементковский вспоминал: «Он съездил в Крым, попробовал там отдохнуть, но, подчиняясь бывшей в нем ключом энергии, из Алушты взобрался пешком на Чатыр-Даг. Понятно, что и Крым ему при таких обстоятельствах пользы не приносил. Впрочем, он из экономии себе экскурсий на юг больше не позволял и довольствовался скромной дачей под Петербургом».

Однако состояние его здоровья все ухудшалось. Флорентий Федорович стремился гасить недуг еще более активной работой. А когда отрывался от дел, угнетало предчувствие надвигающейся беды. Поздравляя с Новым годом В. В. Уманова-Каплунского, Флорентий Федорович не мог скрыть грусти и тревоги: «Вместо визитной карточки, которой у меня не оказалось под рукой, посылаю Вам это коротенькое письмо вместе с обычными новогодними поздравлениями, — писал он. — Не жду себе ничего хорошего от 93 года, но желаю, чтобы, по крайней мере, другие были более моего счастливы в этом отношении. Пусть же судьба сделает для Вас такое исключение».

Непрекращающийся кашель Флорентия Федоровича тревожил его друзей, и они настойчиво советовали проводить, по крайней мере, осень,

если не всю зиму, где-нибудь на Ривьере. «Он сперва решительно восстал против этой мысли, говоря, что дело этого не допускает, да и средства не позволяют, — свидетельствовал Р. И. Сементковский. — Видя, что все мои доводы остаются без результата, я его спросил, уверен ли он, что его наследники поведут его дело, дело немаловажное, так же умело и любовно, как он сам. Он возразил, но уже не так уверенно: “Что за комплименты!” Я не настаивал, полагая, что кашель доскажет ему то, чего я не досказал. И действительно, в следующую осень он поехал в Ниццу...»

Между деловыми строчками в павленковской переписке нет-нет да и промелькнет сугубо личное. В письме Р. И. Сементковскому от 24 сентября 1893 года, обсуждая проблемы издания труда Ф. Энгельса, цензурные неприятности в связи с биографией Л. Н. Толстого, Павленков упоминает о своих проблемах: «Наполовину уже уложился в дорогу и на днях еду. А Вы, наверно, думали, что я уже давно за границей. Масса всякого рода издательских “дел” и бесконечных хлопот мешает сняться с якоря».

Врачи рекомендовали Флорентию Федоровичу поселиться в Ницце. Ему понравился этот известный курорт на берегу Генуэзского залива. Чудный климат, мягкий и успокаивающий, облегчал его страдания. Приятно было бродить по улицам, которые помнили Гарибальди, Бланки...

К концу следующего года Павленков вновь отправляется во Францию. 29 октября 1894 года из Монтрё он писал А. М. Скабичевскому: «Чувствую себя здесь совсем недурно, даже хорошо. Понемногу освобождаюсь от кашля. На днях переезжаю в Ниццу, так как в Монтрё погода начинает портиться!..»

А спустя чуть больше месяца уже из Ниццы в письме Р. И. Сементковскому рассказывает немало подробностей из своего лечебного режима. «В Монтрё все оказалось так, как Вы говорили, — пишет он 6 декабря 1894 года. — Там можно найти все земные приспособления, — двойные рамы, печи и пр. У меня в двух небольших комнатках температура никогда не понижалась до 14 градусов и только к утру иногда бывало 12–13. В Ницце чудная погода. До сих пор мне еще ни разу не приходилось выходить на утреннюю прогулку (10–11½) в осеннем пальто, а всегда в крылатке. Для вечеров же мое петербургское осеннее пальто оказалось слишком теплым, так что пришлось сшить другое, более легкое. Хотя я и поправляюсь, но конечно, все это благополучие довольно условно. Например, сегодня при всем своем благополучии я прекрасно покашлял. Но все это пустяки, и я отношусь к своей физике так спокойно, что доктор итальянец, исследовавший меня на моей новой квартире, рекомендовал хозяину, тоже прихварывающему — брать от меня в этом отношении

пример».

И все последующие зимние сезоны он стал проводить на Ривьере. Правда, в письмах друзьям постоянно сетовал шутливо, что «Ницца его в гроб уложит», потому что, когда его нет в Петербурге, «типографии и корректора его изводят». Но безусловно курортный климат благотворно действовал на его здоровье. Возвращался он оттуда бодрее.

Издателя, разумеется, раздражали многомесячные отрывы от любимого дела. По этой причине происходили нередко вынужденные производственные задержки. Его нервное возбуждение по таким случаям не способствовало, конечно, укреплению и без того уже пошатнувшегося здоровья. Друзья и товарищи всячески пытались ободрить и поддержать Флорентия Федоровича. «Я завидую Вам, могущему любоваться южным солнцем и дышать истинным воздухом», — писал Ф. Ф. Павленкову И. Н. Потапенко 24 февраля 1897 года.

Однако ни теплые слова друзей, ни увещевания докторов не могли удержать Флорентия Федоровича на чужбине. Он рвался, как только чуть-чуть обнаруживалось улучшение в его самочувствии, в Петербург. «Неутомимый работник, он желал жить и работать на Родине и для Родины», — писал один из современников.

1898 год для Флорентия Федоровича едва не стал роковым. Простуда настолько обострила его и без того болезненное состояние, что, казалось, подняться ему уже не удастся. К счастью, худшего не случилось. Он сумел побороть болезнь и на этот раз и снова с головой окунулся в повседневные издательские заботы.

То ли перемена климата и обстановки, то ли организм усилил свою сопротивляемость, но по приезде на юг Франции Павленков почувствовал прилив энергии. Он работал теперь куда больше, чем в Петербурге. Уже 19 февраля 1899 года он направляет письмо Н. А. Рубакину и ставит его номер — 276. Это значит, что до этого Флорентий Федорович уже отправил 275 посланий. «Если мой ответ Вам скажется короче, чем Вы могли ожидать, — писал Павленков, — то да послужит для меня смягчающим обстоятельством № почтового отправления, которое мне приходится делать отсюда со времени моего приезда в Ниццу. Я понимаю очень хорошо Ваши колебания и ту боль, которые Вы должны испытывать при мысли о возможности покончить с издательским делом, идейная сторона которого может не только занимать человека, но просто сделать его своим рабом».

Эти строки звучат как исповедь Флорентия Федоровича. Действительно, избранный им собственный путь ничем не отличался от добровольного самопорабощения... «Тем не менее, — продолжал

Павленков, — надо всегда останавливаться на такой деятельности, где человек способен приносить наибольшую пользу обществу, а потому я всегда предпочел бы Вас видеть на поприще хорошего популяризатора, автора полезных народных книжек, рецензента и публициста, чем издателя или комиссионера каких бы то ни было издательских фирм, тем более что, судя по Вашим словам, популяризация Вам достается легче, чем туры польки всякой сильной танцорке. Печатный лист в день — о такой головокружительной быстроте страшно даже подумать... Если бы это было даже маленькой гиперболой (не в частности, а вообще), то и тогда можно только сказать: “В добрый час!”»

Отговаривая своего юного друга от того, чтобы тот целиком отдался издательскому делу, советуя ему сосредоточиться на популяризации, поскольку, несомненно, у него было к этому подлинное призвание, Флорентий Федорович в то же время не хочет навязывать свое мнение. «Если же Вам захотелось бы разнообразить свою деятельность, — пишет он, — то ведь никто Вам не мешает от времени до времени иметь дело по частным изданиям с иной или Поповой, которая Вас даже знала, сознаваясь, что она была не права, порвав с Вами».

Разве можно сказать, что строки эти принадлежат серьезно больному человеку, переносящему невероятно тяжкие личные испытания? Он по-прежнему надежная опора другим. Он и будет оставаться таким до своего последнего часа...

Флорентий Федорович был фанатиком своего дела: он жил и дышал им. Даже в последние дни своей жизни, свидетельствовал Н. А. Рубакин, он неустанно работал, читал и правил рукописи, диктовал распоряжения. Делился с Рубакиным своими проектами, словно торопился сделать как можно больше и быстрее. «Разбитый и больной телом, он был необыкновенно бодр духом; находясь при смерти, был так же бодр, как и во время своего знаменитого процесса по первому изданию сочинений Писарева».

В последнем году девятнадцатого столетия Флорентию Федоровичу исполнилось шестьдесят лет. Были поздравления друзей и товарищей, общественных, интеллигентских групп, учащейся молодежи. Однако сам юбиляр ощущал невероятную усталость, которая не давала возможности работать так, как считал это нужным издатель.

К осени болезнь обостряется. Чохотка, осложненная инфлюэнцей, снова уложила Флорентия Федоровича в постель. Он чувствовал, что силы на исходе, и не собирался ехать в Ниццу.

Облегчение наступило лишь к середине декабря. Врачи рекомендовали

не мешкая отправиться в южные края. Сразу после встречи Нового года Флорентий Федорович, слабый, больной, отправляется из Петербурга в Ниццу.

В первые дни приезда ему стало лучше, но затем температура снова поднялась и состояние резко ухудшилось. А 20 января 1900 года Флорентий Федоровича не стало. Один из его друзей, Р. И. Сементковский, с болью заметил после кончины Павленкова: «Он прожил бы, может быть, еще дольше, если бы экономия не заставляла его жить в Ницце в помещении, мало соответствовавшем гигиеническим требованиям. Бедный Павленков! Живя для дела, он о себе забывал...»

Судьба распорядилась так, что спустя тридцать два года после похорон Писарева на том же самом Волковом кладбище было погребено и тело Флорентия Федоровича.

Хоронить на Волковом кладбище значило тогда — отдать усопшему самые знатные почести перед прогрессивной общественностью страны. Похороны проводились не по кровному, а по идейному родству.

«Из бурного движения 60-х годов вынес, прежде всего, мысль, что России нужно просвещение, и с этой мыслью он не расставался до конца своих дней», — говорил о Павленкове современник. Он работал не для верхов интеллигенции, а для народа, которого старался снабдить умной и дешевой книгой. В общественном мнении передовых людей своего времени он зарекомендовал себя стойким просветителем, подлинным издателем-демократом, необыкновенным тружеником русской мысли. Через все испытания — тюрьмы, ссылки, преследования цензуры Павленков с честью пронес знамя идей и принципов шестидесятничества.

Как типичный представитель своей эпохи Павленков неумоимо работал во имя идейного объединения в России на почве всего передового и прогрессивного. С борьбы за выпуск сочинений Д. И. Писарева начиналась плодотворная издательская деятельность Павленкова. Превосходной минутой назвал издатель тот момент, когда за несколько лет до кончины удалось получить разрешение на выпуск нового издания писаревских сочинений.

— Его память свято храню, всю жизнь почитал и почитать буду, — говорил тогда о Писареве Флорентий Федорович одному из своих друзей.

Современники особенно были признательны Павленкову за выпуск широкого спектра научно-популярных изданий, справедливо считая, что он сделал для их создания и распространения среди различных слоев русской читающей публики больше, чем кто-либо за последние годы.

Казалось бы, отмечалось в одном из многочисленных некрологов,

Павленков «не отличался ни какими-либо выдающимися талантами, ни громкими особенными подвигами, он не потрясал сердца “неведомою силою”, не затмевал каким бы то ни было образом своею личностью современников: это был простой труженик, страстно любивший свое дело, преданный ему до самозабвения и положивший в это дело все свои силы, весь ум, всю жизнь. Книгоиздатель... простой книгоиздатель — под этим наименованием знал почти весь грамотный русский люд покойного Павленкова, и, тем не менее, с этим именем связывались удивительно интересные и даже знаменательные страницы нашей общественной жизни просветительного, прогрессивного характера за последнее тридцатилетие».

«Русской литературе и русскому просвещению есть за что сказать ему искреннее спасибо», — отмечалось в некрологе журнала «Жизнь». А вот слова, сказанные со страниц «Русского богатства» В. Г. Короленко: «Ф. Ф. Павленков относился к книге страстно и с боевым чувством... В этом море заглавий и фолиантов у него были свои друзья, для которых он был готов на всевозможные жертвы, и враги, которых он страстно ненавидел и с которыми боролся противоположными изданиями. Начав с издания сочинений Д. И. Писарева (за которые в 70-х годах был предан суду и которое вообще навлекло на него много неприятностей), покойный, книга за книгой, провел, иногда с огромным трудом, массу изданий. Перечислить их все в связи с медленно меняющимися условиями прессы, это значит написать биографию покойного, и этот труд, вероятно, будет сделан. Список выйдет длинный, биография — полная захватывающего интереса».

Заупокойная литургия и отпевание Флорентия Федоровича были совершены в кладбищенской церкви во имя Всех Святых (Пономаревской), куда тело покойного было перевезено прямо с вокзала по прибытии из Ниццы.

Закрытый дубовый фоб, возвышавшийся на катафалке посреди церкви, утопал в венках. Роскошные венки из искусственных цветов соседствовали с множеством венков из живых. Венки принесли от Союза писателей, Комитета Литературного фонда, книгоиздательской фирмы «Труд», редакций журналов «Обозрение», «Жизнь», «Северный курьер», «Сын Отечества» (с надписью «Распространителю света»), издательских фирм О. Н. Поповой, «Знание», «Издатель», товарищества И. Д. Сытина, типографии «Общественная польза», Русского общества книгопродавцев и издателей и многих других.

Вот как описывается обряд прощания с Ф. Ф. Павленковым в газетном репортаже. «...Храм был наполнен молящимися. Отдать последний долг почившему собрались литераторы, друзья покойного и учащиеся разных



учебных заведений. По окончании отпевания гроб был поднят на руки и вынесен из церкви к месту упокоения на “Литераторских мостках” друзьями и почитателями покойного. У свежей могилы, как и у Писарева, произносились речи. Проф. Трачевский произнес речь, посвященную памяти покойного. Произнес прочувственную речь также г. Гетриц, охарактеризовавший личность покойного, как аскета, неутомимого труженика, проводившего почти все свое время за плодотворною работою в стенах своего кабинета. Оратор выразил пожелание, чтобы память покойного была увековечена учреждением специального издательского фонда для издания книг народной литературы».

Один из служащих павленковского издательства прочитал свое стихотворение.

Добрый труженик! Мгла могилы —  
Твое жилище навсегда.  
Конец всему. Сгорели силы  
В горниле честного труда.  
А как ты жил работой нужной,  
Как ты любил, как ты страдал!  
С каким огнем в груди недужной  
Ты зданье правды воздвигал!  
Не стал ты воином суровым, —  
Ты знал, что кровь не от креста.  
Ты знал, что словом лишь Христовым  
Жива в нас жизни красота.

Ты к свету вел — и вел бескровно,  
Ты к делу жизни звал от сна,  
В сознанье темное любовно  
Бросая знанья семена.  
Ты раскрывал свои объятья,  
Просил идти твоим путем,  
Ты говорил, что все мы — братья,  
Что все равны мы пред Творцом.

Ты уповал на их расцвет,  
Ты им вручил, как добрый гений,  
Завет любви — святой завет —  
Для счастья новых поколений...

Ф. Ф. Павленков похоронен недалеко от могил В. М. Гаршина, Н. И. Костомарова, Г. З. Елисеева.

Место, где нашел он свою последнюю обитель, обозначает ограда. На памятнике высечены названия двух книг — «Физики» А. Гано и «Энциклопедического словаря».

Предчувствуя, что жить и трудиться остается уже недолго, Флорентий Федорович своей последней волей передавал народу все, что было накоплено за неполных четыре десятилетия титанической по своему напряжению работы: имеющийся капитал он завещал передать на организацию библиотек в самых глухих уголках родной земли, а собственную библиотеку — Н. А. Рубакину, ведущему активную работу по пропаганде книги. Все начатые им издательские предприятия он просил завершить.

Своими душеприказчиками — лицами, которым он доверял исполнение своего завещания, Павленков назвал трех сотрудничающих в его издательстве — В. И. Яковенко, Н. А. Розенталя и В. Д. Черкасова. Каждый из них по-своему был необходим для обеспечения успеха издательских начинаний, хотя и были они разными по характерам людьми. Остроумный В. Д. Лункевич не без доли ехидства отзывался о них: «Это — лебедь, щука и рак».

Душеприказчикам предстояло в течение нескольких лет поддерживать издательство Павленкова. Ликвидировать его они должны были постепенно — в течение не менее семи лет. В производстве находились уже десятки готовых изданий: их необходимо было выпустить. Кроме того, около двухсот печатных листов подготовленного к печати материала ждали своего часа, чтобы отправиться в типографию. Были заказаны переводы ряда зарубежных изданий, а также приобретены права на издание собраний сочинений А. И. Герцена. Все это нужно было завершить.

Определением Санкт-Петербургского окружного суда от 15 февраля 1900 года духовное завещание Павленкова было утверждено к исполнению. В соответствии с ним на душеприказчиков официально возлагалась обязанность продолжить павленковское издательское дело с тем, чтобы по мере реализации от продажи изданий соответствующих денежных средств, независимо от некоторых личных назначений: «1) было бы постепенно открыто в наиболее бедных местах (деревнях, поселках и проч.) две тысячи народных читален, стоимостью каждая по пятьдесят рублей, а всего, следовательно, на сто тысяч рублей; 2) обществу для пособия

нуждающимся литераторам и ученым (Литературному фонду) было бы выплачиваемо по пять тысяч рублей в течение шести лет, а всего тридцать тысяч рублей, считая срок с 1 января будущего года и при условии пользования лишь процентами, оставляя самый капитал неприкосновенным; 3) Союзу взаимопомощи русских писателей на тех же основаниях должно было быть выдано пять тысяч рублей по тысяче рублей в год в течение пяти лет». Все средства, имеющие оставаться за точным выполнением вышеуказанных пунктов завещания нужно было употреблять на расширение вышеупомянутых народных читален. Десять тысяч рублей Флорентий Федорович завещал своей племяннице.

«Вот, следовательно, все, что нажил этот человек за всю свою почти сорокалетнюю деятельность издателя, живя буквально на гроши, отказывая себе во всем, что украшает жизнь, и, скопив деньги, дал им и назначение посмертное, вполне достойное их трудовому происхождению» — так писал современник об обнаруженном завещании Павленкова.

Завещание Флорентия Федоровича было выполнено. Вместо предполагавшихся семи лет издательство продолжало свою деятельность намного дольше. Было издано, хоть и в изуродованном цензурой виде, собрание сочинений А. И. Герцена. До 1910 года было переиздано 226 тысяч 700 экземпляров павленковских книг, в том числе четвертый раз «Энциклопедический словарь». Каждое издание сопровождала информация: «Средства, получаемые от распродажи изданий Ф. Павленкова, предназначаются, согласно завещанию, на устройство бесплатных народных библиотек».

Душеприказчики регулярно отчитывались перед общественностью о сделанном по осуществлению воли Флорентия Федоровича. 17 января 1903 года, к примеру, один из них, В. И. Яковенко, направлял такое приглашение Н. А. Рубакину: «Многоуважаемый Николай Александрович! В понедельник, 20 января, в день годовщины смерти Флорентия Федоровича Павленкова, душеприказчики просят Вас пожаловать к 9 часам вечера в помещение Северной гостиницы (Знаменская площадь), где за ужином будет сделано краткое сообщение о положении дела по выполнению завещания».

23 марта 1907 года В. И. Яковенко отвечал на письмо Н. А. Рубакина, в котором, как явствует из содержания ответа, излагалась просьба выслать ему полный комплект всех павленковских изданий. В. И. Яковенко объяснял, почему душеприказчики не в состоянии выполнить эту просьбу. «При обсуждении Вашего желания с В. Д. Черкасовым, — писал Яковенко, — пришлось согласиться с тем, что есть много таких изданий Ф. Ф.

Павленкова, которых вовсе не следует вносить в каталог рекомендуемых основных книг». Как можно заключить из этого, Н. А. Рубакин готовился составлять полный каталог павленковских изданий. Напомнив также, что полный комплект изданий Павленкова стоит триста — четыреста рублей, душеприказчик высказывал предположение, что вряд ли все эти книги ему понадобятся, тем более, если учесть, что ему «большая часть изданий... в свое время доставлялась». Вслед за этими соображениями Яковенко заявлял: «Против же доставки Вам того, что не было послано ранее и что явно не стало непригодным для предположенной Вами цели, по-видимому, не встречает препятствий».

Переписка между В. И. Яковенко и Н.А. Рубакиным не прекращалась и последующий период. В 1910 году Рубакин вновь обращался с просьбой о передаче ему книг павленковского издательства, чтобы о них можно было сообщить в новом выпуске библиографического издания «Среди книг».

Возникали и разногласия между душеприказчиками. «Что касается павленковских изданий, — читаем в письме В. И. Яковенко, — то тут я решаю вопрос не один, а совместно с В. Д. Черкасовым, который на подобные просьбы обыкновенно отвечает первым делом: “Я полагал бы отказать”». Н. А. Розенталь по состоянию здоровья вскоре самоустранился от исполнения роли душеприказчика, о чем даже письменно ставил в известность В. Д. Черкасова и В. И. Яковенко. Между последними все чаще стали обнаруживаться непримиримые противоречия. Их приходилось разрешать с помощью третейских судов друзей Павленкова. Недовольство действиями друг друга выливалось даже на страницы печати...

2 ноября 1913 года В. И. Яковенко просил у Н. А. Рубакина помощи в подготовке биографии Ф. Ф. Павленкова. «Так как душеприказчики Ф. Ф. Павленкова приканчивают свою деятельность (издательство они формально уже передали особому комитету павленковских библиотек), — писал он, — то решено теперь же издать его биографию в виде отдельной монографии, присоединив к ней воспоминания В. Д. Черкасова. Такую монографию поручено написать мне.

Я уже около года (урывками) занимаюсь разбором и чтением материалов (главным образом писем к Павленкову, отчасти письмами его, какие удалось собрать, разными записями по издательству и т. д.). Последние месяца два я принялся вплотную за эту работу, которую должен бы кончить к весне. В. В. Португалов, между прочим, сообщил мне, что еще в 1901 году сестра его отправила часть писем их отца к Вам. По некоторым соображениям, я думаю, что письма Ф. Ф. Павленкова к Португалову представляют большой интерес, поэтому и обращаюсь к Вам с

просьбой: будьте так любезны, перешлите эти письма мне; если же Вы возвратили их, то когда и кому именно из Португаловых; в таком случае я буду отыскивать их здесь. Кстати, может быть, Вам были переданы Н. А. Розенталем и другие материалы или, может быть, Вы сами собрали какие-либо материалы, так как Вы собирались писать биографию Ф. Ф. Павленкова? Если у Вас есть что-либо, не откажитесь предоставить мне возможность воспользоваться всем этим. Страшно трудно добыть письма Павленкова, а из писем к нему (несмотря на целую гору их) немного выудишь ценного. Еще просьба к Вам: Вы знаток книжного дела, — не укажите ли мне источников, по которым я мог бы изучить положение книжного (собственно издательского) дела, начиная с 60-го года и до 900-го. Буду очень признателен Вам за такую услугу».

Н. А. Рубакин из Швейцарии тут же откликнулся на эту просьбу: «...Я искренне радуюсь, что именно Вы беретесь за составление биографии Флорентия Федоровича и со своей стороны рад всячески помогать Вам. Я искренне жалею, что меня выслали из С.-Петербурга в 1901 году... и оторвали от возможности исполнить работу, к которой я тогда так стремился». Среди других причин, помешавших ему осуществить свое намерение по подготовке жизнеописания идейного издателя, Рубакин называет и отсутствие должной поддержки его работы со стороны душеприказчиков. «Речь не о Вас», — добавляет он в скобках. Относительно писем В. О. Португалова в рубакинском письме сообщается, что они им не были получены. Вообще при пересылке за границу многие материалы терялись... Рубакин обещает со своей стороны оказывать Яковенко самое благожелательное содействие: будет отвечать немедленно на любой поставленный ему вопрос («Не стесняйтесь задавать мне вопросы»), готов он делать выписки из русских и зарубежных журналов, которые потребуются. «Кроме того, — пишет Рубакин, — если Вам нужна моя бывшая С.-Петербургская библиотека, ныне библиотека общества народного университета (у Балтийского вокзала), то я могу открыть туда для Вас экстраординарный доступ. Вы, разумеется, знаете, что и библиотека Ф. Ф. Павленкова, Вами мне переданная в 1901 году, присоединена к библиотеке мною поименованной, за исключением очень немногого».

К сожалению, В. И. Яковенко не суждено было выполнить свой замысел. Спустя чуть больше года после упомянутого выше письма, 7 марта 1915 года, его не стало. Можно только сожалеть по данному поводу, ибо Валентин Иванович наряду со своей активной деятельностью в издательской области (в период завершения работы издательства Ф. Ф.

Павленкова им было организовано и свое собственное) отлично зарекомендовал себя как талантливый литератор, особенно в биографическом жанре. Им были подготовлены для павленковской серии «Жизнь замечательных людей» биографии Тараса Шевченко, Богдана Хмельницкого, Томаса Карлейля, Огюста Конта, Адама Смита и других. Написал он и биографию Н. В. Гоголя для собрания сочинений писателя в издании Ф. Ф. Павленкова, перевел с английского языка книгу «Герои, почитание героев и героическое в истории» Т. Карлейля.

Так как мы не располагаем биографией Флорентия Федоровича Павленкова, над которой работал Яковенко, то самым достоверным, наиболее полным источником о многих сторонах жизни и деятельности издателя-просветителя можно судить по написанным в Калуге 21 апреля 1906 года воспоминаниям другого его душеприказчика — Владимира Дмитриевича Черкасова.

Уже на первой странице своих мемуаров, скромно определенных как «отрывки из воспоминаний», друг и сподвижник Флорентия Федоровича сообщал историю их выхода в свет. «Вскоре после смерти Ф. Ф. Павленкова, — писал Черкасов, — некоторые лица, изъявившие желание составить обстоятельную его биографию, обратились ко мне, как к лицу, долгие годы состоявшему с ним в постоянных и близких дружественных и деловых сношениях, за содействием, имея в виду воспользоваться для предположенной ими цели личными моими воспоминаниями об известных мне различных обстоятельствах жизни Флорентия Федоровича, что и послужило для меня поводом записать настоящие отрывки из моих воспоминаний, представляющих лишь вполне достоверный фактический материал для будущих биографов покойного моего друга и товарища Ф. Ф. Павленкова». Воспоминания В. Д. Черкасова публиковались душеприказчиками в павленковском издательстве.

Обстоятельства сложились так, что из трех душеприказчиков Ф. Ф. Павленкова самым активным образом работал над реализацией завещания покойного В. И. Яковенко. А в последние годы он практически оставался в единственном числе... Валентин Иванович всецело был поглощен выполнением той части завещания, которая касалась устройства народных библиотек. И нужно сказать, что деятельность его оказалась весьма плодотворной. В течение одного только 1914 года, к примеру, несмотря на массу препятствий чисто внешнего характера, Яковенко удалось открыть до двух тысяч сельских библиотек, притом главным образом в отдаленных уголках России. Всего же им было основано несколько десятков тысяч библиотек с миллионами книг.

В одном из номеров журнала «Известия книжных магазинов товарищества М. О. Вольф» за 1900 год сообщалось, что уездными земскими управами Полтавской губернии получено письмо от В. И. Яковенко, одного из душеприказчиков покойного Ф. Ф. Павленкова, касающееся вопроса о народных библиотеках, долженствующих быть открытыми на завещанные издателем средства.

В нем говорилось, что душеприказчиками вырабатывается общий план устройства библиотек на средства Ф. Ф. Павленкова, выражалась надежда на содействие учреждений, прежде всего земств, которые могли бы способствовать упрочению таких библиотек. «Содействие земства, — писал Яковенко в Полтаву, — могло бы выразиться как в указании мест, где следует открывать библиотеки, так, в особенности, в принятии материального участия в содержании библиотек и наблюдении за их дальнейшим существованием. Определяя по пятьдесят рублей на библиотеку, покойный Флорентий Федорович не думал, конечно, что этих средств достаточно для устройства библиотеки, могущей удовлетворять запросам населения даже глухих местностей; он желал положить начало и вызвать местные учреждения и силы к дальнейшей деятельности».

Опираясь на такой подход, Яковенко от имени душеприказчиков обращался к уездным земским управам, просил их «сообщить сведения обо всех существующих в уезде народных библиотеках, наметить несколько новых пунктов, принимая во внимание наиболее бедные селения, где, по мнению управы, сильнее всего ощущается потребность в общественной народной библиотеке, принять на себя заботы по устройству библиотек, как-то: испросить разрешение на открытие их, приискать помещение и заведующих лиц и т. п., внести в предстоящее очередное собрание предложение об ассигновании для каждой библиотеки 50 р.». Лишь при такой взаимной поддержке можно будет выполнить лучшим образом завещание Павленкова. Яковенко подчеркивалось также и то место из завещания, где речь шла о дальнейшем поддержании библиотек за счет принадлежавших издателю средств, именно тех остатков и доходов, которые могут получиться по выполнении всех сделанных в его завещании указаний. Однако для нормальной работы библиотек потребуется, конечно, повседневная поддержка их — и материальная и моральная — со стороны местных земцев.

В конце письма душеприказчиков высказывалось пожелание, чтобы на рассмотрение уездных земских собраний были внесены вопросы о наименовании этих библиотек именем жертвователя Ф. Ф. Павленкова.

И хотя душеприказчикам Ф. Ф. Павленкова до поражения революции

1905 года и наступления периода реакции при поддержке земств, других общественных организаций удалось организовать, как уже отмечалось, даже большее количество библиотек-читален, нежели завещал издатель, однако судьба их оказалась весьма печальной: доступ читателей к ним ограничивался властями, а затем в связи с ожесточением борьбы против малейшего проявления вольнодумства эти рассадники народного образования были вообще задушены.

В январе 1914 года В. И. Ленин во вставке к статье Н. К. Крупской «К вопросу о политике народного просвещения», отметив, что в цивилизованных странах оказывается всяческое содействие устройству библиотек, с едкой иронией, с гневом и возмущением писал совсем об иных порядках на родной земле: «А у нас министерство народного, — извините, — “просвещения” прибегает к самым отчаянным усилиям, к самым позорным полицейским мерам, чтобы затруднить дело образования, чтобы помешать народу учиться! У нас министерство разгромило школьные библиотеки! Ни в одной культурной стране мира не осталось особых правил против библиотек, не осталось такого гнусного учреждения, как цензура. А у нас, помимо общих преследований печати, помимо диких мер против библиотек вообще, издаются еще во стократ более стеснительные правила против народных библиотек! Это — вопиющая политика народного затемнения, вопиющая политика помещиков, желающих одичания страны». Вслед за этим глубоко взволнованным обвинением, брошенным в лицо царским сатрапам, Владимир Ильич обращается и к истории с завещанием Ф. Ф. Павленкова. Он доказывает филантропичность таких искренних душевных порывов в условиях самодержавного деспотизма. Благородным начинаниям не суждено реализоваться иначе, как путем свержения существующих эксплуататорских порядков. «Некоторые богатые люди, вроде Павленкова, — писал В. И. Ленин, — пожертвовали деньги на народные библиотеки. Теперь правительство диких помещиков разгромило библиотеки». И дальше читаем ленинское обращение ко всем подвижникам народного просвещения: «Не пора ли тем, кто хочет помочь просвещению в России, понять, что деньги жертвовать надо не на подчиненные министерству и подлежащие разгрому библиотеки, а на борьбу за политическую свободу, без которой Россия задыхается в дикости».

Такой взгляд, исключительно сквозь призму революционных задач момента, на проявление заботы прогрессивного издателя о том, чтобы и после его смерти осуществлялось дело всей жизни — служение народному образованию и просвещению — отражает в себе отголоски тех идейных



расхождений, которые обнаруживались между набирающей силу новой волной освободительного российского движения и представителями народнических течений, с которыми так близко был связан Павленков. К тому же о масштабах сделанного Флорентием Федоровичем, о многих подлинных устремлениях его издательской деятельности общественному мнению того времени было известно очень мало.

Даже после смерти Павленкова его служение прогрессивным идеям не на словах, а на деле не было по достоинству оценено. Это объяснялось прежде всего непричастностью издателя формально ни к каким определенным партиям и течениям. Он стоял как бы особняком, был беспартийным и надпартийным. Оттого, писал Рубакин, «левые замалчивали Павленкова, чтобы не дразнить реакционных и казенных гусей, а правые, чтобы не раздувать славы неблагонадежного издателя». Подпольная и зарубежная печать того времени, как и революционная интеллигенция, тоже не почтила Павленкова своим вниманием: огромное большинство видело в нем «слишком много элементов коммерции», чего на самом деле не было.

Все предприятие Павленкова, хотя и несет на себе отпечаток определенной дани позитивизму в области философии и естествознания, проникнуто исключительным вниманием к запросам широких масс на хорошую образовательную книгу, неподдельным желанием издавать и удешевлять, насколько возможно, только книгу, пробуждающую лучшие чувства в народе. Правда, само понимание народа было у него слишком общим. Он не был близко связан ни с крестьянством, ни с нарождающимся рабочим классом, хотя верой и правдой служил делу распространения знаний среди них.

Из короткого жизненного срока, отведенного Павленкову, он дважды находился в ссылке (в Вятке и Западной Сибири) общим сроком почти десять лет, восемь раз был арестован, более двух лет отсидел в тюрьмах Санкт-Петербурга, Вятки, Вышнего Волочка, Тюмени... Как итог всех этих «милостей» — почти двадцать лет мучился чахоткой.

За тридцатипятилетний срок издательской деятельности, несмотря на противодействие цензуры, выпустил свыше 750 книг и брошюр общим тиражом, превышающим три с половиной миллиона экземпляров. Им изданы собрания сочинений А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Д. И. Писарева, Г. И. Успенского, Ф. М. Решетникова, Ч. Диккенса, В. Гюго и многих других. Выпущенная им «Пушкинская библиотека» состоит из сорока книг, «Лермонтовская» — из восьмидесяти, «Гоголевская» — из тридцати. Сто книг вышло в предпринятой издателем «Сказочной

библиотеке», сорок — в «Библиотеке полезных знаний». Почти двести томов вобрала его серия «Жизнь замечательных людей».

Отличительной особенностью деятельности Павленкова было то, что он упорно работал из года в год, преодолевая все препятствия, которые вставали у него на пути. Ему не смогли помешать ни реакция, ни цензурные строгости, ни материальные трудности. Как писал один из павленковских биографов, этот шестидесятник бодро вошел «в чужие, негостеприимные годы и с честью поработал в них. А главное, работал — плохо ли, хорошо ли — до конца». Современники отмечали, что трудился Флорентий Федорович с редкой настойчивостью, не разбрасываясь, не переходя границ расчетливой осторожности. Всего Флорентием Федоровичем было напечатано книг на сумму около трех миллионов рублей. Но все это он считал не своим, личным, а всенародным достоянием. «В последний раз, когда я его видел, — очень незадолго перед смертью, — писал один из друзей Флорентия Федоровича, — я его застал все в той же его многолетней бедной квартирке, на ногах, за письменным столом, как всегда, среди вороха корректур, оттисков, клише, рукописей. Он был уже в последнем градусе чахотки, но все еще устраивался на долгую работу. Показывая мне новую рабочую лампу, он горько жаловался на своего домохозяина за то, что тот не разрешает устроить электрического освещения (“а еще профессор, человек с европейским именем!” — прибавил он), ему так хотелось писать без керосина, без свечей, столь портящих и без того спертый воздух полутемного кабинета, окнами на двор, — ему хотелось немножко облегчить и старческие глаза, и больную грудь. — “Собираюсь приняться за большое и хорошее дело, — за народную энциклопедию! — весело говорил он, кашляя: — Издал вот эту энциклопедию для интеллигенции, — теперь необходимо и для народа...”

Одиноким, без жены и детей, он жил отшельником на Малой Итальянской, в несколько неряшливой обстановке заброшенного холостяка... Он оставил около полутора тысяч, — и все же на бедном столе его в совершенно голой, маленькой комнате обыкновенно стоял остывший самовар и на грязной скатерти валялись хлебные крошки. Он не был скуп, — он только не понимал, что значит тратить на себя.

Он был стоик, как бы от рождения, человек, которому для воздержанности не нужно было никаких усилий. Это был стоик, но без стоической черствости, на чужую нужду он был необыкновенно отзывчив. Он помог, по-видимому, очень многим...»

Подвижником книжного дела, приверженцем независимой общественной мысли вошел в историю отечественной культуры Павленков.

Он отдал служению раз и навсегда избранному делу все — личную жизнь, свой талант, знания, силы и здоровье. Передовой русской книге он служил не за страх, а за совесть.

...До конца его дней горел в нем яркий и жгучий огонек борьбы с ненавистными самодержавными порядками, борьбы, во что бы то ни стало... При этом Павленков говорил: «Боритесь, но никого не подводите». И эти слова были для него очень характерны: думая о борьбе с существующим строем, он и о человеке, человеческой личности — мыслящей, чувствующей и страдающей, никогда не забывал, будь это личность из его или не из его лагеря. «Однажды он мне сказал, — писал Рубакин, — не помню в точности какими словами: разумеется, я стою под красным знаменем, но только до тех пор, пока на нем нет пятен ни грязи, ни крови».

## ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Ф. Ф. ПАВЛЕНКОВА

1839, 8 (20) октября — в дворянской семье в Тамбовской губернии родился Флорентий Федорович Павленков.

1859, июнь — выпущен из 1-го кадетского корпуса. Прикомандирован к Михайловской артиллерийской академии.

1860, 15 сентября — в «Артиллерийском журнале» публикует первую работу — «О старых нарезных орудиях, хранящихся в С.-Петербургском арсенале».

1861, август — оканчивает Михайловскую артиллерийскую академию. Получает назначение на службу в Киевский арсенал.

1862–1864 — неудачная попытка пресечь казнокрадство в арсенале. Первые столкновения с властями.

1863 — в четырех номерах петербургского журнала «Фотограф» публикует статью «Искусство в фотографии».

Октябрь — несговорчивого офицера переводят из Киева в Брянск. В Киеве в типографии Федорова и Минята выходит «Собрание формул для фотографии Е. Бертрана».

1864 — выходит «Физика» А. Гано.

Декабрь — возвращен из Брянска в Киев для ускорения следствия по его заявлению о казнокрадстве в Киевском арсенале.

1865 — произведен в поручики. На инспекторском смотре подает жалобу на командира Киевского арсенала.

Лето — по распоряжению начальства отправляется в Брянск, где в течение двух недель его держат под арестом. Принимает решение уйти со службы в артиллерийском ведомстве. Получает отказ на прошение зачислить его преподавателем педагогических курсов при 2-й Санкт-Петербургской военной гимназии.

31 октября — получает цензурное разрешение на выпуск в Петербурге брошюры «Наши офицерские суды».

Декабрь — знакомство с семейством Д. И. Писарева. Принимает решение об издании собрания сочинений критика.

1866 — продолжает издавать выпусками переведенную с французского языка «Физику» А. Гано.

Март-апрель — издает первую часть собрания сочинений Д. И. Писарева.

Май — выходит последняя часть «Физики» А. Гано.

2 июня — арест второй части сочинений Д. И. Писарева.

7 июля — возбуждение судебного преследования по второй части сочинений Д. И. Писарева.

Август — выход третьей и пятой частей сочинений Д. И. Писарева.

Ноябрь — выход шестой части сочинений Д. И. Писарева. Декабрь — приобретает у П. А. Гайдебурова книжный магазин, получивший название «Книжный магазин для иногородних».

1868 — увольняется с воинской службы.

15 июня — успешно выступает с защитой против обвинения, выдвинутого по второй части сочинений Д. И. Писарева в Санкт-Петербургской судебной палате. Добивается своего оправдания на суде, вошедшем в историю под названием «Литературный процесс по делу Д. И. Писарева».

Июль — организует похороны утонувшего Д. И. Писарева.

3 сентября — арест. Помещен в Петропавловскую крепость.

1869, 26 января — сослан в бессрочную ссылку.

14 марта — рассмотрение в Сенате апелляции на обвинение, вынесенное Санкт-Петербургской судебной палатой. Вынесен оправдательный приговор.

11 июня — без суда и следствия направляется в ссылку, без права заниматься издательской деятельностью.

1873— издает книгу А. Секки «Единство физических сил», «Наглядную азбуку» под фамилией Н. Н. Блинова.

2 июля — в Вене «Наглядная азбука» получает признание мировой педагогической общественности.

1876 — выход второго издания «Наглядной азбуки» под названием «Чтение и письмо по картинкам».

1877 — выпускает памятную книжку Вятской губернии на 1877 год — «Вятскую незабудку».

Декабрь — получает освобождение из ссылки и возвращается в Петербург.

1879, 25 февраля — подвергается аресту и содержанию в одиночной камере дома предварительного заключения в течение двух с половиной месяцев без предъявления обвинения.

Сентябрь — выпускает книгу барона Н. А. Корфа «Наш друг».

1880, 9 апреля — перевод в Вышневолоцкую тюрьму.

9 мая — отправка по этапу из Вышнего Волочка в Западную Сибирь.  
Ссылка в Ялуторовск.

1881, апрель — возвращается из Сибири в Петербург.

1882, 7 января — арест по недоразумению на несколько часов.

1885 — обнаруживаются первые признаки болезни.

1890, осень — начинает выпускать книги биографической серии  
«Жизнь замечательных людей».

1894 — болезнь приобретает угрожающий характер для жизни  
издателя.

1898, осень — отмечает 35-летие издательской деятельности.

1899, осень — обострение болезни.

1900, 2 января — выезжает из Петербурга в Ниццу.

20 января — в Ницце скончался Флорентий Федорович Павленков.

3 февраля — похоронен на Волковом кладбище в Санкт-Петербурге.

## КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

- Абрамов Я. Павленковские библиотеки // Русская школа. 1903. № 2.
- Алисов П. Ф. Процесс Павленкова // Сборник литературных и политических статей. Женева, 1877.
- Алчевская Х. Д. Передуманное и пережитое: Дневники. Письма. Воспоминания. М., 1912.
- Барыкин В. Е. Ф. Ф. Павленков и Д. И. Писарев // Журналистика и литература. М., 1972.
- Белов С. В., Толстяков А. П. Русские издатели конца XIX — начала XX века. Л., 1976.
- Блинов Н. Н. Дань своему времени (Воспоминания о Ф. Ф. Павленкове) // Книга. Исследования и материалы. Сб. 56. М., 1988.
- Блюм А. В. Ф. Ф. Павленков в Вятке. Киров, 1976.
- Васнецов А. М. Автобиография. 1863–1929 // Книжная неделя. 1929. № 22.
- Гире Д. К. Старая и новая Россия // Отечественные записки. 1868. № 3–4.
- Горбунов Ю. А. Библиотеки странного миллионера // Уральский библиофил. Пермь, 1987.
- Он же. Флорентий Павленков, его жизнь и издательская деятельность: Биографический очерк. Челябинск, 1999.
- Елисеев Г. З. Шестидесятые годы. Воспоминания. М.; Л., 1938.
- Изергина Н. П. Ф. Ф. Павленков и «Вятская незабудка» // Учен. зап. Кировского гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина. Вып. 20. 1966.
- Круглов А. Подвижник. Памяти Павленкова // Голос минувшего. 1912. Август.
- Лавров П. Л. Исторические письма. М., 1884.
- Луппов П. Н. Литературная работа Ф. Павленкова в Вятской ссылке // Кировская новь. Кн. 2. 1947.
- Мерцалов П. Ф. Ф. Павленков и его заслуги для русской культуры // Известия кн. магазинов т-ва М. Вольф по литературе, наукам и библиографии. 1900. № 5.
- Никитенко А. Я. Дневник: Т. 3. М., 1956.
- Погодин М. Простая речь о мудреных вещах. М., 1871.
- Потапенко И. Н. Не герой. СПб., 1896.

Рассудовская Н. М. Издатель Ф. Ф. Павленков (1839–1900): Очерк жизни и деятельности. М., 1960.

Роцевская Л. П. Павленков в Ялutorовске // Книжное дело в России во втор. пол. XIX — нач. XX в.: Сб. науч. тр. Вып. 3. Л., 1988.

Рубакин Н. А. Из истории борьбы за права книги. Флорентий Федорович Павленков // Книга. Исследования и материалы. Сб. 9. М., 1964.

Рудаков В. Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. Павленкова: Пятьдесят три выпуска биографий русских деятелей // Журнал Министерства народного просвещения. 1895. Август-сентябрь.

Соловьев Евг. Ф. Ф. Павленков. (Некролог) // Жизнь. 1900. № 2.

Скабичевский А. Венок на гроб Ф. Ф. Павленкова // Сын Отечества. 1900. № 28.

Скабичевский А. М. Литературные воспоминания. М.; Л., 1928.

Ткалич Д. Ф. Ф. Павленков в изгнании // Урал. 1970. № 9.

Федоров Б. Д. После похорон Д. И. Писарева // Голос минувшего. 1919. № 1–4.

Федоров Б. Д. Из переписки В. Г. Короленко с Ф. Ф. Павленковым // Голос минувшего. 1923. № 1.

Черкасов В. Ф. Ф. Павленков (Отрывки из воспоминаний) // Писарев Д. И. Собр. соч. В 6 т. СПб., 1907.

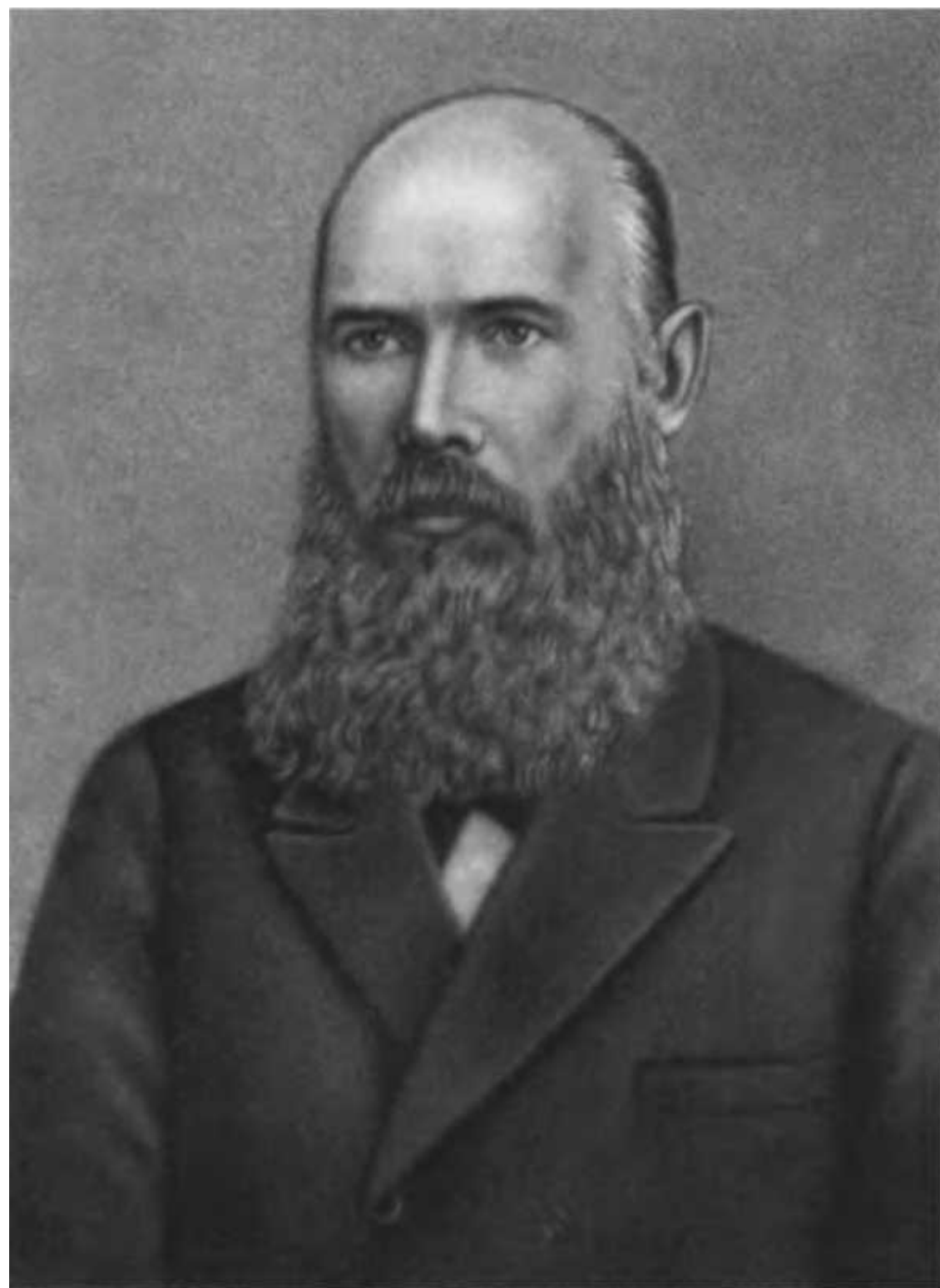
Швецов С. П. Вышневолоцкая тюрьма в 1880 г. // Каторга и ссылка. 1931. № 8–9.

Шелгунов Н. В. Воспоминания. М.; Пг., 1923.

Яковенко В. О павленковских библиотеках // Труды Всероссийского съезда по библиотечному делу. Ч. II.



# ИЛЛЮСТРАЦИИ



*S. Nakamura*



1-й кадетский корпус, где учился Флорентий Павленков. Петербург.



Михайловская артиллерийская академия. Петербург.



П. Л. Лавров.



Брянский арсенал, где служил Ф. Ф. Павленков.



Д. И. Писарев.



Сочинения Д. И. Писарева, вышедшие в издательстве Павленкова.



Петропавловская крепость. Санкт — Петербург. Современное фото.



В. И. Писарева. 1860-е гг.





В. М. Гаршин.



Н. К. Михайловский.



Барон Н. А. Корф



Невский проспект. Петербург. Конец 1880-х гг.

ВЯТСКАЯ  
**НЕЗАБУДКА.**

ПАМЯТНАЯ КНИЖКА ВЯТСКОЙ ГУБЕРНИИ

на 1878 годъ.

(НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ.)

---

Цена 1 р.

---

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Учрежд. Собраниями И. Е. Министровъ, Большая Садовая, № 47.  
1878.

Сборник «Вятская незабудка», издававшийся Ф. Павленковым.



Николаевская улица в Вятке.



Н. Н. Блинов



В. Г. Короленко.



Я. В. Абрамов.



А. М. Скабичевский.





Х. Д. Алчевская.

# ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ

Ф. Павленкова.

Съ 2607 иллюстрацій, въ томъ числѣ 895 портретовъ и 112 географическихъ картъ, составленныхъ въ Парижѣ.



Цѣна въ полнотомномъ изданіи 8 руб.

4-ое вновь пересмотрѣнное изданіе.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Тип. В. П. Орлова (домъ А. Я. Елачкова), Мал. Дворянская, 19.  
1910.

«Энциклопедический словарь» Ф. Павленкова.



Н. В. Шелгунов.



Г. И. Успенский.



С. Н. Кривенко



Книги серии «Жизнь замечательных людей», вышедшие в издательстве Ф. Павленкова.



Н. А. Рубакин.



В. И. Яковенко.



ФЛОРЕНТІЙ ФЕДОРОВИЧЪ

ПАВЛЕНКОВЪ

1839-1900.



Памятник Ф. Ф. Павленкову на Волковом кладбище.



# ГОРЬКИЙ



Максим  
Горький



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ПУШКИН  
ПУШКИН  
ЭЛДИКУР  
ЛОСЕВ

РОЗАНОВ  
РОЗАНОВ

БУНИН  
АЛЛОСТА ПАВЕЛ  
БОРИС ПАТЕРНИК

КУСТОМИЕВ  
ТАМЕРЛАН  
КОРТЕС  
ДОСТОВЕВСКИЙ

БРУТ  
ЛИКОВИЧ  
АВРАМОВИЧ  
ТЕМАР АИВЕР

ГЕССЕ  
КАЗАНОВА  
СТОМЪПИИ

ПУШКИН  
ПУШКИН  
ЭЛДИКУР  
ЛОСЕВ

РОЗАНОВ  
РОЗАНОВ

РЕРИХ  
ШОЛОХОВ  
АРАКЧЕЕВ

Серия «Жизнь замечательных людей», задуманная Ф. Ф. Павленковым, продолжается и поныне.



Ф. ТТ-10

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ТЕЛЕГРАММА

Примечание: <u>15/2</u> <u>456</u>	Для заметки адресата
Код: № 000964 / 6 <u>Р</u>	
Прислать:	

ТЕЛЕГРАММА  
МОСКВА 73/23005 178 13/02 1153»

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ  
МОСКВА 30 УЛ СУХВЕСКАЯ Д 21 КОЛЛЕКТИВУ ОАО „МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ,, И  
ЧИТАТЕЛЯМ БИОГРАФИЧЕСКОЙ СЕРИИ „ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ,,»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ВСКЛ  
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВЫХОДОМ В СВЕТ ТЫСЯЧНОГО ВЫПУСКА СЕРИИ „ЖИЗНЬ  
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ,,.  
СЕГОДНЯШНИЙ ЮБИЛЕЙ - СОБЫТИЕ В КНИГОИЗДАТЕЛЬСКОМ ДЕЛЕ И ВАЖНАЯ ВЕХА В  
ЛЕТОПИСИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ И ПРОСВЕЩЕНИЯ. „ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ  
ЛЮДЕЙ,, - ЭТО ЦЕЛАЯ ГАЛЕРЕЯ ВЕЛИКИХ ИМЕН ДВУХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ, УЧЕНЫХ И РЕФОРМАТОРОВ, ФИЛОСОФОВ И ПИСАТЕЛЕЙ  
ТЕХ, КТО ОСТАВИЛ ЯРКИЙ СЛЕД В ИСТОРИИ МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. И МЫ  
ГОРДИМСЯ, ЧТО ПЕРВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ ПОЯВИЛАСЬ У  
НАС - В РОССИИ.  
БЛАГОДАРЯ „МОЛОДОЙ ГВАРДИИ,, ЭТОТ КНИГОИЗДАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ ПРИОБРЕЛ  
НАСВЯТАБИ, РАВНЫХ КОТОРЫМ НЕТ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ.  
БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, ЭТО НАСТОЯЩИЙ „БЕСТСЕЛЛЕР,, ВЕКА, ЗНАКОМЫЙ  
КАЖДОМУ ОБРАЗОВАННОМУ ЧЕЛОВЕКУ. ВЕДЬ ВАМ УДАЛОСЬ ПРИВЛЕЧЬ К НАПИСАНИЮ  
КНИГ ТАЛАНТЛИВЫХ МАСТЕРОВ СЛОВА. ИМИ ПРОДЕЛАНА ОГРОМНАЯ РАБОТА,  
СОБРАНЫ УНИКАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И РЕДКИЕ ДОКУМЕНТЫ, РАСКРЫТЫ НЕИЗВЕСТНЫЕ  
ФАКТЫ ИЗ БИОГРАФИИ МНОГИХ ВЫДАВШИХСЯ ЛИЧНОСТЕЙ.  
НЕ СОННЕВАЮСЬ, ЧТО ТАКИЕ ТРАДИЦИИ, КАК НАУЧНАЯ ОСНОВАТЕЛЬНОСТЬ  
ИЗДАНИЯ СЕРИИ, ИХ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СИЛА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НАДУТ  
ДОСТОЯНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ В ПОСЛЕДУЮЩИХ КНИГАХ. УСПЕХОВ ВАМ И ВСЕГО  
САМОГО ДОБРОГО»В. ПУТИН ИР-ПР-282-  
НННН 1156 13.02 0006

Поздравительная телеграмма Президента России В. В. Путина коллективу издательства «Молодая гвардия» в связи с тысячным выпуском серии «Жизнь замечательных людей».

---

---

<b>notes</b>
--------------

В примечании к публикуемой в собрании сочинений Д. И. Писарева «Статье о Шедо-Феротти» Ф. Ф. Павленков позднее так описал причины заточения критика в Петропавловскую крепость: «Эта статья была найдена в рукописи при обыске у студента С.-Петербургского университета П. Д. Баллода 15 июня 1862 года и повлекла за собою арест Д. И. Писарева 2 июля, а затем и присуждение его Правительствующим Сенатом 2 июня 1864 года к заключению в крепость на 2 года и 8 месяцев».

Здесь уместно отметить, что в очерке «Флорентий Павленков. Его жизнь и издательская деятельность» его автор Ю. А. Горбунов в оценке данного факта и ряда других эпизодов из павленковской биографии бездоказательно прибегает к квалификации их как «иезуитских» («Павленкову не давала покоя затея сыграть с цензурой иезуитскую шутку»; «...Павленков, защищаясь, вынужден был соблюдать иезуитские правила игры...»; «...его логика была иезуитски безупречна»; «...трудности и препятствия всегда были для “иезуита” Павленкова, что красная тряпка для быка» и т. д.), тем самым представляя русского издателя едва ли не приверженцем теории, согласно которой для достижения цели все средства хороши. Ф. Ф. Павленков и сам опровергал подобное толкование и своей деятельностью не давал поводов для такой его характеристики.

Эта первая доктрина разделяется всеми. Граница, до которой она может быть принята, указывается каждому его честностью и благоразумием. Приведу примеры: у постели умирающего доктор говорит о возможности выздоровления. Он обманывает больного. На поле сражения раненый, разбрасывающий свои мозги и которому осталось мучиться не более пяти минут, просит приколоть его и тем прекратить его невыносимые страдания. Прикалывающий убивает своего товарища. Мой знакомый, вследствие болезненного припадка, собирается отравиться. Я уношу от него яд: я в этом случае вор. Но мне кажется, что такие обманщики, убийцы и воры не были бы отвергнуты спасителем. (Прим. Ф. Ф. Павленкова)



4

Примечание рукою, очевидно, Городкова: «Чистая ложь!»

В своих воспоминаниях Н. Н. Блинов так рассказывает об этом: «Согласно уговору с Павленковым, я прежде всего вошел в соглашение с Ю. И. Симашко. Он охотно согласился принять бесплатно прекрасное приложение — “Наглядную азбуку”, иллюстрированную 400 рисунками, и “Объяснение к ‘Наглядной азбуке’”».

Судьба Иннокентия Михайловича Сибирякова (1860–1901) сама по себе удивительна. Он был известным золотопромышленником. Прославился на поприще меценатства и милосердия. Жертвовал на устройство Томского университета; на издание научных сочинений о Сибири; 420 тысяч рублей передал на образование капитала для выдачи пособий приисковым рабочим; 40 тысяч рублей — на устройство в Петербурге биологической лаборатории. В конце жизни принял монашеский постриг. Имя схимонаха Иннокентия было чтимо на Святой горе Афон.